

Дорогие читатели!

Перед вами сборник нескольких книжек, которые выходили в издательствах в разное время, но все они – о детстве.

Мы были мальчишками военного времени, пережили немало тяжёлых и горьких дней, но каким-то странным образом в памяти детство – некая страна, где никогда не заходит солнце, страна самых широких рек, самых высоких деревьев, самых ярких цветов и трав, самых дружелюбных животных и людей. В той стране никто не стареет – навсегда остаётся молодым.

В детство нельзя вернуться, но почему-то в него тянет всю взрослую жизнь, как будто там осталась частица нашего сердца.

Леонид Анатольевич Сергеев

ЛЕОНИД СЕРГЕЕВ

ТАМ, ГДЕ НИКОГДА НЕ ЗАХОДИТ СОЛНЦЕ

Рассказы для детей,
подростков и взрослых,
которые помнят своё детство

Рисунки автора

Москва
НО «ИЦ «Московедение»
2018

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-4
С322

Автор благодарит за помощь в издании этой книги
Александра Машко и Юлию Никитскую

Сергеев, Леонид Анатольевич.

С322 Там, где никогда не заходит солнце / Леонид Сергеев : Рисунки автора. –
Москва : ИЦ «Москвоведение», 2018. – 416 с. : ил.
ISBN 978-5-905118-97-5

Настоящий сборник составлен из книжек, которые выходили в издательствах в разные годы. Книжки – воспоминания из детства, их отличает самобытная интонация и юмор, любовь к природе и животным.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-4

ISBN 978-5-905118-97-5

© Сергеев Л.А., текст, иллюстрации, 2018



МОЙ БЕГЕМОТ



ГОШКА

Мой дядя слыл весельчаком. То и дело рассказывал смешные истории и всем дарил необыкновенные подарки, причём эти подарки делал сам – он был мастер на все руки. Однажды из двух баллонов от пятитонки дядя склеил надувного бегемота. Он получился совсем как живой – огромный, с разинутой пастью и хитроватыми глазами. Он был очень большой, но при желании его можно было надуть ещё больше – стоило только открутить пробку на задней ноге.

Когда дядя принёс к нам бегемота и поставил на пол, толстяк закачался, закивал головой, шевельнул ушами и, как мне показалось, даже чуть-чуть шагнул. Бегемот был добряком – это я понял сразу. Его огромный рот всё время растягивался в улыбку, а в глазах так и бегали какие-то смешинки.

У меня было несколько любимых игрушек: грузовик, слон со скрученным хоботом, цветные лягушки из тряпок, но когда появился бегемот, мне стало не до них. Я ни на минуту не расставался с Гошкой (так я назвал бегемота). Я целовал Гошку в морду, сажал с собой за стол и кормил супом, ходил с ним во двор гулять; по вечерам читал Гошке книжки, а потом ложился с ним спать, выпустив из него немного воздуха: сильно надутый, он не умещался на моей кровати.

Гошка был весельчак. Весь в дядю. С утра до вечера выкидывал разные штучки. Оставишь его где-нибудь на сквозняке, смотришь – он уже убежал в угол комнаты, прикорнул у шкафа и дрыхнет.

А то вдруг ни с того ни с сего перевернётся и, задрав ноги, начнёт кататься на спине. Или прямо на глазах похудеет – явно просит еды.

Кстати, он ужасно любил поесть. Его так и тянуло на кухню. Все думали, Гошка ел понарошку, но я-то знал, что он ел на самом деле. Да ещё как! Уплетал за обе щеки. Каждый раз, оставив ему на ночь еду в миске, утром я замечал, что половину он слопал. Бабушка говорила, что к миске подходил кот, а Гошка знай себе ухмыляется и незаметно подмигивает мне. Как-то наш кот не ночевал дома, но утром миска оказалась пуста. Я сразу крикнул бабушке:

– Во! Что я говорил? Видала, сколько съел?

Бабушка удивилась и с тех пор стала еду от Гошки прятать.

Целыми днями Гошка веселился и только в жару скисал. Тогда я наполнял ванну водой и пускал его поплавать.

Плывать Гошка любил больше всего. Особенно на боку. Разляжется на воде и плывёт от одного края ванны к другому. Немного поплавает, начнёт крутиться на одном месте – радуется, что очутился в родной стихии.

Иногда я тоже забирался в ванну, и мы с Гошкой начинали нырять, и кувыркаться, и брызгать друг в друга, а потом я влезал к нему на спину, и мы отдыхали прямо на воде. На воде Гошка держал меня так легко, как будто на него влез не я, а воробей. Казалось, он спокойно мог бы удержать ещё пятерых таких, как я.

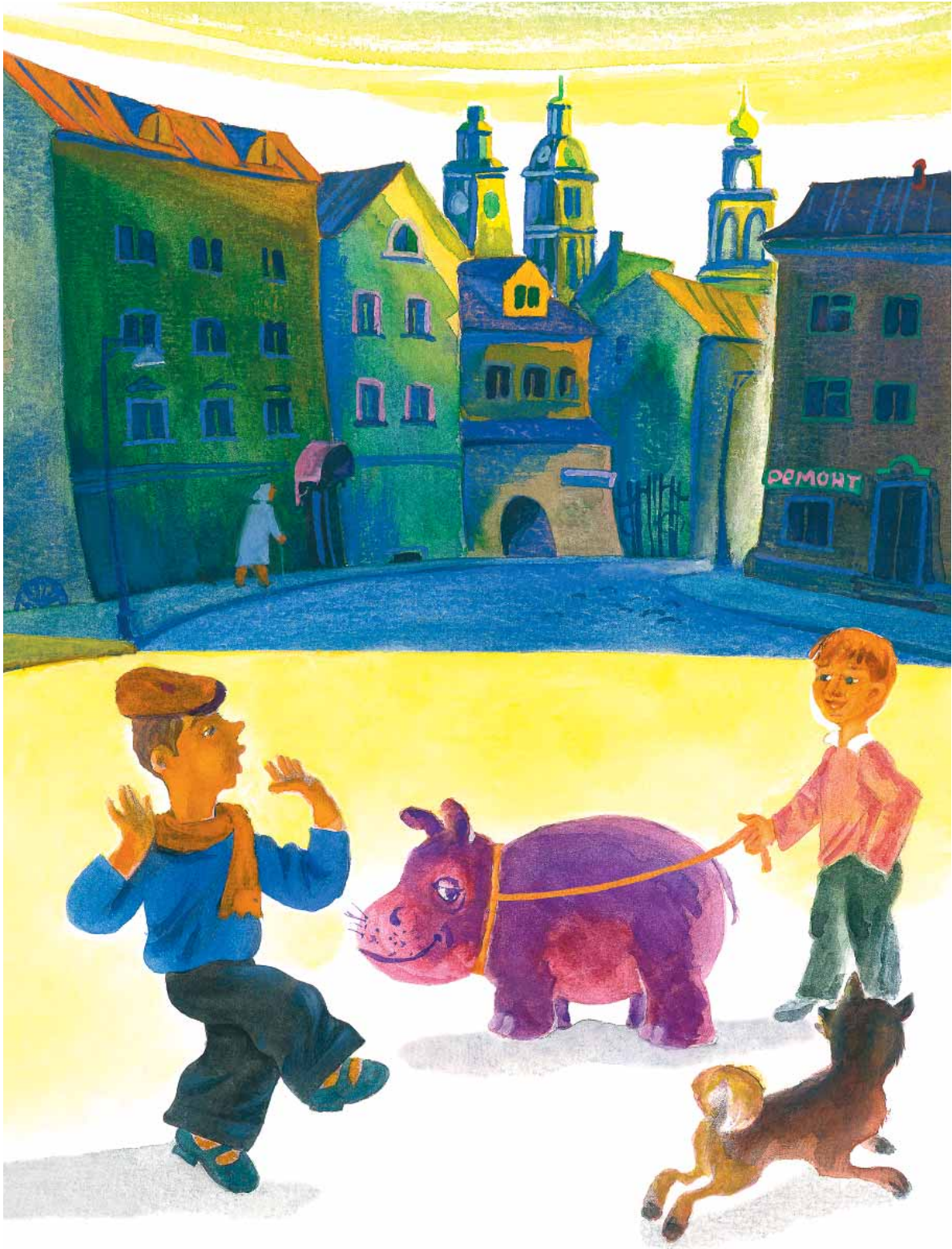


С каждым днём мы с Гошкой всё больше привязывались друг к другу. Частенько домашние ворчали, что Гошка занимает слишком много места, что от него постоянно беспорядок в комнате и что его вообще неплохо бы отнести в чулан.

Особенно недолюбливала Гошку бабушка.

– Ох уж этот бегемот! – всё время кряхтела она. – Растёт не по дням, а по часам. В квартире от него сплошной кавардак и совсем не осталось свободного места. Хоть мебель выноси. В зоопарк его надо!

В такие моменты я всегда заступался за своего друга и чуть что сразу прятал его под кровать.



Когда же за что-нибудь распекали меня, вперёд, как танкетка, спешил Гошка. Он надувался и топал от негодования и всем своим видом давал понять, что не даст меня в обиду. За всю нашу дружбу мы только один раз повздорили, да и то по пустяку.

Как-то я залез на него, а он взял и выбил свою пробку и сразу же, охнув, присел, а я шлёпнулся на пол. Отчитал я его тогда как следует, и он больше не устраивал глупых шуточек, а если и был чем-нибудь недоволен, то просто стоял и сопел. Он был такой тихоня, что даже ссорился со мной шёпотом.

Однажды бабушка сказала:

– Давай съездим в зоопарк. И Гоше будет интересно. Покажем ему разных животных, познакомим с родственниками.

– Ой, бабуля! – крикнул я. – Здорово ты придумала! Поедем!

Мы жили на окраине города и до зоопарка добирались на трамвае. В вагоне все пассажиры сгрудились около Гошки. Только и слышалось:

– Ого, вот это зверь, я понимаю!

– И где ж вы такого достали? Не в Африке ли?

Бабушка объясняла, что Африка здесь ни при чём, говорила про дядю, про его золотые руки, а мы с Гошкой гордо смотрели в окно.

В тот день в зоопарке народу было мало, и мы спокойно осмотрели обезьянник, львов и площадку молодняка.

Потом обогнули озеро с плавающими утками и остановились у вольера с надписью «Гиппопотам Маша».

За изгородью около бассейна стояла огромная бегемотиха. Она медленно водила головой в разные стороны – посматривала на редких зрителей сонным, безразличным взглядом.

Я пододвинул Гошку поближе к изгороди, но бегемотиха совсем закрыла глаза и стала жевать жвачку.

– Сынка нашей Машке принёс? – услышал я за спиной.

Обернулся – около нас стоял усатый мужчина в фартуке.

– Да, да, сынка! – обрадовалась бабушка и улыбнулась.

– Мы просто смотрим, – тихо произнёс я.

– А-а! Ну смотрите... А то оставил бы.

– Конечно! – закивала бабушка. – Вместе им будет просто замечательно!

– Ясное дело, – развёл руками мужчина. – Я здесь смотрителем работаю. Уж как-нибудь за твоим дружком присмотрю. Кормить его будем три раза в день. Как Машку.

– И не раздумывай! – подтолкнула меня бабушка.

Я подумал, что вообще-то здесь Гошке было бы неплохо. С бегемотихой они подружились бы... Но каково мне было бы без Гошки!

– Нет, – твёрдо заявил я и повернулся к бабушке: – Пойдём домой.

КУКЛЫ

До того как дядя подарил мне Гошку, я играл только с девочками. У меня было три родных сестры и шесть двоюродных. И жили мы во дворе, где были одни девочки и как назло ни одного мальчишки.

С утра до вечера сёстры играли в куклы. Кукол у них было много: тряпичные в платьях и кофтах, матрёшки в сарафанах и кружевах и совсем голые из целлулоида. Были куклы с бантами, с цветами, с зонтиками. Толстые и тонкие. Большие и маленькие. Были куклы, которые сидели на чайниках, и куклы с огромными глазами – они опускали ресницы и пищали. Вся наша квартира была завалена куклами. Куда ни посмотришь, везде сидели эти уродины. Я засовывал их под диван, прятал в чулане – ничего не помогало. Кукол не уменьшалось. Даже наоборот, их становилось всё больше.

Сёстры были без ума от своих кукол. Они называли их балеринами и принцессами; постоянно одевали и раздевали их, кормили и укладывали спать.

Каждый раз, когда я предлагал сёстрам поиграть в футбол или посражаться на шпагах, они начинали меня стыдить.

– Ты какой-то глупый, – говорила одна сестра.

– Все твои игры шумные и неинтересные, – морщилась другая.

А третья подсовывала мне куклу и тащила играть в дочки-матери. Я ужасно злился, но ничего не мог поделать. Ведь сестёр было много, а я один. Вот и приходилось мне играть с ними в куклы. Вместе с сёстрами я вышивал и вязал, готовил обеды для кукол и пел им колыбельные.

Постепенно сёстры стали принимать меня за свою подругу. Иногда кто-нибудь из них забывался и говорил мне:

– Ты не так постелила балерине Тане.

– Ты мало качала принцессу Зину.

Я злился до слёз. Но это ещё что! Сёстры в день моего рождения подарили мне... куклу. Тут уж я взбунтовался и выкинул всё их кукольное царство в окно. Но они снова принесли своих любимиц и вдобавок налетели на меня вдевятером и отлупили. А потом пришёл дядя и подарил мне... Гошку.

Я думал, что теперь сёстры забросят своих кукол и начнут подлизываться ко мне, чтобы я разрешил им поиграть с бегемотом. Но Гошка не произвёл на них никакого впечатления. С кислыми лицами они осмотрели моего друга, и одна из сестёр фыркнула:

– Он слишком большой и неуклюжий.

– И страшный, – добавила другая сестра.

Гошка обиделся, наклонил голову, и его пасть задрожала от горькой усмешки.

– Ничего вы не понимаете, – сказал я. Привязал Гошке на шею верёвку, и мы отправились гулять во двор.

Но и девочкам из нашего двора мой Гошка не понравился.

– Прямо и не знаем, во что с ним можно играть, – сказали.

– Как во что?! – чуть не вскричал я. – Да во что хотите! Бегемот это вам не куклы какие-то! Это...

Но девчонки уже меня не слушали – они отправились в глубину двора.

Для начала мы с Гошкой занялись акробатикой. Я залез на Гошку и стал прыгать на нём. Он подбрасывал меня всё выше и выше.

Потом мы с Гошкой боролись: кто кого – он меня или я его.

Хитрец Гошка всё пытался навалиться на меня и прижать к земле. Он надувался, пыхтел и сопел, но ему так и не удалось повалить меня. А я Гошку повалил. Дал ему подножку, и он плюхнулся на бок.

Потом мы играли в футбол. Гошка стоял в воротах, а я бил по мячу. Сообразительный Гошка сразу встал боком и заслонил все ворота. Забить ему гол было очень трудно, но я всё же забил штук десять.

Теперь целыми днями я играл только с Гошкой.

А вскоре произошло неожиданное: в наш дом приехали новые жильцы. Они приехали поздно вечером, но я успел заметить мальчишку. Вихрастого мальчишку моего возраста! Правда, я заметил и двух девчонок, по виду сестёр мальчишки: одну высокую, явно школьницу, другую – намного младше. Но главное – в той семье был мальчишка! Я долго не мог уснуть. Всё представлял, как буду



играть с новым соседом; достал из-под дивана мяч, заточил деревянную шпагу, подкрасил пробочный пистолет.

– Теперь-то начнётся новая жизнь, – сказал я Гошке, и он понимающе закивал головой, и в его глазах появился озорной блеск.

Наутро мы с Гошкой выбежали во двор, и я стал гонять мяч перед окнами новых жильцов. Вначале из дома вышла высокая девчонка. Она тащила две куклы. За ней появилась её младшая сестра. С тремя куклами! А потом показался и мальчишка. В руках он... тоже держал куклу.

– Пойдём погоняем мяч, – предложил я. – А он будет вратарём. – Я кивнул на Гошку.

– Не-ет, – протянул мальчишка. – Я лучше пойду играть с сёстрами.

Он небрежно оттолкнул Гошку и поплёлся за девчонками.

Я уже хотел было огреть шпагой этого слюнтяя, как вдруг его старшая сестра обернулась и сказала:

– Я с удовольствием попинаю мяч. Надоели эти куклы. И бегемот у тебя симпатичный. Как его зовут?

С того дня мы играли втроём: Настя, Гошка и я. Настя – девчонка, а отлично играла в футбол, сражалась на шпагах, стреляла из пугача. Гошка в неё прямо влюбился. Только и смотрел в окно, ждал, когда Настя выйдет во двор, и ужасно страдал, если она долго не появлялась.

ГНОМ

По вечерам я читал Гошке книжки. Особенно он любил сказки про гномов. Прижмётся ко мне, прикроет глаза и внимательно слушает.

Я верил, что весёлые и добрые карлики живут где-то среди нас, и долго разыскивал их маленькую страну. Облазил чердак, холодный сырой подвал, постройки вокруг дома, сумрачные закутки за сараем; обошёл забор, заросший мышинным горохом, осмотрел все кусты с бело-розовыми граммофонами вьюна, но гномов нигде не встретил.

Я уже почти отчаялся их найти, как вдруг обнаружил какие-то странности в нашем доме: по вечерам слышались разные шорохи, скрипы, вздохи. Потом ни с того ни с сего остановились часы, в шкафу просыпалась крупа. Потом сам собой потух самовар, упало полено, исчезло мыло.

– Видал?! – обратился я к Гошке, и тот разинул пасть от удивления.

Каждый день я находил следы весёлых шуточек, но самих шутников не видел. И только зимой мне повезло.

Мы с Гошкой катались с горы за нашим домом. Я залезал на Гошку, он ложился на живот, и мы неслись по укатанному склону. Внизу Гошка немного отдыхал, а я рассматривал разные снежные бугорки и кочки, и подтаявшие корки снега, и заиндевевшие сухие травы. На бугорках то тут, то там виднелись какие-то рисунки: маленькие полукружки и лесенки.

Я нагибался и рассматривал эти загадочные картинки, но понять их никак не мог. Иногда осторожно, чтобы не сбить иней, я пробирался сквозь торчащие



из-под снега травы. И эти травы мне уже казались не травами, а деревьями в лилипутском лесу. Я различал их тонкие, как карандаши, стволы и корявые ветви, заснеженные рыхлыми шапками.

Кое-где меж этих деревьев, как стеклянные змейки, тянулись застывшие подтёки. Они напоминали наши водопады, но были совсем маленькие. Я ходил у подножия склона, между возвышений, впадин, деревьев и водопадов, и всё представлял, как здесь играют гномы. «Только где они сейчас? – думал. – Может, от меня спрятались?»

Мы с Гошкой снова взбирались на гору, я прятался за сугроб и украдкой посматривал вниз. Но гномы не появлялись. Целый день мы с Гошкой провели на горе, но всё было бесполезно.

Когда начало темнеть и ветер погнал вихри, я решил прокатиться на Гошке последний раз, и внезапно увидел его – маленького человечка в красном колпачке.

Я увидел его в тот момент, когда мы мчались с горы. Он ехал прямо перед нами на крохотных лыжах; то и дело оборачивался и со страхом смотрел на нас, и изо всех сил семенил вниз, отчаянно отталкиваясь малюсенькими палками.

И всё-таки мы догнали его. Какое-то мгновение даже скользили рядом. Я отчётливо видел его бородку и полные страха глаза, но Гошка не смог притормозить, и мы пронеслись вперёд.

Съехав с горы, я слез с Гошки, обернулся и стал поджидать гнома, но он не появился. Я подумал, что он упал где-то на горе, и заспешил наверх, но и на склоне его не оказалось.

Я бегал по горе до тех пор, пока у меня не закружилась голова. Только тогда взял Гошку за поводок, и мы побрели домой.

По дороге я отругал Гошку за нерасторопность, за то, что он не смог затормозить на горе. В такой момент! Ведь не каждый день мы видим гномов!

Но Гошка был невозмутим, он как бы говорил: «Подумаешь – гном! Ничего удивительного! На свете и не то бывает!»

Войдя в дом, я крикнул:

– Мам! Я видел гнома!

– Где же ты был так долго? – сказала мать. – И Гошку своего заморозил. Ведь бегемоты любят тепло... Но что это с тобой? Ты весь красный! – Она тревожно приложила руку к моему лбу. – Да у тебя температура!

Мать стряхнула с моей куртки снежную пыль, развязала шарф, сняла валенки, и на пол шлёпнулись лепёшки снега, как вафли. Я смотрел на них и думал о гноме.

В ДЕРЕВНЕ

Однажды летом отец сказал:

– Завтра поедем в деревню.

– А Гошку возьмём? – поспешил выяснить я.

– Нет. Мы едем не одни, в грузовике и так мало места. Не знаю, куда вещи погрузить. Впрочем, ладно, сдувай его и сворачивай.

– Как это сдувай и сворачивай?! – возмутился я. – Он же живой!..

– Пусть тогда бежит за машиной, – неудачно пошутил отец, но тут же примирительно добавил: – Ну хорошо, хорошо, закинем его в кузов, только надо будет привязать верёвкой, чтобы не свалился.

– Я буду его крепко держать, – ответил я и показал, как буду держать Гошку.

В деревне было раздолье. С утра мы с Гошкой бегали по лугу за домом, причём Гошка сразу придумал скользить за мной на верёвке, как за буксиром. Выставит вперёд свои толстые ноги и скользит по траве, приминая головки цветов.

Днём мы гуляли по деревне, и Гошка пугал разную живность. Завидев Гошку, кошки впрыгивали на деревья, а куры и утки бросались врассыпную. Гошка казался им каким-то ископаемым чудищем.

Даже собаки побаивались Гошку. Спрячутся за заборы и облаивают нас. Некоторые, самые смелые, подкрадывались сзади, принюхивались, пытались цапнуть Гошку за ногу. Но Гошка развернётся, затопчется на месте, забурчит – и собаки бегут наутёк. Ещё бы! Ведь Гошка был толще самых толстых свиней и ростом с телёнка!

Только козёл не боялся Гошку. Он пасся посреди деревни; огромный, лохматый, медленно вышагивал среди коз и жевал траву. Он долго угрожающе смотрел на Гошку, а потом без всякого повода, точно сумасшедший, подбежал и ударил моего друга рогами в живот. Бедняга Гошка застонал и упал; из него со свистом стал выходить воздух. Пришлось мне срочно бежать домой, лечить Гошку – ставить ему заплатку.

Когда Гошка выздоровел, мы обходили козла стороной.

Гошка понравился всем жителям деревни. Случалось, идём по улице, а навстречу нам косцы.

– Отличная у тебя охрана! Лучше всякой овчарки! – скажет кто-нибудь.

– Его бы стадо научить пасти! Или в огород поставить – вмиг всех ворон распугает!



А ребята нам просто прохода не давали. Они то и дело гладили, обнимали Гошку, пытались залезть на него, но я не разрешал.

– Он ещё не совсем здоров, – говорил и показывал на Гошкину рану. – И вообще, он же не лошадь! С какой стати он должен вас катать?

Больше других за нами ходил Вовка, остроносый мальчишка в драной рубашке. Вовка не отходил от нас ни на шаг. Он хотел знать всё: сколько весит Гошка, что ест, как плавает?

Он меня просто замучил своими вопросами. Он явно хотел с нами подружиться и сразу показал самые интересные места: ручей с запрудой, куст орешника, из веток которого получались отличные дудки, старую кузницу, где обитал ёж, болотце с пучеглазыми жабами.

Чтобы Вовка особенно не хвастался и не зазнавался, я рассказал ему, как мы с Гошкой видели гнома.



ЛЮБИТЕЛИ КОМПОТА

В деревне мать часто варила компоты – густые, сладкие. Я очень любил эти компоты. Часто даже обедать начинал с них. Выпью три стакана, немного поковыряю второе, а до первого так и не дотронусь. Компоты я мог пить в любое время дня. Даже если только пообедал, спросят: «Хочешь компота?» – никогда не отказывался. Да что там днём! Ночью разбудят – всё равно пил!

Как-то я простудился. Все лекарства перепробовал, ничего не помогло, выпил горячего компота – всё как рукой сняло.

И кстати, Гошка очень любил компоты. Только холодные. На горячие всегда по долгу дул – боялся обжечься.

А вот Вовка компоты не любил и никогда не пил их. Даже компоты моей матери не производили на него никакого впечатления. Много раз он заходил к нам, и мать угощала его компотом, но он всегда отказывался. Такой был чудак!

Обычно днём мы с Вовкой играли у ручья около запруды. Плавали на Гошке, строили водяную мельницу, рыли каналы, наводили мосты. Недалеко от нас всегда играла Свечка – светловолосая худая девчонка. Она делала из глины пироги, калачи и лепёшки. Варила кашу из клевера и суп из лебеды – разноцветный, как мармелад.

Этими кушаньями Свечка кормила своих кукол и плюшевого кота Сёму.

Иногда Свечка подходила к нам и просила «обмолоть» на мельнице её муку – песок, смешанный с мелким ракушечником. Или просила разрешения походить Сёме по нашему мосту.

Однажды Свечка полоскала кукольное бельё в запруде. Рядом стоял Сёма и стеклянными глазами смотрел на воду.

– Эх, Сёма, компотику бы сейчас! – сказал я и щёлкнул кота по носу.

Свечка тут же бросила бельё, подбежала к Сёме и зашептала ему в ухо:

– Скажи мальчикам, что я сейчас сварю компот, – и побежала к своей кухне.

Вскоре она вернулась и протянула мне бутылку с водой, в которой плавали головки цветов.

– Вот, пейте! – сказала и улыбнулась.

Я схватился за живот и захохотал:

– Вот дурочка! Пейте! Ты что?! Нас на тот свет отправить хочешь?! Пусть эту дрянь твой Сёма пьёт! – сказал я и наподдал её коту. – Это даже мой Гошка пить не будет. Он ест только настоящее... – Я посмотрел на своего друга, и Гошка кивнул, поморщился и фыркнул.

Свечка схватила Сёму, прижала к себе и, закусив губу, отвернулась.

Тут подошёл Вовка, взял Свечкину бутылку и вдруг выпил компот со всеми цветами. Целую бутылку с настоящими цветами! Выпил одним махом, не отрываясь. Я думал, он умрёт. А он выпил и потянулся.

– Очень вкусный компот, – сказал. – Никогда таких не пил.

Свечка повернулась и заулыбалась снова. А потом засмеялась и отбежала от нас. И Гошка понёсся за ней – видно, тоже захотел попробовать цветочного компота.



С того дня Свечка каждый день приносила Вовке компоты. Она выбирала ему самые лучшие цветы, подолгу растирала их в ладонях, крошила в бутылку с водой и взбалтывала. И Вовка всегда пил её компоты. И ещё закатывал глаза, гладил себя по животу и кричал от удовольствия. И Гошка пил эти компоты, и тоже с неменьшим удовольствием. Свечка смеялась и прыгала от радости, а я немного жалел, что отказался от её компотов.

ОТВАЖНЫЙ И ПРЕДАННЫЙ

Однажды мы с Вовкой у ручья лепили дворец из глины. Рядом стоял Гошка и как бы давал нам советы: одобрительно кивал, если мы делали правильно, и, наоборот, мотал головой, если мы что-нибудь делали не так.

Невдалеке, у запруды, как обычно, играла Свечка.

Внезапно мы услышали всплеск и крик Свечки:

– Помогите! Тону!

Как Свечка упала в воду, ни Вовка, ни я не заметили. Мы только увидели, что она отчаянно барахтается в воде и рядом плавает её кот Сёма.

– Я не умею плавать, – пробормотал я.

– И я не умею, – с дрожью в голосе откликнулся Вовка.

Я бросился искать палку, чтобы протянуть её Свечке, но вдруг услышал гулкий плеск и увидел, что к Свечке на всех парах мчится Гошка. То ли его Вовка спихнул, то ли он сам прыгнул. Гошка быстро подплыл к Свечке, и она ухватилась за его шею.

Когда они пристали к берегу, мы помогли им выбраться из воды. Свечка начала чихать и плакать и целовать Гошку, благодарить его. А нам крикнула:

– Что ж вы Сёму не спасаете?! Он же утонет!

Я нашёл палку, подогнал кота к берегу, и Вовка выудил его за хвост.

За деревней стоял огромный узловатый дуб. Его раскидистая крона закрывала целую поляну. Даже в самые жаркие дни на поляне было прохладно.

Как-то Вовка, Гошка и я сидели под дубом и смотрели на дальнее шоссе, где проносились разные грузовики и легковушки.

– Эх, набрать бы желудей! Были бы отличные солдаты в нашем дворце, – вдруг сказал Вовка и показал на ветви над нами. Там висели светло-зелёные плоды с чашками-шлемами.

– Давай собьём их, – предложил я.

Мы начали кидать камни в жёлуди, но они, ещё незрелые, крепко держались на ветвях – ни один не упал. Эти упрямые жёлуди не на шутку раззадорили нас.

– Подсади-ка меня, влезу на дерево, – сказал я Вовке.

Вовка помог мне долезть до нижнего сука. Потом я уцепился за толстую ветвь и по ней полез выше. Шершавая кора царапала руки и ноги, но я продолжал карабкаться.



Я забрался так высоко, что почувствовал, как ветер раскачивает дерево. Прямо надо мной проплывали облака, но казалось, что они стоят на месте, а по небу плывёт дерево и я вместе с ним. Гроздь желудей были совсем рядом, но я всё равно не мог до них дотянуться.

– Нужна палка! – крикнул я Вовке и посмотрел вниз.

И только в этот момент понял, что залез слишком высоко. И Вовка и Гошка выглядели совсем маленькими. У меня закружилась голова. Я хотел опуститься на нижнюю ветку, но ноги не дотянулись до неё. Обхватив ветвь, я висел в пустоте.

– Зови на помощь! Я не могу слезть! – в страхе закричал я.

– Прыгай! – откуда-то издали донёсся Вовкин голос.

Я ещё раз посмотрел вниз и увидел, что Вовка подталкивает Гошку под ветвь, на которой я повис. Мои руки ослабели, и я полетел к земле.

Я упал на Гошку, как в мягкую перину. Даже ни капли не ушибся...

А потом Гошка и Вовку спас. Тот козёл, который боднул Гошку, совсем спятил. Начал гоняться по деревне за ребятами. Одни говорили, что ребята его дразнили, другие – что он просто объелся перебродившей вишни.

Вовка козла не дразнил. Он спокойно шёл ко мне – мы договорились идти к ручью. Вовка уже приблизился к нашей изгороди, как вдруг я увидел, что к нему во всю прыть несётся козёл.

Я не успел и рта раскрыть, как в калитку протиснулся Гошка и встал между Вовкой и своим обидчиком. У Гошки был очень грозный вид. Видимо, он решил проучить козла раз и навсегда. И козёл это понял – остановился точно вкопанный. Потом как-то извинительно заблеял, брыкнулся и убежал.

В ЗООПАРКЕ

Осенью я пошёл в школу. Мать уложила в портфель школьные принадлежности и сказала:

– Ну вот, теперь ты стал взрослым. Теперь ты должен хорошо учиться, а Гошку давай уберём в чулан.

– Нет, – заявил я. – Гошка будет учиться со мной. Я приду из школы, и мы будем вместе решать задачки.

Мать только вздохнула.

Вначале в школе я сильно скучал по Гошке и после занятий сразу же мчал домой; выгуливал Гошку и рассказывал ему, что было на уроках.

Гошка слушал рассеянно, зевал, закрывал глаза. Почему-то мои занятия его совсем не интересовали. И решать задачки он не хотел. Он как бы говорил: «Зачем мне учиться, я и так умный!»

Позднее в школе у меня появились новые друзья и новые увлечения: я стал собирать марки и оловянных солдатиков. Марками обменивался с одноклассниками, а солдатиков делил на две армии и устраивал сражения. С Гошкой играл всё реже,

но он не обижался: откуда-нибудь из угла следил за моими баталиями или дремал, прислонившись к шкафу.

...Так прошёл весь учебный год. На лето меня отправили в лагерь, а когда я вернулся, Гошку дома не застал.

– Я отвела его в зоопарк, – пояснила бабушка. – Там ему с бегемотихой просто замечательно. Помнишь бегемотиху Машку?

Я побежал в зоопарк.

Ещё издали в вольере заметил бегемотиху, но Гошки рядом с ней не было. У вольера я столкнулся с усатым мужчиной-смотрителем. И только хотел спросить про Гошку, как внезапно в бассейне что-то плеснуло, и на поверхности воды показалась вначале голова, а потом и вся серо-зелёная туша ещё одного бегемота.

– Видал, как твой бегемот подрос? – спросил меня мужчина и кивнул на животное. – Все говорят, его недавно к нам доставили, но мы-то с тобой знаем, кто это, правда? – Он улыбнулся и обнял меня за плечи.

Я посмотрел на вылезшего из воды бегемота и вдруг заметил, что его пасть дрожит от улыбки, а в глазах мелькают знакомые озорные смешинки.

Бегемот посмотрел в мою сторону, закивал головой и пошевелил ушами, и я сразу узнал в нём Гошку.

И Гошка меня узнал: подмигнул мне, подбежал к изгороди, и его пасть растянулась в радостном приветствии.



СПУСТЯ МНОГО ЛЕТ

Закончив школу, я уехал в другой город, но Гошка всегда оставался со мной. Как мечта о друге. Он всегда появлялся, когда я вспоминал о нём. И больше меня радовался моим успехам, и больше меня огорчался, если мне не везло. Гошка исчезал только когда я забывал о нём.

Спустя много лет я вернулся в город своего детства. Разыскал наш дом и случайно на чердаке среди рухляди нашёл пыльный свёрток резины. Стряхнув пыль, я вынес свёрток на улицу, развернул и, обнаружив пробку, надул.

Гошка сильно постарел: был весь в морщинах и складках, вместо улыбки виднелась горькая гримаса. Что-то далёкое и радостное охватило меня.

Некоторое время Гошка обидчиво смотрел в мою сторону, как бы укоряя за долгое отсутствие, за то, что я совсем забыл его.

Я рассказал Гошке всё. И он всё понял и простил меня. Снова, как когда-то, он кивнул головой и шевельнул ушами; подмигнул мне, и его пасть растянулась в улыбку. Гошка уткнулся в мои ноги, и я обнял его.

Нас окружили ребята. Одни – с заводными игрушками, другие – с новыми блестящими велосипедами.

– Что это за чучело, дядь?! – спросил один из мальчишек, и ребята рассмеялись.

Где им было знать, что старый облезлый бегемот был моим самым близким другом в детстве, что он мне дороже самых дорогих игрушек и ничто никогда не заменит его.





МОИ ЧУДАКОВАТЫЕ РОДСТВЕННИКИ

В НАШЕЙ СЕМЬЕ

В детстве я отличался умением приврать, причём временами врал с такой фантазией, что сам удивлялся своим способностям. Надо сказать, что вралем я слыл только в нашей семье, во дворе мои штучки не проходили. Раза два я пытался что-то загнуть ребятам, но меня быстро разоблачили, и я оставил свои замашки. Вообще-то, и в семье мне мало кто верил, разве что младший брат и бабушка. Брату я сочинял такие небылицы, что у него захватывало дух.

– Вот это история, я понимаю! – прищёлкивал он языком. Правда, иногда сомневался:

– А ты не выдумываешь?

Чтобы развеять его сомнения, я клялся пиратскими клятвами: «Пусть меня схватит осьминог, если вру!..» Или: «Разрази меня молния!» Или что-нибудь ещё такое.

Ну, а бабушка всегда верила каждому моему слову.

Однажды я пролил чернила на скатерть и всем объявил, что они сами пролились.

Мать сразу на меня накричала:

– Ты закоренелый врун! Я вижу тебя насквозь! Учти, моё терпение имеет пределы!

А бабушка мягко сказала:

– Вполне возможно. Это очень похоже на правду, ведь в окно дул ветер, – и таинственно улыбнулась.

Нередко я и сам верил в то, что говорил. Как-то бабушка спросила:

– Кажется, дождь за окном?

Я тут же откликнулся:

– Ага! – хотя на улице было сухо.

Но бабушка поверила и, собираясь на рынок, взяла зонт.

В тот же вечер бабушка обратилась ко мне:

– Что-то я слышала шум во дворе? Будто ловили кого?

– Да, было дело, – ответил я. – Ловили. Тигра!

– Как тигра! – удивилась бабушка. – Да откуда же он взялся?

– Сбежал из зоопарка! – моментально брякнул я.

– Неужто?! – ужаснулась бабушка. – Так ведь он мог загрызть кого-нибудь!

– Так он и загрыз! – хмыкнул я. – Пять человек!..

Бедная моя доверчивая бабушка! Мне иногда даже было жалко её, но я уже не мог остановиться, и с каждым днём врал со всё возрастающим напором.

– Чёрт-те что, а не сын! – сердился отец.

– И в кого он, что из него получится? – вторила ему мать. – В один прекрасный день моё терпение лопнет.

Но бабушка меня защищала:

– Он очень способный. Находчивый, с богатым воображением. Из него выйдет хороший художник или артист, или даже слесарь (эту профессию бабушка считала самой престижной и сложной, поскольку её муж, мой дед, был слесарем-виртуозом, мастером высочайшего класса, довольно известным в пределах нашей улицы).

«Бабуля у нас ничего, – думал я. – Жаль, такая старомодная, и вкус у неё того...».

По моим понятиям бабушка смотрела не те кинофильмы, которые следовало смотреть, и слушала какие-то дурацкие пластинки. К единственному достоинству бабушки я относил её увлечение настольными играми, и прежде всего – шашками. Она вполне прилично играла в шашки, но, конечно, не так хорошо, как я.

Кстати, в нашей семье все играли неплохо, и по вечерам мы часто устраивали затажные баталии. В табели о рангах я стоял вторым после отца.

Я любил играть в шашки с матерью, с братом и с соседкой тёткой Викторией, которую постоянно ловил на зевках, но больше всего – с бабушкой. С бабушкой у нас был счёт 97:1 в мою пользу. Шутка сказать! Я выиграл у бабушки 97 партий и только одну проиграл. И то случайно.

Обычно бабушка не успевала сделать и семи ходов, а я уже ставил дамку. И тут начиналось самое интересное: моя дамка врывается в бабушкины боевые порядки и щёлкала её шашки как орехи! Одну за другой! Бабушка то снимала, то надевала очки.

После игры с бабушкой у меня всегда было прекрасное настроение. Весь вечер я ходил, насвистывал и всем давал разные советы.

Моё настроение не портилось и после игры с матерью, братом и соседкой тёткой Викторией. У них я тоже выигрывал. Не так часто, как хотелось бы, но гораздо чаще, чем они у меня. Единственно, кто портил мне настроение – это отец. Он у меня всё время выигрывал. Игра с ним была сплошной нервотрёпкой; он никому не разрешал подсказывать мне и не давал ходы обратно, а выиграв партию, победоносно заявлял:

– Вот так мы вас, врунов и хвастунов!

Я не любил играть с отцом, и не на шутку злился, когда ему проигрывал. Как-то он выиграл у меня пять партий подряд, так я не разговаривал с ним целую неделю. Но однажды, в момент отличного настроения, я вдруг выиграл у отца сразу две партии; выиграл начисто, в атакующем стиле.

– Всё! – воскликнул я. – Больше не играю! Я – чемпион!

– Сию минуту! Это нечестно! – возмутился отец. – Ты две партии выиграл, две проиграл. Давай играть контрольную партию.

– Ничего не знаю! – сказал я. – Последнюю партию я у тебя выиграл, значит, я – чемпион. Последняя партия – главная!

– Ничего подобного! – отец всё больше выходил из себя. – Чепуха! Почему это последняя главная?!

Отец горячился, грозил, что больше вообще не будет со мной играть, но мне уже было всё равно, я присвоил себе звание «чемпиона квартиры и лестничной клетки» (тётка Вика жила в квартире напротив нашей).

С того дня я играл только с матерью, с братом, с бабушкой и соседкой тёткой Викторией. Среди них я вполне заслуженно носил титул «абсолютного чемпиона».

Однажды брат принёс из библиотеки книжку «Игра в шашки» и сказал:

– Давайте изучим комбинации и ходы, научимся играть по-настоящему хорошо! Я засмеялся:

– Научимся! Это вам надо учиться. Мне-то зачем? Я и так чемпион! Учитесь, а когда научитесь, я вам дам сеанс одновременной игры!

Мои слабосильные партнёры – все, кроме отца и бабушки, начали азартно штудировать книжку, а я ходил, посмеивался, ждал, когда они повысят мастерство.

Но через неделю у меня с ними всё чаще стали получаться ничьи, а затем и мать, и брат стали у меня выигрывать каждую партию.

Даже соседка тётка Вика, которая вечно зевала шашки и до этого никогда ни у кого не выигрывала, неожиданно расчихвостила меня, словно начинающего игрока. Как и с отцом, играть с ними стало сплошной мукой. Чтобы не портить себе настроение, я бросил с ними играть вообще, попросту добровольно сложил с себя чемпионское звание.

Я продолжал сражаться только с бабушкой. Её-то я громил по-прежнему, безжалостно разбивал в пух и прах. Как-то я похвалился брату:

– Я уже выиграл у бабушки больше ста партий! Я могу выиграть у неё с закрытыми глазами!

Брат усмехнулся:

– Сегодня вечером бабушка сразится с отцом. Вот это будет баталия!

– Какая баталия?! – скривился я. – Бабушка продует, и всё. Как пить дать.

После ужина бабушка с отцом сели за доску.

Мать, брат и соседка тётка Вика были зрителями, а я встал за бабушкиной спиной, приготовился ей подсказывать.

Но моя старушенция сразу обрушила на отца такую мощную атаку, что после пятнадцати ходов он поднял руки и выдохнул:

– Сдаюсь!

Во второй партии отец продержался ещё меньше.

– Ничего не понимаю, – шепнул я брату.

– Чего ж здесь непонятно, – усмехнулся брат. – Бабушка играет лучше отца. Это давно всем известно...



ВЕЛИКОЕ СРАЖЕНИЕ

В нашем дворе ребята тоже сражались в шашки, и если семейные игры я рассматривал как бои местного значения, то дворовые – боями мирового масштаба. Неслучайно и чемпиона двора по шашкам – Генку нарекли «чемпионом мира».

Было и ещё одно отличие домашних игр от дворовых: после поражений в семье, противники в худшем случае дулись друг на друга, а во дворе частенько пускали в ход и кулаки. Не раз боевые действия за доской переходили врукопашную (если кто-то подсказывал), а то и заканчивались всеобщей потасовкой (если кто-то двигал шашки за игроков). Как правило, после потасовок тут же заключалось перемирие и игра возобновлялась вновь.

Во дворе, как и в семье, я занимал почётное второе место. Первое – прочно удерживал Генка.

Обычно Генка выходил во двор со своей доской. Шашки у него были старые, деревянные, лак с них давно облез. А у меня шашки были новенькие, костяные (кроме шашек, которыми мы играли в семье, я имел свои – в них играл только особо ответственные партии).

Много раз Генка просил меня обменяться шашками; предлагал в придачу разные вещи: перочинный нож, линзы от бинокля, но я не менял.

Я часто проигрывал Генке, но однажды при всех ребятах сдал ему сразу десять партий. Это было самое позорное поражение за всю мою спортивную жизнь как шашкиста. И кстати, оно случилось сразу же после того, как я сложил свои чемпионские полномочия в семье. Такой двойной удар я еле выдержал, расстроился жутко, так, что подумал: «А не забросить ли эти проклятые шашки вообще?».

Вечером я пришёл к Генке и сказал:

– Ладно, давай меняться.

Генка обрадовался, протянул мне свою старую доску, перочинный нож, линзы от бинокля... – а я всё медлю, не решаюсь расстаться со своими новенькими шашками. Генка заметил моё колебание и вдруг сказал:

– Ну хочешь, ещё при всех во дворе обыграешь меня? Я нарочно буду тебе поддаваться?!

Это было оскорбительное предложение, но я уцепился за него. Привыкнув врать, я и в этом подвохе не увидел ничего страшного.

– Давай десять раз, – сказал я Генке, чтобы себя полностью реабилитировать перед ребятами.

– Хорошо. – Генка расплылся, и мы обменялись шашками.

На следующий день, когда во дворе собрались ребята, я зашёл к Генке снова.

– Пойдём, – сказал ему, – уже все в сборе. И смотри, больше поддавайся, а то ещё выиграешь случайно.

Генка кивнул, взял мои шашки, и мы вышли во двор. Торжественным шагом я прошёл к середине двора и широким жестом пригласил ребят рассаживаться, давая понять, что предстоит великое сражение, бой не на жизнь, а на смерть.



Как только мы начали играть, некоторые ребята стали мне подсказывать удачные, по их мнению, ходы. И вдруг одним ходом я уничтожил сразу четыре Генкины шашки. Генка тут же сдался.

Во второй партии Генка сопротивлялся чуть дольше. В третьей только и успел сделать пару-тройку ходов, но его бастионы уже трещали по всем швам.

Выиграв три партии, я посмотрел на ребят. Они сидели молча, с разинутыми ртами.

Мы принялись за четвёртую партию. Больше мне уже никто не подсказывал, а, наоборот, подсказывали Генке. Я великодушно разрешал. После пятой партии я привстал и обратился к ребятам:

– Ну, кто ещё хочет?

Ребята играли на моём уровне, кто-то чуть лучше, кто-то чуть хуже, но в этот момент все сдрейфили. Никто из них не отважился бросить мне вызов – ведь мне проиграл сам Генка! И целых пять партий подряд! Генка, который до этого расправлялся с нами, как с младенцами, всех сокрушал на своём пути к славе.

Я расставил шашки для шестой партии, и тут меня занесло, с чего – и сам не знаю, что-то ударило в голову, будто шарахнуло молнией. Мне показалось, что я и в самом деле стал лучше Генки играть.

Достав из кармана нож и линзы, я положил их перед своим противником и сказал: – На! Я передумал меняться. Я и так лучше тебя играю.

– Ты что? – зашептал Генка, наклонившись, и стал корчить мне разные гримасы. – Мы же договорились!

– Не буду меняться! – твёрдо повторил я. – Расставляй шашки, обыграю тебя в последний раз!

Генка опустил голову, вздохнул, а потом молниеносно, за несколько ходов, съел все мои шашки. Одним махом убил меня наповал.

ВЕЛОСИПЕД МОЕГО ДЯДИ

В нашем городке некоторые холостяки жили в захламлённых комнатах с ободранными обоями и облупившейся побелкой. Эти холостяки одевались кое-как, питались урывками и завидовали семейным друзьям. К таким, например, относился дядя Кирилл, электромонтёр с нашей улицы.

Но были у нас и другие холостяки, которые, наоборот, отличались повышенной чистоплотностью – в их комнатах царил идеальный порядок, они следили за своим внешним видом, завтракали, обедали и ужинали по расписанию, бахвалились здоровьем и посмеивались над разными семейными, над их вечными заботами. К этим вторым принадлежал мой дядя.

Дядя жил в конце нашей улицы, в небольшой комнате большой коммунальной квартиры. Дядя был невероятный аккуратист: ходил в накрахмаленных, отутюженных рубашках, в его комнате не было ни соринки, ни пылинки и, конечно, все вещи лежали на своих местах. Не дай бог я что-нибудь возьму и потом положу не на то место! Дядя заметит – разнос мне обеспечен.

– Твой отец и твоя мать, моя легкомысленная сестрица, совершенно не занимаются твоим воспитанием, – говорил дядя. – Воспитание – это границы, за которые нельзя переступать. Ты к этому абсолютно не приучен.

У дяди был чётко заведённый ритм жизни, он не пил, не курил, не ел острого и солёного, сладкого и жирного.

– Хочет быть бессмертным, – усмехался мой отец, заядлый курильщик и большой любитель пива.

– Лучше быть молодым и здоровым, чем старым и больным, – очень просто объясняла моя мать.

По воскресеньям дядя устраивал уборку квартиры, причём в основном всё делал сам, а жильцы только ему помогали. В минуты трудового энтузиазма, покончив с квартирой, дядя выходил на лестничную клетку и там наводил чистоту.

Однажды, в момент особого трудового подъёма, дядя добрался до чердака и ужаснулся – перед ним открылся целый склад пыльной рухляди. Не долго думая, дядя пришёл к нам и сказал мне:

– Нужна твоя помощь. Я буду кидать с чердака всякий хлам, а ты стой внизу, смотри, чтобы никому не упало на голову.

Задание было ответственное, и я с радостью согласился.

Целый час я никого не подпускал к подъезду – всё это время из чердачного окна летели поломанные стулья, торшеры, зонты; словно кометы с хвостами пыли они описывали в воздухе дугу и падали на землю, разбиваясь вдребезги.

И вдруг вещепад прекратился и в подъезде появился дядя с... покорёженным велосипедом.

– Вначале хотел его тоже запустить, – заявил он. – А потом подумал, может, ты починишь и будешь кататься... Но ко мне эту колымагу не приноси, – дядя брезгливо скривился, но тут же рассмеялся: – По-моему, я хороший подарок тебе отгрохал!

Велосипед был старый, женский и настолько ржавый, что я так и не разобрал, какой он марки.

Надо сказать, к тому времени я уже достаточно хорошо катался на велосипеде. Своего у меня не было (в нашей семье и на более необходимые вещи не хватало денег), я катался на чужих, но ездил по-настоящему здорово. Мог ехать «без рук» и «без ног», мог лежать на седле и крутить педали руками, мог вообще не ехать, балансируя на одном месте – короче, довёл технику вождения до совершенства и вполне мог бы выступать в цирке.

Когда я прикатил велосипед во двор, мои дружки чуть не лопнули от смеха:

– Вот это да! Драндулет! Ну и керосинка!

Не обращая на них внимания, я отнёс велосипед в подвал и принялся за ремонт. Разобрал всю машину до болтов и гаек, каждую деталь отчистил от ржавчины и смазал машинным маслом. Выправил раму, из колёс вынул погнутые спицы и заклеил камеры. После всей этой процедуры собрал велосипед и попробовал прокатиться.

В общем-то ехать было можно. Правда, всё время лопались шины и велосипед сносило в сторону из-за кривой передней вилки. И от того, что не хватало спиц, колёса восьмерили и подпрыгивали. И постоянно соскакивала цепь. Ну и, само собой, велосипед скрипел, лязгал, трещал, выл, только что не лаял и не мяукал.



Временами задняя втулка так страшно тархтела, что прохожие останавливались и обалдело смотрели мне вслед не в силах понять – что это за грохочущее ископаемое чудище? А меня раширало от счастья – наконец-то я стал владельцем собственного транспорта. Старый допотопный велосипед был мне особенно дорог, потому что я отремонтировал его своими руками. Самостоятельно, без всякой помощи дал машине вторую жизнь. И новое имя – «велик».

На следующий день я выкрасил велосипед ярко-синей краской и поставил его сохнуть во дворе на видном месте. Мои дружки уже, ясное дело, не смеялись; они вздыхали и ахали:

– Вот это да! Классная машина!

Некоторые робко тянули:

– Дай прокатиться?

– На драндулетах и керосинках не катаются! – безжалостно отрезал я.

Теперь каждое утро я выносил велосипед во двор, протирал его тряпкой, отходил и смотрел на него со стороны, ждал, пока ребят собиралось побольше. Потом вскакивал на своё сокровище и проделывал коронный номер – ехал «без рук». Ребята стонали от зависти.

Понятно, мой старый велосипед часто ломался. До конца лета рама треснула и её пришлось обмотать проволокой, от седла остались одни пружины, и я заменил его подушкой; переднее колесо напоминало яйцо, а заднее – восьмёрку. На велосипеде уже нельзя было проехать и одного километра, чтобы не потерять какую-нибудь гайку. Но всё же ехать было можно.

И вот в эти последние летние дни в наших домах появилась девчонка, похожая на сказочную Мальвину. Она вышла во двор со стаканом вишни. Идёт по двору, ест ягоды, а косточки выплёвывает. Увидев меня (я устранял очередную поломку велосипеда), подошла и проговорила:

– Красивый у тебя велосипед. Дай прокатиться?

Я подтолкнул машину, девчонка поставила на землю стакан, разбежалась, ловко прыгнула на седло-подушку и отлично откатала два больших круга.

– Хороший велосипед! – сказала она. – Немного громко катит, но это даже интересно, правда? – И, подняв стакан, отсыпала мне несколько ягод в награду за доставленное удовольствие.

– Я из Винницы, – объяснила девчонка. – Мы с мамой приехали в гости к бабушке. Скоро уезжаем обратно. Надо идти в школу. Меня зовут Наташа. А тебя как?

Позднее мы встретились у колонки, когда я брызгал себе на лицо, подставив ладонь под тугую, как жгут, струю воды (взмок от гонки на велосипеде). Наташа спросила:

– А здесь где-нибудь купаться можно?

– На окраине отличная речка. Серебрянка. Три километра отсюда, – объяснил я.

– Далеко, – Наташа покачала головой. – А я так люблю плавать и нырять. Я умею нырять «солдатиком», и «ласточкой», и «рыбкой»...

«Вот это девчонка!» – подумал я и почувствовал сильное волнение, но всё же справился с ним и проговорил:

– На велосипеде до Серебрянки десять минут.
– А лес? – спросила Наташа. – Там есть лес?
Я кивнул.
– Давай завтра поедем за малиной? – Наташа погладила руль моей машины. – На твоём велосипеде... Сейчас должно быть много малины.
До позднего вечера я подтягивал различные узлы велосипеда – готовился к поездке, и всё бормотал: «Смотри, велик, не подведи!» Особенно я укреплял багажник – сиденье для своей будущей спутницы.
Мы с Наташей договорились встретиться в три часа, но я прикатил чуть раньше. Погода стояла жаркая, от раскалённой мостовой струился горячий воздух.
Наташа выбежала с бидоном, поздоровалась и сказала:
– Только ненадолго, а то я маме не сказала.
На мощённых камнем улицах велосипед трясло и подбрасывало, и Наташа то и дело «ойкала», но когда мы выехали на окраину и началась грунтовая дорога, велосипед покатил стремительно и ровно.
До леса мы доехали без происшествий. «Молодец, велик!» – похвалил я велосипед про себя.
Въехав в лес, мы свернули с дороги, замаскировали велосипед в кустах около просёлочного колышка и пошли в глубь леса. Вскоре набрали на густой малинник и стали обрывать сладкие ягоды. Когда наполнили треть бидона, Наташа увидела в стороне ещё одни заросли малины и мы перебрались на новое место.
Потом я набрёл на кусты, сплошь усыпанные ягодами. Забыв о времени, мы ходили по лесу, пока не набрали полный бидон малины, а уж съели её столько, что во рту появилась оскомина.
– Ты весь перепачкался соком! – смеялась Наташа.
Потом мы долго искали просёлочную дорогу и когда, наконец, подошли к колышку, стало темнеть. Вытащив велосипед из-под кустов, я привязал бидон к раме и сказал своей спутнице:
– Садись!
Наташа впрыгнула на багажник, я оттолкнулся и нажал на педали.
Сумерки сгущались, но когда мы выехали из леса стало светлее. Недалеко от опушки велосипедная цепь странно закричала. Я сбавил ход, но скрип усилился, перешёл в скрежет и вдруг цепь... лопнула. Надо же! В самый неподходящий момент «велик» меня подвёл!
– Что случилось? – тревожно спросила Наташа когда мы остановились.
– Цепь сломалась, – растерянно пробормотал я.
– Так что ж ты не чинишь?
– Сейчас, – я попробовал соединить перетёршееся звено в цепи, но ничего не получилось.
– И так дойдём, – с напускной бодростью сказал я.
– Мне надо домой, – дрогнувшим голосом сказала Наташа и внезапно выбежала на середину дороги, подняла руку и закричала:
– Пожалуйста, остановите! Пожалуйста!

Я обернулся – к нам приближался какой-то велосипедист – на дороге прыгало светлое пятнышко от фары.

– Что случилось? – около нас остановился высокий мужчина, и я сразу узнал в нём дядю Кирилла, электромонтёра с нашей улицы.

– Да вот велосипед сломался, – тяжело вздохнул я.

– А мне надо скорее домой, – чуть не плача произнесла Наташа. – Пожалуйста, отвезите меня домой...

– Какие могут быть разговоры?! Садись на раму, – дядя Кирилл позвонил в звонок, как бы подчёркивая, что доставит Наташу с полным комфортом.

– А как же ты? – обратился он ко мне. – У меня багажника нет, а твой будем перекручивать, провозимся неизвестно сколько.

– Доберусь! – буркнул я.

– Ну, конечно, чего там! – дядя Кирилл махнул рукой. – Через полчаса доберёшься.

Наташа подбежала к моему велосипеду, отвязала бидон и быстро вернулась к дяде Кириллу. Он посадил её на раму и бросил мне:

– Полный вперёд, за нами! – и снова позвонил, как бы приободряя меня.

– До свидания! – крикнула Наташа, когда они отъезжали.

Подходя к окраине городка, я чувствовал себя жутко подавленным. Меня не огорчал сломанный велосипед – было обидно от неожиданного предательства.



Я даже не спешил домой; толкал перед собой велосипед и еле перебирал ногами. А впереди уже один за другим зажигались огни в домах.

В ту ночь я долго не мог уснуть – переполняла горечь обиды. Проснулся от стука – кто-то кидал в окно... ягоды малины; всё стекло было в красных подтёках. Вскочив с кровати, я распахнул окно и увидел Наташу с банкой малины в руках.

– Прости меня, пожалуйста, – тихо сказала она, когда я вышел из дома. – Знаешь, как мне попало дома... И когда стемнело в лесу, мне стало страшно... Не сердись, пожалуйста...

«В самом деле она могла испугаться, ведь она девчонка», – подумал я. Мне вдруг захотелось сказать ей что-нибудь хорошее, но я только сказал:

– И не сержусь я вовсе...

– Хочешь, завтра поедем на речку купаться? Только утром, чтобы днём вернуться. – Наташа посмотрела мне прямо в глаза.

– Не на чем ехать! Велосипед-то сломался.

– Ничего! И так сходим. Хочешь? – Наташа улыбнулась и протянула мне банку с малиной. – Это тебе...

И радость и грусть одновременно нахлынули на меня. Радость – от предстоящего похода на речку, грусть – от того, что Наташа через несколько дней уезжала. О велосипеде и думать не мог – сразу боль пронзала сердце. Вообще, я не представлял, как буду жить дальше без Наташи и велосипеда.

ПОЖАРНЫЙ

Кроме дяди-холостяка, невероятного аккуратиста, у меня был ещё один дядя – пожарный; правда, пожарный-любитель, но это для меня не имело значения. Этим своим дядей я гордился больше, чем ребята, у которых отцы и дяди были артистами, всякими начальниками или даже военными.

– Чтобы быть пожарным, нужно быть смелым, ловким и сообразительным, – говорил я ребятам. – Но эти три качества редко бывают у одного человека. Обычно как? Человек сильный и смелый, но неуклюжий. Или ловкий и сообразительный, но хилый и трус. Вот поэтому и мало хороших пожарных, – заключал я и, как образец идеального пожарного, приводил в пример дядю.

В отличие от дяди-холостяка дядя-пожарный имел большую семью и слыл образцовым семьянином. Дядя-пожарный жил в нашем дворе, в доме напротив; у входа в его квартиру красовалась надпись: «Чины, звания и плохое настроение оставьте за дверью!». У дяди было сильно развито чувство ответственности за всё происходящее в нашем городке. По словам дяди, в нашем городке царила полная безалаберность и неразбериха.

– ...Возьмите пожары, – говорил он. – На случай пожара ровным счётом ничего не предусмотрено. Противопожарных средств на улицах нет, телефонная будка одна на девять улиц и в ней, как правило, аппарат не работает. А ведь пожар – самая страшная штука из всех стихийных бедствий! Понимаете,

что я хочу сказать?! Что наше районное начальство – сплошь безответственные люди!

До того как стать пожарным, дядя часто менял занятия – он был талантлив во многих областях. А менял занятия он не потому, что не находил работы по душе – просто ему не везло. Вначале дядя работал художником по рекламе, точнее, шрифтовиком. Но однажды по неосторожности он бросил папиросу в спиртовые лаки, и рекламная мастерская сгорела дотла. Дядя отделался большим штрафом, причём деньги собирали все наши родственники, справедливо решив, что большой штраф всё-таки лучше самого малого срока в тюрьме.

Выплатив штраф, дядя устроился актёром в какую-то гастрольную труппу (актёром вспомогательного состава, конечно, у дяди не было необходимого образования, зато была колоритная внешность, хорошие манеры и низкий, густой голос). Но как-то после спектакля дядя забыл выключить утюг в костюмерной и чуть



не спалил весь театр. Дядю уволили, но он, неунывающий, стал парикмахером. Только, делая завивку какой-то важной даме, немного подпалил ей волосы, и из парикмахерской ему пришлось уйти.

После этого дядя работал часовщиком, садовником, поваром, и везде по его вине что-нибудь горело – прямо заклятье какое-то! Даже работая спасателем на водной станции, он умудрился что-то прожечь под водой! Вот тогда-то у дяди и появилось невероятное чутьё на пожары. Вернее, после всего этого.

В то время он работал музыкантом – играл на барабане в заводском оркестре. Однажды на концерте дядя уловил запах гари и бросился через весь зал к выходу. Зрители зашумели – никто ничего не понял, и дядю сразу же хотели уволить за срыв концерта, но позднее оказалось, что, действительно, на соседней улице что-то загорелось, а поскольку дядя первым вызвал пожарную команду, его не только не уволили, а, наоборот, о нём, как о герое, напечатали в газете.

С тех пор, где бы дядя ни был – дома, на улице или на концерте, всегда первым чувствовал запах дыма, раньше всех прибежал на пожар и организовывал тушение. За это профессиональная пожарная команда присвоила ему звание почётного пожарного. Хотели дать и медаль, но, к сожалению, не дали.

– Пожадничали, – сказал я дяде с досады.

– Не надо мне никаких медалей, – буркнул дядя. – Слава – это чепуха. Я просто выполняю свой долг. Долг честного человека, понимаешь, что я хочу сказать?! Во всяком случае, мне за свою жизнь краснеть не приходится (к этому времени дядя на чисто забыл о предыдущих пожарах, которые случались из-за его головотяпства).

Как почётный пожарный, дядя постоянно следил, чтобы на улицах все тушили окурки и спички, расклеивал плакаты о том, как предупредить пожар, читал лекции о борьбе с огнём. Но главное, дядя перестал менять профессии – до самой пенсии стучал на барабанах в заводском оркестре. Кстати, лекции дядя читал вдохновенно, артистично и под конец непременно говорил:

– ...Возможно в огне есть колдовство! Огонь завораживает, парализует волю. Потому на пожаре многие и стоят обалделые и ничего не делают. Понимаете, что я хочу сказать?! Нужно иметь немалую силу воли, чтобы взять себя в руки. И чем раньше вы придёте в себя, тем быстрее укротите огонь – это ненасытное чудовище.

После таких слов у многих мурашки бежали по спине, в том числе и у меня (я был постоянным слушателем дядиных лекций), но тем не менее я знал, что непременно буду пожарным. Таким, как дядя.

В те дни я с утра ходил по двору и ждал, когда что-нибудь загорится. «Вот, – думал, – сейчас загорится забор, подожду, пока разгорится получше, чтобы был настоящий пожар, и начну тушить». Перед крыльцом я заранее приготовил ведро воды, лопату, ящик с песком; дома имел бинты и мазь от ожогов, на случай если кому-то придётся оказывать первую помощь.

С утра ходил и ждал пожара, но как назло ничего не загоралось.

Пожар случился, когда я меньше всего на него рассчитывал: сидел на крыльце и читал приключенческую книгу. Так увлёкся чтением, что и не заметил, как из сарая

в углу двора пошёл дым. Заметил только, когда дым повалил густой, перекрученной струёй. Эта струя, словно тёмная река, пересекла весь двор и хлынула на крыльцо.

Вбежав в сарай, я увидел – из урны с газетами вырывается пламя. План тушения созрел не сразу; минут десять я в растерянности глазел на огонь (дядя был прав – огонь полностью парализовал мою волю и способность соображать), потом всё же пришёл в себя и понёсся к дому за ящиком с песком.

Когда я вернулся, огонь уже охватил стену сарая и от неё било таким жаром, что нельзя было подойти. Едкие клубы дыма с невероятной скоростью заполняли весь двор. Мне стало страшно.

И вдруг я увидел – к сараю с полными вёдрами воды спешит дядя. Выплеснув воду на пламя, дядя отломал горящие доски, отбросил в сторону. Потом снял куртку, стал ею сбивать красные языки.

Огонь потух, но отдельные обугленные доски ещё тлели и дымили. Я сбегал за лопатой и начал присыпать доски песком. Когда засыпал, дядя пожал мне руку и сказал:

– Из тебя выйдет пожарный, такое у меня соображение. Ты не поддался колдовству огня, не то что некоторые, – дядя кивнул на соседние дома.

Только тут я заметил, что во всех окнах виднеются неподвижные, словно маски, лица обитателей нашего двора. Они смотрели на сарай, полностью околдованные огнём.

ЖАДНОСТЬ

Все считали меня добрым, а на самом деле я был жадный. То есть не такой жмот, что вообще никому ничего не давал, но всё же жадный. К примеру, мне было жалко отдавать свои вещи, даже пустяковые. Я не показывал вида и говорил: «Бери, пожалуйста», а самому было жалко. Даже если эти вещи мне были не нужны, но раз они кому-то понадобились, значит, и мне могли пригодиться.

В какой-то момент и мои друзья заметили, что я отдаю вещи с превеликим трудом. Однажды ко мне подошёл Генка.

– Дай, – говорит, – почитать «Королевских пиратов».

– Не могу, – говорю. – Сам читаю.

– Когда прочитаешь, дашь?

– Угу!

Венька попросил у меня краски порисовать, а Петька бинокль – посмотреть на дальние дома.

– Не могу дать, – сказал я Веньке. – Сегодня самому надо рисовать.

И Петьке:

– Вечером сам хочу кое-что рассмотреть.

Через два дня Генка встречает меня и спрашивает:

– Прочитал?

– Что?

– «Королевских пиратов».

– А-а, – вспомнил я. – Нет. Ещё только половину. Я медленно читаю. Каждую страницу. Не как некоторые.

– Ну, ладно, – вздохнул Генка. – Когда закончишь, дашь?

– Угу!

В тот же день ко мне подошёл Венька.

– Сегодня дашь? – спрашивает.

– Нет, не могу, – говорю. – Сам... читаю!

– Что читаешь? – удивился Венька.

– Книгу.

– Да я у тебя краски просил!

– А да! – поморщился я. – Рисую ещё, рисую.

Чуть позже я встретил Петьку.

– Ну как? – спрашивает он. – Сейчас дашь?

– Нет, нет, – говорю. – Сам читаю!.. то есть рисую!.. то есть смотрю!..

После этого ребята перестали со мной общаться. Так, поздороваются и сразу отходят в сторону.

«Ничего, – думал я, – вот погодите, отец купит кожаный мяч, я посмотрю, как вы начнёте ко мне липнуть!»

Вскоре отец купил мне мяч. Новый, футбольный. Надул я его, зашнуровал, вышел во двор. Ребята играли в ножички. Ворвавшись в круг, я ударил мяч о землю и выдохнул:



- Во!
- Отличный мячишко! – загорелся Генка.
- Классный! – прищёлкнул языком Венька.
- Шарик что надо! – добавил Петька.

Ребята потрогали гладкую кожу, разом как-то горько вздохнули и вдруг... присели снова играть в ножички. От удивления я разинул рот. Увидев такой мяч, они должны были немедленно забросить все игры, тем более какие-то ножички!

Я начал бить мяч о стену сарая. Ребята прервали игру и с завистью уставились в мою сторону. Я видел – им очень хочется погонять мяч, сыграть в футбол – великую мальчишескую игру, но всё же они не подошли ко мне.

Побил я мячом о стену, поиграл в него головой. Скучно стало. В этот момент мимо шёл мой отец; увидев сидящих в стороне ребят, он зло бросил:

- Ты что ж один играешь? У тебя совесть-то есть? Вот так друзей и теряют!

Я вернулся домой – на столе лежали все мои вещи: книга, краски, бинокль, но мне вдруг стало страшно – я почувствовал, что вот сейчас, в эту минуту, потеряю друзей навсегда. И я схватил книгу для Генки, краски для Веньки, бинокль для Петьки и мяч для всех и выбежал во двор. С тех пор я знаю – есть вещи, которые не купишь ни за какие деньги.

О, ЯЛТА!

Моих двоюродных сестёр (дочерей дяди-пожарного) с детства готовили к замужеству: учили кулинарному искусству, шить, вязать и вышивать, «радовать своим поведением» и «не возражать мальчикам». Мальчикам они не возражали, они просто их не замечали, поскольку считали, что в нашем дворе одни хулиганы.

Сёстры были моими однолетками, но обе всегда смотрели на меня свысока, потому что каждое лето проводили в Крыму, у моря – там жил их дальний родственник.

– О, Ялта! – чуть что восклицали сёстры. – Море, корабли, нарядные отдыхающие... – всем своим видом сёстры давали понять, что там, в Крыму, настоящая жизнь, а наш городок – скучнейшее место на свете, и что вообще они здесь находятся случайно.

Я, который никогда не видел моря, в глазах сестёр выглядел дремучим провинциалом, ограниченным типом, который и недостоин никакой другой жизни, кроме жизни в пределах нашего двора. Стоило мне только заговорить о футболе или шашках – играх, в которых я достиг немалых успехов, как сёстры закатывали глаза:

– О, Ялта! Там в парке «Чёртово колесо», а на набережной – педальные автомашины. Катайся, сколько хочешь. А море, море какое! Прозрачное, и шипит как лимонад. В море так легко плавать!.. А какие там воспитанные мальчики! Не то что здесь...

Даже когда я отремонтировал дядин велосипед и, на зависть всем ребятам, стал владельцем собственного транспорта, сёстры фыркнули:

– Подумаешь, велосипед! Мы в море катались на водном велосипеде. Плывёшь, а рядом рыбки, медузы, а над головой чайки. Ялта похожа на мечту. О, Ялта!

После разговоров с сёстрами я впадал в некоторое уныние. Крым, Ялта казались мне каким-то недосыгаемым краем, где никогда не заходит солнце и люди живут невероятно интересно. Бывало, и в футбол сыграю удачно и выиграю в шашки у своих основных соперников или даже получу хорошие отметки в школе, а всё как-то нерадостно, все успехи кажутся мелкими в сравнении с тем, что в этот момент происходило в Крыму, в Ялте. Как представляю тот солнечный край, сразу становится тесно в нашем городке. «И ничего-то у нас нет, – размышлял я. – Ни моря, ни набережной, только механический завод и кастрюльная фабрика, один кинотеатр, да парк с танцплощадкой – не городок, а посёлок, даже деревня...» Каким-то странным образом сёстрам удалось заронить в меня такие мысли. На мой день рождения они и вовсе доконали меня.

В чём в чём, а уж в смысле богатства я слыл почти миллионером. Кроме новых шашек, мяча и бинокля, у меня был янтарь, обломок от бабушкиной броши. Этот кусок прозрачной смолы с переливающимися кристалликами я считал особой ценностью. И вдруг на день рождения сёстры дарят мне морскую раковину.

– Раковина из Ялты, – сказали. – Прислони её к уху – услышишь шум моря.

С того дня я забыл о янтаре – он померк перед морской раковинкой. Я постоянно носил её в кармане, время от времени доставал, рассматривал белорозовую зубчатую поверхность, похожую на застывший водоворот, прислонял к уху и... передо мной возникали волны в завитках пены; они шумно накатывались на песок и с шипением сползали назад. Я видел белые многопалубные корабли, яхты, водные велосипеды, широкие набережные, «Чёртово колесо», педальные автомашины...

Я засовывал раковину в карман и перед глазами открывался наш двор, заросший лебедой, выбитый футбольный «пяточок», скамья, где мы играли в шашки, обгорелый сарай, который так и не починили после пожара...

Однажды осенью к сёстрам приехал их дальний родственник, житель Ялты, загорелый мужчина внушительного вида. Родственник привёз две корзины всевозможных фруктов, и дядя-пожарный (не сёстры – они не догадались) пригласил меня отведать даров Крымского побережья.

Когда я увидел корзины, полные ярких, пахучих фруктов, у меня разбежались глаза. До этого виноград и персики я видел только на картинках, а тут ещё были абрикосы, инжир и айва – о них я вообще не слышал.

Дядя пододвинул ко мне одну из корзин и сказал:

– Лопай, сколько влезет!

А родственнику пояснил:

– Племянник, мой помощник, будущий доблестный пожарный.

Я уминал все фрукты подряд, уминал часа два, не меньше, пока не свело челюсти. Сёстры смотрели на меня, как на дикаря (сами они съели только по одному персику и по грозди винограда, при этом каждое зёрнышко выплёвывали в ладонь и складывали на блюдце; я ел вместе с зёрнами).

Только полностью нагрузившись, я откинулся на диване и услышал разговор дяди с родственником.

– Значит, урожай хороший в этом году? – спрашивал дядя. – Ну, а рыба? Как рыба, хорошо идёт?

– Косяками! – смеялся гость.

– А корабли?! Какие корабли на море?! – решил вставить я.

Сёстры прыснули, удивляясь моей отсталости.

– Корабли всякие, – спокойно сказал их дальний родственник. – Есть большие, пассажирские, которые ходят в Одессу и на Кавказ. Есть маленькие, этикие морские трамвайчики – они ходят на местных линиях. А ты что, хочешь стать моряком?

– Он хочет стать пожарным, – ответил за меня дядя.

А я уже толком и не знал, кем буду. Сёстры своими разговорами о Крыме поломали все мои планы.

– Пожарный – благородная профессия, – сказал дальний родственник. – А в вашем городке самая необходимая, ведь у вас полно деревянных домов... Хорош ваш городок, ничего не скажешь. Тихий, уйма зелени, в каждом дворе колонка, воду льёте – сколько хотите. А у нас ведь пресная вода на учёте.

– Море, корабли – это, конечно, здорово, но мы, местные, на море и не ходим, – продолжил родственник. – Всё некогда. Да и на пляже слишком много народу. А закончится сезон, город пустеет, но начинаются дожди, да холодный ветер с моря. У нас ведь зимы нет – слякоть одна. Это у вас здесь снежок, можно на лыжах походить.

– Бесспорно, хорошо, когда меняется время года, – сказал дядя. – Понимаете, что я хочу сказать? Что лето должно быть как лето, а зима как зима.

– Я на окраине заметил речушку, – продолжал дальний родственник, – небось там зимой на коньках гоняете? – он повернулся ко мне и сёстрам.

Сёстры потупились, а я оживился:

– Гоняем и играем в хоккей!

– То-то и оно! – кивнул дальний родственник. – Видно не зря твои сёстры чуть что говорят нашим местным ребятам: «О, наш городок!»

Сёстры густо покраснели и нервно схватили ещё по одному персику.

Я вышел из дядиного дома, и не то что Крым и Ялта стали для меня менее заманчивыми – нет! Меня по-прежнему тянуло туда, но и наш городок уже не казался самым скучным местом на свете.

ОГНЕННАЯ ЧЕРТА

Моя неуживчивая и строптивая тётя вела динамичный образ жизни, в основе которого была страсть к переменам: она три раза отвергала женихов и так и не вышла замуж, пять раз меняла работу, семь раз переезжала на новое местожительство.

Тётя всю жизнь вязала. Если собрать всё, что она связала, получится целая выставка вязаных изделий. Тётя вязала всё: занавески, покрывала, варежки, носки, шарфы, свитера, юбки, кружева... Все наши знакомые и знакомые знакомых ходили в тётиних вещах. А те, кто их не имел, стремился познакомиться с тётей.



Тётин успех объяснялся просто – она придумала новую вязку. Это было необычное рукоделие: красивое и для толстого мужского свитера, и для тонких, как паутина, кружевных накидок.

Всё дело было в том, из чего вяжешь – из шерсти или из штопки, из шёлковых или простых штапельных ниток.

Ну и конечно, этот успех объяснялся низкой ценой за работу – тётя просто любила вязать, а материальная сторона её мало интересовала (она вязала из того, что приносил заказчик).

Тётя работала быстро и за несколько лет обвязала чуть ли не весь наш городок. На улицах по тётиным одеждам люди даже узнавали друг друга.

Благодаря тёте я стал пользоваться огромным уважением среди ребят – ведь каждый хотел иметь хороший тёплый свитер. Вот и приставали ребята ко мне – просили уговорить тётю связать им что-нибудь.

Мне приходилось подолгу объяснять, что вязать – это не шить, что тут нужно терпение и опыт, и что тётя вообще вяжет только для моих самых близких друзей.

После этих слов каждый из мальчишек из кожи лез вон, чтобы добиться моего расположения: один протягивал перочинный нож, другой – приключенческую книгу, третий – билет в кино. Приняв подношения, я обещал замолвить за них словечко, но тут же предупреждал, что у тётя работы по горло и чтобы они не надеялись получить заказ в ближайшее время.

Если ребята только приставали ко мне, то девчонки просто прохода не давали, ходили за мной, как цыплята за курицей. С утра поджидали около крыльца, и как только я появлялся в двери, совали клубки шерсти, списки и рисунки вязаний, которые им были совершенно необходимы, без которых они прямо жить не могли.

Только одна девчонка никогда не подходила ко мне, и это меня задевало не на шутку. Она жила на соседней улице – обыкновенная девчонка, некрасивая, рыжая, постоянно улыбалась неизвестно чему.

Однажды я брёл по улице, вдруг вижу – она вышагивает и рядом с ней подружка в тётяной кофте. Я тут же подошёл и небрежно кивнул на кофту:

– Моя тётя вязала.

Я думал, рыжая тут же не выдержит и попросит поговорить с тётей, но она только улыбнулась и опустила глаза.

– Хочешь, я скажу тёте и она свяжет тебе такую же? – обратился я к ней.

– Спасибо, – девчонка снова улыбнулась. – А когда можно зайти?

– Приноси мне шерсть через неделю.

Я пришёл к тёте и сказал:

– Тётя, свяжи одной девчонке кофту.

– Знаешь что! – подскочила моя резковатая тётя. – Мало того, что я обвязываю твоих дружков, теперь ещё и подружки появились. Барышни сами должны учиться вязать и шить. Стыд и позор, чему их только в школе учат?! В гимназиях учили всему...

– Она больная, – соврал я (врать я умел здорово). – Всё время болеет. Совсем не встаёт с постели.

– Не знаю, вряд ли смогу, – безжалостно покачала головой тётя. – Последнее время пальцы болят.

– Тётя, очень надо.

– Не знаю, не знаю.

Во двор я вышел мрачный. Что теперь сказать девчонке? Но главное, если тётя вообще больше не сможет вязать?! Такое было страшно представить!

Через два дня тётя закончила очередной заказ, и я снова напомнил ей про девчонку, но тётя сказала то, чего я больше всего боялся:

– Не смогу, совсем руки не слушаются, похоже, отвязалась я. Попробуй сам! Это не сложно. Вот смотри! – И тётя раскрыла мне секрет своей вязки.

– В рукоделии, как и во всём, есть люди способные и есть талантливые, – назидательно говорила тётя, пока я неумело перебирал спицами. – Между этими людьми огромный водораздел, вернее, между ними огненная черта. Не всем

способным удаётся перейти эту черту. Но надо пытаться... Кажется, у тебя есть кое-какие способности.

Как-то незаметно я втянулся в рукоделие, и вскоре в совершенстве освоил вязальное ремесло. Даже стал вязать быстрее тётки. Конечно, во дворе я скрывал, что вяжу – ведь всё-таки был мужчиной.

Через неделю у нашего крыльца меня подкараулила рыжая, вечно улыбающаяся девчонка с сумкой шерсти.

– Ты уже поговорил с тёткой? Не забыл?

– Всё в порядке, – кивнул я, забирая шерсть.

Девчонка особенно широко улыбнулась.

– Огромное тебе спасибо!

Несколько дней я вязал ей кофту; полностью самостоятельно (ни тётка к нам не заходила, ни я к ней), но именно когда за кофтой пришла девчонка, заявила и тётка. Я протянул девчонке своё изделие, и она засияла так, что в коридоре стало светлее.

Я уже собирался закрыть за ней дверь, как вдруг она заметила тётку и бросилась её благодарить.

– Да что ты! – отмахнулась тётка. – Не меня благодари, а вон его! Это он связал!..

Девчонка на минуту онемела, улыбка с её лица исчезла, покраснев, она опустила глаза и пробормотала:

– Какой ты молодец! Огромное тебе спасибо!..

Когда об этом узнали во дворе, ребята перестали меня убажывать подношениями, просить: «уговори тётку» – они просто требовали, чтобы я немедленно вязал. А тут ещё пронёсся слух, что я давно вяжу, и что моя тётка никогда и не умела вязать, и что у меня вообще нет никакой тётки...

Но в пик моей славы встречаю улыбающуюся девчонку, а на ней кофта вроде бы моя, а вроде бы и не моя – вся подшита какими-то нитками.

– Что ты с ней сделала? – спрашиваю.

Улыбка девчонки перешла в кислую гримасу.

– Понимаешь, всё время приходится подшивать твою кофту. Как надену, то тут, то там расползается. У тебя какая-то странная вязка.

В это время мимо нас проходила моя тётка – каждый раз она возникала в самый неподходящий момент. Остановившись, тётка профессионально осмотрела кофту на девчонке и, обращаясь ко мне, сказала:

– Да, погрешности налицо. Видимо, ты не смог перейти огненную черту. – Потом повернулась к девчонке: – Заходи вечером, перевяжу. Заодно поучись сама. Каждая барышня должна уметь вязать. Вязание действует благотворно: успокаивает, даёт время поразмышлять (почему-то тётку вязание совсем не успокаивало).

За два вечера тётка перевязала моё неудачное творение. Неожиданно её пальцы обрели прежнюю подвижность; во всяком случае с того дня она вязала ничуть не меньше, чем раньше.

А рыжая девчонка стала её постоянной ученицей. По словам тётки, она перешла огненную черту легко, играючи, не получив ни малейшего ожога.

ЗАВИСТЬ

Многие мои родственники были завистниками, можно сказать, я жил в атмосфере всеразъедающей зависти. Так мать завидовала тёте, которая блестяще вязала, лучше всех в нашем городке, а может быть, и во всём мире.

Тётя не оставалась в долгу и сильно нервничала от зависти, глядя, как мать печатает на машинке.

Отец, хотя и насмехался над дядей-холостяком, но втайне завидовал его здоровому образу жизни – самому отцу не хватало силы воли, чтобы избавиться от привычки курить и выпивать.

Дядя-холостяк в свою очередь не на шутку завидовал славе своего брата-пожарного.

Видимо, по наследству и на меня однажды нахлынула эта проклятая зависть. Вначале это странное чувство не очень мучило меня, вселяло лишь беспокойство и раздражение.

Я завидовал Генке, у которого были длинные руки. «Эх, мне бы такие руки, как у Генки, – думал я. – Уж я бы знал чем заняться. Длинными руками можно до всего достать. Свисают, например, из какого-нибудь сада яблоки, другим надо палку, чтобы их сбить, а длинной рукой – раз! Только протянул, и яблоко твоё.

Да что там яблоки! Всё можно достать. С такими руками не пропадёшь. Только Генка, дуралей, увлечён волейболом – с утра до вечера знай себе по мячу лупит».

А ноги я хотел иметь Венькины. Он бегал как ветер, от всех мог убежать. «Нарву яблок и дам тягу. Попробуй догони!» – мечтал я и посмеивался над Венькой, который ходил на стадион, носился там как угорелый по дорожке.

Ещё я хотел иметь такие уши, как у Филиппа – большие, музыкальные. Будь у меня такие уши, я уж, конечно, первым слышал бы сторожа в саду и дал бы драпака. Но Филипп занимался музыкой – без конца пиликал на скрипке.

«А голову неплохо иметь бы Петькину, – рассуждал я. – Петька, чудак, делает разные самокаты, а ведь с его смекалистой головой ничего не стоит смастерить какую-нибудь заводную машинку для сбора ягод. Пустил её в малинник; она раз-раз, собирала все ягоды, подъехала к тебе и ссыпала в карман».

Целыми днями я ходил взад-вперёд по улице и всем завидовал. Всё представлял, что сделал бы на месте своих приятелей.

Обычно меня сопровождали штук пять дворовых собак; известное дело – дворняги любят тех, у кого полно свободного времени – всегда можно затеять какую-нибудь игру, осмотреть разные закутки, просто повозиться, что я и делал со своими лохматыми приятелями.

Собакам же я доверял и свои сокровенные мысли о зависти.

И они меня понимали. По-моему, даже ухмылялись, когда мы встречали Генку, Веньку, Филиппа или Петьку.

Как-то прогуливаюсь с собаками, вдруг подходит весь взъерошенный Петька.

– Ты чего это всё ходишь надутый? – спрашивает. – И всё у заборов?

– Так, – говорю. – Смотрю. Думаю.
– Чего смотришь? Над чем думаешь?
– Да так...
– Завидую тебе! – вздохнул Петька. – Мне бы твоё свободное время! Я бы многоместный самокат построил! Всем двором отправились бы в путешествие!..
– Всё тебя в даль тянет, – хмыкнул я. – А между прочим, и здесь полно интересного. Совсем рядом. – Я широко обвёл рукой наши дома, сады и палисадники. Этим жестом я приглашал Петьку заняться конкретными делами, как подобает настоящему мужчине, а не какому-то мечтателю, который болтается в облаках.

Но Петька не понял моего жеста, обиделся и отошёл.

Осенью меня вдруг стала мучить зависть другого рода. Более серьёзная, что ли. Эта зависть, словно яд, разъедала всю мою душу.

Я завидовал Кольке, у которого была кожаная полевая сумка со множеством отделений. Завидовал Косте – его отец имел мотоцикл.

По воскресеньям Костя с отцом отправлялись на рыбалку, и когда они мчали на сверкающей никелем машине, я прямо стонал от зависти.

В школе я завидовал отличнику Вадьке – ему всё давалось так легко! Я корпел над учебниками, зубрил, делал шпаргалки, а он – только откроет страницу – уже всё знает. Пятёрка ему обеспечена!

Но совершенно особую зависть я испытывал, когда встречался с Надькой, той рыжей девчонкой, которой неудачно связал кофту. Эта зависть просто сжигала меня. Надька постоянно улыбалась; улыбка никогда не сходила с её лица; по моему, она улыбалась даже во сне. Обычно идёт по улице пританцовывая, что-то напевает, всем приветливо улыбается, со всеми здоровается по три раза на дню. От неё только и слышалось:

– Гена замечательно играет в волейбол. Я так люблю эту игру, – и расплывётся в улыбке.

Или:

– Филипп – настоящий талант! Я так люблю музыку, – и пропоёт что-нибудь и засмеётся, да так, что зазвенит в ушах.

А уж Петьку она вообще считала гением; говорила, что на его самокате готова ехать хоть куда, и что вообще больше всего на свете любит путешествовать.

И так постоянно: «это люблю и то люблю». И как не разрывалось её сердце от такого любвеобилия.

Взрослые называли Надьку «девочкой с золотым характером»; ребята к ней так и липли – всё хотели дружить с ней. От этого внутри меня прямо-таки бушевал завистливый пожар.

У меня с Надькой были сложные отношения. Как ни встречу её – хохочет мне прямо в лицо:

– Это твои телохранители? – кивнёт на собак, которые плетутся за мной. – Вот просто интересно, от кого они тебя охраняют?.. Я так люблю собак, но почему они за мной не ходят? Чем ты их заманиваешь?



– Ничем! – Как я мог объяснить, что у меня с собаками много общего и что мы вообще понимаем друг друга с полуслова и с полулая. Именно с полулая – ведь я изучил и собачий язык.

Каждый раз после разговора с Надькой я чувствовал – моя зависть переходит в злость. Из-за этой хохотушки Надьки я нервничал не на шутку.

Однажды при встрече Надька посмотрела на меня таинственно и сказала без всякого хохота, только с лёгкой улыбкой:

– Все собаки к тебе тянутся. Наверно, ты хороший... Животные чувствуют людей... Я хмыкнул – мне-то это было давно ясно.

– Завтра мне купят собаку, – продолжала Надька. – Поможешь её воспитывать?

Надьке купили маленькую полупородистую собачонку пепельного цвета; её назвали Ютой. Я, как специалист, подробно объяснил Надьке, чем кормить собаку, когда выгуливать, какие отдавать команды.

Надька слушала внимательно, при этом смотрела мне прямо в глаза и улыбалась.

Теперь мы с Надькой гуляли вместе: она с Ютой, а я со своими дворнягами. Я по-прежнему завидовал жизнерадостности Надьки, но это уже была совсем другая зависть. Я завидовал ей как-то по-хорошему. Скорее, это даже была не зависть, а желание стать таким, как она. Всё чаще рядом с Надькой я тоже улыбался. Непроизвольно. Да и как было не улыбаться, если она то и дело восклицала:

– Смотри, воробьишки купаются в пыли! Я их так люблю! Такие отважные птички – не улетают на юг, остаются с нами зимовать! Ну скажи, разве их можно не любить?!

Гуляя с Надькой, я начисто забыл все достоинства Генки, Веньки, Филиппа и Петьки; выбросил из головы полевую сумку Кольки, Вадькины пятёрки и даже мотоцикл Костиного отца.

Больше того, теперь я был уверен, что все достоинства ребят – чепуха в сравнении с моими немыслимыми достоинствами. Какими – я не знал, но не зря же Надька проводила со мной все дни напролёт?!

Теперь, когда мы с Надькой гуляли в компании собак, ребята кусали губы от зависти. Надька это не замечала, но я-то видел прекрасно.

Чтобы ребят заело ещё больше, я нарочно широко улыбался, а иногда и насвистывал что-нибудь весёлое.

ЧУДЕСА ДА И ТОЛЬКО!

В комнате у моей бабушки висела икона. По вечерам бабушка молилась и просила Бога послать здоровье всем родственникам.

– Бог всё может, – говорила бабушка.

– Если он может всё, почему ты не попросишь, чтобы он прислал нам денег? – спрашивал я, озабоченный тем, что наша семья жила в постоянной нужде.

Бабушка уклонялась от ответа или начинала туманно объяснять. Очень туманно. Потому я и не верил в Бога. Но однажды шёл по берегу речки, рассматривал следы

птиц на песке, разные спиральки, галочки, лесенки. «Эх, – думаю, – послал бы сейчас Бог двадцать копеек. Сходил бы в кино или купил бы мороженое». И только об этом подумал, смотрю – передо мной лежит монета.

– Чудеса да и только! – сказал я домашним, показывая монету.

Мать неопределённо хмыкнула. Отец съязвил:

– Беги туда, ищи ещё, монеты обычно валяются кучно.

А бабушка сказала:

– Ничего удивительного. Бог выполняет многие просьбы, но не все. Иначе некоторые обленились бы вконец.

В другой раз мне надоела осенняя слякоть и я попросил Бога сделать зиму. Просто так произнёс эту просьбу вслух, не очень-то надеясь на волшебство. И вдруг – к вечеру ударил морозец, грязь на дороге заостенела и в воздухе закружили снежинки.

– Чудеса да и только! – сказал я домашним. – Это я попросил Бога сделать зиму.

Отец с матерью поморщились, а бабушка сказала:

– Возможно.

В тот же день в моей голове родилась необычная мысль: «А что если Бог летает над домами и разгадывает наши желания?!» Чтобы он не тратил время на разгадки, я решил написать свои желания на клочке бумаги и прикрепить его перед домом на видном месте.

В то время я хотел завести собаку, но отец постоянно говорил:

– Плохо учишься! Не купим!

«Ну и не покупайте, – подумал я, когда в моей голове родилась необычная мысль. – Не покупайте! Бог пошлёт». Я написал записку: «Бог! Мне нужен щенок» и прикрепил её на калитке. На следующее утро чуть свет выбежал из дома и не поверил своим глазам – около забора сидел щенок. Это уже были далеко не простые чудеса – Бог явно прочитал мою записку.

К сожалению, в тот же день щенок сбежал от меня, но этот случай настроил меня на серьёзный лад. Я составил большой список необходимых мне вещей: подзорная труба, граммофон, перочинный нож с десятью предметами...

Целую неделю список висел на калитке, то и дело к нам заходили всякие любопытные и спрашивали:

– Эти написанные вещи продаются? Какова их цена?

Мне приходилось объяснять, для кого висит список. Некоторые относились к моим словам с пониманием, но некоторые едко хмыкали и тем самым только злили меня.

Целую неделю висел список, но Бог так и не выполнил ни одной из моих просьб. Я на него обиделся и перестал писать записки. К этому времени я уже нахватал столько троек, что отец со мной не разговаривал, а мать запретила гулять на улице. Всё от того, что я только и думал о подарках с неба, а не о каких-то там уроках!

В конце концов я засел за учебники, стал исправлять одну тройку за другой. Чем больше в дневнике появлялось четвёрок, тем чаще отец похлопывал меня по плечу и обещал подарить одну «штуку», а мать всё настойчивее повторяла:

– Иди погуляй! Совсем без воздуха сидишь! Весь зелёный стал!

Когда я исправил все тройки, отец подарил мне перочинный ножик, мать купила спортивный костюм, чтобы я занимался спортом, «закалялся на свежем воздухе».

Я закалился хоть куда – никакие простуды не брали. И вот в этот самый момент я понял – всего можно добиться, если очень сильно захотеть и потрудиться. Мне даже стало немного стыдно за прежнее безделье.

Закалённый и ловкий, я почувствовал, что всё могу! Могу побороть свирепого хищника, справиться с вооружённым бандитом. Я ходил по улице расправив плечи, сжав кулаки, готовый в любую минуту прийти на помощь попавшим в беду. Мне хотелось кого-то спасти, кому-то сделать что-то доброе. «Хоть какая-нибудь старушка появилась бы, – думал я, – и в руках несла бы две тяжёлые сумки. Одну внесла бы в дом, а другую оставила бы у крыльца. Я незаметно внёс бы в дом вторую сумку и исчез... Чудеса да и только! – воскликнула бы старушка».

Долгое время с добрыми делами мне не везло, но однажды у Надьки пропала Юта. Ребята обежали все дворы, облазили все закутки, но собаки нигде не было. Я подождал, пока ребята и зарёванная Надька разбрелись по домам, и вышел на улицу. Лёгкой походкой, совершенно невидимый, я прокрался мимо домов, скользнул на соседнюю улицу и очутился около магазина. «Там подвал, и Юта



вполне могла в него провалиться, – размышлял я. – Во дворах её нет, значит там, в подвале».

Чутьё меня не подвело. Я только заглянул в подвальное окно и сразу увидел её, Надькину Юту. Она тревожно смотрела на меня и жалобно скулила.

Спустившись в подвал, я увидел – лапы собаки зажаты ящиками из-под фруктов. Раскидать тяжёлые ящики в полутёмном подвале оказалось не так-то просто, но я всё же справился с ними и освободил бедолагу. Юта сразу бросилась лизать мне руки. «Понимаешь, – как бы говорила, – за кошкой погналась и вот... угодила в этот сырой и страшный подвал».

Задворками, незаметно для всех, я провёл Юту к дому Надьки и привязал за перила крыльца; сам спрятался за водосточной трубой.

Некоторое время Юта нетерпеливо топталась на крыльце, потом начала лаять, царапать дверь.

Надька выбежала из дома, расплылась в улыбке, обняла собаку, поцеловала в нос.

– Юта, дорогая! Где же ты была?! – бормотала Надька вне себя от радости и вдруг выпрямилась. – Но кто же тебя привёл и привязал?! Чудеса да и только! – Надька задумалась, потом выдохнула: – А-а, волшебники, точно! Ведь я же их просила!..

ПОПРОБУЙ, ПОЙМАЙ ВЕТЕР!

Среди моих родственников было немало знаменитостей. Бабушка прославилась игрой в шашки, тётя – вязанием, дядя-пожарный – бесстрашием и невероятным чутьём на пожары, но всё же в смысле славы всем им было далеко до моего деда.

Дед был слесарь-виртуоз. Он мог всё! Не только отремонтировать автомобильный двигатель и при этом выточить на токарном станке необходимую деталь, – это само собой, этим он занимался всю жизнь, – дед мог починить любой сложный механизм, в том числе часы всех систем; запаять и залудить самовар или чайник.

Во всей нашей округе не было семьи, для которой дед что-либо не сделал. Поэтому на улицах деда всегда почтительно приветствовали.

Целые дни я проводил у деда. Когда он что-нибудь чинил, я наблюдал за его работой, подавал инструмент, подбирал гайки к болтам, выпрямлял проволоку. Иногда дед доверял мне ответственные вещи – что-нибудь зачистить напильником или даже нагреть паяльной лампой.

Когда дед не работал, мы с ним ходили к речке, взбирались на бугор и... ловили ветер. Ветер нам был необходим, чтобы испытать «махолёт» – так дед называл созданный им летательный аппарат – сложную конструкцию с размашистыми крыльями и мотоциклетным мотором. Дед его делал всё моё детство и за всё моё детство «махолёт» ни разу не взлетел. Но дед не отчаивался, постоянно совершенствовал свой аппарат и был уверен в конечной победе. Я тоже был в ней уверен, тем более что являлся постоянным испытателем «махолёта».



По замыслу деда, «махолёт» должен был поднять в воздух около пятидесяти килограммов груза – для этого сам дед был слишком тяжеловесен. Разумеется, все испытания мы проводили втайне от родителей.

Так вот, мы взбирались на бугор, дед совал мне в руки марлевый сачок и говорил: – Попробуй, поймай ветер! Махолёт сможет взлететь только против ветра и ветер должен быть определённой силы.

Если дул приличный ветер, сачок-капкан тут же вытягивался в тугую подушку, если было лишь лёгкое дуновение или вообще стоял штиль, сачок-капкан беспомощно обвисал, словно флаг сдавшегося войска. В такой день нечего было и думать об испытаниях. Но если ветер всё же был, мы измеряли его силу. Для этой цели запускали змея. Если змей метался как заарканенный зверь, это означало, что ветер постоянно меняет направление и такой ветер нам не подходит. Но если

змея неподвижно парил в воздухе, мы тут же притаскивали на бугор «махолёт» и ставили его против ветра.

– Главное в полёте – всё время держаться против ветра, подобно тому, как держат лодку против волны, – давал мне дед последние наставления, усаживая на сиденье между крыльев; потом привязывал меня ремнём и запускал мотор.

Сухой треск наполнял окрестность, дым окутывал бугор, «махолёт» начинал махать крыльями, трястись, но от земли не отрывался. Мотор работал изо всех сил, я подпрыгивал на сиденье, пытаюсь помочь аппарату взлететь, но он только трясся и раскачивался из стороны в сторону, словно раненая птица. Минут через десять дед глушил мотор и тяжело вздыхал:

– Надо внести в «махолёт» кое-какие поправки... Что-что, а речку мы перелетим. Перелететь речку – было мечтой деда. И моей тоже.

Надо сказать, вообще-то я боялся высоты. Стоило мне только влезть на высокое дерево и посмотреть вниз, как перед глазами начинали плавать какие-то точки, а голова тяжелела. По этой причине я не ходил по мосту над оврагом – обходил овраг стороной.

Но поскольку я постоянно закалял свой дух, то побороть страх перед высотой считал первым делом. С этой целью я и помогал деду испытывать «махолёт».

Ну и, конечно, преследовал более высокую цель – впервые в мире пролететь на подобном аппарате.

Независимо от деда я создавал собственные летательные средства. Однажды склеил из газет гигантского змея и привязал к нему грибную корзину. На этом змее я планировал перелететь через речку, но для первого испытательного полёта посадил в корзину соседского кота.

Дождавшись сильного ветра, я запустил аппарат.

Некоторое время змей кружил на одном месте, но потом порыв ветра всё же оторвал корзину от земли и потащил вверх.

Как только корзина достигла метровой высоты, мой пассажир из неё выпрыгнул и дал драпака.

Тогда я сам залез в корзину и оттолкнулся от земли. Змей волоком протащил меня к реке – я еле выбрался из топкого вязкого ила.

Однажды на бугре тянул хороший слоистый ветер: у самой земли пахло цветами, чуть выше – речкой и осокой, ещё выше – серебристыми ивами.

В то утро я бежал к заводи, где на ночь закинул удочки; бежал по ветру, подпрыгивая на кочках. Подпрыгнув на одной кочке, я вдруг заметил, что моя рубашка плотно наполнилась ветром и я стал лёгким, почти невесомым. Потоки восходящего воздуха подкинули меня вверх, перенесли над голубой от незабудок низиной и плавно опустили около следующей кочки.

Пробежав несколько метров, я оттолкнулся снова и... пролетел ещё дальше.

Тогда я свернул к краю обрыва и, разбежавшись посильнее, прыгнул с высоченной кручи; при этом широко в стороны раскинул руки. Я сделал это без всякого расчёта, просто подражая птицам, но, оторвавшись от земли, неожиданно пролетел над кустом тальника и зарослями лопухов. Я летел так долго, что запомнил свист

в ушах и внизу, среди лопухов, успел разглядеть гальку и ракушечник. Это было чудо! Передо мной открылись неведомые возможности!

Приземлившись на песке, я поднялся на бугор и повторил прыжок. И опять пролетел точно так же.

Во время этого второго прыжка я заметил, что ветер дует не с одинаковой силой и что, попадая как бы в «сильную волну», я улетаю дальше. Для третьего прыжка я угадал приближение «сильной волны» и оторвался от края обрыва как раз в тот момент, когда ветер достиг наибольшей силы.

Во время третьего полёта я попробовал в воздухе шевелить руками и – удивительно – смог немного направить свой полёт! Во всяком случае, когда меня отнесло в сторону, я всё же повернул к отмели – месту намеченного приземления. И что самое странное – в воздухе я совершенно не боялся высоты!

– Ура! Я научился летать! – вырвалось у меня после третьего управляемого полёта. От волнения меня всего трясло.

Через час, совершив ещё два-три полёта, я решился... перелететь речку!

Мне повезло – ветер усилился, порывы огромной мощи до земли наклонили прибрежные кусты.

Я отошёл от речки на довольно большое расстояние и начал разбег, с каждой секундой увеличивая скорость.

В этот разбег я вложил последний запас сил, весь свой закалённый дух.

В какое мгновение оттолкнулся от обрыва – не помню; помню – подо мной зелёно-жёлтыми пятнами промелькнули кусты, лопухи, галька, ракушечник и вдруг появилась водяная рябь! Я видел её отчётливо, совсем рядом, до меня долетали отдельные брызги! До противоположного берега было ещё далеко, но вдруг я почувствовал, что снижаюсь, отчаянно замахал руками, и почти преодолел огромное водное пространство! Я упал на мелководье, вернее, плюхнулся, вконец обессиленный.

Домой я возвращался мокрый, ободранный, весь в песке, но счастливый. Я научился летать и осуществил нашу с дедом мечту без всяких крыльев!

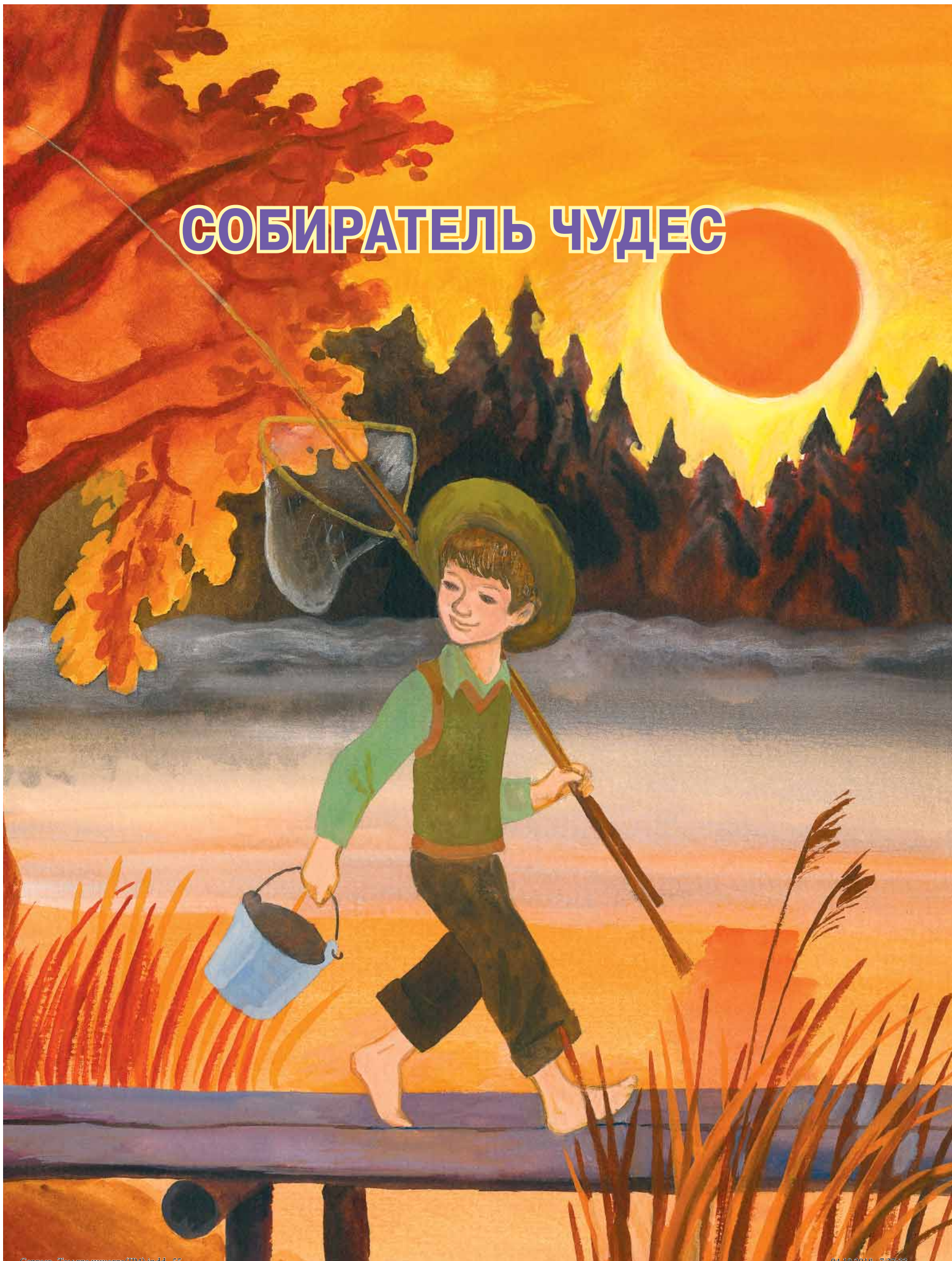
У моста я взошёл на скрипучие пружинистые доски, перегнулся через перила и впервые передо мной не появилось никаких точек.

Перемахнув через перила, я оттолкнулся и спокойно спланировал на низину. Это уже было для меня пустяком.

Вбежав на пригорок, я влез на самую высокую иву, покачался на гибких ветвях, потом спрыгнул вниз и, точно на парашюте, мягко опустился в траву.

У дома я влез на сарай, вместо разбега сделал всего несколько шагов по крыше, оттолкнулся и... облетев весь двор на глазах у потрясённых ребят, приземлился у своего крыльца.

СОБИРАТЕЛЬ ЧУДЕС



ПРАЗДНИКИ

В детстве я любил праздники. Да и как их было не любить, если на праздники дарили подарки, а родственников у нас было немало, и подарков мне приносили целую кучу.

Я любил все праздники в календаре, дни рождения всех родственников и их именины, дни рождения друзей, приятелей и просто знакомых. И знакомых моих знакомых. Но больше всего, конечно, – свой день рождения и бабушкины церковные праздники, потому что их было много.

Сами праздники меня мало интересовали. Обычно я и не замечал, как они проходили. Все веселились, танцевали, а я сидел в углу, ждал подарков.

Когда я немного подрос, то заметил, что праздников, даже бабушкиных, не так уж и много. Вернее, слишком мало – всего два-три в месяц, а остальное время – скучнейшие будни. И я решил сам придумать несколько праздников.

Сразу же, не ломая голову, придумал праздники всего первого: первого подснежника, первой бабочки, первого шмеля, первого дождя, первых грибов и ягод, и многие другие.

Придумал праздники всего хорошего: хорошей погоды, хорошей книги, хорошей отметки; и праздники всего красивого: радуги, заката солнца, музыки по радио.

И придумал грустный праздник: конец каникул.

О праздниках я сообщал родственникам и требовал, чтобы они приносили подарки. Если кто-нибудь из родственников приносил плохой подарок, я его стыдил или не брал подарок вообще, чтобы в следующий раз он дарил более ценные вещи. А когда однажды дядя забыл про подарок, я не разговаривал с ним целую неделю.

Скоро я насочинял столько праздников, что их нужно было справлять почти каждый день. С утра, как только просыпался, выдумывал праздник. Родственники возмущались:

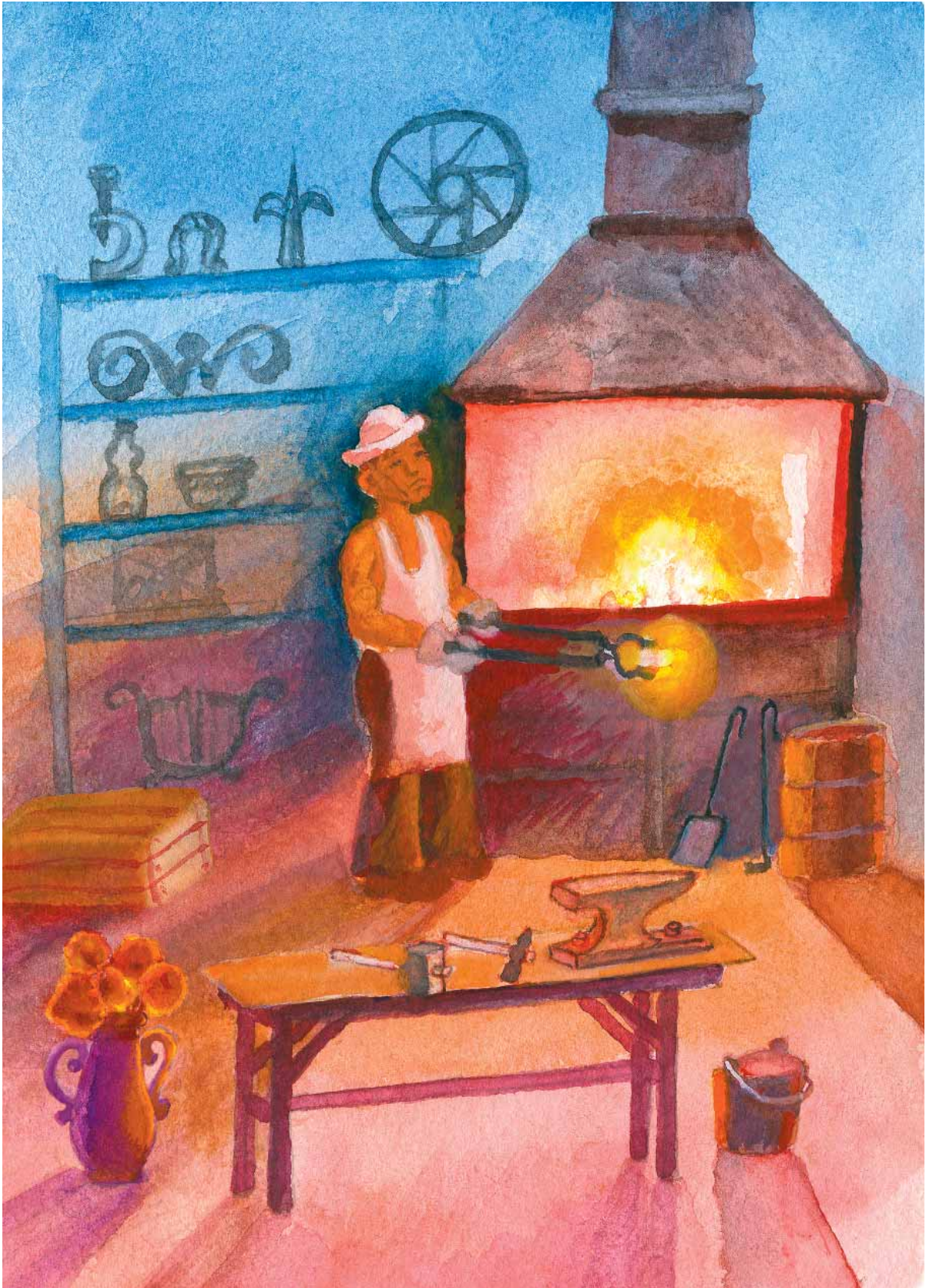
– Ты нас просто разорил на подарки! – кричали они. – Ты бездельник! У тебя не жизнь, а сплошные праздники. Займись делом! Иначе из тебя ничего не выйдет. Ты будешь «ни с чем пирог»!

А как я мог заняться делом, если у меня постоянно было праздничное настроение?! Не успевало закончиться одно торжество, как начиналось другое.

Но странное дело – по какой-то неясной причине, с каждым новым праздником, моё настроение становилось всё хуже и хуже; видимо, я просто-напросто устал от праздников, и мне требовался отдых, но я уже навывдумывал слишком много знаменательных событий. Были даже дни с несколькими праздниками сразу. И тогда я придумал праздник отдыха от праздников.

Однажды после очередного праздника, довольно усталый, я вышел погулять на улицу – решил проветриться, вечером предстоял ещё один праздник. Прогуливаясь по улице, я случайно забрёл в мастерскую к кузнецу дяде Толе.

В мастерской было шумно, и от горна било жаром.



Дядя Толя раздувал мехами огонь. Потом брал щипцы, вынимал из пламени белое раскалённое железо и нёс его, рассыпая искры, на наковальню, и бил по нему молотком, и оно становилось мягким, как глина.

– Заходи, заходи! – проговорил дядя Толя, как только я заглянул в дверь. – Ты что такой кислый?

Я пожал плечами.

– Хорошо, что пришёл! – продолжал дядя Толя. – Мне как раз нужен помощник. Держи-ка щипцы!

Я подбежал к наковальне и крепко ухватился за щипцы. А дядя Толя ударил по железной болванке несколько раз молотком, и болванка превратилась в подкову.

– Теперь давай зачищай вот эти прутья, а я сделаю обруч для бочки. – Дядя Толя положил передо мной ржавые железные прутья, дал напильник, показал, как надо зачищать. – Из них мы сделаем много разных вещей: засовы, обухи, лапки, молотки.

Я стал зачищать, водить напильником по прутьям. На пол посыпались опилки, мелкие, как мука; вначале оранжевые, потом серебристые. Зачистив с одной стороны, я переворачивал прутья и зачищал с другой. А рядом, на наковальне, стучал молотком дядя Толя и подбадривал меня:

– Давай, давай, работай! Работа вылечивает от всякой хандры!

И я работал. Напильник нагревался и жёг руки, пот лил со лба, но я зачищал, старался изо всех сил. Ещё бы! Сколько полезных вещей из каких-то обыкновенных прутьев, и сделаем эти вещи мы с дядей Толей вдвоём, он и я.

Когда я зачистил все прутья, они блестели, как зеркало.

– Из тебя выйдет мастер! – сказал дядя Толя и пожал мне руку.

– Дядь Толь! – попросил я. – А можно, я завтра опять приду?

– Ясное дело, приходи! И пораньше! – дядя Толя хлопнул меня по плечу.

Весь вечер мне хотелось веселиться и петь и делать что-нибудь необыкновенное. И это был самый лучший праздник. Праздник без подарков.

КЛОУН

В нашем дворе у всех ребят были прозвища. Как правило, их давали по фамилии. Например, Карасёва Вовку звали Карась, Доскина Генку – Доска.

Но если фамилия была неинтересная и из неё никак не складывалось прозвище, то давали кличку по виду или по какому-нибудь таланту. Так, длинноносого Филиппа нарекли Дятлом, толстяка Женьку одни звали Пузырь, другие – Жиртрест, а фантазёра и вруна Юрку – Враль или Загигала.

Я был самый счастливый – имел больше всех прозвищ.

Во-первых, у меня хорошая фамилия – Смехов.

Во-вторых, я от природы рыжий и немного заикаюсь и у меня огромные, с блюдце, уши, которыми, кстати, я умел шевелить, но главное – я мог соорудить такую физиономию, что все падали от смеха. Ребята постоянно советовали мне высту-

пать в цирке, говорили, что я – прирождённый клоун. Я и сам это знал, и за своё будущее был спокоен.

Однажды в соседний дом переехали новые жильцы, а на другое утро во дворе появился незнакомый мальчишка. Его звали Колька.

Вот уж был неудачник так неудачник! Всё имел обыкновенное: простую фамилию – Аникин, обычное лицо с нормальным носом и ушами, и весь он был чересчур нормальный: ни толстый, ни тонкий, не заикался, не картавил, даже соврать ничего не мог. Такой оказался правильный и безликий, какой-то скучный – он не произвёл на нас никакого впечатления. Вернее – произвёл унылое впечатление, и мы долго не могли придумать ему прозвище.

Я хотел его окрестить Сухарём, но подумал, что он обидится. И вдруг Колька сам начал нам помогать:

– Вообще-то, я неплохо катаюсь на велосипеде, люблю петь, у меня есть хомяк, – так и сяк подсказывал, но всё это было не то – всё, что он умел и имел, мы тоже умели и имели. Ну, не хомяка, так попугая или рыбок в аквариуме. Короче, мы измучились с ним, и тогда я спросил:

– А кем ты хочешь стать?

И Колька внезапно брякнул:

– Клоуном.

Вначале мы подумали, что ослышались или что он так по-дурацки шутит. Но когда Колька повторил свою глупость, сказал, что серьёзно подумывает пойти в клоуны,



мы схватились за животы и покатались от смеха. Особенно я. Я чуть не лопнул, даже припал к земле и долго не мог отдышаться – такую Колька сморозил глупость. Ведь каждому было ясно: уж если из кого и выйдет клоун, так только из меня. У меня для этого были все данные: и фамилия, и внешность.

Колька невозмутимо подождал, пока мы отсмеёмся, потом пригласил к себе домой. – Садитесь на диван, – сказал. – Я сейчас. – И ушёл в соседнюю комнату.

Через некоторое время из той комнаты, шаркая, вышел старичок с красным носом, в очках, с нахлобученной на лоб шляпой; он был в телогрейке до пят и в валенках – не старичок, а карлик, но какой-то грузный, косолапый. Он кивнул нам и, кряхтя, проследовал на кухню; вернулся оттуда со стулом и только хотел на него присесть, как стул сам по себе – каким-то невероятным образом – отъехал в сторону и старичок чуть не упал.

Мы впились в необычный «живой» стул. А старичок, нахмурившись, зашёл к стулу сбоку и неуклюже прыгнул на него. Но стул опять отъехал, и старичок плюхнулся на пол.

Мы прыснули от смеха и хотели ему помочь подняться, но он вытянул вперёд ладонь – как бы останавливая наш порыв, и, рассердившись, стал привязывать стул к торшеру. Привязал, осторожно сел на него и стал делать вид, что прикручивает к валенкам коньки. Прикручивает, а сам провожает глазами кого-то, как бы конькобежцев – будто он на катке. Покончив с коньками, встал, но его ноги разъехались в разные стороны.

Мы расхохотались.

Старичок снова опустился на стул и пригрозил нам пальцем. И вновь стал рассматривать катающихся. Заметил знакомых, поприветствовал, приподняв шляпу и обнажив седые волосы с лысиной, и вдруг неумело, спотыкаясь и размахивая руками, побежал за своими знакомыми.

Догнал, вцепился в чью-то куртку и дальше покатился, как на буксире. И вдруг сбросил валенки, хлопнул в ладоши и сделал сальто. Потом неожиданно скинул телогрейку и маску – и старичком оказался... Колька.

Несколько секунд в комнате стояла тишина – мы не на шутку были ошарашены. Потом ребята опомнились, заохали и заахали, бросились поздравлять Кольку. Все, кроме меня. Мне почему-то стало тоскливо.

НА ГРУЗОВОМ ТРАМВАЕ

Вовка Карасёв был жутко самоуверен. Он думал, что снег появляется только потому, что у него есть лыжи, а дождь сыплет потому, что он – обладатель прозрачного плаща и галош. И конечно, он был уверен, что дядя Лёша работает вагоновожатым для того, чтобы его, Вовку, катать по городу.

Дядя Лёша жил в нашем дворе и, действительно, работал вагоновожатым, но вовсе не для того, чтобы катать Вовку. Он вообще не мог возить пассажиров, так как работал на грузовом трамвае – рельсовозе.

Трамвай дяди Лёши представлял собой вагон с кабиной и открытой платформой – на ней возвышался подъёмный кран. На платформе дядя Лёша возил рельсы, пропитанные битумом шпалы, болты, гайки и огромные гвозди – костыли, которыми крепят рельсы к шпалам.

Много раз Вовка упрашивал дядю Лёшу прокатить его на рельсовозе.

– Никак не могу, Вовка, тебя прокатить, – говорил дядя Лёша. – Ты же прекрасно знаешь, что я работаю ночью, когда ты спишь без задних ног.

– А я не буду спать, – говорил Вовка, – я вообще с вечера удеру из дома и буду вас ждать во дворе.

– Нет, это не годится, – твёрдо заявлял дядя Лёша. – Как-нибудь днём. Днём – пожалуйста, а ночью – ни за что!

И вот однажды счастливый случай представился, причём представился не только Вовке, но и мне.

В тот жаркий летний полдень мы с Вовкой ходили по двору взад-вперёд и размышляли – каким бы важным делом заняться. Но никаких важных дел в голову не приходило. В какой-то момент из окна выглянула наша соседка тётка Вика.

– Мальчики! – крикнула она. – Почему бы вам не прибраться во дворе?! Посмотрите, сколько валяется досок, бумаг! Не дай бог загорятся – вмиг все сгорим!

– Неинтересное дело! – крикнул Вовка, и я полностью с ним согласился.

Вдруг видим – из подъезда вышел дядя Лёша и, стремительно пересекая двор, направился в сторону парка. Разумеется, не парка культуры и отдыха, а трамвайного парка – депо. Мы сразу поняли – у дяди Лёши крайне важное дело.

Когда мы подбежали, дядя Лёша на ходу сообщил, что ему срочно надо вести рельсовоз на окраину, где рабочие прокладывают новую трамвайную ветку, и добавил, что готов прихватить нас с собой. Мы даже подпрыгнули от радости.

– Только учтите, – сказал дядя Лёша, – у рельсовоза механизмы нежные и трогать ничего нельзя!

В трамвайном парке, среди вымытых, сверкавших яркой краской трамваев, рельсовоз выделялся тем, что был весь перепачкан мазутом. Его внешний вид как бы говорил – я работяга, тружусь без передыха, мне некогда наводить марафет; вот пойду на пенсию – на запасные пути, тогда и приведу себя в порядок.

Вслед за дядей Лёшей мы с Вовкой забрались в кабину и встали около колеса ручного тормоза. Дядя Лёша позвенел – известил рабочих парка, что отправляется в путь, включил скорость, и рельсовоз, рассыпая искры и спотыкаясь на стрелках, тяжело выкатил на улицу.

Мы с Вовкой смотрели то на рельсы, то на дома по обе стороны улицы. На мгновение мне показалось, что мы стоим на месте, а рельсы сами по себе бегут на нас, словно две блестящие нити; а дома прямо-таки на глазах увеличиваются и проплывают назад.

Мы ехали медленно, но встречные пассажирские трамваи приветствовали нас звонками, почтительно притормаживали и, казалось, готовы сойти с рельсов, посторониться – так уважали наш рельсовоз.



Мимо нас проносились автобусы, грузовики, легковушки; мы встретили машину «скорой помощи» и машину мусорщиков, а когда переезжали мост, по реке прошёл катер, оставляя за собой длинные волны с оборками пены.

Перед нами разворачивалась жизнь всего города: появился сквер, где старушки подкармливали голубей, а старики читали газеты, потом открылся двор, где мальчишки гоняли в футбол.



Заметив рельсовоз, мальчишки моментально прекратили игру и подбежали к трамвайной линии, а увидев нас с Вовкой в кабине, разинули рты от удивления. Вовка показал им язык, но они не ответили – так были потрясены. Когда мы проехали, они ещё долго смотрели в нашу сторону, смотрели и жутко завидовали.

Постепенно дома стали ниже; рельсовоз миновал грохочущий механический завод с дымящейся трубой, кастрюльную фабрику... Приближалась окраина. Уже появились деревянные дома с палисадниками и собаками, которые почему-то облаивали наш рельсовоз – видимо, побаивались подъёмного крана. Может быть, принимали его за динозавра?!

Вскоре дома кончились, и дальше потянулись огороды с чучелами – истуканы отчаянно громыхали консервными банками и склянками – явно радовались нашему прибытию и, видимо, крана совсем не боялись.

– Приехали, – сказал дядя Лёша и остановил рельсовоз посреди пустыря; впереди виднелась свежая насыпь и вразброд валялись рельсы; несколько рабочих укладывали рельсы на шпалы, выравнивали их, прибивали костылями.

– Там будут строить посёлок, – дядя Лёша показал на холмистый пустырь за насыпью. – Пока будем разгружаться, можете туда сбегать. Запланируйте будущий кинотеатр, стадион, и не забудьте для меня лично – дворец с бассейном. Хочется пожить с шиком. Надоела коммунальная квартира, – дядя Лёша засмеялся и подтолкнул нас к выходу из кабины.

На пустыре дул ветер. Мы с Вовкой бегали по холмам, втыкали в землю палки – намечали будущие постройки и уже вполне зримо видели кинотеатр с яркими афишами, многоярусный стадион, кафе-мороженое, киоск с газировкой и розовым сиропом...

Конечно, не забыли и про дядю Лёшу – для его дворца отвели самый обширный холм. А потом вернулись к рельсовозу и сообщили обо всём дяде Лёше.

– Вы толковые ребята, – сказал он. – Это видно и невооружённым взглядом. И за дворец спасибо! Но сказать по совести, он мне ни к чему. Ну, что там в нём делать?! Жир нагуливать?! От скуки окочуришься. А в общей квартире есть с кем побеседовать, обсудить всякие события, сразиться в шахматишки... Я с соседями живу дружно. Так что отдайте мой дворец под детский сад или под дом престарелых.

Обратно мы ехали тем же маршрутом, но странное дело – все улицы видели словно заново. Может, потому что ехали по ним с другой стороны?

Вернувшись домой, я обежал всех родственников, рассказал о поездке и объявил, что, когда вырасту, стану вожатым трамвая, и непременно рельсовоза.

– Ты же хотел стать капитаном дальнего плавания? – недоумевали родственники.

– И капитаном тоже, – объяснял я бестолковым родственникам. – Немного поплаваю, потом повожу рельсовоз, потом снова поплаваю...

Родственники только качали головами. Но наша соседка тётка Вика сказала:

– Я тебя отлично понимаю. Я тоже имею две специальности. Днём работаю бухгалтером, а по вечерам подрабатываю сторожем. Иначе как прожить, верно?

– Угу! – откликнулся я и предложил тётке Вике сразиться в шашки.

ФОТОГРАФ

Я любил фотографироваться. Увижу на улице фотографа и иду за ним. Станет фотограф снимать какой-нибудь памятник, а я – раз! – и встану около памятника в выигрышной позе.

Или фотографируются какие-нибудь туристы, а я растолкаю их и встану впереди. И туристы ничего, улыбаются только. Иногда, правда, прогоняли. Но тогда я заходил к ним со стороны, пристраивался сбоку, и выглядывал. «Может, получусь где-нибудь в углу», – думал.

Долго я просил мать купить мне фотоаппарат, но она не покупала. «Учишься плохо, – говорила. – Вот когда справишь все тройки, тогда куплю».

Засел я за учёбу, много троек исправил, только по пению никак не мог.

– Да-а, эту тройку ты, наверное, никогда не справишь, – вздохнула мать и на другой день купила мне фотоаппарат «Любитель».

Зарядил я в камеру плёнку – целых двенадцать кадров, «вот снимаю!» – думаю. Вначале снял себя в зеркале.

Потом навёл объектив на диван, укрепил камеру книгами и к спуску привязал бечёвку; сел на диван и дёрнул. Затем ещё раз.

– Что ж ты плёнку зря тратишь? – сказала мать. – Ну снял себя один раз, ну два – хватит. Пойди на улицу, сними приятелей, пейзаж какой-нибудь.

Вышел я на улицу, а там – ни одного приятеля. И пейзажа никакого нет. Одни дома и заборы. Пошёл по улице. «Что бы, – думаю, – снять такое, поинтересней?» Дорогу перебежала кошка. Я её – раз! – и щёлкнул. К булочной подкатил фургон с хлебом. Я и его запечатлел.



Потом снял точильщика, ларёк, дерево. Иду так по улице, снимаю всё, что попадётся в поле зрения. Вижу – стоят две старушки, беседуют о чём-то. «Что если их снять? – подумал. – Вид у них смешной, старомодный». Подошёл и говорю:

– Бабушки! Я хочу вас сфотографировать. Встаньте, пожалуйста, поближе и повернитесь.

– С величайшим удовольствием! – сказала одна старушка, достала зеркало из сумки и стала прихорашиваться.

– Фотографироваться – моя страсть, – проговорила вторая бабуся и поправила шляпку. Затем они прижались друг к другу и заулыбались.

Я навёл фотоаппарат и щёлкнул.

В этот момент мимо прошёл какой-то рабочий с ящиком инструмента. «Групповой портрет – вот что надо сделать!» – мелькнуло в голове. Я догнал рабочего.

– Понимаете, – говорю, – я снимаю прохожих. Интересных людей. Не могли бы вы встать на минутку рядом с этими бабушками.

– Нет вопросов, – пробасил рабочий. Подошёл к старушкам, хотел обнять их, но передумал; одёрнул комбинезон, вытянулся и застыл с каменным лицом.

– Пожалуйста, улыбайтесь, – сказал я ему.

– Изобразите радость жизни, – поддержала меня одна из старушек.

Рабочий не успел изобразить радость – появилась шумная ватага студентов; они шли, размахивая книгами.

– Пристраивайтесь! – обратился к ним рабочий. – Здесь бесплатно всех снимают.

– Это идея! А почему бы и не увековечиться?! Может, попадём в хронику! Классно мыслишь, юный фотограф! – загалдели студенты и обступили рабочего со старушками.

И только я собрался нажать на спуск, как между студентами вынырнул какой-то мальчишка и встал перед объективом. Да ещё в выигрышной позе!

– А ну, отойди! – крикнул я. – Весь вид портишь!

– Пусть стоит! – бросил рабочий.

– Сфотографируй мальчишка тоже! – сказали старушки.

– Щёлкай, чего там! – закричали студенты. – Всё равно не получимся.

Я навёл фотоаппарат и щёлкнул.

– Спасибо, мы получили огромное удовольствие! – сказали старушки и отошли.

– Будь здоров! – махнул рукой рабочий.

– Пришли карточки! – крикнули студенты, убегая.

Остался только мальчишка. Он долго рассматривал фотоаппарат, потом шмыгнул носом.

– Дай сделать один снимок!

– Ишь, чего захотел! – пробурчал я. – Лезешь, куда тебя не просят, да ещё – дай поснимать. Много хочешь. Слишком много! Ты и так уже испортил групповой портрет.

– Дай сделаю один снимок, – продолжал канючить мальчишка. – Всего один.

– Не дам! Да и кадров мало осталось, – я развернулся и пошёл по улице.

Настырный мальчишка поплёлся за мной.

– Ну, может дашь снять разочек, а? Сделаю хороший снимок.

Я усмехнулся.

– Хороший?! Разочек?! Ну ладно, так и быть. Сейчас ещё кое-что сниму, если останется кадр – дам. Посмотрю, какой ха-ароший сделаешь!

В камере неснятых оставалось три кадра. Я быстро сфотографировал рисунки на заборе и чьё-то брошенное колесо с каталкой, и протянул фотоаппарат мальчишке.

– Ну на! Только давай быстрее – у меня мало времени. И ерунду всякую не снимай! Мальчишка обрадовался, взял фотоаппарат, стал вертеть головой по сторонам, искал, что снять.

Я стою рядом, посмеиваюсь.

По улице проехал самосвал с песком. Мальчишка не снял, растяпа. Низко пролетел голубь – он его вообще не заметил. Всё вертится, чего ищет – сам не знает.

– Давай быстрее! – тороплю его.

– Сейчас, сейчас, – бормочет и всё крутится на месте. И вдруг подбежал к газону, нагнулся и приткнулся к фотоаппарату.

– Не вздумай снимать цветочки! – почти рявкнул я.

Но он уже нажал на спуск. Я подскочил, выхватил у него фотоаппарат и процедил:

– Так и знал! Только кадр испортил!

– Много ты понимаешь! – откликнулся мальчишка и перешёл на другую сторону улицы.

Когда я проявил плёнку, она вся оказалась тёмной; в кадрах еле различались предметы. Рисунки на заборе пропали, колесо и каталка слились с асфальтом. Кошка вышла без хвоста, от фургона виднелся один номер, групповой портрет не получился вообще – так, какое-то серое бесформенное пятно.

Одиннадцать кадров были тёмными и расплывчатыми, и только один, последний – светлым и чётким. В кадре на тонких стеблях, как на нитках, стояли пушистые шары одуванчиков. И в воздухе замерла стрекоза, словно маленький вертолёт над аэродромом-листком.

БАЛБЕС

Мать всегда ставила мне в пример Филиппа. Во всём.

Однажды я делал планер, и мне нужен был клей; я полез в кухне на полку и нечаянно разбил две тарелки.

Мать тут же сказала, что я неаккуратный, непослушный и так далее, и что вот Филипп никогда не разбивает тарелки – он такой примерный мальчик. Примерный, воспитанный, вежливый и так далее.

А между тем Филипп был ни с чем пирог; даже не умел играть в футбол – с мячом он был беспомощен, как пёс на заборе.

Целыми днями Филипп пиликал на скрипке – его готовили в великие музыканты.

Я не любил Филиппа. Он это прекрасно знал. Да и как его можно было любить?! За что?!



Всегда идёт по двору со своей скрипкой, намурлыкивает что-то под нос и ничего не замечает вокруг, будто он на небе. Чтобы его опустить на землю, я подкрадывался сзади и хлопал его по плечу.

- Привет, Бетховен!
- Привет, – вздрагивал Филипп.
- Ну как? – усмехаясь, бросал я. – Всё пиликаешь?
- Пиликаю, – говорил Филипп и робко улыбался.



– Ну пиликай, пиликай, – насмешливо кривился я, а сам думал: «Ну и балбес».

– Настоящий мальчишка должен быть спортсменом, – говорил я Филиппу, – а на скрипочках пиликают только маменькины сынки, разные парниковые цветочки. Неужели не понимаешь, что занимаешься ерундой?

– Понимаю, – улыбался Филипп. – Понимаю, но ничего не могу поделать. Привык уже. Так и говорил: «привык». Вот чудило!

– Так у тебя вся жизнь пройдёт, голова! – возмущался я.

– Что поделаешь, – говорил Филипп и всё улыбался.

Это меня уже злило по-настоящему; я уже готов был на него наорать, но сдерживался и снова начинал терпеливо, доходчиво ему втолковывать что к чему. А Филипп смотрел на меня и уже смеялся, как дуралей.

– Ты всё понял? – под конец спрашивал я.

Филипп хохотал и кивал: – Всё!

Я вздыхал и думал: «Слава богу, дошло», а на другой день опять встречал его со скрипкой.

Как-то я вполне серьёзно сказал ему:

– Может, тебе помочь бросить музыку и научить чему-нибудь другому? Например, играть в футбол?

И Филипп неожиданно оживился.

– Конечно, помоги! Что ж ты раньше не догадался?! Всё только ругаешься!

Я немного растерялся – удивился поспешности Филиппа. Мне даже стало жалко его.

– Ну ты совсем-то музыку не забрасывай, – сказал я. – Играй иногда. Может, из тебя что-нибудь и выйдет.

– Да нет уж! Чего там! Брошу совсем, – засмеялся Филипп. – Футболистом быть лучше, это всем ясно. Только завтра у нас в училище концерт. Отыграю его и всё.

На следующий день с утра я ходил по комнате и думал, чем бы заняться? Змея делать не хотелось, да и клея не было. Рисовать надоело – много рисовал накануне; к тому же карандаши были не заточены. Всё ходил и думал. Но ничего стоящего не лезло в голову как назло.

А тут ещё наш кот на полу нахально развалился. Цыкнул на него; засунул руки в карманы; снова хожу, думаю, и всё выглядываю во двор – не вышли ли ребята с мячом. Но ребят почему-то не было.

И вдруг пришла мать и сказала, что все ребята давно на концерте в музыкальном училище и только я прохлаждаюсь дома, потому что я невоспитанный, ленивый и так далее.

Прибежал я в училище, а там на самом деле все ребята с нашего двора; сидят, слушают, как играет на рояле какой-то мальчишка – запрокинул голову и колошматит по клавишам.

Я присел на крайний стул рядом с Вовкой Карасёвым, тоже приготовился слушать, но тут мальчишка перестал мучить инструмент и все ему захлопали.

Затем на сцене появился Филипп со своей скрипкой и объявил, что сыграет пьеску, которую сочинил сам.

Я хихикнул.

Все обернулись и посмотрели на меня, но как-то с уважением – наверно, подумали, что уж кто-кто, а я-то знаю, какая это «пьеска».

Филипп начал играть.

Я отвернулся к окну и стал смотреть на солнце, а оно, словно рыжий проказник, как раз уселось на карниз противоположного дома и прямо-таки расплавляло оградительную решётку, и казалось, вниз сыпятся слепящие искры. Потом солнце немного спряталось за крышу и стало корчить мне рожицы – как бы выманивало на улицу, – «залезай, мол, на крышу, будем пускать зайцев, раскидывать стрелы, слепить прохожих...»

Солнце почти скрылось за домом, оставив на небе веер лучей; они вспыхивали у конька крыши и, разглаживая небо, растягивались до самого горизонта; они дрожали и таяли и, точно золотые струны, издавали звуки. Эти звуки заполнили всё пространство вокруг меня, и я вдруг стал лёгким, как одуванчик. Оттолкнувшись от стула, я сразу очутился на подоконнике, распахнул окно и... полетел.

Я увидел сверху нашу улицу, двор, наш дом и дом Вовки. «Как жаль, – мелькнуло в голове, – что никто не видит моего полёта. Вот бы ребята позавидовали!..»

Я вернулся в училище, когда солнце совсем исчезло и на небе потух его отсвет. Как только я опустился на стул, раздались рукоплескания. Я подумал – это приветствуют меня, мой героический полёт, хотел встать и поклониться, но вдруг почувствовал толчок в бок.

Повернувшись, увидел Вовку.

– Здорово играет Филипп. Как настоящий скрипач! – Вовка толкнул меня ещё раз.

Только теперь до меня дошло, что звуки, которые я слышал, были «пьеской» Филиппа. Это его музыка так околдовала меня, что я почувствовал себя летящим.

Филипп давно кончил играть, и все ему хлопали, а я всё не мог прийти в себя. Получалось, что в жизни есть вещи не менее интересные, чем футбол, а может быть, даже интересней, важней, захватывающей и так далее.

ФАНТИКИ

Случалось не раз – родственники подарят мне какую-нибудь штуковину, а я возьму и обменяю её на что-нибудь у приятеля; а потом вещь приятеля ещё раз обменяю. Мне всё быстро надоедало – я любил разнообразие.

Часто даже было всё равно, что на что менять, лишь бы поменяться; мне нравился сам процесс обмена – он напоминал игру в «кошки-мышки».

Так однажды я обменял фильмоскоп на книгу, потом книгу – на увеличительное стекло, а стекло отдал Юрке за снежную бабу, которую он слепил во дворе. Но на следующий день была оттепель, баба развалилась, и я остался ни с чем.

Тогда я понял, что обмен бывает выгодный и невыгодный. Выгодный – это когда обменяешь какой-нибудь карандаш на воздушного змея или на билет в цирк. А невыгодный, когда отдашь, например, краски за конфету, а конфету не обменяешь,

а просто съешь. Это очень невыгодно. Когда я это понял, то решил делать только выгодные обмены.

Как-то пришёл к Вовке и говорю:

– Давай меняться! Я тебе рогатку, а ты мне коньки.

– Ты что? Спятил? – чуть не заорал Вовка. – Какую-то рогатку на коньки!

– А что? – говорю. – Коньки – это так себе! Всё время бегай да бегай, ещё упадёшь да разобьёшься. А рогатка – это ценная вещь! Это оружие! Можно подстрелить кого-нибудь.

– Не втирай мне очки! – говорит Вовка. – Думаешь, я совсем дурак?

– Никакие очки я тебе не втираю, – говорю. – Коньки нужны только зимой, а зима скоро кончится. А вот рогатка нужна и зимой и летом – оружие на все времена года, учит меткости и ловкости.

– Всё равно не буду, – говорит Вовка. – Вот на твой мяч давай! На мяч, пожалуйста, а на рогатку ни за что!

– Нет, – говорю, – мяч мне самому нужен.

– Как хочешь! – говорит Вовка и поворачивается.

– Постой! – говорю. – Ладно, давай на мяч. «Все равно, – думаю, – выгодно. Мяч-то у меня старый, а коньки новые».

Обменялись мы с Вовкой. Взял я его коньки, вышел во двор. «На что бы их обменять, – думаю, – повыгодней?! Хорошо бы на лыжи, а лыжи потом на велосипед, а велосипед на мотоцикл. Вот здорово было бы. Помчал бы куда-нибудь!»

Иду так, размышляю, фантазирую. Вдруг навстречу Генка с санками.

Только я раскрыл рот, чтобы предложить ему обмен – коньки на санки, как Генка говорит:

– Давай меняться!

– Что на что? – спрашиваю.

– Твои коньки на мои фантики!

От неожиданности я даже немного побледнел. «Вот ловкач, – думаю. – Считает меня совсем ослом. Ну, погоди! Я тебя перехитрю!»

– Давай, – говорю. – Только дай мне в придачу санки.

– Ладно, – говорит Генка. – Дам. А ты мне тогда к конькам прибавь свой фотоаппарат.

Я совсем обалдел. «Ну и хитрец!» – думаю, но не показываю вида, что понимаю, как он меня дурачит.

– Хорошо, – почти спокойно говорю. – Только ты отдай мне ещё и свой велосипед. Генка замолчал, а потом вдруг рассмеялся.

– Знаешь, – говорит, – я передумал меняться. Я тебе просто подарю фантики. Просто подарю, и всё. У меня сегодня хорошее настроение, всем хочется делать приятное.

Я усмехнулся и про себя подумал: «Хорошее настроение! Приятное! Как же, как же. Так я тебе и поверил! Уж ты подаришь фантики просто так, ни за что. Здесь явный подвох. Хочет меня облапошить по-крупному».

Но я опять-таки решил притвориться, что ничего не понимаю, не улавливаю его хитрованского плана.

– Ладно, – говорю. – А я тебе дарю коньки. – Говорю, а сам думаю: «Ну, что теперь придумаешь?»

Но Генка вдруг поджал губы.

– Нет, коньки – дорогая штука! Это я взять не могу.

– Ну что ты, – усмехаюсь. – Бери! Они мне вовсе не нужны, я накатался вдоволь, меня от них просто тошнит.

– Нет, нет, – упирается Генка. – Не могу! Купить – ещё туда-сюда, но взять как подарок – не могу. Это выше моих сил!

– Да бери, – говорю. – Вот чудак! – Я почти сунул ему коньки в руки.

Генка помолчал, потом вздохнул.

– Ну уж ладно, уговорил. На фантики и давай коньки.

СОБИРАТЕЛЬ ЧУДЕС

Женька на всё смотрел широко раскрытыми глазами, словно всё видел впервые. Тысячу раз мы гоняли в футбол между берёз на нашей улице, но он всякий раз вздыхал:

– Ох, ну и берёзы! Во великаны!

Или частенько, задрав голову к небу, бормотал:

– Эх, погодка! Красота! – глубоко вздыхал и закрывал глаза от удовольствия.

Это «Погодка! Красота!» я слышал от него каждый день. Даже в дождь и слякоть ему всё было «красота».

А овощи, которые мы таскали с огородов, он считал чуть ли не заморскими фруктами.

– Никогда таких не ел! – смаковал какую-нибудь морковь и причмокивал и облизывался.

Змей, которого мы запускали, ему вообще казался лучшим в мире.

– Чудо, а не змей! – вопил и весь дрожал от возбуждения.

Я не любил Женьку – он слишком всем восторгался. И главное, не тем, чем надо. А вот футбол почему-то не очень-то любил и почему-то не ездил с нами на рыбалку.

С Женькой я никогда не разговаривал на серьёзные темы – только о погоде.

– Ну, как погодка? – спрошу и усмехаюсь.

– Красота! – заулыбается Женька. – Красота погодка! – и помашет ладонью на покрасневшее лицо (если жара невыносимая) или подышит на варежки (если мороз трескучий).

Как-то мы с Вовкой собрались на рыбалку. С вечера, как всегда, накопили червей, положили в садок хлеб, помидоры, огурцы, соль. Только упаковались, вдруг выяснилось – назавтра Вовкину мать вызывают на работу, и Вовке придётся сидеть с младшим братом.

Взял я удочки (мы собирались у Вовки), пошёл, расстроенный, домой. Бреду по улице и рассуждаю: «Идти на рыбалку одному или нет?». Вроде бы идти надо –

целую банку червяков накопили. В то же время одному идти скучно. Иду так, рассуждаю, вдруг навстречу топает Женька.

– Ого! – выпалил он, уставившись на удочки. – На рыбалку собрался?

– Как погода будет? – обрезал я его.

– Красота погода будет! Погодка будет что надо! Вот увидишь!.. Эх, – вздохнул он и поплёлся рядом. – Мне бы с тобой.

– Куда тебе! Мамаша небось не пустит!

– Не пустит, точно, – откликнулся Женька. – А знаешь что?.. Я удеру! – он схватил меня за руку и его глаза совсем полезли из орбит.

Я встрепенулся:

– Как так?

– А так! – воскликнул Женька и, наклонившись ко мне, проговорил заговорщическим голосом:

– Ты свисти под нашим окном, когда пойдёшь. Я незаметно и вылезу... Вот только удочки у меня нет. Дашь одну?





Я подумал, что идти на рыбалку с таким мямлей, как Женька, хорошего мало. «Но всё ж вдвоём, – решил. – Говорить с ним ни о чём не буду, а станет мешать – уйду в другое место».

– Ладно, дам, – сказал я. – И смотри! Свистну рано, если сразу не вылезешь, больше свистеть не буду.

– Вылезу, – заверил Женька.

Будильник загремел, когда в открытое окно ещё тянуло сыростью и в палисаднике зеленел полумрак.

Вскочив, я быстро оделся, взял снасти и вышел на улицу.

Солнце ещё не всходило, но в берёзах уже кричали птицы. Я направился к дому Женьки. Я был уверен, что он не пойдёт, и спешил в этом убедиться, чтобы потом обозвать его болтуном и трусом.

Подойдя к его дому, засунул в рот пальцы и свистнул. Как и ожидал, из окна никто не выглянул. «Дрыхнет, трепач», – усмехнулся я и только хотел свистнуть ещё раз – потрясти воздух как следует, как вдруг из-за угла дома выглянула его голова. Приложив палец к губам, он процедил:

– Тц-ц-ц!.. – и, перешагивая через мокрые от росы цветы, заспешил ко мне. – Я давно тебя жду, – поёживаясь, прошептал. – Только мои уснули, я сразу драпака. В сарае отсиделся, замёрз...

«Надо же!» – удивился я про себя, сунул Женьке одну удочку и мы повернули к реке.



– Видал, сколько росы?! – подтолкнул меня Женька. – Значит, погодка будет отличная... Ух, и половим!.. Как ты думаешь, мы много поймаем?

Я только пожал плечами.

Когда мы спустились к реке, уже вошло солнце, и туман над водой стал рассеиваться. Я начал готовить снасть.

– Ух ты! Кто-то рисует водяные знаки! – вдруг громко поразился Женька и показал на зигзаги, которые чертили на поверхности воды плавники мальков.

– Тише ты! Рыбу распугаешь! – прохрипел я и зло посмотрел на «горе-рыболова». Женька закрыл рот и стал спешно разматывать удочку.

Только я забросил снасть, как Женька увидел водомерок, и у него опять вырвалось:

– Ух ты, как конькобежцы!

Я показал ему кулак и, сдерживая голос, бросил:

– Ещё слово – и получишь!..

Женька смутился и тоже забросил удочку.

Минут десять он стоял молча, только таращил глаза по сторонам и строил мне гримасы, как бы говорил: «Видал это?» или «Заметил то?». «Никак не поймёт, дуралей, что это я видел тысячу раз», – усмехнулся я про себя, и в этот момент мой поплавок задёргался. Сделав подсечку, я потянул удилище, и на песок плюхнулся полосатый окунь.

Женька сразу бросил свою удочку, подбежал ко мне и тихо затараторил:

– Ай-я-яй! Ой-ё-ёй!

Пока он рассматривал окуня, его поплавок резко поплыл в сторону.

– Смотри! – я толкнул его в плечо.

Женька метнулся к удилищу, схватил его обеими руками и попятился от воды. Он семенил до тех пор, пока на мелководье не плеснуло и в песке не затрепетал небольшой голавль. Бросив удилище, он подбежал к рыбе, схватил её и, прижав к животу, затанцевал от радости. Он успокоился, только когда я стукнул его меж лопаток; тогда снова взял удочку и притих.

Солнце поднялось выше, и по воде прямо на нас побежала слепящая полоса; у наших ног она обрывалась в прыгающие блики. Женька опять засиял, растянул рот в улыбке.

– Чудо! Настоящее чудо! – забормотал.

«Вот олух, – злился я. – Солнце, что ли, никогда не видел? Где там чудо?.. Всё такое обычное».

Через час я поймал ещё трёх окуней и одну плотвичку. Женька выудил крупного ерша; каждую мою рыбу он встречал восторгом, рассматривал и так и сяк, щёлкал языком, а отцепив своего ерша, сказал:

– Спасибо, что взял меня на рыбалку... И вообще здорово, что я убежал!..

Стало припекать. Потянул ветерок. На другой стороне реки закружил коршун.

– Высматривает мышь на земле? – тихо спросил Женька, но я ничего не ответил.

После рыбалки, не переставая улыбаться, Женька сказал:

– Давай пойдём через лес? Мои всё равно уже встали, всё равно мне влетит. Пойдём, а?

Дорога через лес была длиннее, но зато по пути можно было набрести на куст малины или россыпь ежевики.

– Ладно, пойдём, – нехотя согласился я. – Только не скачи, как козёл. Иди спокойно!

В лесу было ещё холодно и от деревьев падали длинные тени. Вначале мы прошли редкий осинник, в котором бродили овцы и щипали тонкую траву. Потом вступили в сосновый бор с высокими замшелыми стволами.

– Какой-то сказочный, совсем сказочный лес, – тихо вторил Женька. – Наверное, в нём полно разных леших?

Я презрительно фыркнул, и Женька стушевался, покраснел...

Через два дня мы рыбачили с Вовкой. Как всегда, Вовка удил сосредоточенно, молча; сидел, впившись в поплавок, и только подсекал. Он вытаскивал одну рыбку за другой, деловито снимал с крючка и, опустив в садок, наживлял нового червя. Вовка поймал штук двадцать рыбин, а у меня что-то ловля не клеилась.

Вначале я засмотрелся на восходящее солнце и на его отражение в воде – оно выглядело, как расплавленное золото. Потом заметил множество маленьких солнц в каплях росы, в мокрой листве, в ракушках, в паутине. Потом стал разглядывать распускающиеся цветы, из которых вылетали жуки; потом – ласточек, пронесившихся над водой, и высокие кучевые облака, похожие на белый каракуль.



КАК НА КАЧЕЛЯХ

РАССКАЗЫ О ШКОЛЕ



ПЕРВЫЙ УРОК

Когда я должен был идти в школу, родители купили мне портфель, букварь, тетради, пенал, ручку, карандаш и ластик. Стал я ждать первого сентября. Всё рассматривал свои принадлежности, перекидывал их из одного отделения в другое. Перекидывал, перекидывал и вдруг подумал, а если меня спросят что-нибудь, а я не знаю?! Что тогда?! Скажут: «Иди обратно в детский сад». Да ещё поставят двойку, огромную, как гусь. Такого позора я не пережил бы, и мне сразу расхотелось идти в школу. Но первого сентября мать дала мне в руки горшок с цветами и всё же повела в школу. Ещё дома я сказал ей:

– Не хочу идти в школу.

– Это почему же? – спросила мать.

– Не хочу, и всё.

– Тебе там понравится.

– А если не понравится?

– Понравится, вот увидишь. Все ходят в школу, и ты должен идти. Не хватало ещё, чтобы ты остался неучем! И потом, интересно, каким же образом ты станешь капитаном без знаний?!

Я действительно планировал стать капитаном дальнего плавания, но всё думал – как бы сразу поступить в мореходное училище, минуя школу?

По дороге в школу я сказал матери:

– Вряд ли мне там понравится, но ладно! Один раз схожу, посмотрю. Если не понравится, больше ни за что не пойду.

Когда показалась школа, мне опять расхотелось в неё идти.

– Я только загляну, – сказал я матери. – Если не понравится, сразу сбегу.

Около школы толпились мальчишки и девчонки с портфелями и ранцами. Они выстраивались цепочками от ступеней школы. На ступенях стояли учителя и в руках держали картонные квадраты с буквами «А», «Б», «В». В одной цепочке я заметил мальчишку с бумажными погонами, на которых были нарисованы большие генеральские звёзды. Учительница с буквой «В» заметила мальчишку, улыбнулась и отдала ему честь.

Мать подвела меня к учительнице с буквой «Б», и я встал за какой-то девчонкой; в одной руке девчонка держала портфель, другой сжимала куклу. Учительница с буквой «Б» стала ходить вдоль нашей цепочки и всех пересчитывать. Около девчонки с куклой остановилась и сказала:

– Куклу спрячь в портфель и в следующий раз в школу не бери.

Учительница с буквой «Б» мне сразу не понравилась. Я вышел из цепочки и подбежал к матери.

– В чём дело? – к нам подошёл толстый дядька в очках. – Тебя как зовут?

– Егор Смехов, – сказала мать.

– Очень хорошо, Егор Смехов. А я директор школы Борис Васильевич. Так почему ты сбежал?

– Ему учительница не понравилась.



– Вот это да! – удивился директор. – Ну, хорошо. Мы сделаем вот что! Пойдём, ты сам выберешь себе учительницу.

Директор подвёл меня к учительницам, наклонился и шепнул:

– Выбирай!

Я показал на учительницу с буквой «В».

– Очень хорошо! – сказал директор. – Ты молодец, бьёшь без промаха. В самом деле выбрал лучшую учительницу. Ирина Николаевна, принимайте Егора Смехова!

Учительница с буквой «В» улыбнулась и первым провела меня в класс.

Рассадив всех за парты, учительница стала каждого записывать по имени и фамилии. Моим соседом оказался мальчишка с погонами. Сашка Карандашов. Он меня спросил:

– Читать умеешь?

– Угу, – сказал я.

– Ну, сколько будет три да три?

Я стал загибать пальцы под партой. Потом говорю:

– Пять.

– И нет! – засмеялся Сашка. – Во сколько. – И пальцем нарисовал в воздухе семёрку. Затем снова спросил:

– Ты кем хочешь стать? Я – генералом.

– Я буду капитаном дальнего плавания, – сообщил я Сашке и подробно рассказал, как буду бороздить океанские просторы. В заключение я предложил Сашке место боцмана на моём судне.

Сашка тут же согласился и даже выразил готовность на время плавания сменить генеральские погоны на боцманские.

Когда учительница закончила всех переписывать, одна девчонка на первой парте вдруг запела, а потом встала и направилась к двери.

– Лена Покровская, ты куда? – спросила учительница.

– Тузика кормить, – сказала Ленка, и все засмеялись.

И учительница улыбнулась. А потом посадила Ленку снова за парту и сказала:

– Тузиков и Мурзиков будем кормить после уроков. И попугаев тоже. У меня, например, дома живёт попугай. Он знает двадцать слов. Целый год их учил. А мы должны эти слова выучить за неделю. Начнём с букв, – учительница взяла мел и подошла к доске...

Учительница мне понравилась и понравилась Ленка Покровская, но больше всех – Сашка Карандашов. У него были замечательные погоны. Он обещал мне сделать такие же, но с якорями, и предложил после школы слазить в угольную яму и посидеть на брёвнах. И ещё обещал познакомить со своей собакой.

– Все думают, она девочка, – сказал Сашка, – а он мальчик, потому что гоняется за кошками.

В общем, в школе мне понравилось, вот только перемены оказались слишком короткими.

ЗАДАЧКИ

В третьем классе мы с Сашкой неожиданно стали отстающими по арифметике. Всё началось с задачек. Мы наловчились сами придумывать задачи. Сделаем бы-стренько домашнее задание, разные там примеры, и начнём выдумывать задачи. Для одноклассников.

Сашка придумает что-нибудь такое: «Дорого или дёшево продавать хороших жирных червей по десять копеек за штуку, если на такого червя можно поймать леща на десять рублей?».

А я придумаю ещё заковыристей: «Если тряпку бросить в ведро с водой и вынуть не через пять минут, а через час, она будет мокрее или нет?».

Над нашими задачками одноклассники сильно ломали головы. Случалось, мы и друг друга ставили в тупик. Например, Сашка подумает, подумает и говорит мне:

– Ты пошёл в школу коротким путём. Пролез через забор, да порвал штанину. Пошёл назад, чтобы мать зашила, да споткнулся о камень. И у тебя над глазом появился фонарь. Пришёл домой, а тебе ещё мать всыпала за то, что ходишь не как все. Сколько ты всего получил тумачков?

А я сразу Сашке в ответ:

– Ты списал задачку у Генки, а я у тебя, и мы все получили по двойке. После уроков я хотел бить тебя, потому что ты плохо списал у Генки. А ты хотел бить Генку, потому что он неправильно решил. Кого надо было бить?



И так всё время, изо дня в день. Мы с Сашкой придумали сотни задачек. Целый учебник можно было составить.

Однажды на уроке учительница Ирина Николаевна велела каждому придумать по задачке. Все ребята как-то сразу приуныли, но мы-то с Сашкой, ясное дело, обрадовались. Уж что-что, а задачки-то мы придумывали отлично, здесь нас никто не мог переплюнуть.

– Пара пустяков, – громко проговорил Сашка. – Раз-два – и готово! Сколько задачек надо придумать, Ирина Николаевна?

– Всего одну, Карандашов. И успокойся, пожалуйста, и не прыгай! А ты, Смедов, – это относилось ко мне, – перестань ему подмигивать.

В классе стало тихо, только было слышно, как перья скрипят.

– Давай про болезни что-нибудь, – шепнул мне Сашка.

– Давай, – я пожал плечами. – Мне всё равно про что. Про болезни, так про болезни.

Сашка придумал такую задачку: «У Пети болела голова, и ему купили всяких сладостей. Коля объелся огурцов, и, чтобы не ревел, ему подарили пробочный пугач. Ваня вывихнул ногу, и ему купили самострел. Чем лучше всего болеть?».

А я написал: «Петю укусила собака пять раз, а Ваню два. Петю положили в больницу, и его родители принесли ему целую корзину пирогов. А Ване только купили конфету. Кому лучше: Пете или Ване?».

Мы с Сашкой первыми сдали свои задачки и стали посмеиваться над соседями, шёпотом давать советы, пока нас Ирина Николаевна не вывела из класса.

На другой день мы с Сашкой получили по двойке. От такой неожиданности я сильно расстроился и домой пришёл в неважном настроении, но чтобы роди-



тели не разгадали причину моего состояния, сделал вид, что мне очень весело. Ходил и нарочно громко пел.

После ужина мать забеспокоилась:

– С чего это ты так распелся? Уж не заболел ли?

А отец встал из-за чертёжного стола (он работал и по вечерам) и буркнул:

– Ну-ка, покажи дневник!

У меня внутри всё так и заледенело.

Ну, а потом отец в наказание велел мне весь вечер стоять за бойлерной, да ещё спиной ко двору. И вот, значит, стою я там, стою, вдруг краем глаза вижу – Сашка идёт. Весь замызганный какой-то.

– Чтой-то ты, Сашка, – говорю, – такой грязный?

– Отец веником вздул, – пробормотал Сашка. – А ты что там? На доски смотришь?

– Ага, – говорю. – Меня сюда отец поставил. На весь вечер.

Сашка только присвистнул:

– Мне лучше.

На следующий день к нам с Сашкой, как к отстающим, прикрепили Ленку Покровскую, отличницу. Был отличный солнечный зимний денёк, все ребята катались на лыжах, санках, лепили снеговиков, а нам сразу после уроков Ленка устроила дополнительные занятия.

– Сядьте за парту и слушайте внимательно, – строго произнесла она – точь-в-точь как Ирина Николаевна. – Очень хорошо, что вы придумываете задачки. Но ваши задачки все глупые. Арифметика учит считать, а в ваших задачках нет счёта. Вы думаете, они смешные, да? И нет вовсе. Они глупые, вот какие! И у них нет одного ответа. Каждый может ответить, как ему вздумается.

– Дурочка ты, Ленка! Нет ответа! – поморщился Сашка. – В моей задачке каждому ясно, что лучше всего вывихнуть ногу. Сразу получишь самострел.

Ленка оторопело заморгала глазами, потом взглянула на меня.

– А ты чем хотел бы заболеть в его задачке?

– Чтоб болел живот от огурцов. Пугач лучше самострела.

– Вот, – обрадовалась Ленка и повернулась к Сашке. – Видишь, он выбрал пугач.

– Ты что, спятил? – накинулся Сашка на меня. – Самострел же лучше!

– Вот ещё! – хмыкнул я. – Лежать неделю с больной ногой. Не-ет! Пугач лучше. Стрела улетит, и всё. А пробок везде полно.

– Не спорьте, – улыбнулась Ленка. – Давайте лучше вместе придумаем задачку. Со счётом и с одним ответом.

– Про что? – оживился Сашка.

– Про что хотите.

– Может, про море? – ввернул я. – Про море лучше всего. Корабль тонет, и все спасаются.

– Точно, – кивнул Сашка. – Десять человек сели в лодку, а остальные взяли спасательные круги. Сколько спаслось и сколько утонуло?

– Нет, нет, – Ленка замахала рукой. – Никто не утонул, все спаслись. Десять человек сели в одну лодку, десять в другую, а остальные взяли круги. Сколько было людей на пароходе, если кругов было...

– Семь! – подсказал я.

– Да, семь, – согласилась Ленка.

– Десять, десять, да ещё семь... – Сашка закатил глаза к потолку и выдохнул: – Двадцать семь.

– Правильно! – возликовала Ленка. – Замечательная задачка.

– Завтра весь класс ахнет! – вскочил Сашка.

А я уже представил, как наши двойки сами собой исправляются на пятёрки.

БЕДНЫЙ ТУРГЕНЕВ!

Что мы с Сашкой не любили по-настоящему, так это диктанты. Особенно на предложения, где много запятых. Из-за этих проклятых запятых мы с Сашкой постоянно получали двойки. У меня запятых всегда штук пять не хватало, а у Сашки было слишком много, почти после каждого слова – просто целый полк жирных таких запятых.

Однажды перед диктантом Сашка храбро объявил мне:

– Сегодня весь наш ряд получит пятёрки.

Он подвёл меня к первой парте, за которой сидела Ленка Покровская – отличница; от неё тянулась нитка по всему ряду парт.

– Понял? – загадочно усмехнулся мой друг.

– Что понял? – спросил я.

– Эх ты, голова! Ленка будет дёргать за нитку, когда ставить запятую, понял?

– Здорово! – удивился я. – Сам придумал?

– А кто ж ещё! – заважничал Сашка. – Я и не то могу.

И это было правдой – Сашка слыл первоклассным выдумщиком.

Прозвенел звонок, в класс вошла Ирина Николаевна и объявила:

– Сегодня пишем диктант. Отрывок из рассказа Тургенева «Воробей».

Урок начался. Ленка Покровская намотала нитку на палец левой руки, а правой приготовилась писать. Сашка тоже левой рукой взял нитку, а правой ручку. Ирина Николаевна начала диктовать.

Как Сашка и говорил, после слова, где надо ставить запятую, Ленка дёрнула за нитку. Сашка вывел запятую и дёрнул Кольке Зайцеву, который сидел за ним. Колька поставил крючок и дёрнул Гальке Котельниковой. Галька поставила знак препинания и подала сигнал дальше. Так они и писали диктант.

На другой день весь Сашкин ряд, кроме Ленки Покровской, получил двойки. Вот как ребята написали одно и то же предложение:

Ленка Покровская: «Моя собака медленно приближалась к нему, как вдруг, сорвавшись с близкого дерева, старый черногрудый воробей камнем упал перед самой её мордой».

Сашка: «Моя собака медленно приближалась к нему как, вдруг сорвавшись с близкого дерева старый черногрудый, воробей камнем упал перед самой её мордой».

Колька Зайцев: «Моя собака медленно приближалась к нему как вдруг сорвавшись с близкого, дерева старый черногрудый воробей камнем, упал перед самой, её мордой».

Толька Жижин, который сидел на последней парте: «Моя собака медленно приближалась к нему как вдруг сорвавшись с близкого дерева старый черногрудый воробей камнем, упал перед, самой её, мордой».

– Бедный Тургенев! Что вы с ним сделали! – сказала Ирина Николаевна, зачитав вслух диктант Тольки.

ДНИ НА ВЕРЁВКЕ

За окном была весна. По всему городу текли ослепительные ручьи, в оврагах бушевали водопады, и первые смельчаки гуляли без пальто. А мой друг Юрка лежал в больнице.

Уже запах талого снега сменился на запах сохнувшей земли. Уже почки набухли и светились, как лампочки, уже от асфальта шёл пар, и всё тише бормотали задыхающиеся водопады, и облака становились высокими и неподвижными. А Юрка всё лежал в больнице.

Уже солнце вовсю проказничало – раскидывало сверху стрелы; уже листвою покрылись метёлки берёз и в скворечнях галдели желторотые. А Юрка всё лежал в больнице. Мой близкий друг Юрка лежал с тяжёлой простудой. Он каждую весну простужался – такой был болезненный.

«Наверно, ему там скучно, – думал я. – Наверно, хочет со мной поболтать, сразиться в шашки... Но мне всё некогда к нему зайти. Много дел; то одно, то другое».

Из нашего класса к Юрке ходила только Ольга Петрова, скучная, невзрачная тихоня; она вечно о чём-то грустила, вздыхала; если и заводила разговор – только о музыке и стихах – корчила из себя принцессу. Но я-то видел коварство этой тихони. Она прекрасно знала, что мы с Юркой неразлучные друзья, и навещала его мне назло. Дело в том, что я нравлюсь ей и она завидует нашей с Юркой дружбе, ревнует к нему.

Однажды сидим на уроке, а она пялит на меня глаза. Мне, конечно, приятно, но всё же не очень. Что подумают ребята? Я дружу с девчонкой! Этого мне ещё не хватало!.. Я смотрю на неё с усмешкой и отворачиваюсь.

Вообще в тот день она была какая-то странная. На перемене подходит и тихо произносит:

- Мне надо тебе что-то сказать.
- Ну, говори! – Я засовываю руки в карманы, приговариваю слушать.
- Не сейчас, – говорит. – После уроков.



До конца занятий у меня прекрасное настроение, даже напеваю тихонько. «Всё, – думаю. – Не выдержала. Решила признаться, что в меня влюблена».

Вышли мы с ней из школы, а она молчит. Прошли всю улицу – всё молчит. Мне надоело ждать, и я спрашиваю:

– Ну, так что ты хотела сказать?

– Ты гадкий эгоист, – вдруг выпалила она. – Я всё думала, ты догадаешься сходить к Юре в больницу? Но до тебя разве дойдёт?! Ты бесчувственный, даже деревянный. И почему только он с тобой дружит?! – махнула рукой и ушла.

Вот так и ошарашила меня – прямо заклемила позором. Да ещё оскорбила. Моё настроение резко испортилось.

На следующий день я отложил все дела и пошёл к Юрке.

Его кровать стояла перед окном; он сидел и что-то рисовал; худой, бледный и взгляд какой-то туманный. Увидев меня, отложил рисунок.

– Что так долго не приходил?

– Дела, Юрка. Полно всяких дел.

– Какие дела?

– Разные. Очень много разных дел. Просто тьма.

– А я вот скучал, скучал. Потом Ольга Петрова краски принесла. Стал рисовать. Каждый день по рисунку. Весну за окном рисовал. – Юрка показал в угол. Там на бечёвке висели прикрепленные зажимками акварели. На самой первой – ещё зима, на последней – уже почти лето.

– А почему на верёвке? – спросил я.

– Сохнуть повесил, да так и не снял. А теперь вроде выставка.

В палату вошла Юркина мать с букетом каких-то мелких цветов и разными сладостями в сумке-сетке. Кивнула мне, расцеловала Юрку в обе щеки.

– Весна – лучший доктор, – сказала. – От всех болезней вылечит.

В двери появилась Ольга Петрова; поздоровалась и протянула Юрке шоколад. Сразу за Ольгой шумно вошёл доктор.

– Ну-с, как наше самочувствие? – обратился к Юрке и улыбнулся; распахнул форточку и в палату ворвался тёплый воздух с гомоном птиц и голосами прохожих. Доктор пощупал Юркин пульс.

– Ну вот, всё в порядке. Скоро будем выписываться. Видишь, и друзья стали к тебе наведываться, – он подмигнул Юрке. – Я всегда говорил: лучший способ узнать, есть ли у тебя настоящие друзья – немного заболеть. Понарошку. Правда, здесь есть опасность – разболеться всерьёз. А чтобы этого не случилось, не мешает принимать солнечно-воздушные и прохладно-водяные ванны. Одним словом – закаляться.

Юрку выписали из больницы другим человеком. Не внешне; внешне он быстро вошёл в форму – начал принимать «ванны» и набрал вес, даже стал здоровее, чем прежде. Он изменился в отношении к ребятам.

Теперь он никого не называл другом – только приятелем. Даже меня, своего давнего закадычного друга. Стоило мне заикнуться, что мы с ним «друзья до гроба», как он поправлял: «Приятель».

Теперь он дружил с Ольгой Петровой. Случалось, ребята подшучивали над ним, отпускали колкости в его адрес, но он не обижался. Даже наоборот – выставлял напоказ свою дружбу с девчонкой и гордился этой самой дружбой.

ПОДАРОК ДЕДА МОРОЗА

В начальных классах школы Новый год для меня мало чем отличался от других праздников. Я считал, что в празднике главное – подарки, а раз так, то какая разница – Новый год это или день рождения. Ёлка, конечно, немного отличала Новый год от других праздников, но водить хороводы и петь песенки я считал занятием маменькиных сынков.

Вовка Карасёв, наоборот, больше всех праздников любил Новый год – в новогодний вечер усаживался перед окном и ждал Деда Мороза, и каждый раз его сонного перетаскивали в постель, а утром он бичевал себя за то, что не дождался полуночи.

Вовка жил в доме у шоссе; мимо их окон то и дело проносились грузовики и от грохота дребезжали окна, а вечерами по стенам от фар ползли светлые полосы.



Вовка хотел стать шофёром; по всей улице собирал поломанные игрушечные автомашины, чинил их, а потом возил грузы, устраивал автогонки. После школы Вовка часами торчал на соседней автобазе. В основном около грузовика дяди Федя – подавал мастеру инструмент, гайки, болты. Всякий раз, заведя Вовку, дядя Федя восклицал:

– Ого! Автомобильный ас пожаловал. – И подмигивал приятелям. Потом хлопал Вовку по плечу и добавлял: – Хорошо, что явился, классный водитель. Без тебя ничего не клеится. – И смеялся.

Во время перекура, также посмеиваясь, дядя Федя рассказывал Вовке про рычаги управления грузовика, объяснял, зачем та или иная деталь.

Вовка никогда не мог понять – шутит дядя Федя или говорит серьёзно, тем не менее всё больше изучал машину.

Часто дядя Федя говорил:

– Ну давай, гроза шоссе, показывай, где там надо залатать?

И Вовка показывал царапины и вмятины на грузовике.

Когда дядя Федя уходил обедать, Вовка забирался в кабину машины, включал скорости, прыгал на сиденье, крутил руль-баранку – представлял, что несётся по шоссе.

Каждый день Вовка ходил на автобазу и через полгода уже считал себя профессиональным водителем и механиком. Не хватало только своей машины.

Однажды под Новый год Вовка встретил на улице дядю Федю.

– Ого! Кого я вижу! – проговорил дядя Федя нетвёрдым голосом. – Волкодав дороги! Ну-ка, иди сюда. Ахнешь, что тебе скажу. – Дядя Федя нагнулся к Вовке и прошептал: – Щас только с Дедом Морозом виделся. Он обещал в этот раз притащить тебе настоящий грузовик. Маленький – полторку.

Вовка поднял глаза на дядю Федю и онемел от удивления.

– Да, да, точно, настоящий, – продолжал дядя Федя серьёзно. – Уж ты, говорю, дед, того! Смотри, Вовке-то пригони грузовичок. Чего тебе стоит-то! Он, Вовка, говорю, парень наш, мировой... Дед пообещал... Так что всё в порядке. Жди.

– Настоящий грузовичок?! – еле выдохнул Вовка. – Как у вас?

– Лучше! Лучше, чёрт побери! – дядя Федя подмигнул и побрёл в сторону.

В новогоднюю ночь Вовка долго не мог уснуть. Всё вглядывался в морозное окно, ждал, когда к дому подкатит Дед Мороз на грузовике.

Утром, проснувшись чуть свет, Вовка бросился к окну и увидел чудо: прямо перед домом тарахтела новенькая полторка!

Вовка накинул пальто, надел ушанку, валенки, выбежал на крыльцо; он не сомневался, что это его, Вовкина, машина: «Ведь такого на базе нет. К тому же стоит заведённый, а в кабине никого. Наверняка Дед Мороз пригнал его ночью и оставил для него, Вовки».

Вовка влез на сиденье и покрутил руль. Потом выжал педаль, включил скорость и... машина медленно покатила. Но через несколько секунд грузовик вдруг начал сползать в сторону и внезапно, круто повернув, уткнулся в сугроб. Вовка стукнулся лбом о руль-баранку; мотор заглох.



Потирая лоб, Вовка вылез из кабины и увидел – к нему со всех ног бежит дядя Федя и рядом незнакомый шофёр.

– Ты что, спятил?! – кричал дядя Федя, а шофёр грозил кулаком.

Подбежав, дядя Федя дал Вовке подзатыльник и кинулся осматривать машину.

– Всё цело, – сказал шофёру и смахнул пот с переносицы.

– Ну и шкет! – проговорил шофёр. – У вас здесь все такие?

– Да нет, – махнул рукой дядя Федя. – Это только он такой!

– Дядь Федь! – тихо сказал Вовка. – Ты же говорил... – Вовка хотел напомнить дяде Феде про его разговор с Дедом Морозом, но какой-то горький комок застрял в горле, он не выдержал и заплакал.

– Говорил, говорил, – проворчал дядя Федя. – Мало ли что говорил... Соображать надо. Парень-то вон уж какой!

Дядя Федя с шофёром влезли в кабину, завели мотор и поехали назад. А Вовка ещё долго стоял на дороге и тёр глаза кулаками.

...Странно, но через несколько лет мы с Вовкой поменялись местами. Для него Новый год стал только поводом повеселиться, а я стал ждать Деда Мороза и надеяться на какое-то волшебство.

ВОПРОСЫ

Последнюю парту, на которой сидел Толька Жижин, одни называли «Камчаткой», другие – «ослиной». И не зря.

Толька Жижин занимался борьбой и не упускал случая продемонстрировать «приёмчики»: то и дело нас валил, ломал, душил. Правда, и к себе был суров: постоянно поднимал тяжести, отжимался от пола, бил себя палкой, чтобы сделать тело «нечувствительным к боли». И всё время старался подчеркнуть свои выгодные качества: подходил и протягивал руку.

– Потрогай мышцы!

Мышцы у него действительно были, как поленья.

Одно время Толька корчил из себя всезнающего учёного. При встрече всем задавал сложные вопросы:

– Знаешь, почему одна лягушка ловит комаров, а другая сидит под лопухом и попусту тратит время?

Спросит, засунет руки в карманы и едко ухмыльнётся – видали, мол, какой я умный, всё знаю.

Как-то этот умник с неделю изводил нас с Сашкой вопросами. В первый день подошёл, принял вызывающую позу и ухмыльнулся:

– Ну, почему светятся светляки, знаете?

– Почему? – спросили мы.

– Вот то-то и оно, почему? – Толька прищурился, щёлкнул языком. – Я-то знаю. Это вы скажите, – и снова загадочно ухмыльнулся.

Мы с Сашкой стали мучительно думать, ломать голову.

– Эх вы! Ничего не знаете! – бросил Толька и ушёл, размахивая руками.

Мы побежали в школьную библиотеку, перекопали кучу книг, узнали про светящиеся пигменты на брюшке светляка и на следующий день всё выложили Тольке.

Он выслушал, кивнул:

– Правильно. Ну, хорошо. А куда они улетают на зиму?

Мы с Сашкой понурили головы, совсем ошарашенные. А Толька довольный ушёл, размахивая руками и насвистывая.

Мы снова помчали в библиотеку. Снова сообщили Тольке всё, что вычитали. А он выслушал и – бах! Ещё отчебучил пару вопросиков.

Так продолжалось несколько дней. Мы с Сашкой уже стали думать: «Какой же умный Толька! Столько знает о животных!» А тут ещё услышали – он задаёт вопросы не только нам, но и другим ребятам.

В общем, мы зауважали Тольку, в наших глазах он уже выглядел учёным. И вдруг всё раскрылось.

Толька при всех задал вопрос Ленке Покровской:

– Знаешь, почему гремучая змея называется гремучей?

– Знаю, – улыбнулась Ленка. – Потому, что у неё на хвосте растут кольца, которые гремят, как погремушки.

Толька раскрыл рот, чтобы задать ещё один вопрос, но Ленка опередила его:

– А вот ты скажи, кто может полгода не есть?

– Верблюд! – твёрдо заявил Толька.

– И нет! – Ленка тряхнула головой. – Паук!.. А кто видит, что впереди, сбоку, сверху, снизу и сзади?

– Сова!

– Нет. Стрекоза!.. Почитай книжки. Ты хитрый. Задаёшь вопросы, чтобы тебе всё узнавали. Чем заниматься своей дурацкой борьбой, лучше почитай книжки.

Толька покраснел и сразу из учёного превратился в круглого недоучку.



КАК НА КАЧЕЛЯХ

Моя мать всегда просыпалась с улыбкой и всегда по утрам напевала. Отец говорил, что у неё счастливый характер. Я же постоянно вставал с «левой ноги». Утром меня раздражало карканье ворон, бой часов у соседа. А уж пасмурные дни наводили такую тоску, что я подолгу не вылезал из-под одеяла. В один из таких дней мать подошла к моей кровати и сказала:

– Вставай скорее! Ты хотел уроки доделать, задачи решить. И завтрак готов.

– Ещё посплю немного, – буркнул я и натянул одеяло на голову.

«Зачем вставать, когда под одеялом так тепло. К тому же задачи можно решить и под одеялом, а потом встать и быстренько записать». Но мать продолжала меня тормозить:

– Эх ты, курица, а не мужчина. Говоришь одно, а делаешь другое. Вставай!

С трудом я слез с постели и, не открывая глаз, на ощупь поплёлся к умывальнику.

После завтрака немного пришёл в себя, но не совсем. Надо было садиться решать задачи, которые не успел решить вечером. Полчаса сидел над ними, но так ни одной и не решил. Настроение вконец испортилось.

Когда я вышел из дома, всё вокруг выглядело противно: и потрескавшиеся берёзы, и покосившийся забор, на котором было написано: «Катя дура»; и неприятно холодил утренний воздух.

По дороге в школу встретил Надьку, которая училась во вторую смену, – она крутилась на одном месте, раскинув руки в стороны. Беспокойная Надька в школе была участницей театральной студии. «Корчит из себя танцовщицу», – подумал я и прошёл мимо.

Остановился около дома, где жили старики. Старушка сидела на крыльце и смотрела, как дед сажал в ящики цветы, при этом что-то советовала деду, называя его Дуся. Дед соглашался, кивал и в ответ звал старушку Буся.

Подойдя ближе, я услышал:

– Странный ты, Дуся! С тех пор как полысел, всё цветы сажаешь. А ведь в молодости совсем их не любил.

– Брось, Буся! Странный, странный! – бормотал дед. – Я и раньше цветы любил. Ещё мальчишкой, бывало, иду с рыбалки, обязательно матери букет нарву. – Дед провёл ладонью по лысине и вздохнул:

– Эх, Буся! В детстве ведь у меня были золотистые локоны, да! Мать девочку хотела, а родился я. Так она до трёх лет мне волосы отпускала...

– А у меня в детстве, – затараторила старушка, – были две длинные косички...

«Как? Неужели и они были маленькие? Глупые какие-то», – мелькнуло в голове.

Потом я увидел шофёра дядю Федю – он лежал под грузовиком и что-то ремонтировал. Я встал рядом, стал смотреть – починит или нет? Стоял, стоял, потом говорю:

– Чтой-то, дядь Федь, машина у вас часто ломается?

– Иди в школу. Опоздаешь! – буркнул дядя Федя.

«Так ему и надо, что машина сломалась», – подумал я и отошёл.

На овощной палатке заметил пустую консервную банку. Не раздумывая достал рогатку и выстрелил.



Голыш упал рядом с банкой. Только прицелился второй раз, как из-за прилавка выглянула продавщица.

– А ну, прекрати пальбу! А если меня убьёшь?! В тюрьму захотел?!

Потом я увидел впереди Сашку Карандашёва с портфелем; он шёл вприпрыжку, чиркая расчёской по стенам домов. Заметил меня, подскочил:

– Приветик! А у меня во что! – достал из кармана пищалку и пискнул. – Вчера ходил на речку, а там камышины! Из них отличные пищалки получаются, – он пискнул мне прямо в лицо и перевернулся на одной ноге.

– Покажи своей бабушке! – крикнул я. Меня просто взбесил этот владелец богатства. Мало того, что он не позвал меня на речку, ещё хвалится пищалкой! «Ну, погоди, – подумал я. – После школы сделаю себе свистульку из липы, посмотрю, как ты тогда попищишь!»

– Побегали, а то опоздаем! – спохватился Сашка.

– Беги! – отрезал я и направился к углу улицы, где сидел сапожник дядя Коля.

– Что, в школу спешишь? – спросил дядя Коля, когда я подошёл.

– Угу.

Некоторое время я наблюдал, как дядя Коля вколачивал в башмак гвозди. Воткнёт гвоздь наискосок, чтобы лучше входил, и с одного удара вколачивает; а другой гвоздь держит во рту наготове, губами за шляпку.

– Хорошо быть сапожником, правда, дядь Коля? – сказал я.

Он ничего не ответил, только пожал плечами. А я продолжал:

– Можно работать, а можно идти домой. Сам себе хозяин, что хочешь, то и делаешь.

Дядя Коля снова промолчал; он уже прибил подмётку, поставил башмак на деревянную плашку, стал обрезать лишнюю кожу. Нож был широкий, из пилки; резал кожу мягко, как масло.

– Ты в школу не опоздаешь? – вдруг мрачно спросил дядя Коля.

– Не-ет, – протянул я, но всё же отошёл и подумал: «Скучный какой-то. Всё время молчит».

В школу я всё-таки опоздал, но, к моему удивлению, учитель даже не спросил, где я задержался; только сказал:

– Проходи, садись скорей.

Это было первое, что подняло моё настроение.

Второе произошло после того, как учитель заявил, что спрашивать задачи не будет, а начнёт объяснять новый материал.

Третье, и самое главное, произошло на следующих двух уроках, когда я получил подряд две пятёрки. До этого я и четвёрки получал редко и вдруг такой успех!

Первую пятёрку я получил на уроке рисования. Учитель дал задание: нарисовать праздник; каким мы его представляем. Я нарисовал праздник на воде: ночное море и огромный корабль, весь в огнях. Корабль салютовал, и в тёмном небе сверкал фейерверк.

– Хороший рисунок, – сказал учитель и приколол мою работу к доске.

А потом была ботаника.

– Сегодня я расскажу вам о растениях-хищниках, – объявила учительница. – Слышал ли кто-нибудь из вас о них?

Я сразу вспомнил, как летом на рыбалке отец показал мне пузырчатку, и громко выпалил:

– Я видел пузырчатку.

– Очень хорошо, – сказала учительница. – Расскажи нам, где ты её видел?

– Летом мы с отцом много рыбачили, – начал я. – На удочки. Ловили окуней, иногда плотвички попадались. А однажды поймали огромную щу...

– Ты говори о пузырчатке, – остановила меня учительница.

– Тогда и пузырчатку отец мне показал. Она растёт в воде. Вся в воде. И вся в пузырях. Над водой – только стебель да цветок. Жёлтый такой, как флажок...

– Правильно! – кивнула учительница. – На конце листьев пузырчатки большие и маленькие пузырьки. От них она и получила своё название.

– Пузырьки имеют дверцы, – продолжал я.

– Клапаны, – поправила учительница.

– Клапаны, – повторил я. – Спасается малёк от окуня, ткнётся в дверцу-клапан, она откроется и скроет малька. Только потом захочет малёк выбраться наружу, а дверца его не выпустит. Так и съест пузырь малька.

Ребята загудели, заёрзали, но учительница сказала:

– Да, так. Стенки пузырька выделяют кислоту, отравят малька и постепенно переварят совсем. Спрятался малёк от окуня, да попал в западню... Молодец! Садись, пять!

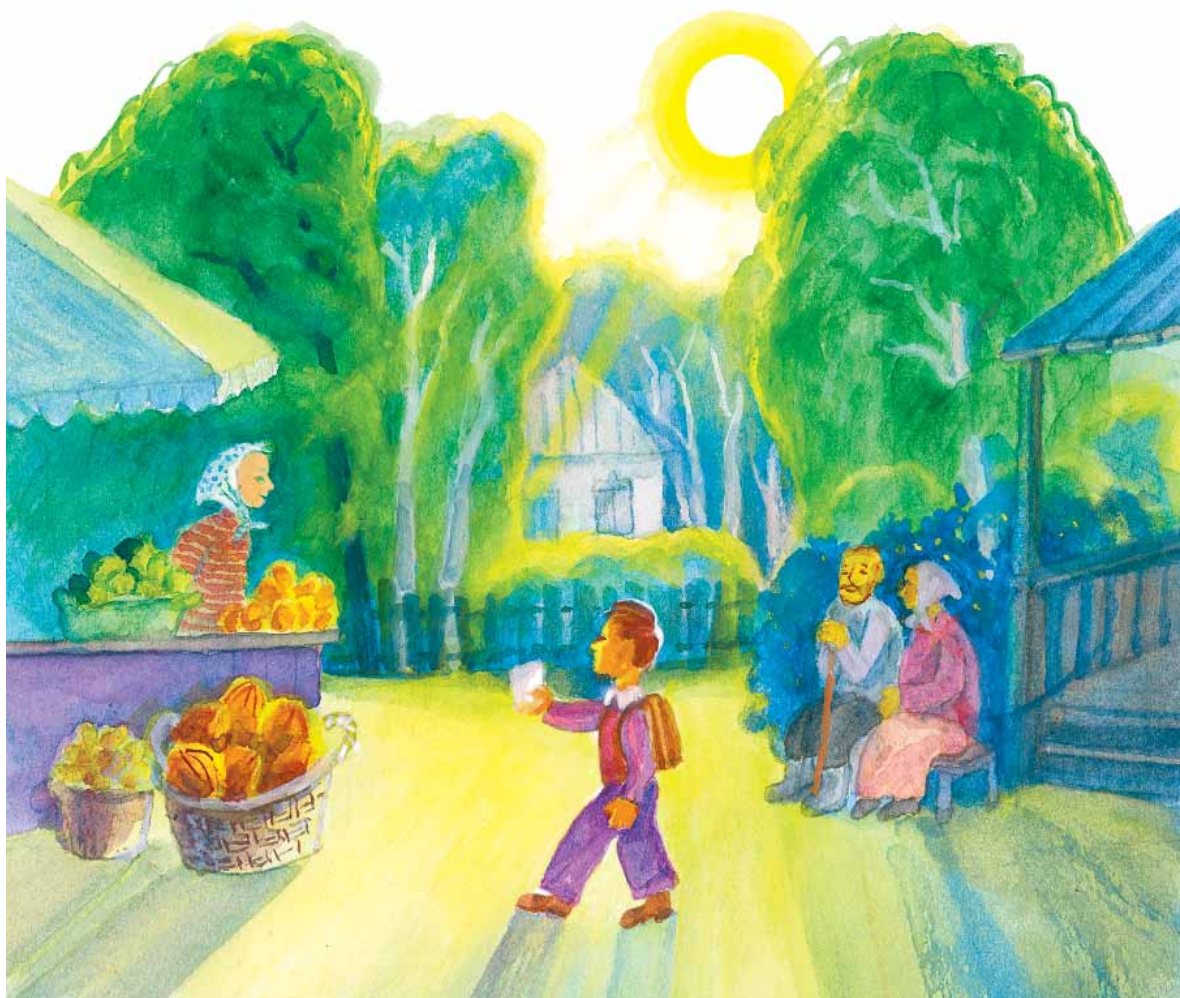
Я шёл по улице, размахивая дневником.

Около сапожника дяди Коли остановился и рассказал, как получил пятёрки. И дядя Коля отложил работу, улыбнулся и сказал:

– Молодчина! Пятёрки – это не хиханьки и хаханьки, их зря не дают. Удивляюсь, как это тебе удаётся, вроде и учишься с прохладцей...

И тут я понял, что дядя Коля мне казался молчаливым, потому что я сам много говорил.

Затем я догнал Сашку Карандашёва. Мне почему-то уже не хотелось делать свисток из липы, чтобы вызвать Сашкину зависть. Я достал из кармана перегорелую лампу и сказал:



– Пойдём кокнем?

Проходя мимо овощной палатки, я показал продавщице дневник, и она заулыбалась и протянула мне грушу.

Как и утром, я остановился около дома стариков; они сидели на крыльце и задумчиво смотрели на улицу. Я попробовал представить старушку тонкой девчонкой с косами, а деда – мальчишкой с удочками, но сразу почувствовал к ним жалость и, спрятав дневник, незаметно прошёл мимо.

Из своего дома выбежала Надька, покружилась на одном месте и направилась к школе; увидев меня, остановилась и засмеялась.

– Ты чего? – удивился я.

– Смешной ты какой-то! Глаза, как у зайца... в разные стороны.

Тут уж и я не выдержал и тоже засмеялся.

Когда я подходил к нашему дому, все люди на улице казались мне хорошими и близкими, почти родными. Да и сама улица, такая знакомая, вдруг стала особенно дорогой: и острокрышие дома с палисадниками, и высокие белоствольные берёзы, и выдавший виды забор, и воздух, пахнувший яблоками.



НА ОКРАИНЕ



Моё детство прошло на окраине небольшого городка, среди пыльных улиц с лотками, колонками и канавами для стока воды, и фонарями, на которых болтались бумажные змеи.

На окраине был прямо-таки мальчишеский рай. Во-первых, вдоль наших улиц тянулся песчаный обрыв, с которого мы прыгали и кубарем катились вниз к речке Серебрянке. А саму речку пересекали дощатые мостки, с которых можно было нырять. А на обрыве возвышались огромные вязы – на них мы забирались, словно матросы на мачты парусников.

Во-вторых, наши улицы с одно-двухэтажными домами и палисадниками представляли собой лабиринт из дворов и проулков, то есть мы имели неограниченные возможности для игр.

В-третьих, по одной из улиц ходил трамвай. Он выскакивал из-за поворота и наполнял окрестность скрежетом и лязгом; ярко-красный, с блестящими цифрами на боках, он звенел, раскачивался и пружинил, и катил по рельсам рассыпая искры. Мы катались на «колбасе» трамвая.

Но главное, на наших улицах находились мастерские и мы часами наблюдали за работой сапожника, столяра, слесаря, и мечтали стать такими же мастерами, как они.

КОЛОДЕЦ

С Сашкой Карандашёвым у нас отношения были скорее прохладными, чем тёплыми. Ну что может быть общего у мальчишек, если один из них (я то есть) любил лето, а другой (Сашка, разумеется) – зиму; и если один (опять-таки я) хотел стать капитаном, а другой (понятно – Сашка) уже видел себя полярным лётчиком.

– Летом лучше всего, – говорил я. – Солнце, рыбалка.

– Зимой лучше, – тут же заявлял Сашка. – Хоккей, лыжи. Можно бабу слепить.

– Зимой купаться нельзя. И в футбол не поиграешь, – продолжал я высказывать очевидные вещи, уже немного злясь на Сашку.

А он знай гнёт своё:

– Летом жара сплошная. Ни мороза, ни снега – скука.

Сашка был жутко упрямый. Ему никто ничего не мог доказать. Каждую весну и каждую осень мы с ним до хрипоты спорили, какое время года лучше: лето или зима. Но с наступлением тёплых дней, купаясь на речке, Сашка начисто забывал о своих словах, о том, как всего два месяца назад расхваливал зиму. Правда, во время зимних каникул, гоняя на лыжах и коньках, я тоже не вспоминал лето.

Конечно, у Сашки были кое-какие таланты: он умел свистеть, засунув в рот пальцы, и выдавал свист на орехе и на коре. И втайне мастерил тачку – чтобы всем всё возить.

Бесспорно, Сашка был выдумщик, но все его таланты меркли из-за его ужасного характера, из-за упрямства и заносчивости. Случалось, он грубил мне без всякого повода, на пустом месте. Как-то он залез на бойлерную и стал забрасывать удочку во двор. Я подумал – забрасывает от нечего делать – авось что-нибудь зацепит. И крикнул снизу:

– Вылавливаешь разные штуковины?
– Ругаюсь сам с собой, – огрызнулся Сашка (он частенько говорил загадками).
– Как так? – переспросил я.
– Воспитываю в себе дисциплину. Для лётчика это главное. А ты всё болтаешься без дела? Ты очень разболтанный. Из тебя никогда не выйдет капитан.

Вот так он и оскорблял меня ни с того ни с сего. Но однажды произошёл случай, после которого мы с Сашкой подружились.

В тот день парни нашего двора уронили в колодец кошелёк с деньгами и позвали нас с Сашкой:

– А ну, шкеты, давайте спустим одного из вас на верёвке! Вы маленькие, лёгкие. Раз, два, и готово! На мороженое заработаете.

Задание было ответственное, но и страшноватое. Колодец находился в углу двора и, к счастью, давно пересох, но – к несчастью – почти не осыпался и выглядел довольно глубоким. Мы обходили его стороной.

Парни принесли верёвку и повернулись к нам:

– Ну, кто смелый? Кто полезет первым?

Я подтолкнул Сашку, а он меня, да так сильно, что я невольно шагнул вперёд. Парни обвязали меня, перетащили через бревенчатый венец; я вцепился в верёвку и почувствовал – опускаюсь в темноту. Квадрат неба над головой становился всё меньше и меньше, темнота сгущалась, сильно пахло сыростью.

Я пытался нащупать ногами опору, но ботинки скользили по замшелым брёвнам. В меня вселился нешуточный страх.



– Держись! – донеслось откуда-то сверху, но мой озноб перешёл в колотун. Я уже хотел было крикнуть, чтоб вытаскивали, но вовремя спохватился и пере-силлил себя – избежал позора.

Вскоре верёвка ослабла и я почувствовал, что стою на чём-то более-менее твёрдом. Присмотревшись, заметил – ботинки увязли в какой-то жиже.

– Ищи! – слышалось гулкое эхо.

Я стал шарить в липкой грязи; наткнулся надохлых лягушек, потом на что-то похожее на кошелёк и заорал:

– Тащите!

– Да это какая-то картонка! – усмехнулись парни, вытащив меня и рассмотрев мою находку. – Не мог поискать как следует! Тебе только с девчонками в классики играть. Давай ты! – они обратились к Сашке.

Неожиданно Сашка нашёл злополучный кошелёк, и парни, как и обещали, отблагодарили его мелочью на мороженое. Когда они ушли, Сашка обеспокоенно шепнул мне:

– Я нашёл ещё вот что, – и достал из кармана обручальное кольцо. – Золотое. Ювелир знаешь сколько денег даст! Миллион! Только смотри, никому ни гу-гу!

Мы побежали в мастерскую; по пути Сашка строил планы: купить велосипед, мотоцикл, катер.

Мы влетели в мастерскую, подошли к мастеру, и Сашка выпалил:

– Вот золотое кольцо! Я нашёл в колодце!

– Вы, стручки, его случаем не стащили? – пробурчал мастер, рассматривая кольцо.

– Вот ещё! – возмутился Сашка и подробно рассказал, как достал драгоценность из колодца.

– Полезайте туда ещё, может, там целый клад? – усмехнулся мастер. – И всё тащите сюда... А эта безделушка не золотая, а всего лишь медная. Вот вам за неё, – он протянул нам несколько монет.

Мы вышли из мастерской и не то чтобы расстроились до слёз, но нам стало тоскливо. И велосипед, и мотоцикл, и катер сразу улетели куда-то в поднебесье. Только съев мороженое, немного пришли в себя.

АРБУЗ

Сашка все уши мне прожужжал, что арбуз овощ, но я-то был уверен, что арбуз – фрукт. Однажды мы доспорились чуть ли не до драки, и в конце концов решили купить арбуз, съесть его и сделать окончательный вывод – овощ или фрукт.

От денег, которые нам дали парни и ювелир, ещё оставалось немного и на арбуз хватило.

Арбуз мы купили на рынке – выбрали маленький, но тяжёлый.

Пришли к Сашке, стали резать арбуз на столе. Он затрещал и развалился на две половины, и сразу покрылся инеем, как зимой. Мы стали хрустать красный сладкий «снег»

и так увлеклись, что забыли о споре. И слопали весь арбуз – от него остались только зелёные корки и чёрные семечки. Наши животы раздулись, языки еле ворочались.

И тут, убирая корки, Сашка объявил:

– Овощ, точно!

Я замотал головой:

– Не-ет! Определённо фрукт!

И началось: мы обвиняли друг друга в бестолковости, вредности – короче, разругались.

И не разговаривали, пока не начались занятия в школе. Мы помирились, когда подошли к учителю ботаники и спросили, что же такое арбуз на самом деле? Оказалось, арбуз... ягода! По строению цветка из семейства ягодных.

– Ничего себе, ягодка! – Сашка хлопнул меня по плечу и заговорщически добавил: – Может, расскажем ребятам, откуда у нас деньги?

ТОРТЫ

Однажды я пришёл к Сашке, а он мне говорит:

– Знаешь что? – говорит шёпотом, хотя в квартире никого нет – его родители были на работе.

– Что? – спрашиваю.

– У нас в буфете... торт! Иди сюда, покажу.

Сашка достал из буфета коробку с тортом, открыл крышку и я обалдел! Таких тортов я ещё никогда не видел – это было настоящее произведение искусства: яркое, пахучее, со множеством полосок и завитушек.

Смотрели мы с Сашкой на торт, легонько трогали его и нюхали. Потом взяли сверху по одному ореху и съели.

Затем немного попробовали кремовую завитушку, а потом и совсем съели, как будто её и не было.

После этого Сашка предложил немного обрезать торт, как будто он и был поменьше.

– Всё равно никто не заметит, – торопливо объяснял Сашка, и мы набросились на сладость.

В общем, подрезали мы торт, и подравнивали, и не заметили, как от него остался маленький квадратик – с пирожное.

– Ну вот! – вздохнул Сашка, откинувшись на спинку стула.

– Да-а... – протянул я. – Что ж делать?

– Ничего, – поджал губы Сашка. – Могли же матери вместо торта положить в коробку пирожное. По ошибке.

– Могли, – не очень уверенно согласился я.

Мы закрыли коробку, перевязали её лентой и вновь поставили в буфет. И отправились во двор.

До вечера мы играли в футбол, совершенно забыв о торте. Потом опять зашли к Сашке, и его родители оставили меня ужинать.

Съели мы первое, второе.

– Ну, а теперь чай с тортом, – сказала Сашкина мать и поставила коробку на стол. Сняла крышку и... её глаза полезли на лоб.

– Вот это да! Фокус! – Сашкин отец неожиданно разразился смехом. Он вообще любил посмеяться. По каждому поводу. Но на этот раз быстро отсмеялся, посмотрел на нас и объявил:

– Наверно, перепутали.

Мы с Сашкой поспешно закивали.

– Забыли положить, – схитрил Сашка.

– Так часто бывает, – ляпнул я.

Сашкина мать засмеялась и разрешила пирожное на четыре части, и мы стали пить чай.

Всё закончилось как нельзя лучше, и мы с Сашкой были довольны: то и дело подмигивали друг другу, подталкивали локтями.

На следующий вечер мы с Сашкой, как всегда, гоняли мяч во дворе; внезапно нас окликнул Сашкин отец – он возвращался с работы, и в руках нёс какую-то коробку. Когда мы подбежали, он торжественно провозгласил:

– Вот вам подарок! Заводной грузовик! – и вручил нам коробку.

– Ух ты! – вылетело у нас с Сашкой одновременно, и мы принялись горячо благодарить Сашкиного отца, но когда открыли коробку, в ней оказался... один ключик.

– А где же... машина? – пробормотал потрясённый Сашка.

А я так удивился, что забыл все слова.

– Наверно, забыли положить, – невозмутимо бросил Сашкин отец и спокойно направился к дому.

Мы догнали его и, задыхаясь от возмущения, закричали:

– Как забыли?! Что это значит?! Так не бывает!

– Почему не бывает? – удивился Сашкин отец. – Вы же сами говорили, что бывает. И довольно часто.

И тут мы вспомнили про торт, покраснели, зашмыгали носами. А потом у Сашки хватило сил признаться во всём.

Как ни странно, Сашкин отец не стал нас ругать. Даже наоборот – громко расхохотался и внезапно... достал из-под полы пиджака грузовик.

– Иначе вас, врунов, не перевоспитаешь, – сказал, смахивая выступившие от смеха слёзы. – Хотя это, конечно, непедагогично. Уж извините... А то, что вы признались – молодцы! На это способны только сильные люди, и вы оказались не слабаками.

Поразительно, но вскоре в Сашкином доме произошла ещё одна история, связанная с тортом – уже другим, маленьким – «Сказкой».

Кстати, в их семье вообще частенько покупали торты – все любили сладкое. Даже собака Найда; она была сластёна та ещё!

История произошла на Сашкин день рождения.

Вначале всё шло прекрасно: родственники расхваливали Сашку, дарили ему подарки, пили вино, налегали на закуски; мы с Сашкой рассматривали подарки,

потягивали лимонад, уплетали пирожки – всё шло прекрасно, пока не принесли чайник. В этот момент Сашкина мать объявила:

– Ну, а теперь чай с тортом.

Она открыла буфет и тут же растерянно обернулась.

– А где же торт?!

Сашкин отец выразительно посмотрел на сына, перевёл взгляд на меня, но не расхохотался, а нахмурился. Вероятно, подумал: «Ну и негодяи – подложили свинью на праздник!».

А мы с Сашкой были ни при чём. Мы даже и не знали о торте. Это и подтвердили в один голос.

В разгар наших излияний Сашкин отец всё же взорвался хохотом и показал в угол комнаты.

Там из-за занавески как-то виновато повиливал хвост Найды. Сашкина мать отдёрула занавеску и мы увидели перепачканную тортом мордашу собаки; рядом валялись куски коробки – вероятно, Найда разорвала её с досады, что торт оказался слишком маленьким.

В этой истории осталось загадкой – каким образом Найда добралась до полки буфета? Ну открыть створку – это она вполне могла, тем более что створки сами распахивались от малейшего толчка, но добраться до полки...

Впрочем, Найда была сообразительной. Такой же, как Сашка. И намного спортивнее его.

Например, могла прыгать в высоту на полтора метра. Так что допрыгнуть до полки было для неё парой пустяков.

ШУТОЧКИ

Одно время мы с Сашкой придумывали всякие шуточки. Обвяжем монету ниткой, положим перед булочной, а сами спрячемся за углом. Нагнётся какой-нибудь прохожий, а мы – раз! – и дёрнем.

Потом выходим из-за угла и хохочем.

Или положим на дороге картонную коробку, а в неё спрячем кирпич. Пнёт кто-нибудь коробку и кричит от боли.

А мы покатываемся со смеху.

По вечерам мы пугали прохожих «светящейся головой» – по задумке Сашки. Найдём гнилую тыкву среди отходов столовой, вынем из неё мякоть с семечками, вырежем в корке глаза и рот, а внутри тыквы укрепим зажжённую свечку; и ставим «голову» на дорогу. Увидит кто-нибудь в темноте светящееся страшилище и перепугается до смерти.

А мы, естественно, гогочем, слезами заливаемся.

Ещё по вечерам в подъездах рисовали фосфором скелеты и старушки тряслись от страха. И не только старушки.

Как-то мы решили подшутить над электромонтёром дядей Кириллом.



Каждое утро собираясь на работу, дядя Кирилл драил сукном металлические пуговицы на своём кителе, драил долго, пока они не начинали блестеть, как прожекторы. Затем на одно плечо вскидывал складную дюралевую лестницу, на другое – сумку с инструментом и пересекал наш двор, при этом хорошая «электромонтёрская» улыбка сверкала на его лице – такая же яркая, как пуговицы-прожекторы.

Складная лестница и металлические пуговицы были предметами нашей постоянной зависти. Особенно мне не давали покоя пуговицы – ведь они были с якорями.

Для дяди Кирилла Сашка придумал отличную проделку: набить в бумажный пакет дорожной пыли и, когда электромонтёр пойдёт с работы, скинуть пакет перед ним с дерева – попросту устроить взрыв.

Сашкину задумку мы осуществили прекрасно, взрыв получился что надо – целое облако пыли.

Дядя Кирилл остановился поражённый, взглянул на дерево и, увидев нас, изобразил «электромонтёрскую» улыбку.

– Здорово придумали! Хвалю за изобретение! – сказал как-то почтительно и отряхнул пыль с кителя.

Потом задумался, и вдруг сменил мягкий тон на серьёзный:

– Вот что! Завтра приходите ко мне в мастерскую. Дело есть!

Мы немного растерялись; думали, дядя Кирилл начнёт ругаться, а то и отлупит нас, а он, наоборот, похвалил, да ещё какое-то дело обещал.

На другое утро, подстёгиваемые любопытством, мы с Сашкой направились на работу к дяде Кириллу; с нами увязался Юрка Фетисов из соседнего двора – так себе мальчишка, который только и умел, что играть в фантики.

Дядя Кирилл перед мастерской беседовал с гадалкой, строгой старушенцией в чёрном платье.

Около старушенции на табуретке стоял фанерный ящик с морской свинкой.

– Знакомьтесь! – сказал дядя Кирилл. – Мои приятели. А это Василиса Герцоговна, знаменитый чародей, предсказатель судьбы.

– Здравствуйте, мальчишки! – прошепелявила старушенция. – Вы, конечно, хотите узнать, что вас ждёт в будущем. Дайте свинке по кусочку морковки, а взамен она выдаст конвертики, в которых написано, что ждёт вас впереди.

Старушенция протянула нам тощую ладонь, на которой лежали кусочки нарезанной моркови.

Мы схватили морковь, и Сашка первый бросил свой кусок в ящик. Свинка сгрызла морковку, сунула мордочку в какую-то щель и вынула оттуда маленький белый конвертик.

Мы удивились безмерно и замерли – что будет дальше? А старушенция взяла конвертик у свинки и протянула Сашке.

– Читай!

Сашка развернул конвертик и прочитал вслух: «Ты умеешь придумывать. Из тебя выйдет хороший инженер. Будешь строить летательные аппараты». Потрясённый Сашка разинул рот, отошёл в сторону и стал перечитывать записку. А дядя Кирилл стоит рядом, улыбается.

После Сашки морковку бросил Юрка. Ему свинка вытащила конвертик, в котором было написано: «Ты будешь моряком. Будешь плавать по морям и океанам».

Юрка поразился ещё больше Сашки; весь задрожал и его глаза остекленели. «По морям и океанам», – прошептал он и покраснел.

А я побледнел – ведь это было моей мечтой, и надо же! – она досталась никчёмному Юрке.

А дядя Кирилл всё стоит рядом, улыбается – как всегда, «электромонтёрски».

Я тоже бросил свою морковку, и мне свинка тоже достала конвертик. В нём было всего четыре слова: «Ты будешь строить мосты».

Я поразился до крайности. Строить мосты! Почему именно мосты?! Как я буду их строить, если ничего о них не знаю?!

Весь день и весь вечер я пребывал в сильнейшем волнении, загадочные слова не давали мне покоя, я всё пытался понять: почему свинка почти угадала мечту Сашки – стать лётчиком, а мою мечту – стать капитаном – отдала Юрке, который никогда и не заикался о море и, будучи сыном аптекаря, собирался пойти по стопам отца. Обидно было до чёртиков.

Мне хотелось, чтобы восстановилась справедливость и свинка поменяла наши с Юркой конвертики.

На следующее утро я зашёл за Сашкой, чтобы, как всегда, выкидывать шуточки. Зашёл к нему, а у них вся комната в нарезанной бумаге, и на полу восседают мой друг и клеит какую-то бочку из реек.

– Что это? – удивился я.

– Дирижабль новой конструкции, – подал голос Сашка, даже не повернувшись в мою сторону.

– Может, пойдём выкинем шуточку? – неуверенно проронил я.

– Какие шуточки?! Ты что, спятил?! – заорал Сашка. – Завтра запускать буду, а мне ещё винт надо сделать.

От Сашки я пошёл к Юрке, хотел убедиться, что он-то ничего не делает «морского».

Юрка за столом крутил из верёвки какие-то узлы; перед ним лежала книга с рисунками парусников.

Юрка заглядывал в книгу и бормотал... дорогие моему сердцу слова:

– Зюйд, вест, фок-мачта, ватерлиния.

Этот несчастный будущий аптекарь молчал языком то, в чём ничего не смыслил! Меня прямо бросило в жар.

А тут ещё Юрка бросил мне верёвку.

– Развяжи-ка узел!

Я стал развязывать; тянул за концы, поддевал карандашом, пробовал зубами – узел не поддавался и всё тут. Как замок! А Юрка взял у меня верёвку, дёрнул за какую-то петлю, и узел сам собой раскрылся.

– Морской узел! – важно сказал Юрка. – Соображать надо!

Я чуть не врезал ему от злости, но сдержался и только хлопнул дверью, и в жутком настроении пошёл к дому.

По пути вспомнил про «свои» мосты и дома просто так, чтобы убить время, попробовал сделать мост из спичек, но он сразу развалился. Это меня заело, и я попробовал ещё раз.

Мост вышел ничего, более-менее крепкий; даже выдержал блюдце. Это было уже интересно.

Я начал делать мосты из линеек, книг, стульев – из всего, на чём задерживался взгляд.

Потом вышел во двор, устроил запруду у колонки и начал строить мосты из глины. Многие мои сооружения рушились, и тогда я придумывал разные крепления.

Через пару часов я уже наловчился строить маленькие перекидные мостики и большие мосты на опорах, разные понтонные мосты и подвесные – на верёвках, лёгкие и длинные.

Чем больше я строил мостов, тем больше увлекался этой работой. В какой-то момент мне подумалось, что я всегда хотел строить мосты, только раньше не подворачивался случай.

Но, само собой, и от капитанства я не собирался отказываться.

КЕМ СТАТЬ?

Прежде чем я решил стать капитаном, в моей душе был полный разброд. В то время все ребята прекрасно знали, кем будут, когда вырастут, а я никак не мог выбрать себе профессию.

Вначале я хотел стать дворником. Посмотрел, как дворник дядя Женя поливает асфальт водой и сразу понял, чем интересней всего заниматься.

В те дни гибкий шланг, мощная струя, сверкающие потоки снились мне даже во сне. Но осенью, когда улицу засыпали листья и появилась грязь, когда дяде Жене приходилось и утром и вечером чистить улицу, мне расхотелось быть дворником.

А зимой, когда дядя Женя в поте лица работал лопатой, да ещё скребком и ломом, я понял: дворник – самая скучная профессия на свете.

Отец и мать уходили на работу в семь часов, а мне, чтобы я не опаздывал в школу, заводили будильник на восемь.

Как-то будильник сломался и несколько дней меня не будил назойливый звон. Я приходил в школу ко второму уроку, говорил:

– Мать заболела.

И мне всё сходило с рук. Ещё бы! – больная мать – это нешуточная причина для опозданий.



Но вскоре обман раскрылся, а поскольку к этому времени я уже нахватал кучу двоек, отец в наказание запретил мне играть в футбол и ходить на рыбалку, а мать дала подзатыльник и безжалостно отчеканила:

– Неси будильник в мастерскую к дяде Володе, пока не починит, не возвращайся!

Часовая мастерская находилась на соседней улице и напоминала музей: в ней красовались напольные часы – огромные как шкафы, с тяжёлыми гирями и маятником размером с тарелку; всякие настенные – от ходиков с кукушкой до современных, в виде одного циферблата со стрелками; настольные и каминные всевозможных форм и расцветок; ну и конечно, будильники, карманные и ручные – даже такие крохотные, что не было слышно, как они тикали.

Когда я принёс будильник, дядя Володя чинил карманные часы – перебирал пинцетом маленькие колёсики и винтики.

– Что, барахлит механизм? – бросил он, мельком взглянув на будильник.

– Не звенит, – буркнул я, втайне надеясь, что дядя Володя никогда его не починит; настроение у меня было отвратительное.

– Ну оставляй. Приходи завтра. Оживим механизм, – дядя Володя снова склонился к колёсикам и винтикам.

– Мать сказала, чтоб не возвращался, пока вы не почините.

– Во-он оно что! – удивился дядя Володя. – Ну, тогда надо делать прямо сейчас, – он отложил карманные часы в сторону и взял будильник. – А за что это тебе такое наказание? Небось, выкинул какой-нибудь номер, а?

– Да так, – уклончиво выдавил я.

– Давай рассказывай, что стряслось?

Я рассказал про дела в школе.

– Да, натворил ты делов, – покачал головой дядя Володя, продолжая копаться в механизме будильника. – Надо, конечно, постараться, чтоб нахватать столько двоек... Ну, а как у тебя обстоят дела с литературой? Сколько имеешь по литературе?

– По литературе четвёрка, – оживился я.

– Уже неплохо... Стихи наизусть знаешь?

– Угу.

– Ну, прочитай. Что-нибудь весёлое.

Я шмыгнул носом.

– Не хочется что-то.

Дядя Володя вздохнул и вдруг тихонько начал:

Люблю грозу в начале мая
Когда весенний первый гром...

После этих слов я не выдержал и громко продолжил:

Как бы резвяся и играя
Грохочет в небе голубом...



Я прочитал стихотворение полностью, а когда закончил, мне стало как-то легко и весело, и главное, захотелось что-нибудь делать. Что-нибудь полезное. Например, стать часовщиком и чинить разные механизмы...

– А где учатся на часовщика? – внезапно выпалил я.

– Где-где... У меня, – ухмыльнулся дядя Володя. – Приходи, научу. Но вначале исправь двойки. Сам понимаешь, без знаний никогда не разберёшься в механизмах. Тем более таких тонких, нежных, как часы, – он уже починил будильник, протянул его мне, и вновь принялся за карманные часы.

В соседнем доме находилась мастерская столяра дяди Матвея. Как-то я заглянул в мастерскую. Увидев меня, дядя Матвей сразу махнул рукой:

– Заходи, ты-то мне и нужен. Вон видишь полку? – он кивнул в угол, где лежала белая клеенная книжная полка. – За ней скоро придёт тётя Зина, а я не успеваю. Ещё нужно скамейку сделать. Выручай!

Дядя Матвей дал мне широкую кисть и банку с пахучим прозрачным лаком.

– Покрой лаком полку. Тонким слоем. Лака на кисть много не бери и старайся не делать подтёков.

Я присел на корточки и стал покрывать полку лаком – водил кистью взад-вперёд, стараясь не делать подтёков. Это была интересная работа: белые доски прямо на глазах становились блестящими, как стекло.

Когда я закончил работу, дядя Матвей осмотрел полку и похвалил меня, но всё же сделал несколько дополнительных мазков.

А потом пришла тётя Зина и дядя Матвей сказал ей, что основную работу сделал его помощник, то есть я.

Тётя Зина горячо поблагодарила меня и заявила:

– У этого мальчика большое будущее.

После этого я ещё несколько раз заходил к дяде Матвею и он уже давал мне более важную работу.

Я обмазывал столярным клеем составные части мебели, которую дядя Матвей реставрировал, соединял эти части друг с другом и, чтобы они лучше приклеились, ставил на них тяжёлые чурки.

А когда дядя Матвей делал оконные рамы, он доверил мне вкручивать шурупы в деревянные решётки.

Я сильно увлёкся работой с деревом и решил стать столяром.

Но однажды я заглянул в подвал к истопнику дяде Коле.

Подвал освещала тусклая лампочка, но я разглядел кирпичную кладку и чугунные дверцы топки, бак с водой и толстые трубы с кранами. В топке бушевало яркое пламя: красные языки бежали наверх, переплетались, и облизывали брюхо бака, и дрожали, и таяли. В котельной стоял такой горячий воздух, что перехватывало дыхание.

Дядя Коля совковой лопатой забрасывал уголь в топку и шуровал его длинной кочергой. Иногда раскалённый уголь выпадал из топки и дядя Коля брал его рукой – без всякой перчатки – и забрасывал обратно в топку. И не обжигался! У него были огнестойкие руки. Большие, мозолистые и огнестойкие.

Когда-то дядя Коля служил на корабле кочегаром. Он и на суше оставался бывалым «морским волком» и частенько отдавал мне команды кочегарским басом:

– Сбегай за папиросами! И живей!.. Принеси банку воды! И веселей!

Очутившись в котельной, я сразу представил себя на корабле, и не на простом, а на пиратском – ведь по стенам котельной бродили огромные тени, один к одному похожие на пиратов. Морские разбойники угрожающе размахивали саблями и всем своим видом давали понять – пощады никому не будет.

Я схватил палку и стал сражаться с пиратами, но вдруг услышал кочегарский бас:

– А ну-ка, подкинь в топку пару полешек! И веселей!

Я закинул поленья в топку, они запылали, стало светло – пираты тут же обратились в бегство. В этот момент я твёрдо решил стать кочегаром на корабле и объявил об этом дяде Коле.



– Одобряю! – кивнул дядя Коля и крепко пожал мне руку своей кочегарской огнестойкой лапищей.

Будущую специальность я начал осваивать с огня: развёл на пустыре костёр и стал совать в него пальцы – хотел сделать руки огнестойкими. Потом дома чернилами нарисовал на груди якорь и стал зубрить морские словечки.

Но через несколько дней произошло одно событие. Наши соседи решили сделать из своей открытой террасы застеклённую веранду. К ним пришёл стекольщик, этакий весельчак с ящиком стёкол. Он замерял рулеткой рамы и всё время напевал какую-то зажигательную песню.

Такое важное событие я не мог пропустить; пролез на соседскую террасу и увидел – в ящике стекольщика лежали разноцветные стёкла! Оказалось, по замыслу соседей, на веранде поверх обычных стеклянных рам должен был идти орнамент из цветных стёкол.

Под зажигательную песню стекольник раскладывал цветные стёкла на столе, по линейке проводил алмазом царапины, потом рукояткой алмаза легко постукивал по царапинам и стёкла со звоном обламывались – ровно, без единой трещинки.

Нарезав таким образом множество разноцветных треугольников, стекольник начал вставлять их в переплёт рамы и закреплять маленькими гвоздями. В какой-то момент он прервал пение и повернулся ко мне.

– Ты как, слабак или не очень? Замазку сможешь размять? – он кивнул на кусок замазки в ящике и снова затянул песню.

Я стал разминать коричневый куб – а он твёрдый, поддается с трудом, – но всё же я нашёл в себе силы, размял весь огромный кусок.

– Вижу, ты не слабак, – вновь оборвал песню стекольник. – А кем решил стать?

Я пожал плечами.

– Не решил ещё.

– Пора бы решить. Уж, небось, в школу ходишь?

– Уже в третий класс пойду! – выпалил я, слегка обидевшись.

– Тем более! – повысил голос стекольник и, помолчав, протянул: – Э-хе-хе, твоя заблудшая душа, – и опять затянул песню.

– А где у вас простые стёкла? – ввернул я, заметив, что в ящике их нет.

– Вставлять простые стёкла – не нашего с тобой ума дело, – откликнулся стекольник. – Хозяева заявили: «Сами вставим». Наше дело – художественное оформление. Я, понимаешь ли, мастер по витражам... А вставить простое стекло – пара пустяков, каждый дурак может. Нарезал в мастерской и вставляй. Цветная мозаика – дело посложней, тут вкус нужен, взгляд художника...

Стекольник ещё не закончил работу, но от его цветной мозаики уже захватывало дух – казалось, смотришь в гигантский калейдоскоп. Я встал на табуретку и взглянул на улицу через красное стекло; и тут же вся улица стала красной, словно начался пожар. Потом посмотрел в синее стекло – всё сразу посинело, точно спустился вечер. Перевёл взгляд на жёлтое – всё моментально наполнилось солнцем, хотя день был довольно пасмурным.

В тот день я без колебаний решил стать мастером по витражам, и уже представлял собственный ящик с цветными стёклами, алмаз, рулетку; даже нарисовал несколько красочных витражей... Вот только песню стекольника никак не мог вспомнить.

А потом я захотел стать вагоновожатым – просто спал и видел себя в кабине ярко-красного вагона...

После вагоновожатого я загорелся игрой на аккордеоне одного парня в парке культуры и отдыха.

В общем, снова стал думать: кем стать, чем заняться? Целыми днями слонялся по улице и всё думал.

Иногда заходил то к одному приятелю, то к другому, смотрел, чем они занимаются, давал им разные советы.

Вначале заходил к Антону и смотрел, как он раскладывает марки в альбоме. Антон называл себя филателистом. В самом деле, он был просто помешан на марках: всё время встречался с такими же, как он, заядлыми собирателями; они обменивались



марками, хвастались отдельными заграничными экземплярами, рассматривали их в лупу, о чём-то шептались...

Антону я советовал устроить выставку своей коллекции, после чего он долго тряс мою руку, бормотал, как признателен за участие в его жизни и прочее.

От Антона я отправлялся к Витьке, который хотел стать боксёром и целыми днями дубасил подушки, пуфики на диване и вообще всё, что попадало под руку. Худой, низкорослый, но решительный Витька на улице то и дело вставал в стойку, делал выпады, пригибался, хрипел и сопел – боксировал с воображаемым соперником. А иногда и не с воображаемым. Как-то увидел меня и завопил на всю улицу:

– Защищайся! – и набросился на меня с кулаками.
Я попробовал отбиться, но он сразу же дал мне под дых, и я свалился, корчась от боли.

– Готов! – хмыкнул Витька. – Нокаут!
Отдышавшись, я закричал:
– Ты что, спятил? Ни с того ни с сего лезешь драться?
– Это бокс! – важно объявил Витька и, стиснув зубы, ударил воздух.

Я приходил к Витьке, смотрел, как он колошматит подушки, поднимает гантели, но как только он предлагал мне быть спарринг-партнёром, тут же направлялся к двери.

– Запишись в секцию бокса! – бросал ему перед уходом.
Больше всех я советовал Кольке – ему я дал массу отличных советов.
Колька собирался стать художником и целыми днями рисовал как одержимый. А уж в рисовании я разбирался, ведь до этого хотел быть мастером по витражам и не раз делал всякие эскизы.

Вот так я всё ходил, смотрел и советовал. И размышлял: «Я-то ещё успею выбрать себе профессию. Я способный, и чем угодно могу заниматься. Моё время ещё придёт».

А время как назло тянулось медленно. И главное, я почему-то сильно уставал от безделья. Даже больше, чем когда занимался чем-то.

Потом Антон получил премию на выставке филателистов и стал таким известным, что его приветствовали даже собаки на улицах.

Витьку приняли в секцию бокса и там он одерживал одну победу за другой.
А Колька поступил в художественную школу и вскоре уже расписывал вывески на лотках, за что получал вознаграждения овощами и ягодами. Понятно, теперь мне уже нечего было им советовать. Теперь они мне советовали; от них просто сыпались советы.

Антон обнимал меня и доверительно шептал:
– Становись коллекционером. Мы не просто собираем марки, у нас особая жизнь, мы путешествуем по странам.
– Ты хоть немного тренируйся, – без устали повторял Витька. – Укрепляй мышцы – ты парень или кисейная девчонка?
Но самый дельный совет мне дал Колька:
– Ты не разбрасывайся, выбери что-нибудь одно.

В те дни я чувствовал себя самым несчастным на свете. Все ребята уже добились огромных успехов, а я никак не мог найти себя; целыми днями слонялся без дела и настроение у меня было – хуже нельзя придумать.

Как-то я брёл по улице, где ходил трамвай. Поравнявшись с двухэтажным домом, увидел в окне первого этажа бледного, страшно худого мальчишку. Я и раньше его видел; он обычно сидел за столом и рассматривал трамваи или листал книгу. «Какой-то маменькин сынок», – думал я.

Вот и в тот день мальчишка пялился на улицу; только если раньше окно было закрытым, то на этот раз – открытым. Заметив меня, мальчишка разулыбался и махнул рукой, подзывая к окну.
Я подошёл.
– Чего тебе?



– Представляешь! В одном трамвае с утра катается старичок. Туда-сюда, туда-сюда.

– Ты, небось, обознался.

– Нет, точно! – мальчишка вытаращил глаза. – Вот сейчас пойдёт двадцать четвёртый. Там вожатая в платке. И увидишь, старичок сидит на первом месте.

В самом деле, через некоторое время показался трамвай, в котором на первом месте сидел старичок – он с любопытством разглядывал всё, что появлялось по сторонам.

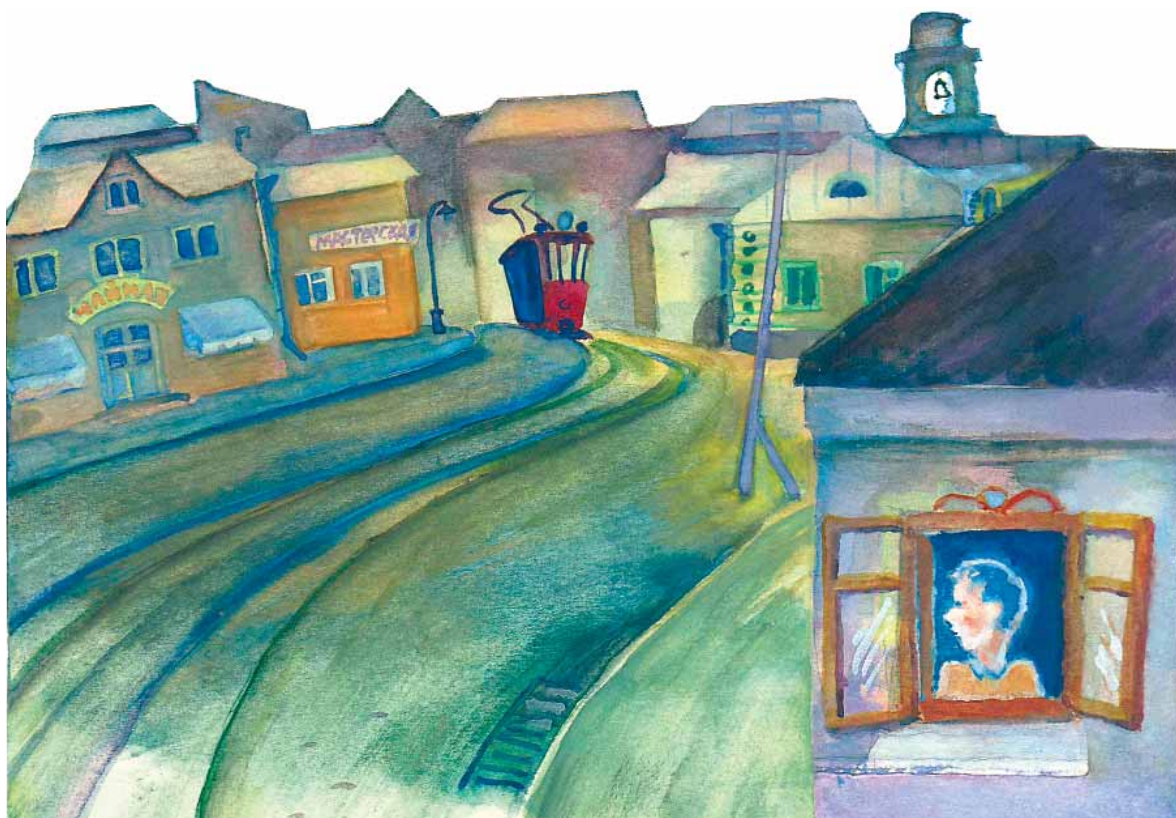
– Наверное, турист. Или иностранец, – предположил мальчишка. – А сейчас пойдёт тридцатый. Там вожатый молодой, с усами. Он мне обязательно позвонит.

– Ладно врать-то.

– Вот увидишь.

Действительно, когда подъехал тридцатый, усатый вожатый помахал мальчишке рукой и выдал целый каскад звонков. Мальчишка заулыбался, помахал в ответ и покраснел – так ему было приятно внимание вожатого... Тут я заметил, что он сидит в кресле, обложенный подушками.

– Ты, как король, на подушках, – усмехнулся я, не скрывая своего презрения.



– Ага! – краска с лица мальчишки сошла и он вновь стал бледным.
Я приподнялся на носки и вдруг увидел рядом с креслом... костыли. И спросил:
– Ты что, ногу сломал?
– Не-ет, – мальчишка глубоко вздохнул. – Я не могу ходить... Есть такая болезнь полиомиелит, – он опустил голову, его губы задрожали.
– А когда ты вылечишься?
– Не знаю. Врачи говорят надо лечиться долго... Но я каждый день делаю гимнастику и уже могу вставать на колени. Вот смотри! – мальчишка отжался от стола и попытался забраться в кресло с ногами, но у него не получилось.
– Сейчас, сейчас! – пробормотал он, надуваясь и краснея; его лицо покрылось каплями пота.
После нескольких попыток ему всё-таки удалось забраться и встать на колени.
– Вот! – он радостно вскинул руки и, отдышавшись, снова опустился в кресло. – Я думаю, всё же вылечусь и смогу ходить... Может, даже... смогу поиграть в футбол.
В тот день, отойдя от окна, я почувствовал жгучий стыд за то, что могу бегать и прыгать, и вообще не знаю, что такое болезни, но всё не найду себе занятия.
Позднее я подружился с мальчишкой. Его звали Игорь. Я приходил к нему и он учил меня играть в шахматы и собирать модели парусников. А однажды Игорь дал мне прочитать книгу про мореплавателей и я окончательно и бесповоротно решил стать капитаном, чтобы бороздить океанские просторы.
– Тебя буду брать во все плавания, – пообещал я Игорю.

ЗООПАРК МОЕГО ДЕДА



ПЛУТИК

Мать купила мне хомяка, когда я перешёл в третий класс. Она принесла зверька домой, пустила под стол, а мне ничего не сказала. Вечером я сел делать уроки, вдруг слышу – в углу кто-то шуршит. «Неужели, – думаю, – у нас мыши завелись?» Потом смотрю – занавеска зашевелилась и по ней прямо на стол влез маленький пушистый зверёк. Розовато-серый, щекастый, с глазами-бусинками. Увидев меня, зверёк очень удивился, встал на задние лапы и замер. Так мы и смотрели друг на друга, пока за спиной я не услышал голос матери:

– Ну как, хороший Плутик?

– Хороший, – сказал я. – Но почему Плутик?

– Он мало того что прогрыз карман моего пальто, ещё и в подкладку спрятал монеты. Плут, не иначе.

Я поместил Плутика в клетку для птиц. По совету дяди внутри клетки привязал пластмассовую трубку наподобие градусника, налил в неё воды; рядом положил морковь, печенье, насыпал семечки, орешки, а в углу устроил подстилку из ваты. Но Плутику этого показалось мало. Он натаскал в клетку газет, долго комкал их, укладывал на вату. Потом залез под них и проверил – удобная ли получилась спальня? Видимо, остался доволен своей работой, потому что стал запихивать орехи и семечки за щёки и относить под газеты.

Клетку я поместил на столе и оставил открытой, чтобы Плутик мог спокойно разгуливать по комнате. У него был излюбленный маршрут: из клетки подбегал к креслу, которое стояло у стола, спускался по нему на пол и бежал вдоль плинтуса до занавески. По ней карабкался на стол и снова входил в клетку. Всё, что ему попадалось по пути, тащил в свой дом. Он был запасливый, хозяйственный.

По утрам, проснувшись, Плутик делал гимнастику – вытягивал задние лапки, обнажая крохотные розовые подушечки; потом прихорашивался – умывал мордочку, разглаживал шёрстку на животе. Приведёт себя в порядок, позавтракает и отправляется на прогулку «по петле», как я называл его маршрут.

Однажды Плутик с прогулки не вернулся. Я облазил всю квартиру, но его нигде не было. Вечером и мать включилась в поиски нашего маленького жильца, но и вдвоём мы не смогли его найти – он просто-напросто исчез из дома.

– Скорее всего, он пробрался в вентиляцию, – предположила мать. – Наверняка появится у кого-нибудь в квартире. Напиши объявление и повесь в подъезде.

Я тут же написал пять объявлений и наклеил их не только в подъезде, но и во дворе и на улице. А на следующее утро Плутика принёс Иван Петрович, сосед из квартиры над нами.

– Сижу вечером, читаю газету, вдруг слышу писк, – начал рассказывать Иван Петрович. – Смотрю – кот играет с каким-то розовым шариком. Пригляделся, а это хомяк. Жена сказала, что он ваш, она читала объявление.

Я прижал к себе Плутика, внимательно осмотрел его. К счастью, кот не успел поцарапать моего дружка.

В тот же день я забил фанерой вентиляционную решётку.

Как-то приятель Вовка предложил поехать на рыбалку. Речка находилась на городской окраине, у последней остановки трамвая. Я решил и Плутика вывезти на природу.

– Пусть погуляет на травке, – сказал Вовке.

Плутика повезли в картонной коробке. Через час мы уже были на речке. Первым делом нашли лужайку и, открыв коробку, выпустили Плутика погулять. Увидев перед собой огромное зелёное пространство, Плутик немного растерялся; привстал на задние лапки, осмотрелся и вдруг заметил какого-то жука; потянулся к нему, но жук сразу уполз под лист подорожника. Потом Плутик заинтересовался кузнечиком; решил рассмотреть его поближе, а кузнечик как прыгнет! Плутик испугался и заспешил к коробке.

– Для первого раза ему хватит гулять, – сказал Вовка. – Давай ловить рыбу.

Мы закрыли Плутика в коробке и спустились к реке. Через час мы поймали на хлеб две плотвички и три пескаря.



– Будем жарить на костре или отнесём коту Ивана Петровича? – спросил Вовка.

– Жарить, – сказал я. – Кот чуть не съел моего Плутика.

Мы набрали сухих веток и запалили костёр, и в этот момент я заметил, что домишко Плутика лежит на боку. Подошёл, а крышка коробки приоткрыта. Заглянул в коробку, а Плутика нет. Обошёл лужайку, заглянул под каждый лист, но моего дружка и след простыл. Позвал Вовку и мы вдвоём расширили место поиска. Мы звали Плутика, посвистывали, причмокивали, больше часа искали его – всё без толку. А уже стало темнеть.

– Без Плутика домой не поеду, – твёрдо заявил я. – Давай заночуем у костра, а утром начнём искать снова.

– Давай, – согласился Вовка.

В глубоком унынии мы присели у костра, как вдруг услышали шуршанье. Пригляделись – в темноте блеснули два огонька – это были глаза Плутика. Проглянув сквозь траву, он шёл к нам – шёл на свет и наши голоса. Подошёл, уткнулся в мою ладонь, стал зевать – он явно устал от долгой прогулки и вообще выглядел испуганным, ведь трава для него была настоящим дремучим лесом.

Мы потушили костёр и направились к трамвайной остановке. В вагоне я держал коробку на коленях и руками крепко прижимал крышку, но когда мы подъезжали к нашей остановке, я внезапно увидел сбоку коробки дыру. Открыв крышку, я обнаружил, что Плутик опять исчез. Мы с Вовкой забежали по вагону.

– Что вы ищете? Что потеряли? – спросила одна старушка.

– Понимаете, – говорю, – хомяк убежал из коробки.

– А какой он?

– Пушистый и маленький.

Старушка заглянула под сиденье и другие пассажиры стали смотреть себе под ноги. К нам подошла кондукторша; узнав, в чём дело, спокойно сказала:

– Ищите внимательней. Из вагона он никуда не мог убежать.

Мы облазили весь вагон, но Плутика так и не нашли. Я сильно расстроился – второй раз за день Плутик ухитрился нас провести.

На конечной остановке, когда все пассажиры вышли, кондукторша сказала:

– Сейчас поедem в депо. Ночью в вагонах уборщицы будут прибираться и найдут вашего хомяка. Я сообщу о нём уборщицам. Так что приходите завтра.

Дома я смотрел на пустую клетку и еле сдерживался, чтобы не заплакать. А утром чуть свет прибежал в депо, и сторож вручил мне Плутика в большой стеклянной банке.

– В следующий раз грызуна в коробке не вози. Только вот так, в банке.

С тех пор я Плутика никуда не возил. Я понял – он домашнее животное и лучшее путешествие для него – «петля» по комнате.

Однажды, шагая по своему обычному комнатному маршруту, Плутик нашёл на полу деревянную линейку. Это была для него слишком тяжёлая вещь, но всё-таки он полез с ней по занавеске. И для чего она ему понадобилась – непонятно. Ну не измерять же своё жилище?! Скорее, по привычке – я же говорю,

он был запасливый, хозяйственный. Он уже долез до края стола, как вдруг сорвался и шлёпнулся на пол. Подняв Плутика, я увидел, что у него на одной задней лапе содрана кожа, а другая сильно скрючена. Я встревожился и побежал в ветеринарную лечебницу.

Осмотрев Плутика, врач сказал:

– На одной лапе перелом. Придётся ампутировать. Но ты не огорчайся, ему ведь не надо прыгать. А ходить он и на трёх сможет.

Так и стал Плутик инвалидом. Его рана быстро затянулась, и вскоре он уже гулял по своему маршруту, только теперь постукивая культёй. И по этому стуку я всегда знал, где он находится. Днём, когда я был в школе, Плутик чаще всего спал, а с моим появлением просыпался и обходил «петлю». Потом шебуршил, хозяйствовал в клетке. Он занимался своими делами, я своими. Случалось, мне не хотелось делать уроки, и я подолгу наблюдал за Плутиком. А он без устали, деловито всё что-то перекадывал, прятал, прикрывал газетами, приводил свой внешний вид в порядок. Плутик как-то заражал меня трудолюбием – я снова принимался за уроки.

Мы с Плутиком всё сильнее привязывались друг к другу. После школы я уже не засиживался у приятелей, как раньше, а спешил домой. И Плутик скучал по мне. Мать говорила:

– Когда тебя нет дома, Плутик не выходит из клетки и ничего не ест.

Он прожил у меня два года. Лазил по клетке, ходил по «петле», ел фрукты и овощи, сосал воду из трубки-поилки, смешно набивал щёки семечками и зёрнами и относил в «спальную» – делал запасы. Но с каждым месяцем всё реже выходил из клетки, а потом и из «спальной» стал вылезать редко. Он спал всё больше и больше, и однажды заснул навсегда.

ЗООПАРК МОЕГО ДЕДА

Меня отправили в деревню, чтобы подкормить и чтобы мои родители, как выразился отец, – обрели душевное равновесие. После войны наша большая семья жила в одной комнате, и когда отец с матерью возвращались с завода, их встречали трое полуголодных, успевших повздорить детей. Отец сильно уставал на работе, а за ужином ему приходилось выслушивать наши мелкие ссоры, заниматься примирением.

Так вот отец решил немного разрядить домашнюю атмосферу и меня, как наиболее взбалмошного и истощённого, отправить в деревню к родителям матери. Вдобавок на его решение повлияла и моя неисправимая лень.

– Тебе уже десять лет, и в твоём возрасте пора бы знать, чем хочешь заняться, – заявил он, явно завышая мои способности.

Стояло лето, у школьников были каникулы, и я не понимал, каких занятий отец требует от меня. Я целыми днями гонял во дворе мяч и это мне казалось лучшим занятием на свете. Теперь-то я понимаю, что, отправляя меня



в деревню, отец, кроме всего прочего, преследовал и вполне определённую цель – приучить меня к труду.

Деревня лежала среди сосняка с пыльными просёлками, наполненными крепкими лесными настоями. Дом деда окружал палисадник – как я узнал позднее, это были владения бабки. После того как на фронте погибли её сыновья, работу по хозяйству она выполняла без всякого интереса и каждую

свободную минуту проводила в палисаднике, где что-то бормотала, смахивая слёзы.

В доме все вещи были простыми и добротными. В сенях стояла лавка с вёдрами чистой колодезной воды, черпак, садовый и огородный инструмент, горшки, корзины. Середину избы занимала побелённая печь с набором кухонной утвари; в маленькой комнате за ситцевой занавеской стояли две кровати, застеленные покрывалами из разноцветных лоскутов; на кроватях лежали подушки с кружевными накидками. В большой комнате размещался старый буфет с фарфоровой посудой, отполированные временем стол и стулья, на подоконнике красовался медный самовар.

За домом находился сарай, где дед занимался гончарным делом. Дед слыл хорошим мастером, за его глиняными изделиями приезжали даже из соседних деревень.

До сих пор так и вижу, как дед тщательно перемешивает глину в корыте, как крутит ногой круг и под его мокрыми узловатыми пальцами кусок глины пластично выгибается и вытягивается в прямо-таки гляцевый кувшин; дед чуть изменит положение ладони, и кувшин на глазах оседает, превращаясь в широкий сосуд; не останавливая вращения, дед помочит руку в ведре с водой и одним пальцем еле заметным движением придаст сосуду законченную форму горшка.

Все изделия дед обжигал в печи и выставлял в сени. Тогда горшки деда мне не нравились, я любил алюминиевую посуду, – но теперь в скупых и точных формах горшков я вижу настоящее совершенство, ведь красота вещей в их полезности. Дед не раз говорил мне, что глина – самый податливый и надёжный материал, что его горшки «дышат»; то есть пропускают воздух, но держат воду.

– Так вот ты какой стал! – встретил меня дед. – Ишь, вымахал. Совсем стал молодец. Пойдём-ка, кое-что тебе покажу.

Дед распахнул калитку в сад и подтолкнул меня вперёд. В саду росли яблони и сливы, а за ними виднелся затянутый ряской пруд. Не успел я сделать и двух шагов, как к нам радостно бросилась маленькая собачонка, беспородная, облезлая от линьки, с чёрной кляксой на ухе. Дед познакомил нас, назвав собаку Куклой, и пояснил:

– Кукла умница. Следит за порядком в саду. Всех кур знает в лицо, а чужих не подпускает. Я не могу распознать, какие свои, какие чужие, а она различает...

Поняв, что о ней говорят, Кукла завилыла хвостом и стала прислушиваться, что творится в саду, как бы подтверждая слова деда о своей ответственности за всё происходящее там, среди деревьев. Откуда-то из-под ног собаки вынырнул огромный серый кот. Он потянулся, выпустив когти из мягких лап, и стал тереться о дедов ботинок.

– Васька, – сообщил дед, наклонился, погладил кота, и тот зажмурился, выгнув спину, замурлыкал.

Мы вошли в сад, и я увидел петуха и десяток кур. Когда я приблизился, петуха охватило неясное волнение, он подскочил на месте, словно его подбросила пружина, громко закудаhtал, принял вызывающую позу и бросил в мою сторону грозный взгляд.

Заслышав петушиный крик, куры сбежались к своему повелителю и с рабской покорностью стали заглядывать ему в глаза. Одна из кур замешкалась и подбежала к петуху запоздало. Петух оттопырил крыло, недовольно потоптался и клюнул нерасторопу.

Тогда я подумал, что петух попросту безжалостный тиран, но на следующий день заметил, как одна из кур подлезла под изгородь и стала красоваться перед соседским петухом, а когда вернулась, петух деда проявил удивительное милосердие: не стал её клевать, а только поучительно побурчал, как бы давая возможность исправиться.

А ещё через несколько дней я сделал открытие, что куры вовсе и не трепещут перед петухом, а спешат на его голос, думая, что он зовёт их на праздник, который сводился только к найденным зёрнам. Лишь та ветреная курица не прислушивалась к голосу петуха и, проявляя независимый нрав, время от времени убегала к соседскому петуху.

Дед подвёл меня к выгону, где кролики грызли капустные кочерыжки, рассказал, как в прошлом году крольчата подкопали выгон и разбежались по саду и как он ловил их сачком среди высокой травы. Выгон был просторным: в одном углу виднелся навес с кормом, в другом – клетки с настеленной соломой. Навевшись кочерыжек, некоторые кролики завалились на спину и стали передними лапами разглаживать уши, а задними болтать в воздухе – явно показывали, что вполне довольны своей жизнью.

Мы стояли около выгона, смотрели на кроликов, как вдруг сзади я услышал топот и сопение. Обернулся – передо мной стоит бычок и рядом лосёнок.

– Неразлучные друзья, – сказал дед и почесал бычка за ухом, а лосёнка потрепал по загривку. – Петьку, лосёнка, я подобрал весной. Вытащил из болота. Уже





захлёбывался. Ещё сосунком был. Слабый, еле стоял на ногах, но пошёл за мной. Видно, мать потерял. Так и пришли в деревню: я впереди, он за мной. Выходил его, отвёл в лес, а он вернулся. С Борькой подружился.

Вначале я подумал, что у телят крепкая дружба: пока дед их гладил, они стояли, прижавшись, бок о бок, но стоило деду достать из кармана хлеб, как начали отталкивать друг друга, причём напористый Борька явно теснил своего длинноногого собрата.

Здесь надо отдать должное деду – он разделил лакомство поровну и Петьке первому протянул кусок, придав этому жесту определённое воспитательное значение, как бы поощряя скромность и пресекая настырность.

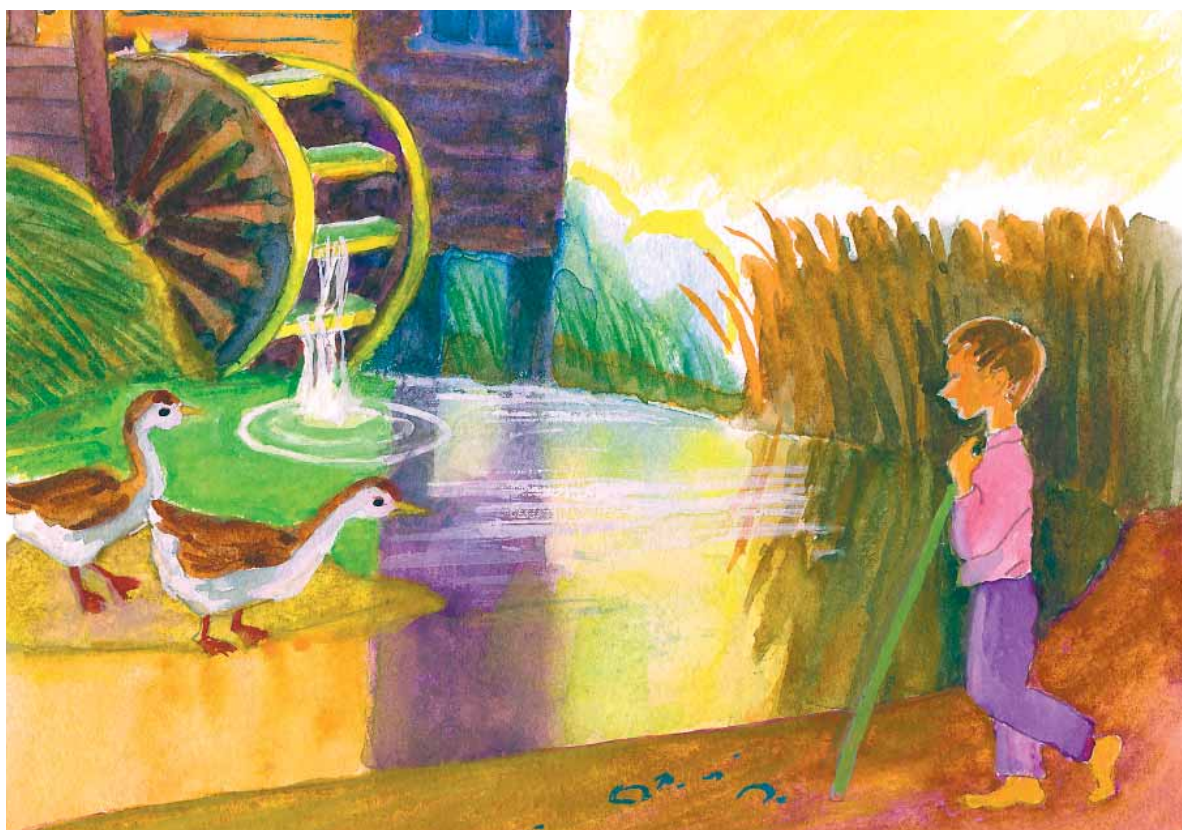
Но через несколько дней я оценил глубину дружбы этих телят. Я вывел их попас-тись на окраину деревни и внезапно Петьку начал облаивать какой-то пёс; Борька тут же подбежал и выставил навстречу собаке лоб с вздувшимися бугорками.

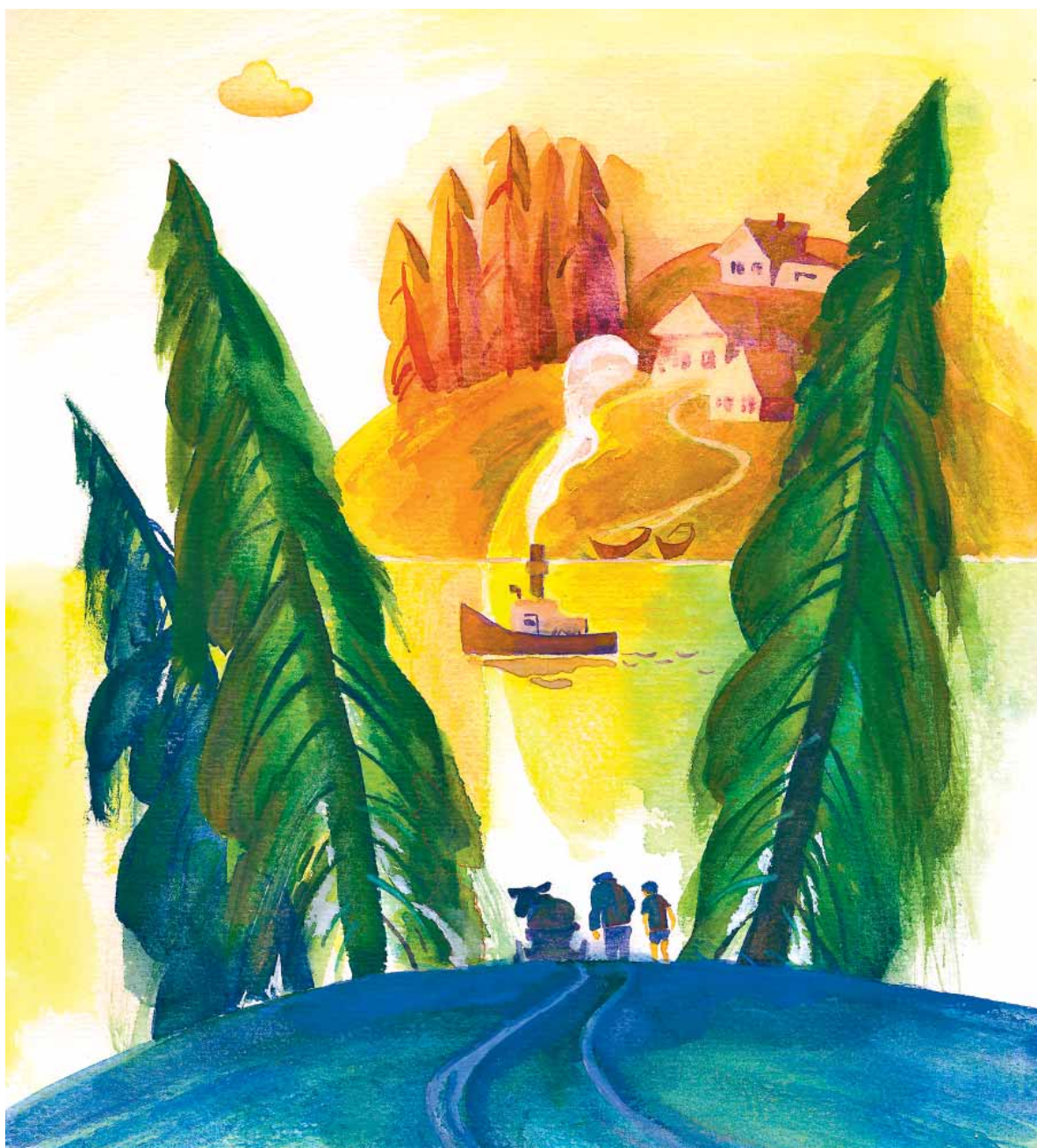
В нескольких шагах от выгона стоял сарай; когда мы к нему подошли, с крыши прямо деду на плечо прыгнула ворона. Истошно прокаркав, она стала клювом тихонько пощипывать дедово ухо, прямо говорила: «Обо мне не забудь!» Дед достал из кармана тыквенные семечки и рассыпал их перед сараем. Ворона спрыгнула на землю и, прижав одно семечко лапой, начала его размашисто долбить.

– Кворушка, – улыбнулся дед. – Смышлёная птица: сухарик в воде размочит, ежели сыта – отнесёт в укромное местечко, прикроет пучками травы, про запас... Купаться любит в пруду. На гусят покрикивает, ежели те расшались.

Посреди сада мы повстречали поросёнка Мишку: он лежал в свежесрытой прохладной яме и дремал. Когда мы подошли, он даже не привстал, только хрюкнул и перевалился на бок, чтобы его чесали. Позднее я заметил, что Мишка простодушный лентяй. Большую часть дня он спал; просыпался, только когда бабка выносила таз с отрубями: налопавшись, он переворачивал таз и пытался на него прилечь, как бы оповещая всех, что с едой покончено, настроение у него отличное и он не прочь повалять дурака.

Желающих поиграть с Мишкой не находилось, тогда он сам начинал ко всем приставать: то подбегал к телятам и мощным рывком своего пятака обсыпал их землёй, то, дружелюбно похрюкивая, лез с нежностями к курам. Эти неуклюжие заигрывания заканчивались тем, что к нему подкрадывалась Кукла и, оскалившись, показывала, что может куснуть всякого, кто делает всё, что ему заблагорассудится.





Около пруда отдыхал гусак со своим семейством; весь его вид выражал гордое высокомерие. Как и петух, заметив наше приближение, гусак принял устрашающий вид, зашипел и нахально пошёл на меня. Это не ускользнуло от внимания Куклы, которая сопровождала нас; она на минуту онемела от возмущения, потом рывкнула на негостеприимного гусака, и тот сразу стухевался.

Кукла вообще оказалась на редкость сообразительной собакой с большим чувством долга. После того как мы с дедом обошли все его владения и дед рассказал мне о каждом дереве и каждом кусте и познакомил со всеми обитателями

сада, Кукла легла у сарая в тень и сделала вид, что спит, но искоса, одним глазом, присматривала за всей живностью. Стоило бычку с лосёнком затеять беготню, как Кукла вскочила, рыкнула и от негодования начала копать землю лапой. Только петух нахохлился на гусака, как Кукла подбежала и отогнала драчуна.

В тот вечер, переполненный впечатлениями, я долго не мог уснуть, но дед разбудил меня чуть свет, и сразу же после завтрака мы начали разносить животным корм и воду, потом чистили крольчатник, убирали помёт в саду, подправляли изгородь. После обеда, немного отдохнув, пилили дрова, раскалывали чурбаки и складывали поленья в сарай; перед заходом солнца поливали кусты. Устал я жутко, во время ужина чуть не уснул за столом, а дед только отдувался и растирал руки. Он никогда не сидел без дела: то за одно принимался, то за другое и ни разу не остановился, не передохнул.

Первое время в деревне я с трудом ходил босиком, постоянно сбивал пальцы и прыгал, поджимая то одну, то другую ногу. Местные ребята надо мной смеялись. Но уже через неделю мои подошвы так загрубели, что я мог спокойно ходить даже по шлаку.

Ходить босиком интересно: ощущаешь каждую выемку на земле. По утрам, когда мы с дедом косили траву на лугу, мокрая от росы трава приятно холодила ноги. Днём, когда я «работал» пастухом (дед сразу доверил мне гусей, а позднее и Борьку с Петькой), было приятно шлёпать по горячему пышному слою дорожной пыли. Дед говорил, что ходить босиком полезно – земля забирает накопленное в теле электричество.

В воскресенье дед впряг Борьку в тележку и мы отправились через лес к пристани, где по выходным устраивался базар. На базаре дед закупал овощные отходы для животных. Мешок с отходами вёз Борька.

В тот выходной день дед ещё купил корзину астраханских дынь, но прежде чем их купить, попросил продавца разрезать одну дыню и дал нам с Борькой попробовать по дольке. Я запустил зубы в белую вяжущую мякоть, втянул в себя сладкий прохладный сок и зажмурился от удовольствия. Борька счавкал свою порцию без всяких эмоций, но закивал башкой, требуя всю дыню.

– Кивает, значит, надо брать, – подмигнул дед продавцу и расплатился.

На обратном пути мы натолкнулись на молодую иву – она лежала на дороге, её ствол был перекручен, нижние листья скрючились, но верхние продолжали зеленеть.

– Ишь, какой-то дуралей раскручивал, – строго проговорил дед, подправил деревце, прижал распоркой. – А оно не сдаётся, тоже жить хочет.

По вечерам за самоваром дед вспоминал прошлое, но никогда не говорил о только что закончившейся войне и о своих погибших сыновьях, лишь мельком посматривал на стену, где в овальной рамке висели их портреты, и тут же отворачивался.

Я уверен, дед нарочно обходил эту тему, чтобы не расстраивать бабку, а может быть, и сам боялся сломаться.

Сейчас для меня те вечерние чаепития – символ домашнего уюта и покоя. Передо мной так и стоит кипящий самовар, тикающие ходики, мурлыкающий Васька, вяжущая на стуле бабка и пьющий чай, отдувающийся дед.

К концу пребывания у деда я привязался ко всем его животным и со всеми у меня установились хорошие отношения, только с петухом я не смог подружиться.



По несколько раз в день петух вставал на носки и, задрвав глотку, изо всей мочи голосил, при этом так неистово хлопал крыльями, что казалось, ещё немного – взлетит и исчезнет в небе. Но пропев песню, петух начинал топтаться на месте и что-то стыдливо бормотать.

Вначале я был уверен, что петух отличный летун, но, принимая меня за чужого, не хочет показывать своё мастерство, но вскоре я заметил, что петух и без меня проделывает те же показательные трюки. Тогда я задумался – умеет он летать или нет?

Втайне от деда я поймал петуха, залез с ним на сарай и подкинул его в воздух. Петух неумело захлопал крыльями и шлёпнулся в центре сада. Когда я подошёл, около него уже толпились куры, они взволнованно кудахтали и укоризненно смотрели в мою сторону.

Тут же подбежала Кукла, прорычала что-то, не больно покусала меня за штанину и, чихнув, отошла. К счастью, петух быстро отдышался и вскоре уже как ни в чём не бывало вышагивал среди кур.

И ещё одно существо казалось мне таинственным. По утрам в сад прилетала необыкновенно красивая бабочка; некоторое время, расцветивая воздух, она летала меж деревьев, потом усаживалась на какой-нибудь цветок и замирала.



Я подкрадывался к ней и разглядывал тончайшие чешуйки рисунка на подрагивающих крылышках, покрытое волосками брюшко, длинные антенны-усики.

Я всё удивлялся: «Какой же волшебник мог создать такое чудо?» Целый день бабочка беззаботно порхала над цветами. Но однажды я вернулся с рыбалки и повесил кукан с двумя пескарями в холодильнике за террасой. Потом заработался с дедом и забыл о рыбёшках; вспомнил о них только через несколько дней, заглянул за террасу, а на кукане сидит моя бабочка и лакомится протухшей рыбой. Красавица сразу померкла и стала уродиной.

Оказалось, в природе всё уравновешено: напыщенный петух не умел летать, невзрачная Кукла отличалась редкой сообразительностью и безупречным поведением, красавица бабочка обнаружила ужасный вкус.

Зоосад деда был первым зверинцем, который я увидел. Он совершил переворот в моих взглядах на связь между всем живым на земле. С того момента я любил даже крыс, лягушек и змей, к которым раньше относился с неприязнью. Я притаскивал домой выпавших из гнезда птенцов, бездомных собак и кошек, собирал на дорогах жуков и червей и относил их в сторону, чтобы не раздавили.

...Много позже, когда мы переехали в Казань, я побывал в зоопарке. Был летний знойный день, и звери в клетках изнывали от жары, тяжело дышали и жались к тенистым прохладным углам.

Особенно доставалось белому медведю: он стоял в тесной клетке и из стороны в сторону качал головой. Взгляд у него был мутный.

Какой-то мальчишка бросил ему кусок мороженого. Медведь нагнулся, лизнул расплывающееся пятно, на минуту перестал раскачиваться и в его глазах появились какие-то искорки, но они быстро потухли, и белая голова снова закачалась, точно большой маятник.

А мне сразу вспомнился сад деда: берёзы, заросший пруд и гуляющие среди трав животные.

ЧИЖУЛЯ

В детстве мне подарили кенара, известного певуна, стоящего в таблице о рангах среди певчих пернатых на втором месте после соловья. Пичуга была меньше воробья, но по окрасу его превосходила. Жёлто-оранжевый, с коричневыми пестринками на крыльях, кенар выглядел как артист во фраке. Собственно, он и был артистом, неиссякаемым певцом, влюблённым в своё искусство, – с утра до вечера он распевал песенки, и довольно сложные: этакое многоколенное верещанье, которое то переходило в свист, то рассыпалось в мелодичных переливах. Я прямо-таки заслушивался его концертами.

Мой кенар жил в прекрасных условиях: имел просторную клетку с двумя жёрдочками – одна неподвижная (ветка-насед), другая (карандаш на бечёвке) служила качелями, – клетка стояла на подоконнике, то есть из неё был отличный обзор всего двора; кормил я своего дружка отборными семечками и семенами, и постоянно

разговаривал с ним. К тому же у нас жила собака Вета, которая проявляла к кенару повышенный интерес: то и дело подходила к клетке, принюхивалась, виляла хвостом, повизгивала, всячески показывала, что ей нравятся песенки маленького артиста. Так что недостатка в общении кенар не испытывал. Но главное – я часто оставлял клетку открытой и кенар мог свободно летать по комнате. Позднее, когда он привык к новому жилью, я время от времени открывал и форточку – кенар вспархивал на оконную раму и голосисто выдавал трели на весь двор, а иногда и совершал облёт тополя напротив нашего окна – сделает круг и возвращается в свою обитель – всё-таки дома было спокойней и надёжней, чем в огромном шумном пространстве за окном, где грозно каркали вороны, вдоль подвала шастали кошки, а на асфальтированном пятаке гоняли мяч мальчишки, стучали костяшками доминошники и кто-нибудь непременно выбивал ковёр или заводил мотоцикл.

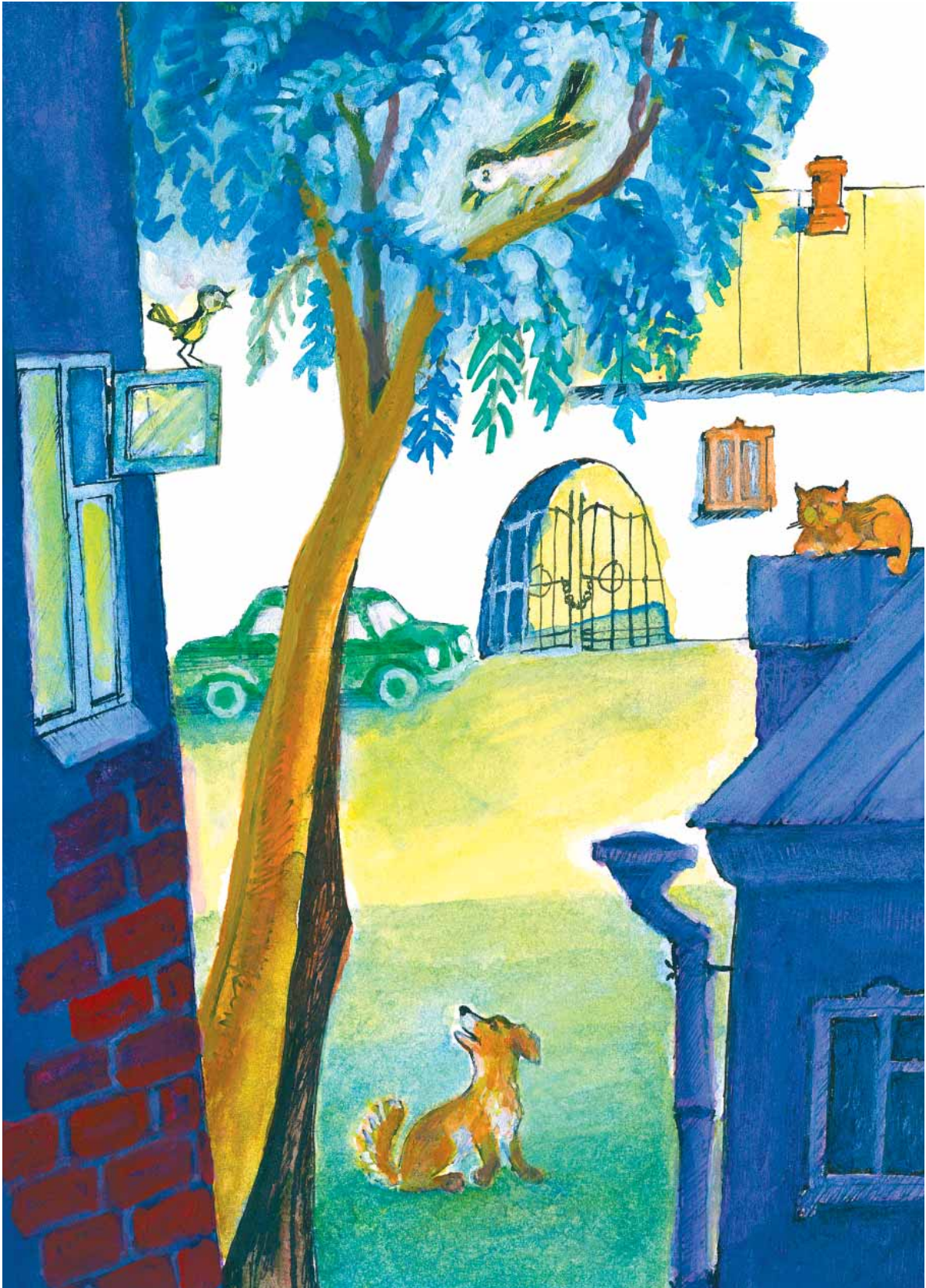
Кенара я назвал неудачно – Чижуля, и всё потому, что меня ввёл к заблуждению приятель. Он принёс пичугу и сказал:

– Вот, дарю тебе чижика. Купил на рынке, да мать не разрешает дома держать. Он начинает петь, как только взойдёт солнце, и мать всё время не высыпается. Можно, конечно, клетку закрывать тряпками – в темноте он не поёт, – но ведь жалко его.

Так и появился у меня Чижуля. Спустя месяц к нам зашёл мой всезнающий дядя и авторитетно заявил, что птица в клетке вовсе не чижик, а самый что ни на есть кенар; но поскольку Чижуля уже откликнулся на свою кличку, я решил оставить всё как есть, не придумывать кенару новое имя, не сбивать его с толку.

Чижуля оказался на редкость сообразительным. Когда я разговаривал с ним, он внимательно слушал, не отрывая глаз-бусинок от моего лица, и то кивал в знак согласия, то раскрывал рот от удивления. Во всяком случае, когда на меня сваливались неприятности и я с горечью в голосе произносил: «Плохи дела, Чижуля!» – он садился на насест, склонял голову набок и опускал крылья – всем своим видом давал понять, что огорчён безмерно. Когда же у меня случалась удача и я восклицал: «Дела, Чижуля, идут как нельзя лучше!» – он приподнимался на носки и заливался радостным пением. Но всё это мелочь в сравнении с тем, что Чижуля умел делать.

Как только я входил в комнату и, посвистывая, спрашивал: «Чижуля, где ты?» – он тут же откликнулся – звонко тренькал. Я говорил: «Чижуля, покачайся!» – он прыгал на качели и раскачивался. Стоило мне сказать: «Чижуля, спой!» – как он исполнял весь свой репертуар. Но и это ещё не всё. Чижуля по команде открывал клетку! Я бросал клич: «Чижуля, открой дверцу!» – и чем бы мой пернатый друг в это время ни занимался – клевал ли семечки, качался ли на качелях, – мгновенно забрасывал своё занятие, и спешил к дверце клетки; клювом поворачивал крючок и выталкивал дверцу наружу. «Чижуля, ко мне!» – говорил я, протягивая руку, и мой дружок выходил из клетки и вскакивал на ладонь. «Сюда!» – я хлопал себя по плечу – Чижуля взлетал на плечо и клювом дотрагивался до моего уха, как бы говорил: «Вот какой я умный, талантливый!» Если при этом ко мне ласкалась Вета, Чижуля на неё посматривал свысока, мол: «Я ближе к хозяину, и наша дружба крепче». Чтобы не вызывать у Веты ревности, я одной рукой поглаживал её, а другой – легонько Чижулю.



Надо отметить – все наши «цирковые номера» Чижуля проделывал с невероятной готовностью – он был очень исполнительный, старательный артист. Разумеется, в награду за каждый «номер» я давал ему ядрышко семечка.

Частенько мы с Чижулей играли в «кошки-мышки»: я привязывал к нитке дохлую муху и «водил» её по столу, а Чижуля смешно гонялся за ней, раскинув крылья.

Или я делал бумажного голубя и пускал его по комнате, а Чижуля с негодующим писком летал за ним и всё норовил клюнуть непонятного гостя.

И с собакой Чижуля любил поиграть: когда Вета спала, он осторожно подкрадывался к её хвосту и щипал за шерстинки.

Поиграю я с Чижулей, послушаю его песенки и говорю: «Ну всё, Чижуля, иди на место, в клетку». И он моментально летит в свою «квартиру». Как-то я подсчитал – Чижуля выполнял целых восемь команд! Ко всему прочему, он научился пить воду из крана – ну, конечно, при слабой струйке – сильную струю побаивался.

Однажды весной Чижуля как обычно вылетел в форточку, обогнул тополь, но в комнату не вернулся, а уселся на соседнем подоконнике. Потом и с подоконника вспорхнул и понёсся к домам напротив. Я выбежал во двор.

– Вон он! На балконе! – закричали мальчишки.

Чижуля сидел на балконе противоположного дома. Посвистывая, я позвал его. Он нехотя подлетел ко мне, сникший, печальный. Тут я понял – ему нужна подружка.

Канарейку я купил на птичьем рынке. Внешне она выглядела малопривлекательно, была вся какая-то взлохмаченная, с нелепым чёрным пером на боку. И характер у неё оказался не подарочек: как только я впустил её в клетку, она нахохлилась, что-то забубнила, затопала ножками и начала гонять Чижулю по клетке. В конце концов загнала его в угол, по-хозяйски прошлась по клетке, съела все семечки, попила воды из блюдца, забралась на насест, почистила клюв; затем немного покачалась на качелях, снова вспрыгнула на насест и, зевнув, приготовилась ко сну – взъерошилась, превратившись в пушистый шарик, закрыла глазки и спрятала головку под крыло.

Чижуля вышел из угла и встряхнулся, чтобы прийти в себя от неожиданного потрясения, потом немного покрутился в нерешительности, со страхом поглядывая на вздорную особу, почесал затылок лапкой, как бы прикидывая, что делать в сложившейся ситуации; наконец наметил план действий – стал прихорашиваться, разглаживая клювом перья, а когда привёл себя в порядок, прыгнул на насест и расположился на безопасном расстоянии от задремавшей канареихи. Выдержав паузу, он с величайшей предосторожностью, переступая по жёрдочке, подкрался к «невесте» и легонько клювом дотронулся до неё. Канареиха встрепенулась и опять набросилась на Чижулю; согнала его с насеста и, недовольно бурча, вновь погрузилась в сон.

Так продолжалось с неделю и все эти дни канареиха измывалась над моим Чижулей. Но в один прекрасный день, вернувшись из школы, я обнаружил клетку открытой; Чижуля сидел на распахнутой форточке и с особым подъёмом давал концерт на весь двор; у него был прямо-таки ликующий вид. Когда я подошёл к окну, он вспорхнул на моё плечо и затараторил в ухо: «Слава богу, избавился от этой сварливой дурёхи!»

ЁЖИК

В детстве я мечтал стать капитаном и всюду пускал бумажные кораблики: в бочке, в тазу, в ведре и даже, если не видела мать, в тарелке с супом. Но чаще всего – в широкой луже у колонки посреди нашего посёлка. В той луже было много глинистых бугорков с пучками травы – они мне представлялись необитаемыми островами.

Однажды, шлёпая босиком по луже, я проводил свой кораблик меж «островов», вдруг услышал сзади какое-то чмокание. Обернулся – за спиной воду пил... ёжик. Крупный ёжик с острым чёрным носом и маленькими чёрными глазами.

Ежи появлялись в наших садах каждую осень. Они приходили из ближнего леса и всегда ночью. А этот смельчак пришёл в посёлок днём и, не обращая на меня никакого внимания, громко лакал воду. Напился, фыркнул и, переваливаясь, заковылял в кустарник. Он приходил к луже и на следующий день, и потом ещё несколько раз. Я узнавал его сразу – этакий толстяк с рваным левым ухом – видимо, побывал в лапах собаки или лисицы. Ёжик совершенно меня не боялся. Иногда, напившись, он некоторое время с любопытством рассматривал мой кораблик – было ясно, что бумажное судёнышко ему гораздо интересней, чем какой-то мальчишка, который только мутит воду.

В ту осень мой младший брат сильно простудился и сосед шофёр дядя Коля сказал моей матери:

– Надо пацана обмазать спиртом с гусиным салом. А ещё лучше – салом ежа. Пузырёк спирта возьму на автобазе, а ежа... – дядя Коля повернулся ко мне. – Давай поймай ежа в саду. Утопим его в бочке, сдерём шкурку, а сало вытопим на огне.

На следующий день дядя Коля зашёл к нам со спиртом и спросил у меня:

– Ну, поймал ежа?

– Их нет в нашем саду, – соврал я, хотя и не собирался никого ловить.

– Эх ты! – усмехнулся дядя Коля. – Пойдём ко мне!



Я нехотя пошёл за ним. В своём саду дядя Коля сразу направился за сарай и вскоре появился с большим ежом, свернувшимся в клубок.

– Подержи-ка! – сказал, сунув мне в руки животное.

Я прижал ежа к животу; он немного развернулся, высунул острую мордочку из-под иголок и взглянул на меня одним глазом. Это был мой толстяк с рваным ухом!

– Видал, какого жирного поймал? – спросил дядя Коля, засучивая рукава рубахи. – Отъелся на моих слизняках. Из него много сала будет.

Засучив рукава, дядя Коля схватил ежа и понёс к бочке с водой. Ёжик тревожно засопел, стал брыкаться, отчаянно пищать. Дядя Коля погрузил ежа в воду. Понеслось бульканье, всплески, на поверхности воды появились дёргающиеся лапы – было видно, как ёжик изо всех сил пытается вырваться из рук дяди Коли. В какой-то момент ему это удалось – задрал нос, чихая и кашляя, он в панике стал карабкаться на обод бочки, в его глазах был жуткий страх.

– Дядь Коль, не надо! – дрожащим голосом попросил я. – Отпусти его!

– Тебе его жалко, а о братце ты думаешь! – дядя Коля снова утопил ежа.

Я заревел и, вцепившись в руку дяди Коли, крикнул:

– Отпусти его! Он жить хочет!

– А-а! – скривившись, протянул дядя Коля. – Делайте, как хотите! – вытащив ежа из воды, он бросил его в траву и зашагал к дому.

Несколько секунд ёж неподвижно лежал в траве, из его открытого рта выливалась вода. Я нагнулся к нему, и он вдруг пошевелил головой, слегка приподнялся, потом чихнул, кашлянул и, покачиваясь, медленно побрёл в кусты.

В тот же день мать купила на рынке гусяного сала и вскоре брат поправился.

У СТАРИКА ЛУКЬЯНА

Старик Лукьян загорелый, со множеством складок и морщин на лице; на запёкшихся губах чешуйки и трещины. Лукьян носит полинялую от стирок, выцветшую тельняшку и широченные, как паровые трубы, брюки. Его дом стоит на окраине деревни на берегу «великой воды России» – Волги.

На лугу за домом Лукьяна пасутся корова Марфа и осёл Савелий – «кормилица» и «труженик», как их называет старик, что вполне соответствует истине: корова даёт по ведру молока в день, а осёл самостоятельно, без провожатых, возит молоко на сыроварню. Лукьян устанавливает бутылки в сумки на боках осла и просто говорит: «Иди, Савка!» – и тот спешит в посёлок. Войдёт во двор сыроварни, терпеливо ждёт, пока работники не опорожнят бутылки, потом топает назад в деревню.

Один год у Лукьяна жила восьмилетняя внучка из города. У девочки болели ноги, и родители отправили её к деду в деревню. Лукьян мазал ноги внучки мазями из трав, поил её топлёным молоком, договорился с директором поселковой школы, чтобы Савелию в сумку клали школьные задания на неделю, а осла приучил после сыроварни подходить к школе. Вскоре внучка поправилась и вернулась к ро-

дителям, но Савелий по-прежнему после сыроварни подходит к школе. В его сумки суют газеты для Лукьяна.

Во дворе Лукьян строит лодку для директора сыроварни Жоры. Рядом среди щепы и стружек бродит всевозможная живность: куры, индюки, ручной журавль Фомка.

Длинноногий Фомка распушит пепельное оперение и танцует, играет сам с собой: поднимет с земли щепку, подбросит в воздух, снова ловит. Фомка следит за порядком на дворе: заметит, петухи дерутся, – подскочит, заворчит, затопает, а то и ударит клювом драчунов. А соберутся индюки вместе – Фомка сразу к ним, прислушивается – о чём они бормочут, смотрит – кто что нашёл.

В жару Фомка стоит в тени сарая, точно часовой, или вышагивает вдоль забора и смотрит на реку. Заметит, баржа показалась – предупреждает Лукьяна криком.

Однажды весной Фомка исчез и объявился через неделю... с подружкой; вбежал во двор, заголосил, закружился. А журавлиха боится, не подходит, топчется за изгородью.

Начали журавли строить гнездо на крыше дома: натаскали прутьев, смастерили что-то вроде корзины, внутри устелили пухом, а снаружи вплели колючки, чтобы никто не своровал яйца. Через некоторое время из гнезда стали подавать голоса желторотые птенцы, и у Фомки с журавлихой забот прибавилось. Вскоре журавлята подросли, стали спускаться во двор и всё разглядывать. В такие минуты журавлиха беспокоилась: бегала по крыше, кричала, размахивала крыльями, а Фомка спокойно ходил по двору, присматривал за своими детьми – он-то прекрасно знал, кто главный в птичьем царстве.

В середине лета Фомка повёл журавлят к реке обучать рыболовству. Первое время журавлята только воду баламутили, ничего не могли поймать, потом наловчились – гоняли рыбу строем, как солдаты. Осенью журавлята совсем окрепли, и журавлиное семейство переселилось на болото, где жили их собратья. Журавлиная стая готовилась к отлёту на юг, отъедалась рыбой и лягушками.

Обедает Лукьян за столом перед домом. Ко времени обеда во двор изо всех закутков спешат кошки и собаки. Они обитают около дома, у сарая и в кустарнике, одни – местные, другие – поселковые, третьи – просто приبلудные, неизвестно откуда. Вся эта кошачья-собачья братия тактично напоминает Лукьяну про обеденное время: сидят молча невдалеке, только призывно смотрят в его сторону да посапывают и перебирают лапами. Случается, какой-нибудь невыдержанный пёс, вроде Артамона, фыркнет: «Закругляйся, дед! Самое время перекусить да в тенёк на боковую». Понятно, Лукьян подкармливает животных и, как всякая щедрая душа, не скупится на угощения. Во время обеда некоторые, совсем ручные, лезут чуть ли не на колени к старику, другие, одичавшие, схватят кусок и драпака. Один котёнок то и дело впрыгивает на стол – готов поесть с Лукьяном из одной миски – этот шкет вообще нешуточно привязался к старику – целыми днями лежит у его ног. Лукьян конопатит нос лодки, и он рядом, Лукьян переходит на корму, и котёнок за ним плетётся. Воспитала этого котёнка курица, которая почему-то живёт не в курятнике, а под причалом. Спускаясь

к реке, Лукьян не раз видел, как из-под крыла курицы выглядывает пушистая мордаха. Курица тоже подходит к обеду, но не поест, а побыть рядом с котёнком – такая трогательная мамаша.

Больше всех вокруг стола крутится Артамон, нагловатый рыжий пёс. Он одним из первых появился у Лукьяна и потому считает себя хозяином: то и дело задирает ногу и метит угол дома, лодку, изгородь: «Всё, мол, наше, – его и моё». Как только Лукьян откладывает инструмент, Артамон срывается с места, подбегает к столу и кланчит еду.

Проглотит, начинает теревить лапой старика: «Давай ещё!» Он съедает больше всех, и не прочь кусок из чужой миски сцапать. Здесь, правда, Лукьян соблюдает справедливость и разным скромникам, стоящим позади, сам подносит еду.



Бывает, Артамон сопровождает Савелия, когда тот тащит молоко на сыроварню, но доходит только до окраины посёлка – боится поселковых собак.

Самая исполнительная и смыслёная во дворе – Зина, чёрная непоседливая собачонка с живым бегающим взглядом. Частенько Зина выслуживается перед Лукьяном: тот позовёт какую-нибудь собаку, а Зина забежит вперёд и улыбается, ползёт на животе, а то и перевернётся на спину – показывает свою преданность. Если же старик погладит другую собаку, Зина прижмёт уши и обиженно уходит со двора.

– Они такие же, как мы, только постоять за себя не могут, – говорит Лукьян. – И чего люди всё норовят научить их понимать человеческий язык?! Куда проще самим научиться изъясняться по-ихнему.

В дождь собаки и кошки прячутся в сарае – сидят и лежат молча, прижавшись друг к другу. Бывает, последним влетит Артамон, шумно отряхнётся, забрызгивая соседней холодными каплями, наступая лапищами на спящих, проберётся в середину сарая и займёт лучшее место на мешковине.

Как-то Зина три дня не появлялась. «Наверно, в посёлке», – предположил Лукьян, но, опросив посельчан, выяснил – Зину не видели. А потом вдруг Лукьян заметил, что Фомка как-то странно себя ведёт: во время обеда схватит кусок хлеба со стола и летит к лесосеке. Лукьян решил последить за ним, пошёл в сторону кустарника и увидел Фомку на опушке – он раскачивался на своих ходулях у края заброшенного пересохшего колодца. Старик заглянул в колодец, а на дне... Зина жуёт чёрную корку. Увидела Лукьяна, залилась радостным лаем, запрыгала на скользкие, покрытые грибами, деревянные стенки. Лукьян спустился на дно колодца, а когда выбрался с Зиной наружу, она стала ползать у его ног, лизать ботинки и вся её сияющая морда так и говорила: «Ну и натерпелась я страху. Думала, уже не выбраться отсюда. Ладно хоть Фомка подкармливал...»

Однажды Зина оценилась. У неё появилось четыре чёрных щенка. Лукьян сколотил конуру, настелил внутрь соломы, Зина перетаскала щенков в новое жилище и с того дня никого не подпускала к своему потомству.

Как-то к Лукьяну прикатил на «Москвиче» директор сыроварни Жора.

– Ну как продвигается строительство моей лодки? – спросил Лукьяна.

– Продвигается помаленьку, – ответил старик. – Вот уже борта начал обшивать.

– Вижу, медленно продвигается, – определил Жора. – Плохо ты, дед Лукьян, организуешь рабочий день. Через сколько думаешь закончить? – прогундосил Жора.

Лукьян закурил папиросу.

– А кто знает. Может, через недельку, может, через две.

– Не годится. Во всём должна быть плановость. Даю тебе срок десять дней. В этот срок уложись как хочешь. Я уже пригласил на плавание кое-кого из района. Нужных людей, понимаешь? А ещё надо ставить дизель да обкатать лодку, так что поторопись.

Жора ещё раз обошёл двор и вдруг остановил взгляд на конуре, в которой дремала Зина со щенками.

– Что это у тебя, щенки? Сколько штук?

– Четыре.
– Дай одного.
– Сейчас нельзя, собака будет волноваться.
– Вроде крупные, – проговорил Жора, заглядывая в конуру. – Плохо, что чёрные. Чёрные животные болеют чаще, чем белые, – притягивают солнце... И для чего тебе, дед Лукьян, беспородные собаки?! Вон у моего знакомого в городе собака так собака. Английская. Колли. Слышал про такую? Щенков даёт десять штук в год. Каждый по сто рубликов. Соображаешь? Очень выгодная собака. Ну сожрёт она мяса на сотню – всё одно, за год себя оправдывает. Эта твоя сука вроде лохматая. Ежели щенки будут большими, то одного пса на шапку хватит.

Лукьян отбросил окурок, взял ведро и спустился к реке, а когда вернулся, Жорин «москвич» уже пылил в сторону посёлка. Только Зина вела себя как-то необычно: бегала по двору, поскуливала. Заглянул Лукьян в конуру, а одного щенка не хватает.

Через десять дней, когда Лукьян доделал лодку, на грузовике приехали рабочие сыроварни; погрузили лодку в кузов, передали старику деньги от Жоры (гораздо меньше, чем условились при договоре – сказали: «Жора позже ещё подкинет») и уехали.

Лукьян отправился в посёлок; сделал в магазине кое-какие покупки и зашёл на почту, где устраивали посиделки любители побеседовать. На почте от сведущих людей Лукьян узнал, что директор Жора держит щенка в сарае и не выгуливает; изредка немного даст поразмяться во дворе и снова запирает.

К осени одного щенка Зины взяли односельчане, двое остались у старика. Лукьян заготавливал дрова на зиму, выкапывал и просушивал картошку, и щенки крутились около него, покусывали поленья, клубни – вроде бы помогали старику.

– Смышлёные, чертенята, – усмехался Лукьян. – Все в мать.

Однажды зимой Лукьян направился в посёлок за продуктами и куревом, за ним увязалась Зина. После магазина Лукьян, как обычно, заглянул на почту. Среди важных городских новостей и менее важных, поселковых, сведущие люди сообщили



Лукьяну, что Жора отравил свою собаку. Никто не знал, кто сдирал с неё шкуру, но все в один голос утверждали, что скорняк в городе сшил Жоре отличную шапку.

Директор сыроварни оказался лёгок на помине – только Лукьян с Зиной отошли от почты – он идёт им навстречу; в распахнутом тулупе, в чёрной лохматой шапке.

– Привет, дед Лукьян! – проходя мимо, Жора весело вскинул руку.

Он уже отошёл, как вдруг, принявшись, Зина оскалилась, зарычала, шерсть на её загривке встала дыбом; внезапно она кинулась на директора и цапнула за ногу. Жора заорал и, прихрамывая, побежал к почте. Зина снова бросилась на него – тихая, послушная собачонка точно взбесилась.

– Чья это тварь?! Заберите! – отбиваясь от собаки, вопил Жора.

Лукьян сделал вид, что отгоняет Зину, но Жора заметил ухмылку на лице старика.

– Это твоя, дед, собака, я знаю! Ты мне за всё ответишь!

– Отвечу! Пошли, Зина! – Старик отмахнулся и зашагал в сторону дома.

МЕДВЕДЬ

Лесник Петрович и его пёс Цыган живут в пяти километрах от деревни Сосновка. Вокруг дома лесника буйно растут – прямо валят забор – шиповник и боярышник.

– Они самые полезные, – говорит Петрович. – Настойка шиповника – лекарство от сорока болезней, а у боярышника древесина прочная, вязкая, радужная. Недаром из неё точат художественную посуду, игрушки. А я ложки и черпаки режу.

На полках у Петровича лежат деревянные заготовки и свежеструганные изделия, пахучие, с тёмными прожилками-разводами. Кто бы ни зашёл к Петровичу, без ложки или черпака не уходит.

Два раза в неделю к леснику на велосипеде приезжает почтальонша Лиза, самая приветливая девушка в Сосновке. Лиза привозит Петровичу газеты, а Цыгану печенье. Петрович угощает почтальоншу чаем с вареньем; за самоваром рассказывает:

– Вчера приходил сохатый с семейством... Овощи любят... А впервые пришли зимой. Раз под утро слышу – Цыган заливается. Вышел, а они стоят у калитки. Пара лосей с лосёнком. Зима-то снежная была, корм доставали с трудом. Вот и пришли. Ну я вынес им картофелины, морковь... С того дня повадились... И летом навещают...

– Они любят вас, – смеётся Лиза. – Вы же добрый.

– А ведь когда я был подростком, охотился. Да-а. У отца была берданка. От нужды, конечно, охотился, не забавы ради. Раз на охоте подбил селезня. Вытащил его из камышей, у него было перебито крыло. И вот держу его, значит, в руках... и чувствую, как бьётся его сердце. А он смотрит на меня и тихо крикает, как бы просит о помощи. Потом затих и начал остывать. И вот тут-то мне стало не по себе. «И зачем, – думаю, – лишил жизни такую красивую птицу?» Представил, как он красовался перед подругой, ходил кругами, хлопал крыльями... как потом выводил бы утят на плёс, обучал их нырять... Да-а. Человек может многое сделать, но вот живую птицу не сделает никогда.

Лиза сообщает Петровичу последние деревенские новости, потом прощается:

– Ну, я поехала. Спасибо за варенье.



– Тебе спасибо за газеты, – отзовется Петрович. – На-ка, ложку возьми, в хозяйстве пригодится, да и в доме должно пахнуть деревом.

Лиза вскакивает на велосипед, машет рукой. Цыган провожает её до деревни.

Часто, тоже на велосипеде, к Петровичу заезжает молодой ветеринар Костя; он работает в Сосновке всего несколько месяцев. Костя с Петровичем за чаем с наливкой ведут задушевные беседы. Иногда Костя вспоминает Москву, где учился на ветеринара и где осталась его девушка.

– Наши девушки лучше городских, – говорит Петрович. – К примеру, почтальонша Лиза. Какая славная... В городе каждый сам по себе, а наши, как одна семья. Правда, сейчас и в деревне некоторые нажимают на своё. А раньше всё делали сообща. Все деревней выезжали солить грибы. На телегах прикатим в лес, разбрédёмся, перекликаемся. Потом на поляне очищаем грибы, засыпаем в бочки,

перекладываем ягодами для запаха и листьями дуба для крепости. И всё под песни, прибаутки, да-а.

– Наш ветеринар чудной какой-то, – говорит почтальонша Лиза Петровичу. – В клуб не ходит, все вечера дома сидит, книжки почитывает... Вот просто интересно, почему он в клуб не ходит, а к вам приезжает?

– У нас общая привязанность к животным, – объясняет Петрович.

В жаркие дни кордон лесника залит солнцем; от елей бьёт горячей хвоей, сосны потрескивают чешуйчатой корой, в воздухе терпкие испарения. Воздух тягучий, липкий. Только у речки прохладно; она течёт вдоль кордона, мелководная, извилистая. В полдень к речке тянутся все обитатели леса. Лучший «пляж» занимают кабаны; радостно похрюкивая, точно ватага ребят, они вбегают в воду; искупаются, начинают валяться на песке. Потом хряк, а за ним и всё стадо, зарываются в песок, поглубже, чтоб не перегреться на солнцепёке.

В тенистый бочаг, спасаясь от жары и слепней, заходят лоси. Заходят медленно и важно. Войдут и долго стоят с закрытыми глазами – дремлют, но ушами настороженно шевелят – прислушиваются, как бы кто не подкрался.

На мелководье тут и там плещутся сороки и разные мелкие птицы; окунутся несколько раз и бьют по воде крыльями. Иногда, задрав лапы, заваливаются на бок – прямо как загорающие купальщики. Вылезут из воды, отряхнутся; потом одни летят на ветви обсыхать, другие ложатся в лунки на берегу, при этом то и дело ссорятся за более удобные, как им кажется, места.

Изредка к реке, тяжело дыша, подходит лисица. О её приближении всех оповещают сороки; их тревожная трескотня – верный сигнал об опасности. Заслышав сорок, остальные птицы взлетают на деревья. Лисица не купается, только полакает воду и спешит назад, в нору, подальше от палящего солнца. До норы, перелетая с ветки на ветку и треща, её сопровождают сороки. Лисица скроется под корнями раскидистой ели, а сороки ещё долго сидят на ветвях и негодуяще бормочут. Потом, успокоившись, вновь подлетают к речке и уже трещат раскати-сто, победоносно, как бы говорят, что прогнали непрошеную гостью и все могут возвращаться.

Как-то в Сосновку прибежал Цыган: шерсть вздыблена, глаза ошалелые; с громким лаем пёс подбегал то к дому почтальонши, то к дому ветеринара – тех, кого лучше всех знал. Но Лиза накануне уехала в райцентр, а Костя на ферме осматривал телят. Все жители деревни были на сенокосе, только мальчишки бегали по дороге – запускали змея. Они-то и увидели Цыгана и подумали, что в деревню пришёл Петрович, но потом заметили – лесник не появляется, а пёс с беспокойством носится от дома к дому. Мальчишки поняли – на кордоне что-то случилось, и побежали к ветеринару.

Костя сел на велосипед и, сопровождаемый Цыганом, покатыл к леснику. Ещё издали он увидел, что у дома сидит... медведь.

Бурый медведь, со сбитой шерстью и проплешинами, сидел, привалившись к срубам, и ревел. Завидев велосипедиста и собаку, медведь смолк, потом наклонил массивную голову, неуклюже повалился на бок и завыл.

Навстречу Косте вышел Петрович.

– Вот с утра сидит. Пришёл за помощью. У него чего-то с задней лапой, всё её поджимает.

– Как же её осмотреть? – опешил Костя.

– Да он мой хороший знакомый. Он ещё медвежонком ко мне привязался. Их было двое. Их мать убили браконьеры. Я выхаживал их, они обитали у меня в сарае. Когда они подросли, один не вернулся из леса. А этот до сих пор приходит. Я подкармливаю его. Он почти домашний. Но сейчас одному несподручно осмотреть его лапу. Я сейчас его отвлеку, помажу хлеб вареньем. Он его жуть как любит.

Петрович с Костей направились к дому, а Цыган стал из-за кустов негромко облаивать лохматого пришельца.

Когда лесник с ветеринаром подошли к крыльцу, медведь перестал выть и задрал заднюю лапу – явно показывая, где у него нестерпимая боль; меж «подушек» медвежьей стопы виднелась острая сосновая щепка.





– Видать, на лесосеке занозил, – сказал Петрович и заспешил в дом.

Он вынес ломоть хлеба с вареньем и протянул медведю, но тот отвернулся – он как бы говорил: «Вылечите мне скорее лапу. Я всё стерплю, без всяких сладостей».

Пока Петрович отвлекал медведя хлебом с вареньем, Костя наклонился и резким движением вытащил щепу. И сразу отскочил на всякий случай.

Медведь вновь повернулся и глубоко вздохнул. Потом встал, протиснулся сквозь калитку и, прихрамывая, пошёл к лесу.

Цыган проводил его уже не лаем, а тихим бурчаньем.

– Он с большим понятием, – сказал Петрович, когда медведь скрылся в чаще. – Вот говорят, он лапу сосёт – у него кожа на стопе сходит. А я заметил, прежде чем залечь в спячку, он топчется на ягоде, набивает сладкие лепёшки на лапах. А в берлоге сосёт. Да-а... И вот как знает: долгая будет зима – больше топчется. Я по медведю определяю, какая будет зима. Он никогда не ошибается.

БУРАН, ПОЛКАН И ДРУГИЕ

В десять лет меня называли «профессиональным выгульщиком собак». В то время мы жили на окраине города в двухэтажном деревянном доме, в котором многие жильцы имели четвероногих друзей.

Вначале в нашем доме было две собаки. Одинокая женщина держала таксу Мотю, а пожилые супруги – полупородистого Антошку.

Мотя была круглая, длинная, как кабачок. Хозяйка держала её на диете, хотела сделать «поизящней», но таксу с каждым месяцем разносило всё больше, пока она не стала похожа на тыкву.

А вот Антошка был худой, несмотря на то что ел всё подряд.

Жильцы в нашем доме считали Антошку симпатичней Моти.

– Мотя брехливая и наглая, – говорили. – Вечно суёт свой нос, куда её не просят. Некоторые при этом добавляли:

– Вся в хозяйку.

Антошка, по общему мнению, был тихоня и скромник.

Мне нравились обе собаки. Я их выгуливал попеременно.

Потом в нашем доме появилась третья собака: сосед, живший над нами, привёл себе бездомного, грязноватого пса и назвал его Додоном.

После этого мне, как выгульщику, работы прибавилось, но я только радовался такому повороту событий.

Наш дом слыл одним из самых «собачьих», и всё же ему было далеко до двухэтажки в конце нашей улицы.

В том доме собак держали абсолютно все! Там жили заядлые собачники, и в их числе дворник дед Игнат и слесарь дядя Костя.

Дед Игнат и его бабка держали Бурана – огромного неуклюжего пса из породы водолазов. У Бурана были длинные висячие уши, мешки под глазами, а лаял он сиплым басом. Как-то я спросил у деда:

– Почему Буран водолаз? Он что, под водой плавать умеет?

– Угу, – протянул дед.

– Наверно, любая собака может под водой плавать, – продолжал я. – Просто не хочет. Чего зря уши мочить!

– Не любая, – проговорил дед. – У Бурана уши так устроены, что в них не попадает вода. Таких собак держат на спасательных станциях, они вытаскивают утопающих. Вот пойдём на речку, посмотришь, как Буран гоняет рыб под водой. И на воде он держится не как все собаки. Крутит хвост винтом и несётся, как моторка. Только вода сзади бурлит. А настырный какой! Не окрикнуешь, так по течению и погонит. За ним глаз да глаз нужен. И куда его, ошалелого, тянет, не знаю! Ведь живёт у нас, как сыр в масле. Вон и выглядит как принц. Ишь отъелся!

Дед потрепал собаку, и Буран зажмурился, затоптался, завилял хвостом и начал покусывать дедов ботинок.

– Цыц! – прикрикнул дед. – Весь башмак обмусолил.

Буран, обиженный, отошёл, лёг со вздохом, вытянул лапы и положил между ними голову.

Я почесал пса за ушами, он развалился на полу и так закатил глаза, что стали видны белки.

Буран любил поспать; он был редкостный соня, настоящий собачий чемпион по сну. Уляжется на бабкином диване и храпит. Иногда во сне охает, стонет, и вздрагивает, или глухо бурчит и лязгает зубами – сны у него были самые разные: и радостные и страшные.

Днём Буран разгуливал по дворам. От нечего делать заглядывал к своему брату Трезору, который жил на соседней улице. Раз пошёл вот так же гулять – его и забрали собаколовы, «люди без сердца», как их называла бабка. Прибежал я его выручать, показываю собаколовам паспорт Бурана, а они и правда «без сердца».

– Ничего не знаем, без ошейника бегал, – говорят. Потом видят, я чуть не реву. – Ладно, – говорят, – забирай. Но ещё раз без ошейника увидим – не отдадим.

«Всё-таки у них есть сердце, – подумал я, – но какое-то железное, вроде механического насоса».

Собаколовы открыли клетку, Буран бросился ко мне и давай лизать мне лицо. Казалось, так и говорил: «Ну и натерпелся, брат, я страху».

Дед Игнат научил Бурана возить огромные сани. Зимой купит поленьев на дровяном складе, впряжёт Бурана в сани, и тот тащит тяжёлую кладь к дому.

Много раз мы с ребятами стелили в сани драный тулуп, и Буран катал нас по улице; мчал так, что полозья визжали, а нас подбрасывало и мы утыкались носами в мягкие завитки тулупа.

Но долго нас Буран не возил. Прокатит раза два, ложится на снег и высовывает язык – показывает, что устал. Но выпряжешь его – начинает носиться с другими собаками как угорелый.

Или бежит к своему брату и борется с ним до вечера и не устаёт никогда.

Буран вообще не любил с нами играть. Когда был щенком, любил, а подрос – его стало тянуть ко взрослым.

Позовёт его мальчишка или девчонка, а он делает вид, что не слышит. А если и подойдёт, то нехотя, с сонными глазами и раз двадцать вздохнёт. Ребят постарше ещё слушался, а разных дошколят и не замечал.

Иногда на нашей улице случались стычки. Какой-нибудь мальчишка начнёт говорить со мной заносчиво и грубо, а то ещё и угрозы всякие сыпать. В такие минуты я не махал кулаками, а шёл к деду Игнату и прицеплял Бурану поводок. А потом прохаживался с ним разок-другой по нашей улице, и, ясное дело, заносчивый мальчишка сразу притихал. Частенько я проделывал этот трюк и без всякого повода, на всякий случай, просто чтоб никто не забывался.

По ночам деду не спалось, он ставил самовар и за чаем разговаривал с Бураном, рассказывая ему про свои стариковские дела. И Буран всегда его внимательно слушал. Наклонит голову набок и ловит каждое слово. Иногда бугорки на его лбу сходились и он вздыхал. Тогда дед гладил его:

– Ты-то, лохматина, всё понимаешь, я знаю.

Но если Буран фыркнет, дед закипал:

– Что, не веришь? Будешь спорить со мной? – Потом отойдёт, кинет Бурану кусок сахара и рассказывает дальше.

Так и бормочет, пока бабка не уведёт собаку к себе на диван – она грела ноги в её шерсти, говорила: «От ревматизма помогает».

Несколько раз в год бабка чесала Бурана и из шерсти вязала варежки и носки. По Бурану бабка определяла погоду: уляжется пёс в углу – назавтра жди холодов, крутится посреди комнаты – будет тепло.

– Он всё чувствует, – говорила бабка.

А у дяди Кости было две собаки: спаниель Снегур и овчарка Полкан, оба невероятные показушники: любили находиться в центре внимания, занять в комнате видное место, повертеться на глазах, похвастаться белоснежными зубами...

На Снегура сильно действовала погода. Серые, пасмурные дни нагоняли на него такую тоску, что он забивался под крыльцо и плаксиво повизгивал. Но в солнечные дни становился безудержно шумным: гонялся по двору за голубями, возился с Полканом, ко всем лез целоваться. Снегур жил вместе с дядей Костей, а Полкан – на улице, в бочке. Дядя Костя опрокинул большую бочку, набил её соломой, и конура у Полкана получилась что надо, все собаки завидовали. Сторожить Полкану было нечего – дядя Костя не держал ни кур, ни уток, не разводил огород, и Полкан целыми днями грелся на солнце. Кстати, в бочке с Полканом я однажды ночевал – спрятался там, когда за что-то обиделся на родителей.

У Полкана было поразительное обоняние и чувство пространства. Однажды дядя Костя уехал в другой конец города, так Полкан прибежал к нему. Как нашёл дорогу – никто не знает.

Но всё-таки самой лучшей и самой умной собакой была Кисточка, которая жила в соседнем посёлке, у знакомой моей матери тёти Клавы. Кисточка была обыкновенной дворняжкой: маленькая, с закрученным баранкой хвостом и острой мордой.

Кисточка служила и сторожем, и нянькой. По ночам она охраняла сад от набегов мальчишек, днём сидела около коляски соседского малыша. Если ребёнок спал, Кисточка смиренно сидела рядом, но стоило ему пискнуть – начинала лаять и толкать коляску лапой.

Кисточка была всеобщей любимицей в посёлке, многие хозяева хотели заполучить её на день-два постеречь сад или присмотреть за детьми. Заманивали её печеньем и сладостями. Кисточка посмотрит на лакомства, проглотит слюну, но не пойдёт – так была предана хозяйке.

Однажды мы получили от тёти Клавы письмо, в котором она сообщала, что Кисточка родила пятерых щенков, трёх забрали соседи, одного тётя оставила себе, а пятого предлагала нам.

В воскресенье мы с матерью съездили в посёлок и вернулись с сыном Кисточки.

У щенка был мокрый нос, мягкие подушечки на лапах и коричневая шерстка. Я назвал его просто – Шариком. В первый день щенок ничего не брал в рот. И в блюдце наливали ему молока, и в бутылку с соской – не пьёт, и всё тут! Поскуливает, дрожит



и всё время лапы подбирает – они у него на полу расползались. Я уж стал побаиваться, как бы он не умер голодной смертью, как вдруг вспомнил, что на нашем чердаке кошка Марфа выкармливает котят.

Сунув щенка за пазуху, я залез с ним на чердак и подложил Марфе. Она как раз лежала с котятами у трубы. И только я протиснул щенка между котятами, как он уткнулся в кошкин живот и зачмокал. А Марфа ничего, даже не отодвинулась, только приподнялась, посмотрела на щенка и снова улеглась.

Прошло несколько дней. Марфа привыкла к приёмному сыну, даже вылизывала его, как своих котят. Щенок тоже освоился в кошачьем семействе: ел и спал вместе с котятами и вместе с ними играл Марфиным хвостом.

Всё шло хорошо до тех пор, пока котята не превратились из сосунков в маленьких кошек. Вот тогда Марфа стала приносить им воробьёв и мышей. Котятам принесёт – те урчат, довольные, а положит добычу перед щенком – он отворачивается. Марфа подвинет лапой к нему еду, а он пятится. Зато с удовольствием уплетал кашу, которую я ему приносил.

Однажды Марфа со своим семейством спустилась во двор: впереди вышагивала сама, за ней – пузатый, прыткий щенок с неё ростом, а дальше катились пушистые комочки.

Во дворе котята со щенком стали играть, носиться друг за другом. Котята залезали на дерево, и щенок пытался, но сваливался. Ударится, взвизгнет, но снова прыгает на ствол. Тут я и понял, что пора забирать его от кошек.

Только это оказалось не так-то просто – Марфа ни в какую не хотела его отдавать: только потянусь к Шарик, она шипит и распускает когти. С трудом отнял у неё щенка.

В жаркие дни мы с Шариком бегали на речку купаться. Шарик любил барахтаться на мелководье, а чуть затащишь на глубину – спешит к берегу или ещё хуже – начнёт карабкаться мне на спину.

Однажды я взял и нырнул, а вынырнув в стороне, увидел: Шарик кружит на одном месте и растерянно озирается. Потом заметил невдалеке голубую шапку, такую же, как у меня, и помчал к пловцу. Подплыл и стал забираться к нему на спину. А пловцом оказалась девушка. Она обернулась и как завизжит!

Но ещё больше испугался Шарик. Он даже поднырнул – только уши остались на воде, а потом дунул к берегу.

По воскресеньям у деда Игната собирались все «собачники». И дядя Костя, и я приходили с собаками. Бабка раздувает самовар, достанет пироги, усядемся мы за стол, и собаки тут как тут. Смотрят прямо в рот – тоже пирогов хотят. Я дам им по одному, а бабка как крикнет:

– А ну пошли во двор, попрошайки! А тебе, Буран, как не стыдно? Ведь кастрюлю каши слопал! Такой обжора, прямо стыд и срам!

И Буран уходит пристыженный, а за ним и Снегур с Полканом, и мой Шарик.

Во дворе они начинали бороться. Понарошку, кто кого: Буран всех троих или они его. Дурашливые Полкан с Шариком сразу набрасывались на Бурана. Прыгали перед его носом, тявкали, всё хотели в лапу вцепиться.

Снегур не спешил: кружил вдалеке с хитрющей мордой; потом заходил сзади и – прыг Бурану на загривок. Тут уж и Полкан с Шариком набросятся на Бурана, а он, великан, засопит, набычится, развернётся – собаки так и летят кубарем в разные стороны.

Частенько и я принимал участие в этой возне. Вчетвером-то мы Бурана одолевали.

Вот так я и рос среди собак, и узнавал их повадки; даже научился подражать их голосам. Приду к дяде Косте и загавкаю из-за угла сиплым голосом, и Снегур с Полканом заливаются, сбитые с толку, – думают, Буран решил их напугать. Или забегу к деду Игнату, спрячусь за дверь и залаю точь-в-точь как Полкан – визгливым, захлё-бывающимся лаем. И Буран сразу выскочит и сердито зарычит.

Постепенно я научился различать голоса всех собак в окрестности. Понимал, что означает каждый лай и вой, отчего пёс повизгивает или поскуливает, то есть в совершенстве выучил собачий язык. И собаки стали принимать меня за своего. Даже совсем незнакомые псы, с дальних улиц. Бывало, столкнусь с такой собакой нос к носу, пёс оскалится, шерсть на загривке поднимет, а я пристально посмотрю ему в глаза и рыкну что-нибудь такое:

– Брось, знаю я эти штучки! Своих не узнаёшь?!

И пёс сразу стушует, заковыляет ко мне виляющей походкой. Подойдёт, уткнётся головой в ноги, вроде бы извиняется: «Уж ты, того... не сердись, обознался немного. Ходят тут всякие. Я думал, и ты такой же. А ты, оказывается, наш. Вон весь в ссадинах и синяках. От тебя вон и пахнет-то псиной».

В то время я к любому волкодаву мог подойти – был уверен, никогда не цапнет.

Буран умер от старости. До самой смерти он сторожил дом и возил сани с дровами.

Когда дядя Костя уехал из нашего города, Снегура взяли сторожем в зоосад, а Полкана приютили соседи, сказали: «У него такая красивая шерсть».

А Шарик стал моим другом и равноправным членом нашей семьи.

В два года Шарик внезапно простудился. Целую неделю мы лечили его, давали таблетки и витамины, поили настоем ромашки.

Когда Шарик поправился, он вдруг стал приводить к нашему дому других больных собак. У одной была ранена лапа, у другой порвано ухо, у третьей во рту застряла рыба кость... Мы лечили бедолаг, никому не отказывали. Соседи шутили:

– Пора открывать бесплатную лечебницу.

Однажды во время зимних каникул мы с приятелем поехали на дачу к нашему общему знакомому. И конечно, взяли с собой Шарика, ведь мы были неразлучными друзьями.

Стояли крепкие морозы, на даче было холодно, и мы непрерывно топили печь. Мы катались на лыжах, строили снежную крепость, но не забывали подкладывать в печь поленья. И, укладываясь спать, набили полную топку дров.

А проснулись от громкого лая Шарика. Он впрыгивал на кровать, стаскивал с нас одеяло... Открыв глаза, я увидел, что вся комната полна едкого дыма. Он клубился волнами, ел глаза, перехватывал дыхание.

Я растолкал приятелей, мы на ощупь нашли дверь и, выскочив наружу, долго не могли отдышаться на морозном воздухе. И пока стояли около дома, из двери,

точно белая река, валил дым; он растекался по участку и медленно поднимался в тёмное звёздное небо.

Вот так в тот день, если бы не Шарик, мы задохнулись бы от дыма.

Как-то, когда я уже закончил школу, а Шарик исполнилось семь лет, я шёл мимо одного двора. В том дворе мальчишки-негодяи привязали к дереву собаку и стреляли в неё из луков.

Я бросился во двор, но меня опередила худая, светловолосая девчушка.

– Не смейте! – закричала она, подбежала к мальчишкам, выхватила у них стрелы, стала ломать. Она так яростно накинулась на мальчишек, что те побросали оружие и пустились наутёк.

С этой девчушкой мы отвязали перепуганную собаку, и пёс в благодарность начал лизать нам руки. Он был совсем молодой и явно бездомный. На его лапах висели засохшие комья глины, из шерсти торчали колючки. Пока девчушка выбирала колючки, я сбежал в аптеку и купил йод. Потом мы прижгли ранки бедолаге.

– Я возьму его себе, – сказала девчушка. – Когда вырасту, обязательно буду лечить животных.

Потом, повернувшись ко мне, вдруг спросила:

– А у вас есть собака?

– Есть.

– Как её зовут? Расскажите о ней.

Я присел на скамейку, стал рассказывать. Девчушка внимательно слушала, но ещё более внимательно слушал спасённый нами пёс. Его взгляд потеплел. Он уже знал, что больше не будет шастать по помойкам, мокнуть под дождями, его уже никто не прогонит из подъезда, никто не посмеет в него стрелять. У него будет хозяйка.



A watercolor illustration of a forest scene. The background is a light yellow-green wash. In the center, several tall, dark green coniferous trees stand against the background. The title 'БЕЛЫЙ И ЧЕРНЫЙ' is written across the middle of the trees. At the bottom, a brown bear is on the left, and two small dogs, one blue and one white, are on the right. The ground is a mix of blue and green washes, suggesting grass and a path.

БЕЛЫЙ И ЧЕРНЫЙ

САМЫЙ НЕВОСПИТАННЫЙ ПЁС НА СВЕТЕ

Соседский пёс бассет Пузан – моя постоянная головная боль. По происхождению он аристократ и внешне вполне интеллигентен, импозантен, но ведёт себя как подзаборная дворняга. Чего только этот шкет не вытворяет! Его хозяйева рано уезжают на работу; выведут Пузана на десять минут во двор, оставят ему сухой корм в миске – и только их и видели. А пёс весь день сидит в запертой квартире, как арестант, и от тоски лает на весь дом. Лает басом, гулко – кажется, бьет колокол. Немного успокоившись, усаживается на балконе и сквозь решётку, насупившись, придирчиво осматривает двор; если кто не понравится, гавкает. А не нравятся ему многие, и больше всех – ребята на велосипедах и роликовых коньках – он считает, что все должны ходить нормально, а эти балуются, трещат на разных колёсах и подшипниках.

Особенно его раздражают мотоциклисты – тех он вообще готов покусать.

Не жалуется Пузан и дворников с их мётлами, вёдрами, тележками. И портят ему кровь воробьи и голуби и, само собой, кошки – всю эту живность он неистово облаивает и ближе, чем на десяток метров, к дому не подпускает. Ну а увидев знакомых кобелей, Пузан просто приходит в ярость: скалится, рычит, подпрыгивает на месте – всем своим видом показывает, что сейчас сиганёт с балкона и разорвёт в клочья. Другое дело – сучки. Заметив собаку-девицу, Пузан преображается: его мордаху озаряет улыбка, он возбуждённо топчется на месте – почти танцует, ласково поскуливает – почти поёт. Со стороны подумаешь – он самый галантный парень в округе. Местные сучки прекрасно знают, каков он на самом деле, и на его потуги не обращают ни малейшего внимания. Но приبلудные... те, дурёхи, подойдут к балкону, разинут пасть и пялятся на моего лопухого соседа, внимают его «песенкам».

Пузан коротконогий с длинными висячими ушами; у него белые лапы, живот и грудь; на спине коричневая полоса, словно накидка, а на серьёзной физиономии под глазами набрякшие мешки. Как все толстяки, Пузан выглядит неуклюжим; на самом деле, если надо – скачет хоть куда!

Уходя на работу, хозяйева Пузана, чтобы он не залёживался и делал разминки, оставляют открытым балкон; чтобы не скучал, включают ему радио, а чтобы не пугался, когда стемнеет, в прихожей зажигают свет. Но Пузан всё равно тяжело переносит одиночество. «Наведёт порядок» во дворе, послушает радио и мучается от безделья, то и дело с сиротским видом заглядывает в мою комнату (наши балконы смежные).

– Ну что, разбойник, поднял весь дом чуть свет, – брошу я.

И Пузан немного сконфузится, зашмыгает носом, потом, довольный, что я заговорил с ним, повернется на месте, заберётся лапами на разделительную перегородку и начнёт стонать, канючить – прямо говорит: хочу к тебе.

– Ладно, – машу рукой, – залезай. Но уговор такой: ко мне не приставай. Учти, у меня нет времени тебя развлекать. Я человек занятой, мне картинки надо

рисовать, зарабатывать на жизнь. Я ведь не твои хозяева-торгаши, у которых денег куры не клюют.

Я помогаю Пузану-нескладёхе перелезть ко мне – в благодарность он трётся башкой о брюки, – но я продолжаю объяснять ему что к чему.

– Ты же прекрасно знаешь, я живу один, и помощи мне ждать не от кого.

Пузан сочувственно выслушивает меня и бодается – брось, мол, всё перемелется.

– Ну иди, ложись у шкафа, смотри телевизор. – Я включаю Пузану мультфильмы, а сам возвращаюсь к столу.

Пузан минут пять без особого интереса смотрит на экран, потом подходит, теребит меня лапой, корчит гримасы, закатывает глаза – это означает «давай повозимся» – поборемся, или побегаем, или потянем тряпку, что ты, в самом деле, уткнулся в свои бумажки!

Я немного почешу его за ушами и хмурюсь.

– Слушай, Пузан, я же тебе сказал, у меня работа. И ещё надо в магазин сходить, купить еду, приготовить. Так что дел по горло. А тебе лишь бы валять дурака. Лучше почитай книжки. Ты всё же личность, а не пустоголовый оболтус!

Я раскладываю на полу книги с цветными иллюстрациями. Пузан ложится, внимательно рассматривает страницы – делает вид, что читает, – на его лбу соберутся складки, время от времени он многозначительно причмокивает и, как бы размышляя, тянет:

– Да-а!

Корчит из себя философа. Если в этот момент в коридоре зазвонит телефон, Пузан вскакивает и, опережая меня, подбегает к аппарату, носом сбрасывает трубку и сипло тявкает.



Так проходит два-три часа, затем я собираюсь в магазин, а Пузана зову на балкон.

– Всё, пообщались, скрасили друг другу одиночество – и хватит, полезай к себе.

Но пёс посмотрит на меня таким страдальческим взглядом, что мне ничего не остаётся, как выдавить:

– Ну так и быть, тащи ошейник с поводком.

На радостях Пузан почти самостоятельно преодолевает разделительную перегородку и в своей комнате, сшибая стулья, несётся к прихожей. Я слышу, как он подпрыгивает, шлёпается, зло урчит оттого что не может достать свои причиндалы. Наконец, раздаётся грохот – явно рухнула вешалка – и в проёме балконной двери появляется запыхавшийся Пузан с ошейником и поводком в зубах, при этом он ещё умудряется изобразить победоносную улыбку.

На улице Пузан ликует от счастья: высунув язык, безудержно вертится из стороны в сторону, отчаянно виляет хвостом; точно узник, внезапно получивший свободу, радуется абсолютно любой погоде и уже не бурчит на велосипедистов, а ко всем прохожим просто-напросто лезет целоваться. Особенно к девушкам.

На «ничейной территории» он великодушно позволяет разгуливать голубям и кошкам; при встрече с соперниками-кобелями только гордо отворачивается, а сучкам выказывает безмерную любовь, при этом бахвалится мускулатурой, выпячивает грудь – паясничает, одним словом.

Что меня удивляет – Пузан издали безошибочно определяет пол собаки – по походке и «выражению лица». Я, пока не подойду и не загляну под живот, не установлю, а он определяет без промаха.

На улице Пузан не просто чересчур общителен – его охватывает чувство всеобщего братства. Заметив, что у школы ребята занимаются физкультурой, рвётся к ним, умоляет меня спустить его с поводка. Я не выдерживаю. «Ну что, – думаю, – он целыми днями сидит в четырёх стенах. Ведь он молодой, и ему побегать хочется».

– Иди дай кружок с ребятами, но тут же назад, ко мне, – я хлопаю Пузана по загривку и отстёгиваю поводок.

Надо отдать должное моему дружку – он не злоупотребляет доверием: пробежится с ребятами вокруг школы, расцелуется с девчонками и дует ко мне – только уши хлопают по лопаткам.

Случается, подбежит ко мне, в глазах – тревога, паника, оказывается, к нему прицепилась колючка – тут же заваливается на бок и, брезгливо ощерившись, начинает выкусывать колючку, при этом визжит, словно в него вцепилась змея. Пузан не боится даже грохочущих грузовиков, но вот колючки, липкие почки, хвоинки в него вселяют немалый страх. Такая у моего дружка повышенная чувствительность.

Что и говорить, он парень нервный, впечатлительный, эмоциональный. Потому и одиночество переживает крайне тяжело; порой даже озлобляется, а ведь он, в сущности, дружелюбный и ласковый пёс.

Кстати, я заметил: мой характер тоже стал портиться. Последнее время меня раздражает богатство соседей. Раньше и не замечал их, а теперь мне прямо дей-

ствуют на нервы их хрусталь и ковры, и что соседка всё что-то трёт и пылесосит, а её муженёк вылизывает свою «Волгу». Представляю, какво Пузану среди этой сверкающей роскоши.

У магазина я даю Пузану наказ: сидеть смирно, ни на что не отвлекаться. Он исполнительный: пока делаю покупки, послушно ждёт меня, вглядывается в полуоткрытую дверь и ни к кому не подбегает знакомиться, даже к красивым собакам-девицам, правда, провожает их взглядом. Я выйду из магазина – Пузан сразу хватается ручки сумки – дай, мол, понесу.

Если сумка не тяжёлая, даю, и Пузан, задрвав башку, с невероятным старанием и важностью волочит сумку по земле.

Мы возвращаемся домой. Я готовлю обед, Пузан крутится рядом – вроде помогает. И дегустирует всё подряд: сырую картошку, морковь – хрустает за обе щеки, как козёл. Понятно, ему надоели всякие сухие заграничные корма, которыми его пичкают.

Потом мы едим суп или кашу с тушёной – смотря что я сварю. Слопав свою порцию, Пузан, пыхтя и переваливаясь, семенит в комнату, запрыгивает на тахту и вытирает морду о покрывало: кувыркается, закатывает глаза, хрипит. Этот впечатляющий ритуал он проделывает самым серьёзнейшим образом; совершенно не терпит, если на морде осталась хоть крошка пищи. Опять-таки из-за повышенной чувствительности, а вовсе не потому, что такой уж аккуратист. Дома за подобные трюки ему достаётся от хозяев – я не раз слышал суровые окрики хозяйки, шлепки и визг Пузана – ну а у меня-то всё можно.

К тому же я специально для Пузана на тахту заранее стелю клеёнку и никак в толк не возьму, почему этого не делают его хозяева, почему не уважают его природные наклонности, ведь он, по моим понятиям, является полноправным членом семьи.

Пузан вытирается до тех пор, пока сам себя не укачивает и не начинает зевать, тогда призывным взглядом просит почесать ему живот. Что мне стоит сделать приятное толстяку?! Опять же, уснёт – даст мне возможность спокойно поработать.

Я чешу ему пузо, и он почти засыпает, но только почти. Стоит мне привстать, как он встрепенётся, вцепится лапами в мою руку и просто требует (на правах друга), чтобы я продолжал чесать. Он даже хмурится и недовольно сопит – всячески показывает, что я отношусь к чесанию безответственно и только и думаю, как бы от него, Пузана, отделаться. И всё же в конце концов он засыпает, а я сажусь работать.

Спустя час-полтора Пузан просыпается, потягивается, подходит ко мне засвидетельствовать дружеское расположение и напомнить, что он ведёт себя вполне прилично, совершенно не мешает мне и в некотором смысле своим ненавязчивым присутствием способствует моему рабочему настрою. Это в самом деле так. Ещё недолго, пока Пузан окончательно не очухается ото сна, мне удаётся плодотворно поработать, ну а потом он настырно тычется в мои колени – зовёт играть. Я от него отмахиваюсь, ворчу, покрикиваю:

– Отстань! Надо доделать картинку!

Пузан тяжело вздыхает, обиженный отходит к шкафу, ложится и смотрит на меня мученическим взглядом.

Закончив рисовать, я откидываюсь на стуле. Пузан срывается с места, прыгает на меня и целует в лицо – ну, теперь-то мы поиграем! – прямо говорит и растягивает пасть.

Наши с Пузаном игры сводятся к противоборству: будь то перетягивание тряпки, бег наперегонки до кухни и обратно или пугание друг друга рыком – всё это заканчивается одним и тем же – борьбой, кто кого положит на лопатки. Конечно, мы боремся вполсилы. Наша борьба скорее похожа на дружеские объятия, но эти объятия бывают крепкими. В борьбе Пузан неустоим, но никогда не теряет голову и сильно меня не кусает, как бы я его ни прижал.

В разгар наших игр Пузан вдруг настораживается, прислушивается – а слух у него отменный – и, заслышав отпирающийся замок в своей квартире, сникает, пригибается и спешит на балкон.

– Не забудь ошейник! – я торопливо сую Пузану ошейник с поводком, подсаживаю его на разделительную перегородку, и он встречает хозяев как ни в чём не бывало.

Но, радостно поприветствовав хозяев, Пузан тут же возвращается к балкону и некоторое время его взгляд мечется между своей квартирой и моим балконом, на его морде растерянная гримаса – какую из двух радостей выбрать? Но долг перед хозяевами побеждает: он посылает в мою сторону виноватую улыбку и подбегает к хозяину. Тот отчитывает его за вешалку, называет «негодяем», стегает поводком. Затем, чертыхаясь, прикрепляет вешалку и зло кричит:

– Ко мне! – и ведёт «негодяя» во двор.

Хозяйка долго охает и ахает, ругает Пузана на чём свет стоит:

– Опять набедокурил, паршивец! Наводишь, наводишь чистоту, и всё насмарку! Не собака, а не знаю что!..

Возвращаются хозяин с Пузаном – больше десяти минут они не гуляют – я слышу, как в миску сыпется сухой корм. Ещё через десять минут раздаётся грозная команда:

– На место!

И я догадываюсь: теперь Пузан весь вечер пролежит у входной двери.

Хозяева Пузана мне постоянно жалуются на него: то объел комнатные цветы, то порвал обои и прогрыз тапочки, то с грязными лапами забрался на тахту...

– ...Место своё знает плохо, команды выполняет нехотя, – ворчит хозяин. – И злопамятный, чертёнок. Недавно его отлупил, так он в отместку сделал лужу на ковре.

– ...Он грязнуля, каких поискать, – вторит ему хозяйка. – Не может даже аккуратно поесть. Вокруг миски всегда крошки – прям устроил свинарник. Он самый невоспитанный пёс на свете.

– Не преувеличивайте, – говорю я. – По-моему, он неплохой парень. И главное, добросовестно охраняет вашу квартиру.

– Только поэтому и держим, – бурчат хозяева.

«Недалёкие люди, – думаю я. – Они не стоят преданности Пузана, недостойны его любви». Кстати, хозяева зовут его Рэм, а я – Пузан. Моя кличка ему нравится больше, вне всякого сомнения.

БЕЛЫЙ И ЧЁРНЫЙ

Тот посёлок расположен у подножия гор. К посёлку плотной массой подступают леса. До райцентра, где работает большинство поселъчан, около пятидесяти километров, но дорога хорошая, усыпана щебёнкой и гравием. В непогоду над посёлком, зацепившись за горы, подолгу висят грузные облака, зато в солнечные дни меж домов тянет ветерок и остро пахнет хвоей.



Первым в посёлке появился Белый, молодой длинноногий пёс с ввалившимися боками. Он был белой масти, с жёлтой подпалиной на левом ухе, один глаз зеленоватый, другой – голубой, почти прозрачный. Эти разноцветные глаза придавали ему выражение какого-то невинного целомудрия.

Позднее, когда он прижился в посёлке, все заметили его застенчивость в общении с людьми и робкое почтение в общении с местными собаками. Никто толком не знал, откуда он взялся. Одни говорили, прибежал из райцентра, другие – из посёлка, находящегося по ту сторону гор.

Первые дни Белый, словно отшельник, обитал на окраине посёлка, в кустах, только изредка вкрадчиво подходил к домам, жалобно скулил, несмело гавкал. Случалось, ему выносили объедки, но чаще прогоняли – у всех были свои собаки. С наступлением осенних холодов Белый облюбовал себе под конуру большой дощатый ящик около заброшенного склада. В этом ящике когда-то доставили в посёлок трансформатор.

Рядом со складом находился дом бывшего сторожа Михалыча. За свою долгую жизнь Михалыч так и не обзавёлся семьёй, не устроил быт, даже обедал в поселковой столовой.

Михалыч начал подкармливать Белого, и как-то незаметно они сдружились. Во время затяжных дождей Михалыч пускал собаку в дом и, прихлёбывая чай, по долгу беседовал с ней.

– Ну что, Белый, намыкался? Эх ты, бедолага. Вот так твои собратья шастают по посёлкам, ищут себе хозяина, не знают, к кому прильнуть, кому служить, а их гоняют отовсюду. Народ-то какой пошёл – не до вас. Норовят подзаработать побольше, забивают дома добром, точно всё в гроб возьмут. А жизнь-то, она ведь короткая штука, и оставляем-то мы после себя не вещи и деньги, пропади они пропадом, а память о себе и дела наши добрые.

Пёс сидел около ног Михалыча, смотрел ему в глаза, ловил каждое слово; то вскакивал, топтался на месте и, отчаянно виляя хвостом, улыбался, то замирал, и в его разноцветных глазах появлялись слёзы.

– Ну, ну, не плачь, – теребил собаку за загривок Михалыч. – Не дам тебя в обиду.

Освоившись у Михалыча, Белый окреп, стал держаться уверенней, случалось даже, облаивал прохожих, давая понять, что на складе появилась охрана.

Белый привязался к Михалычу. С утра сидел на крыльце и прислушивался, когда тот проснётся, а заслышав шаги и кашель, начинал вертеться и радостно поскуливать. Михалыч открывал дверь, гладил пса, шёл в сарай за дровами. Белый забежал вперёд, подпрыгивал и сиял от счастья. После завтрака Михалыч доставал рюкзак, брал ведро – собирался в лес за грибами и орехами. Заметив эти сборы, Белый нетерпеливо вглядывался в лицо Михалыча – пытался выяснить, возьмёт его с собой или нет?

– Ладно уж, возьму, куда от тебя денешься, – успокаивал его Михалыч, прекрасно понимая, что с собакой в лесу спокойней.

В полдень Михалыч ходил на почту, потом в столовую, и пёс всюду его сопровождал.

Но ближе к зиме Белый внезапно исчез.

– Думается, загребли твоего пса, – как-то обронил Михалычу шофёр Коля. – Намедни фургон ловцов катал по окрестности. И правильно. Надобно отлавливать одичавших псов. Они вяжутся с лисицами, а у тех чума, лишай.

Коля слыл бесстрашным мужчиной, поскольку водил свой «газик» на бешеной скорости, входил в столовую, толкая дверь ногой, и говорил зычно, с прищипом. Он был суетливый, носил вызывающе яркие рубашки и галифе.

Михалыч приехал в райцентр на живодёрню.

– Если собака с ошейником, ждём хозяев три дня, а если без ошейника, усыпляем, – объяснил Михалычу мужик с оплывшим лицом. – Поди в загон, там вчера привезли партию. Там есть пара белых. Может, один твой кобель.

В загоне, предчувствуя неладное, одни собаки жались к углам и тяжело дышали; другие стояли, обречённо понутив головы, и только судорожно сглатывали; третьи отчаянно бросались на решётку. Белого среди узников не было.

Он появился весной. Заливаясь радостным лаем, нёсся из леса к дому Михалыча, а за ним, смешно переваливаясь, семенил... медвежонок.

– Где ж ты пропадал, чертёнок? – встретил Михалыч Белого. – И кого это ты с собой привёл?

Белый прыгал вокруг Михалыча, а медвежонок стоял у склада и недоуменно смотрел на эту встречу. Вытянув морду, он некоторое время сопел, принюхивался, потом присел и помочился. Белый подбежал к нему, как бы подбадривая, приглашая подойти к Михалычу поближе.

– Совсем несмышлёныш, даже человека не боится, – вслух сказал Михалыч, разглядывая нового гостя. – Наверно, мать потерял и потянулся за Белым. Но как они свиделись?

Так и осталось для Михалыча загадкой, где так долго пропадал Белый и каким образом нашёл себе необычного друга.

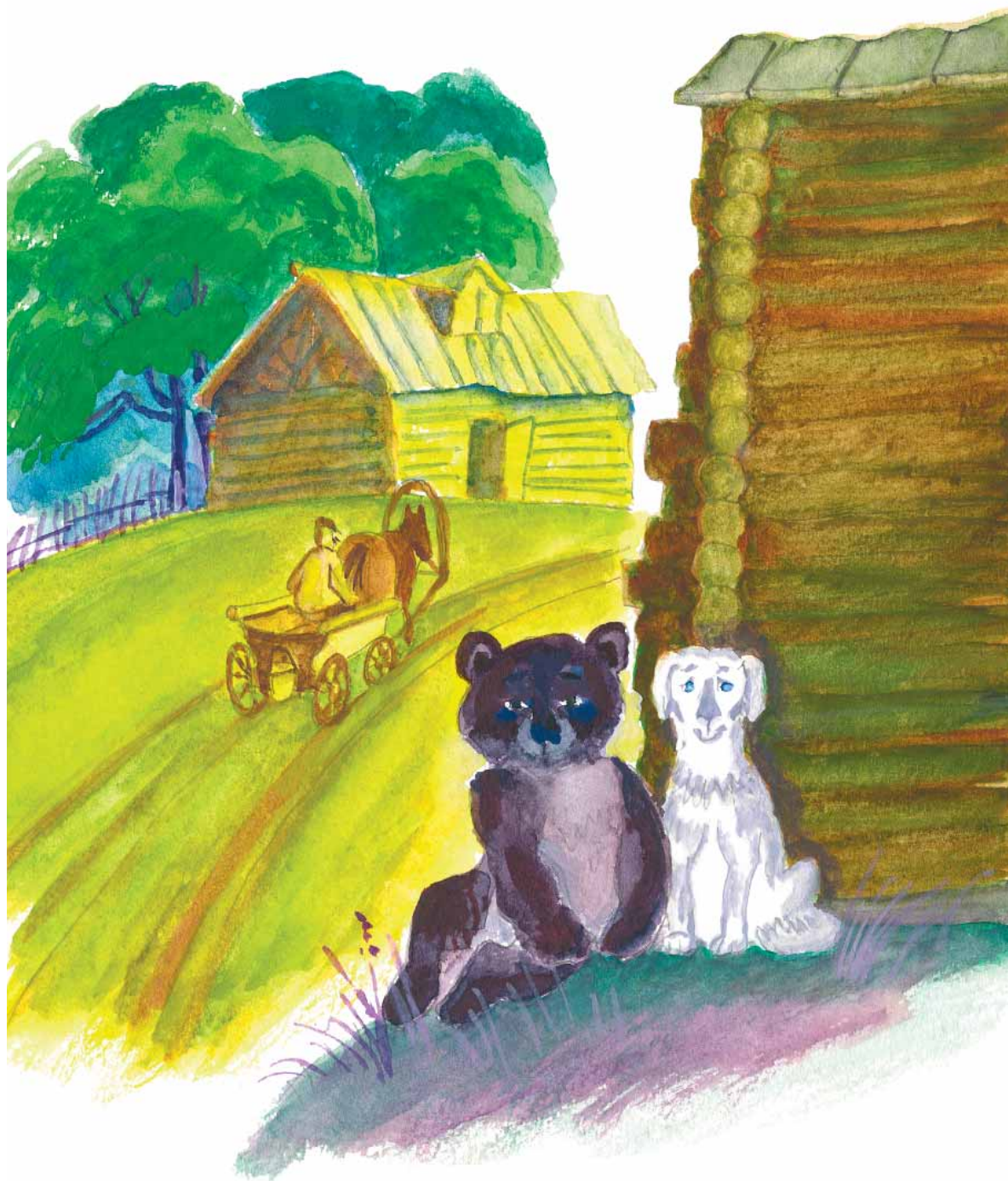
Чёрный, как назвал медвежонка Михалыч, оказался доверчивым, с весёлым нравом. У дома Михалыча он застолбил собственную территорию и стал на ней обживать: в малиннике вдоль забора собирал опавшие ягоды, в кустарнике за складом откапывал коренья. А под старой яблоней устроил игровую площадку: приволок деревянные чурки и то и дело подкидывал их, неуклюже заваливаясь на бок, или забирался на яблоню и, уцепившись передними лапами за сук, раскачивался с осоловело-счастливым выражением на мордахе. На ночлег они с Белым забирались в ящик, благо он был большим.

По утрам Чёрный подолгу прислушивался к поселковым звукам: гавканью собак, мычанию коров, людским голосам, сигналам автобуса. А по вечерам, встав на задние лапы, зачарованно рассматривал освещённые окна и огни фонарей.

Однажды ребята, которые приходили поглазеть на медвежонка, конфетами заманили его на близлежащую улицу, и там на него напали собаки. К другу на выручку тут же бросился Белый. Тихий, застенчивый пёс вдруг оцетинился, зарычал, заклацал зубами и разогнал своих собратьев.

С того дня, под прикрытием Белого, Чёрный отваживался посещать и более отдалённые улицы, но без «телохранителя» дальше дома Михалыча не ходил – побаивался чужих собак.

Михалыч получал небольшую пенсию и особой едой своих подопечных не жаловал. Поэтому Белый и Чёрный изредка подходили к столовой и усаживались около входа в ожидании подачек; осторожно заглядывали в дверь, принюхивались.



Многие недолюбливали эту компанию. Особенно шофёр Коля.

– Михалыч совсем спятил, – с издёвкой говорил он. – Устроил зоопарк. Подождите, медведь подрастёт, наведёт шороху. Сараи начнёт ломать, задирать коров.

Но у ребят Чёрный был любимцем: они кидали ему пряники, печенье. Кое-что перепало и Белому. Чёрный не жадничал и, если угощение падало ближе к его другу, никогда за ним не тянулся.

За лето медвежонок подрос, но никакой агрессивности не проявлял. По-прежнему большую часть времени они с Белым проводили около склада и дома Михалыча, а иногда подходили к столовой. Медвежонок стал совсем ручным – брал угощение из рук и в благодарность облизывал детские пальцы.

Но однажды осенью случилась неприятность. Одна девчушка кормила его пряниками, и он, забывшись, слегка потеревил её лапой – не медли, мол, отдавай всё сразу, – и нечаянно царапнул ладонь ребёнка.

Увидев кровь, мать девчушки заголосила на весь посёлок. Поблизости оказался шофёр Коля; размахивая руками, он расшумелся:

– Я ж говорил! Я ж предупреждал! Это первая ласточка! Ещё не то будет! Схватитесь, поздно будет.

О случившемся узнали в райцентре, и власти дали команду «пристрелить медведя».

То утро было необыкновенно светлым – за ночь выпал снег. Чёрный, подчиняясь невидимым механизмам природы, уже натаскал в ящик прутьев и сухих трав, уже утапывал подстилку, готовясь залечь в спячку, и тут приехала милиция. Михалыч с Белым отлучились на почту и не видели, что произошло.

Услышав голоса, Чёрный вылез из ящика и уставился сонными глазами на людей. Он думал, ему принесли угощение, но вдруг увидел яркие вспышки, услышал оглушительные выхлопы и сразу почувствовал острую боль в груди. Несколько секунд он ещё сидел, стонал, недоуменно смотрел на людей, а в него всё палили. Потом Чёрный заревел и, пытаясь сбить жар в груди, повалился на снег, стал кататься на животе, трясги головой... и постепенно затих.

...Увидев друга мёртвым, Белый окаменел, потом истошно завыл, забился в ящик и двое суток из него не вылезал. А на третий день его точно заменили: он перестал отлучаться от дома Михалыча и зло рычал на всех, кто бы ни проходил мимо.

– Он сбесился, этот кобель, – громогласно заявил шофёр Коля.

Слух о том, что Белый подцепил бешенство, разнёсся по всему посёлку. Чтобы уберечь собаку от расправы, Михалыч посадил Белого на цепь у крыльца, но однажды обнаружил цепь пустой.

Вначале Михалыч подумал – кто-то отстегнул ошейник и сдал Белого собаководам, но, съездив в райцентр, узнал, что на живодёрню он не поступал. И тогда Михалыч решил, что Белый сам разогнул карабин, связывающий ошейник с цепью.

Белый исчез из посёлка так же внезапно, как и появился. Иногда Михалыч думал, что пёс не вынес унижительного сидения на цепи и, обидевшись на него, Михалыча, предпочёл полуголодное существование в окрестных лесах.

А иногда Михалычу казалось, что Белый отправился на поиски тех, кто убил Чёрного, хотел отомстить за друга.

ЩЕНОК

Дать имя человеку – проще простого. Обычно родители над именем ребёнка долго голову не ломают. Раньше давали имя в честь святого, в день которого ребёнок появился на свет, или в честь знаменитого родственника – с надеждой, что потомок станет не менее знаменитым.

Потом стали называть детей в честь великих строек; например – Днепрогэс. В те времена некоторые родители, пытаясь быть современными, заходили слишком далеко – нарекали отпрысков Трактором, Шестерёнкой.

Теперь некоторые молодые родители, желая пооригинальничать, дают звучные иностранные имена или полузабытые, древнерусские, но большинство, к счастью, выбирают самые обычные. Именно к счастью, иначе трудно представить сложный букет из ребячьих имён где-нибудь в детском саду, где Винтик соседствовал бы с Ромашкой, Сталина с Лютиком. Это не букет, а бездарный винегрет. Настоящий букет – это Алеша и Оля, Таня и Дима. Просто, красиво и благозвучно.

Короче, дать имя человеку не так уж и сложно, выбор большой, а фантазия у родителей, как правило, недюжинная.

Совсем другое – придумать кличку животному. Скажем, собаке. Это нешуточное дело. Здесь одной фантазии мало. Необходимо учитывать родословную или внешний вид и характер животного, и даже его таланты.

Нельзя же, к примеру, белую дворняжку назвать Клякса. Ну, Хризантема, ну, Белка – ещё туда-сюда, но Клякса – просто нелепость. Или взять и записать в паспорте огромного волкодава – Тузик. Это оскорбительно для такой собаки, и вообще издевательство над ней. Кличка должна соответствовать животному и быть короткой. Длинные клички плохо воспринимаются животным на слух. Неслучайно Джульбарса чаще зовут Джуля, а Викторию – Вика.

Немаловажная вещь – характер животного. Никак нельзя весёлому, ласковому щенку давать свирепую кличку. Или глупого пса (такие крайне редко, но встречаются – обычно у хозяев, не блещущих умом) звать Сократом, который, как известно, был великим человеком.

Придумать хорошую кличку животному – дело тонкое и крайне ответственное. Вот поэтому мы с фотографом Игорем долго ломали голову, никак не могли придумать кличку одному щенку, этакому лопухому существу, которое неожиданно у нас появилось.

Игорь – фотохудожник, снимает исключительно пейзажи – я называю его «видовик».

В то лето фотограф решил поснимать Рыбинское водохранилище и пригласил меня с собой за компанию, сказал, что на водохранилище можно «вдоволь отдохнуть и набраться впечатлений» (на самом деле я выполнял роль подсобного рабочего – таскал его кофр и треногу, пока он выбирал «нечто живописное, колоритное, выразительное», но всё же я и отдохнул, и набрался кое-каких впечатлений).

Как-то утром мы направились к лодке, чтобы походить на ней вдоль берега – мастер живописной природы решил сделать снимки «с воды» – и вдруг посреди деревни увидели щенка с висячими ушами. Он был разношёрстный, нескладный, с дурашливым взглядом. Переваливаясь с боку на бок, подбежал к нам, завилял хвостом.

Мы погладили его и пошли своей дорогой, а он поплёлся за нами. У причала мы встретили местного мальчишку Антона, нашего приятеля.

– Чей щенок? – спрашиваем.

– Ничей, – ответил Антон. – Он был у туристов. Они здесь жили в палатке и щенок от них сбежал. А когда туристы уехали, объявился.

– А как его зовут? – поинтересовался я.

– Не знаю. – Антон пожал плечами.

Мы решили взять щенка с собой на съёмки, и пока укладывали фототехнику в лодку, придумывали ему кличку.

– Давай назовём её Маруся, – предложил мастер пейзажей. – Во-первых, она девица, а во-вторых – для деревенской собаки и имя должно быть деревенским.

– Лучше назвать Анфиса, – сказал я. – Звучит как-то.



– Не-ет, плохо, – протянул фотограф. – У меня была знакомая с таким именем – жуткая женщина... Прямо не знаю, как её назвать. Вспоминается множество имён, но все неважные.

Так ничего и не придумав, мы посадили щенка в лодку и поплыли. Наша ушастая подружка сразу освоилась в лодке: схватила щепку и стала её подкидывать.

– Надо же, такая игрунья! – умилялся фотограф, пока я работал кормовым веслом. – И совершенно не боится качки! Прямо-таки морская душа. Назовём-ка её Капитан! Или – Салака!

– Грубо! Режет ухо! – поморщился я и стал перечислять собачьи клички, которые приходили на ум: – Берта, Ника, Франческа, Изольда...

– Избито! Банально! С претензией! – махал рукой фотограф и, высматривая на берегу «колоритное и выразительное», рассуждал: – Имя должно быть простым и романтичным. А ты – Берта, Франческа! Куда тебя всё уводит? Не надо нам богинь, но и всяких Пеструшек не надо. Ищи что-то среднее. Золотую середину.

В тот день фотограф сделал особенно удачные снимки и на обратном пути торжествовал:

– Собачонка принесла мне удачу. Странное дело – обычно женский пол на кораблях приносит несчастье, а мне сегодня повезло как никогда. Я запечатлел штук пять эффектных видов.

В деревне мы занимали покинутый дом и не раздумывая поселили собачонку у себя. Вечером к нам зашёл Антон. Обычно он весь день околачивался у шоссе, смотрел на проезжающие машины. Или сидел на брёвнах и лупой прожигал древесину. Но каждый вечер Антон являлся к нам. Я с ним вёл разговоры о пустяковых вещах.

– Знаешь, кого в деревне больше всего? – спрашивал меня Антон.

– Кого?

– Петухов. Они спят прямо на деревьях. В курятниках спят старые, а молодые – на деревьях. Ох и задиристые эти молодые! Вот только поют некрасивыми голосами.

– В городе голубей больше всего, – сообщил я. – Бывает, тоже дерутся, но жаль, не поют.

В один из таких разговоров встрял фотограф.

– Ты вот что! – обратился он к Антону. – Оставь петухов в покое, займись делом. Вот у тебя есть лупа. Ты знаешь, что лупой можно выжигать картины?

– Как это?

– А так. Тащи доску, покажу.

С того дня фотограф вёл с Антоном разговоры о серьёзных вещах.

После плавания на лодке с собачонкой, Антон зашёл к нам и спросил:

– Вы что, щенка оставите у себя?

– Пусть поживёт у нас, – сказал фотограф.

– А как вы его назвали?

– Ещё не назвали, – пояснил я. – Это дело сложное. Может, у тебя есть какие мысли на этот счёт? Учти, собачка девчонка.



– Назовите Стрелка.

– Хм, собачка необыкновенная, – усмехнулся фотограф. – Сегодня принесла мне удачу. И как можно её называть какой-то Стрелкой?! Ты ведь будущий художник, выжигашь картины! У тебя должно быть воображение! Думай, думай!

– Королева! – ляпнул Антон и покраснел – сам понял, что сморозил глупость. Немного помолчав, Антон заявил:

– Вообще-то пацан как-то её называл.

– Какой пацан? – спросили мы.

– Ну, сын туристов. Он везде бегал, искал щенка, плакал...

– Надо бы разыскать этих туристов. Они наверняка жутко переживают, что потеряли собачонку, – сказал я.

– Да-а, – протянул фотограф. – Мы сделаем вот что. Я сфотографирую щенка и в городе дадим объявление в газету. Возможно, туристы откликнутся.

Несколько дней мы прожили в деревне и всё это время не расставались с собачонкой. Она и спала с нами: то у меня на кровати, то у фотографа; во сне чмокала, виляла хвостом, а однажды вцепилась в мой мизинец и начала сосать. По утрам она подлезала под одеяло, лизала щёки, тьякала в уши. Или спрыгивала на пол и поднимала возню с нашими ботинками. Вся её сияющая мордаха так и говорила: Вставайте, лежебоки, на съёмку пора!

Днём мы с фотографом ходили на съёмку, и собачонка всегда сопровождала нас, причём, когда мы работали, вела себя безукоризненно: не вертелась под ногами, не грызла кофр и треногу, даже отгоняла от нас ворон, чтоб не мешали – «поддерживала порядок на съёмочной площадке», как говорил фотограф.

Антон тоже раза два ходил с нами, но вёл себя не очень прилично: шатался от меня к фотографу, то покрутит треногу, то сунет палец в камеру, то начнёт мучить вопросами – для чего это, для чего то? Почему одно называется так, другое эдак? Мне-то что! Я спокойно всё объяснял ему, а вот фотограф нервничал:

– Вы своей болтовнёй сильно мешаете мне! Для хорошей съёмки главное что?

– Фотоаппарат! – поспешно выдавал Антон.

– Умение сосредоточиться! – повышал голос мастер художественной фотографии.

– Фотокамера дело второе. Главное сосредоточиться, уловить состояние природы, найти эффектное освещение, подождать пока там облачко найдёт или побежит рябь по воде...

Одержимый фотограф мог снимать весь день, но я не выдерживал такую нагрузку и во второй половине дня, посвистев собачонке, отправлялся с ней обедать.

Ближе к вечеру появлялся мастер пейзажей; он входил в дом уставший, но ликующим голосом возвещал об очередных «эффектных» снимках. На радостях он брал собачонку на руки и тискал, а она визжала от удовольствия.

Перекусив, неугомонный фотограф начинал копаться в своей фототехнике, подготавливать её к съёмке на следующий день, а я просто не знал, куда себя деть от безделья, но вдруг подбежит наша подружка, запрыгает на месте – прямо зовёт поиграть.

Мы с ней перетягивали верёвку, катали по полу бутылку из пластика. Случалось, так увлекались, что и фотограф откладывал свои серьёзные дела и включался в нашу игру.

Что и говорить, мы привязались к собачонке, но взять её в город не могли: у меня уже жили две собаки, а фотограф постоянно ездил в командировки. Накануне отъезда мастер пейзажей впервые за все те дни занялся портретной съёмкой – как и обещал, сфотографировал щенка, а Антону сказал:

– Ты присмотри за собачкой. Думаю, туристы объявятся и приедут за ней.

– И не забывай кормить её. У нас остались кое-какие припасы, – я достал из рюкзака крупу и тушёнку.

Антон кивнул.

– Я возьму пока её к нам. У нас во дворе полно места. А наш Трезор тихий, её не обидит.

Как только мы вернулись в Москву, фотограф отнёс в одну из газет снимок и вскоре вышла заметка: «Щенок ищет своих хозяев». На фотографии красовалась наша подружка, а под снимком – адрес Антона.

Спустя неделю фотограф сообщил мне, что ему позвонили хозяева щенка. Они съездили на водохранилище и Антон передал им собачонку из рук в руки.

– Нас с тобой туристы благодарили от всей души, – сказал фотограф. – Кстати, собачонку зовут Жулька.

НОЧНОЙ ЛИВЕНЬ

Многие любят стрекоз, бабочек и певчих птиц. Это понятно – как не любить такие чудеса природы! Я тоже их люблю, но с детства люблю и навозных жуков, пиявок, тараканов и пауков, и особенно – мышей, лягушек, змей, а с юности – и крыс (как говорил Д. Дарелл, «все животные прекрасны»). По-моему, крысы самые умные животные на земле, совершенно не оцененные людьми, гонимые, вызывающие панический страх, а между тем – заслуживающие всяческого восхищения. И в смысле приспособляемости к среде обитания им нет равных. Неслучайно существует прогноз – после атомной войны, если она не дай бог разразится, уцелеют только они, да ещё тараканы.

В умственных способностях крыс я убедился в молодости, когда, не имея прописки, перебивался случайными заработками и ночевал где придётся. Как-то две недели коротал ночи в подвале дома, где производился капитальный ремонт; дождался ухода рабочих, тащил доски в подвал и делал что-то вроде лежачка-настила; утром ложе разбираю, чтобы рабочие ничего не заподозрили и не вызвали милицию – за проживание без прописки могли выслать и даже осудить.

В подвале я зажигал свечу и готовился к вступительным экзаменам в институт. Однажды прилёг на доски, зачитался и не заметил как у моих ног появилась крыса. Я увидел её в тот момент, когда решил размять затёкшую руку и оторвался от учебника. Крыса сидела на задних лапах и зачарованно смотрела на свечу. Не на меня,

на свечу! Только когда я пошевелился, она перевела взгляд на меня и принялась, смешно задёргав носом, но не испугалась, не спрыгнула с настла, даже позы не изменила.

Некоторое время мы с интересом изучали друг друга. В полутора метрах от меня сидело довольно симпатичное существо величиной с белку, но более пузатое. У существа были розовые лапы, длинный голый хвост и глаза-бусинки. Больше всего меня поразила поза «столбик» – крыса как бы демонстрировала свою бурю шерстку, которая, действительно, выглядела отлично, даже искрилась в темноте. Эта поза, зачарованный взгляд и полуоткрытый рот, за которым виднелись белые зубы, придавали крысе выражение удивления и восторга одновременно.

Я легонько посвистел, давая понять, что готов установить дружеский контакт. Крыса спрыгнула на цементный пол, немного отбежала, но всё-таки осталась в освещённой части помещения.

Я негромко почмокал и кинул ей кусок хлеба от бутерброда, который припас себе на завтрак. Крыса юркнула в темноту и я подумал, больше она не появится. Но через полчаса услышал шорохи, взглянул на пол, куда бросил хлеб, и увидел свою знакомую за трапезой. Она ела аппетитно и аккуратно, придерживая хлеб передними лапами, изредка посматривая в мою сторону, а покончив с едой, долго и старательно «умывала» мордочку, то и дело наклоняясь – это я воспринял как раскланивание, некие благодарные реверансы в мой адрес. Закончив туалет, крыса подбежала ко мне на расстояние вытянутой руки, вся подалась вперёд, привстав на носки, и пискнула.

– Что ты хочешь, красавица? – спросил я, немало удивляясь мужеству ночной визитёрки – наверняка я для неё представлялся неким ископаемым чудищем. «Впрочем, – подумал я, – может быть, она уже привыкла к людям, а может – и вообще ручная».

Крыса пискнула вновь и до меня дошло, что она ещё просит еды.

– Ладно уж, – пробормотал я, – в честь нашего знакомства, так и быть, – и щедрым жестом протянул крысе ломтик сыра.

Она попятилась, но учуяв лакомство, осторожно подошла вновь; долго водила носом из стороны в сторону, шевелила тонкими усами, сопела, но брать сыр из рук не решалась. «Возьмёт, когда привыкнет», – подумал я и бросил ломтик на пол.

Самое интересное началось после того, как крыса слопала сыр. Видимо, не часто ей доставались такие деликатесы и, как бы благодаря меня за пиршество, она начала... танцевать! Винтообразно крутиться на одном месте, при этом искоса посматривала на себя, как бы любуясь своей грацией. Это было потрясающее зрелище – я даже протёр глаза, чтобы удостовериться, что мне не снится это представление.

Оттанцевав, крыса спохватилась, что забыла «умыться», и стала торопливо лизать лапы и гладить мордочку. А потом эффектно попрощалась со мной – сделала великолепный высокий прыжок и исчезла в темноте.

Она появилась и на следующую ночь. На этот раз я угостил её двумя кружками колбасы, заранее купленной специально для неё. Первый кружок она съела

с пола, а второй, неожиданно для меня, взяла из руки – быстро схватила и отбежала в сторону.

Снова, как и накануне, после ужина, вернее полуночной трапезы, она сосредоточенно «мыла» мордочку и живот и бока, и всё время смотрела на меня, желая убедиться, что её ритуал чистоплотности не останется незамеченным. А потом она вновь «вальсировала» и, как и в предыдущую ночь, красиво покинула мою обитель.

На третью ночь Лина, как я назвал крысу, привела детёнышей – пять юрких крысят, которые, пугливо озираясь, робко, чуть ли не на животах, подползли к лежаку. Я не рассчитывал на такую ораву, и пришлось два бутерброда, которые у меня имелись, делить на шесть частей. Но неожиданно Лина свою долю есть не стала, даже отошла в сторону, давая понять, что уступает еду детям.

Перекусив, крысята с невероятной быстротой обследовали помещение, убедились, что в нём нет ничего опасного, а у их матери со мной вполне дружеские отношения, и затеяли невероятную возню. Они с писком носились из угла в угол, хватали друг друга за хвосты, кувыркались, вытворяли немыслимые акробатические прыжки.

Лина внимательно наблюдала за этими играми. Иногда бросала на меня взгляд, полный гордости за таланты своих отпрысков, но если кто-либо из них забывался и начинал вести себя, по её понятиям, чересчур неприлично или слишком больно кусал собрата, подскакивала и трепала проказника за загривок. В этом воспитательном этюде я заметил один немаловажный нюанс – после трёпки крысёнок некоторое время лежал на спине, задрал лапы кверху, как бы извиняясь перед матерью за свой проступок, а позднее, включившись в игру, вёл себя уже намного тише.



«Не мешало б людям перенять подобное поведение, – думал я. – А то мать отчитывает ребёнка, а он огрызается». Кстати, наблюдая за крысиным семейством, я сделал немало и других, быть может, сомнительных выводов.

«Говорят, крысы разносят заразные болезни, – размышлял я. – Но ведь если что-то есть в природе, значит оно и должно быть, значит, эти болезни что-то уравновешивают... Говорят, крысы нападают на человека. И правильно поступают, если человек хочет их убить. Они защищаются, борются за жизнь. Надо уважать смелых, достойных противников!»

Через несколько дней крысята настолько освоились в подвале, что стали бегать и по мне; они уже появлялись, когда я подавал условный сигнал – переливчатый свист, а Лина отзывалась и на кличку; я уже всех крысят различал «в лицо» и даже принимал некоторое участие в их играх: подкидывал на пол шарики из бумаги, щепочки, а иногда пугал, издавая «мяуканье» или собачий лай, чтобы крысята не теряли бдительность.

И вот в этот пик нашей дружбы объявился глава крысиного семейства – тощий, весь в шрамах, крыс.

Это был серьёзный, крайне недоверчивый тип. Похоже, наученный горьким опытом общения с людьми, он ни разу не приблизился к моему лежаку и даже не вышел на середину подвала. Недолго постоит в тёмном углу, пристально осмотрится и уходит.

Но как только он появлялся, Лина подсакивала к нему и с немим обожанием взирала на своего благоверного. Казалось – она готова выполнить любое его поручение, он был для неё гением, не иначе. И крысята моментально прекращали игры, тесно окружали отца и, расталкивая друг друга, пытались дотянуться до него, ткнуть носами его лапы, как бы засвидетельствовать глубочайшее почтение.

Он появлялся всего два раза; оба раза я делал попытки наладить с ним хотя бы приятельские отношения, подходил с колбасой и сыром, но он сразу пресекал мои потуги: угрожающе пронзительно пищал и выставлял лапы вперёд, – показывал, что может цапнуть за руку.

В одну из ночей крысы не появились. «Странно», – подумал я, а под утро проснулся от бульканья – весь подвал был затоплен, около лежака плавали мои ботинки. Когда прошёл ливень, я не слышал – в те дни сильно уставал от мытарств и спал крепко; час-другой покорплю над учебниками, пообщаюсь с крысами и отключаюсь.

Я вышел из подвала, как обычно, часов в семь, сложил доски у забора и вдруг увидел в мутной канаве, среди водоворотов и размытой травы, плывут мои крысы: впереди крыс, за ним Лина, за ней, словно живая цепочка, крысята. Они благополучно пересекли канаву и начали отряхиваться на глинистом склоне. Я поприветствовал их свистом и они явно узнали меня, несмотря на то что мы впервые встретились вне подвала и на свету. Узнали меня по свисту – на секунду перестали отряхиваться, принюхиваясь, вытянули мордочки и снова спокойно продолжили «отряхивание».

К вечеру вода в подвале спала, но крысы появились только на следующий день, когда цементный пол просох. У нас была замечательная встреча: крысы смаковали мои съестные припасы, а потом мы долго играли, очень долго, как никогда.

Рано утром меня разбудил грохот грузовика. Выглянув в проём двери, я увидел двух мужчин в «спецовках»; перекидываясь смачными словечками, они разбрасывали вдоль фундамента куски мяса.

– Заодно потравим и собак, и кошек, – донеслось до меня. – Развели, мать твою, всякую нечисть... Людям жрать нечего, а они собак колбасой кормят... Ловили б крыс, да кормили б ими... Они жирные твари... Боятся крыс-то, мать твою... нас вызывают... Без нас крысы их всех пожрут...

Разбросав мясо, мужики сели в «газик» и уехали.

Я выскочил из подвала и начал лихорадочно собирать отраву. Собрал все куски, закопал в яме, сверху обложил кирпичами, а вечером выяснилось – всё же дал маху.

Подходя к подвалу, я стал свидетелем жуткой сцены: Лина с крысятами вертелась вокруг куска мяса, но к нему их не допускал крыс. Вялыми движениями, заваливаясь на бок, он отгонял своё семейство, отгонял из последних сил. Было ясно – он уже отведал отраву. Мне осталось несколько шагов до места трагедии, когда его забила судорога, он опрокинулся на спину и затих.

Отгонять Лину с крысятами не понадобилось – она сама всё поняла – раскидала крысят, что-то зло пропищала и куда-то увела своих несмышлёнышей.

Больше она не появлялась. Может быть, нашла другое, более безопасное жильё, может, посчитала, что я причастен к смерти её крыса, может, просто решила не доверяться мне больше, поскольку я, хотя и друг, но всё-таки представитель самой жестокой касты на земле. Почему именно – не знаю.

ПОЧТАЛЬОН ТИШКА

Тишка был дворняжкой. Его имя вам ничего не скажет, но, поверьте на слово, он был необыкновенный пёс. В его жизни не найти ярких подвигов, он просто добросовестно трудился, выполнял редкую для собак работу.

Тишка жил в таёжном посёлке оленеводов, который находился в тени лесистого холма. Люди в посёлке жили без напряжения и суеты, спокойно справляясь с житейскими заботами. Посельчане почтительно относились к природе, для них срубить дерево означало то же самое, что убить живое существо. А к животным они относились уважительно. Не только к оленям и собакам – основным помощникам, но и к хищникам.

Я оказался в том посёлке случайно, пролётом. Наш «кукурузник» приземлился, чтобы выгрузить почту и дозаправиться горючим. Пока выгружали посылки, связки писем, самолёт окружили оленеводы, олени, собаки. Я разговорился с высоким парнем-бородачом, который складывал связки писем в сумки. Он назвался Виктором, местным почтальоном.

– Сейчас заберу письма и в путь-дорожку по стойбищам, – пояснил мне Виктор. Я кивнул на письма:

– Многовато писем, тяжёлая ноша.



– Сейчас немного, – сказал Виктор. – Вот под Новый год дети пишут Деду Морозу насчёт подарков. Адрес – лес. В наших местах дети считают, что Баба-яга и чёрт бывают только в сказках, а Снежная Королева и Дед Мороз существуют на самом деле... И мы с Тишкой тоже так считаем. – Виктор позвал дворняжку, которая до этого крутилась около лётчика. У пса был тёплый, контактный взгляд, он широко улыбался высунув язык, но, подбежав к Виктору, сосредоточенно застыл в ожидании чего-то важного; улыбка с его морды исчезла, взгляд стал серьёзным. И вдруг Виктор без всякой церемонии навьючил на собаку две сумки с письмами и перевязал их ремнями.

– И Тишка носит? – удивился я.

– Он в основном и носит. И страшно гордится своей работой... Часто бегаёт в одиночку. А я только помогаю ему, когда есть посылки. Летом пешком, зимой на оленях. А Тишка круглогодично на своих четырёх... В городе собака, как и жена,

нужна для того, чтоб было с кем поругаться, отвести душу. А здесь собака работяга на сто процентов. Её и называют нежно – «собачка». И кормят в первую очередь, прежде чем сами садятся за стол.

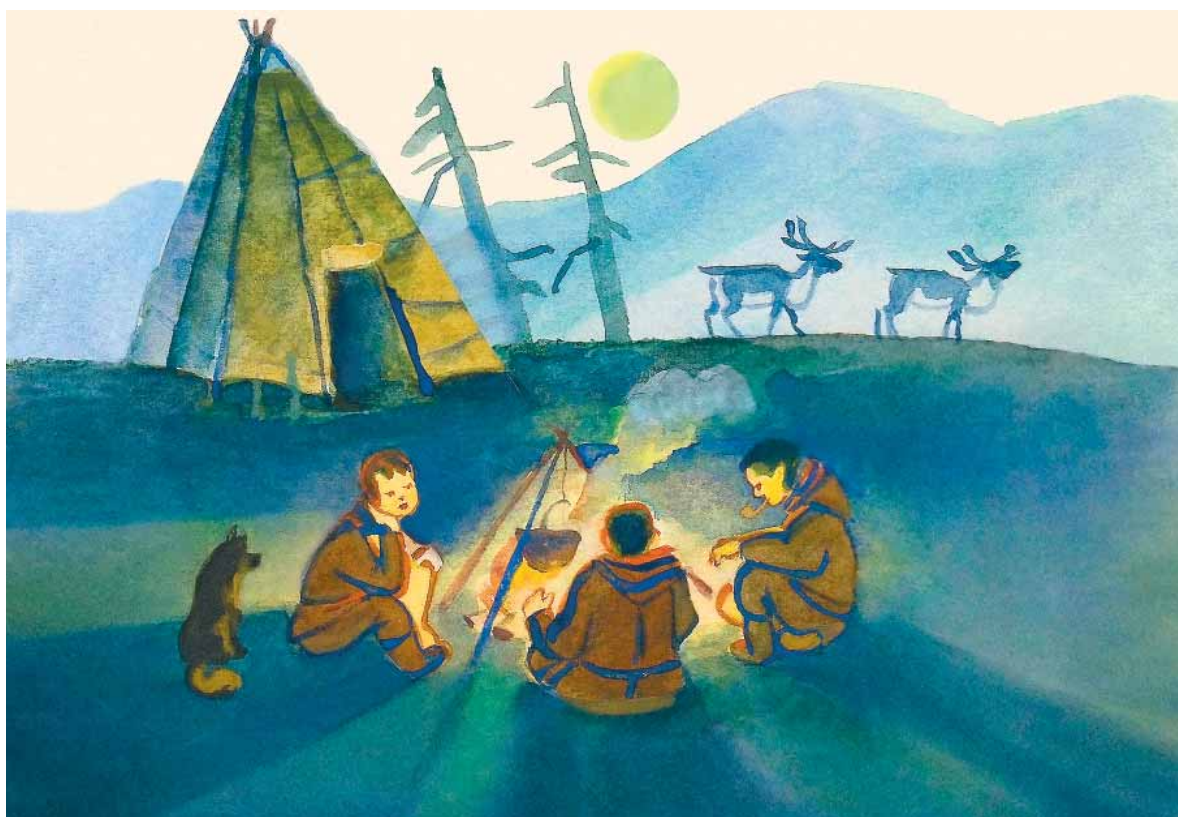
На этот раз из самолёта выгрузили несколько посылок и перед дорогой Виктор пригласил меня к себе «на чаёк». За чаем он рассказал о Тишке.

...Вообще-то в тех местах в почёте были лайки – самые выносливые собаки, но по посёлку шастало несколько и беспородных, «Крайне-Задунайских», как их в шутку окрестили.

Тишку сняли весной со льдины, плывущей по реке, как он попал на неё – неизвестно. Первое время у него был одичавший, ошалело-затравленный вид; он не позволял себя гладить, скалился на местных собак. Но вскоре оттаял, на его морде появилась робкая улыбка. Он оказался простосердечным, застенчивым. Стало ясно – его необщительность была напускной, он просто умело скрывал неуверенность в себе.

Чем дальше, тем больше проявлялся Тишкин золотой характер. Он бродил по посёлку, ласкался к каждому встречному, всем хотел угодить – был безгранично услужлив. В его душе всегда имелось место для радости. А радовался он зажигательно, от переизбытка чувств подпрыгивал, звонко лаял.

Как-то Тишка увязался за Виктором в поход до стойбища – просто так, от нечего делать, чтобы размять лапы. Вдвоём они прошли по бездорожью тридцать километров. Расстояния там огромны, хотя меж собой оленеводы говорят: «Здесь





рядом, километров десять, не больше». Пройдёшь этот путь, и если смахнёшь пот, оленеводы говорят: «Чтой-то ты сегодня не свежачок», что значит «плохо выглядишь» для такого ничтожного перехода.

Так вот в первом совместном походе Тишка показал себя во всём блеске: на ровном участке ненавязчиво семенил за Виктором, но стоило появиться завалу или оврагу, тут же забегал вперёд, обследовал препятствие и первым преодолевал его.

При этом отгонял нахальных воронов, которые несколько раз летели над путниками и норовили клюнуть Виктора в кепку, а Тишку дёрнуть за хвост. А на любопытных сорок, сопровождавших путников, Тишка вообще не обращал внимания.

На полпути к стойбищу находился старый, наскоро смастеренный от непогоды чум – промежуточный пункт, где путники легли передохнуть, и здесь Виктор

впервые понял, что идти вдвоём – совсем не то, что топтать одному. Было с кем поговорить.

Для начала Виктор, как опытный ходок, пичкал Тишку ценными советами – как легче переносить тяготы похода: поменьше пить воды, идти в тени деревьев, обходить низины с запахом гнили – там может оказаться топь, избегать пригорков на солнцепёке, где возможны полчища муравьёв.

Тишка внимал с интересом и время от времени кивал, в знак того, что почти всё понял.

Когда показалось стойбище, Тишка вырвался вперёд и с присущей ему радостью оповестил оленеводов о прибытии почтальона.

С того дня Тишка постоянно сопровождал Виктора. У них сложилась настоящая мужская дружба.

Как строгий наставник, Виктор изредка отпускал Тишке небрежную похвалу, но отчитывал за мельчайший промах. И Тишка не обижался. В самом деле, чего обижаться! Ведь похвала нужна слабым, сильным не мешает критика, наоборот – упорней работают, самосовершенствуются.

Тишка работал очень упорно, с большим душевным подъёмом, высунув от усердия язык. Он шёл в поход, словно доблестный боец на войну. У него было редкое качество – когда поход складывался удачно и Виктор шёл, насвистывая весёлый мотив, Тишка оставался в тени, ничем не обозначая своё присутствие, но стоило Виктору загрустить или, чего доброго, остановиться в раздумье, скажем, перед ручьём, взбухшим от грозы и превратившимся в бурный поток, тут же подскакивал и как бы вопрошал: «Могу ли чем помочь? На меня можешь рассчитывать!» А зимой в метель Тишка не раз просто-напросто выручал Виктора – отыскивал тропу.

В одно прекрасное утро, когда «кукурузник» привёз слишком много почты, Виктор подумал: «А почему бы и Тишке не потаскать письма?» Сшил из кожи две маленькие сумки и привязал их ремнями к бокам Тишки. Виктор думал, что Тишка заупрямится, будет препираться, что его придётся приучать к необычной ноше, но талантливый Тишка сразу усёк – ему выпала высокая честь; он воодушевился и с величайшей серьёзностью стал таскать сумки по посёлку, при этом спину прогнул, морду приподнял и на собак, которые разинули рты от удивления, посматривал с некоторым превосходством. Словом, в тот светлый и торжественный день Виктор набил сумки Тишки письмами, в свой рюкзак уложил посылки и... с той поры по стойбищам уже ходили два почтальона.

Тишка относился к своим сумкам, как к священным предметам. Случалось, где-нибудь в зарослях ремни расстёгивались, Тишка сразу подавал клич – громко звал Виктора, чтобы тот поправил поклажу. А переходя вброд мелкие речки, старался не брызгать лапами, чтобы не замочить «свою почту».

В стойбищах почтальонов встречали как посланцев неба: обнимали, угощали жареным мясом, вареньем из морошки. Конечно, в эти минуты Виктор с Тишкой испытывали профессиональную радость от проделанной работы, несмотря на гудящие ноги и лапы. Этот сердечный приём давал им на обратный путь мощный заряд энергии.

Однажды Виктор заболел, две недели пролежал в постели, и почты накопилось – уйма. Тогда «старший почтальон» позвал «младшего»:

– Ну, Тишка, давай тащи один. Дорогу знаешь назубок. Не подведи! Покажи всё, чего ты стоишь! – и привязал Тишке сумки.

Некоторое время Тишка топтался в нерешительности и дрожал от волнения, потом всё-таки пошёл, оглядываясь – никак не верил, что наступил самый ответственный момент в его жизни!

– Из того похода он вернулся в ссадинах и кровоподтёках, с разорванным ухом, – вздохнул Виктор, – я представляю, сколько ему досталось. Ведь дело было весной, когда в лесу полно низин с затопленными деревьями, их надо обходить; так что Тишке приходилось до отказа напрягать силы... Похоже, на него кто-то напал. Волки – вряд ли, здесь их мало. И если б они напали, от Тишки ничего не осталось бы. Судя по кровавым полосам на Тишкином боку, это был след лапы владыки леса – медведя. Косолапый вполне мог его хватануть, изголодавшись за зиму. Но Тишка увёртливый и бегаёт прилично, с ним не так-то легко справиться... Вот такой он парень, – закончил рассказ Виктор.

– Скромный герой! – сказал я.

– Никакой не герой. Просто выполнял свою работу, – слабо возразил Виктор, притеняя славу Тишки. Он говорил о подвиге своего друга так, словно речь шла о рыбалке или обычной грибной вылазке.

...Я провёл с Виктором и Тишкой чуть больше часа, но был счастлив с ними. Потом мы попрощались, как я думал – навсегда.

Но спустя несколько лет судьба снова забросила меня в те места. От поселчан я узнал, что Виктор давно уехал в город и последние годы Тишка ходил в стойбища один.

Он носил почту до глубокой старости. В любую погоду. То есть шёл под дождями и палящим солнцем, в убийственную жару и в пургу, под снегопадом.

– Теперь он совсем старый, слепой, целыми днями лежит у амбара, – сообщили поселчане. Один из них вызвался проводить меня на окраину посёлка.

Тишка сильно сдал: бока ввалились, шерсть облезла, обнажив множество шрамов. Когда я подошёл, он приподнялся, принюхался и вдруг заскулил, завилял хвостом – явно узнал меня.

– Надо же! – пробормотал я. – И общались-то всего ничего, а вспомнил.

– Ничего удивительного! – хмыкнул мой спутник. – Собака запоминает три тысячи запахов.

Вот и всё о Тишке. На этом с вами прощаются автор и герои его рассказа. Всего вам хорошего.

В ПОДВАЛЕ

Они сидели в подвале в ожидании казни. Подвал находился в старом доме и напоминал каменный колодец с железными решётками на узком окне у потолка и тяжёлым висячим замком на двери. Из подвала на улицу вела лестница

со стёртыми ступенями; она заканчивалась массивной дверью с надписью на внешней стороне: «Посторонним вход воспрещён!». Где-то там, за дверью, сверкало солнце, тянул ветер, шелестела листва, во дворах разгуливали их собратья – там был огромный, многоликий мир... А они сидели в полутёмном сыром подвале; пыльная лампочка тускло освещала замшелые стены и цементный пол с жёлобом, по которому текла вода. Они тревожно смотрели на ступени; одни ждали, когда за ними придут хозяева, другие надеялись на чудо – что их всё же освободят из заточения, но охранник подвала, молодой парень в сером халате, твёрдо знал – большинство узников обречены.

У них ещё был шанс остаться в живых – два раза в неделю к подвалу подъезжали фургоны с врачами из научных институтов; врачи отбирали среди узников самых молодых и сильных на опыты. Тех, кого не забирали в течение двух-трёх дней, тащили в соседнее строение и усыпляли; делали смертельный укол и бросали в огромный холодильник.

В те летние дни в подвале находилось семь собак, в том числе трое щенков, недавних сосунков, которых кто-то отнял у бездомной матери-дворняги и передал собаководам; щенки лежали, прижавшись друг к другу, подрагивали от холода, поскуливали, беспокойно взирали на взрослых собак.

Рядом со щенками лежал Серый, старый больной ничейный пёс, с впалыми, облезлыми боками, со множеством шрамов на голове. Серый безучастно смотрел на жёлоб с водой – ему уже было всё равно, где умирать. Он устал



от долгой, неприкаянной жизни, устал шастать по помойкам, искать укрытия от непогоды, прятаться от людей, которые швыряли в него камни, гнали из подъездов, вызывали собаколовов. И за что его так ненавидели?! За то, что он тянулся к людям, всё хотел найти себе хозяина, кому-то принадлежать, кого-то любить? Многие его собратья, с которыми он разделял скитания, озлобились, а он так и не затаил ни на кого зла, только от обиды иногда плакал.

Как все собаки, Серый всегда мечтал о хозяине, но встретил только двух людей, которые отнеслись к нему по-человечески. Первой была старушка в далёком детстве; в то время он обитал в кустах недалеко от её подъезда. В тех кустах он и родился, но его мать попала под машину, сестёр и братьев утопили; его тоже бросили в сточную канаву, но он сумел выбраться и вновь приполз к кустам. Старушка его подкармливала целый год, пока её не увезли в больницу.

Вторым был мальчишка, которого он провожал до школы и встречал после занятий. Тот мальчишка часто его гладил, чесал за ушами и называл ласково: «Серый». Однажды мальчишка даже привёл его домой и сытно накормил; до самого вечера они играли с мячом, веником и тряпкой, но вдруг пришли родители мальчишки и его, Серого, выгнали. Некоторое время мальчишка встречался с ним тайно, но однажды сказал:

– Всё, Серый, прощай! Завтра мы уезжаем в другой район.

Третьи сутки Серый находился в собачьей тюрьме. «Скорее бы всё кончилось», – думал он и впадал в забытье; стонал и вздрагивал; перед ним возникали то старики, которые так и норовили огреть его палками, то мужчины и женщины, раздражённо топающие на него с криками: «Пошёл прочь!». То те парни у столовой, которые плеснули в него горячим чаем. Долго тогда Серый бежал с обожжённой лапой, долго зализывал воспалённую кожу.

Иногда Серый и сам удивлялся, как дожил до старости, как не умер от голода, не угодил под машину, как его не забили до смерти? А последнее время ещё стали мучить болезни. И он устал, устал от всего. Серый догадывался, что в подвале он первый смертник – кому нужен старый больной пёс? Ещё в день, когда его заарканили собаколовы, он распрощался с жизнью. Но ему было жалко других сокамерников, молодых, красивых собак, и особенно щенков несмышлёнышей.

Щенков швырнули в подвал вслед за Серым. Как и ему, им третьи сутки не давали еды, их постоянно трясло от холода и голода; потому Серый и лежал рядом – чтобы немного согреть и успокоить.

Двое суток провела в подвале беспородная молодая лохматая собачонка Алиса, любимица детворы, которая умела по команде сидеть, лежать, ползти и даже прыгать через палку. Алису забрали по доносу дворничихи на глазах у детей. Ребята кричали:

– Не трогайте Алису! Она наша! Мы её любим!

Но дворничиха безжалостно заявила собаколовам:

– Забирайте! Только гадит и разносит заразу! – и собственноручно запихнула собачонку в фургон.

Разгорячённая Алиса не сопротивлялась – ещё не отошла от дворовой игры: её глаза горели, рот растягивался в улыбке – она была уверена, что начинается новая игра, только со взрослыми.

Как только Алису поместили в подвал, к ней бросились щенки, стали тыкаться в её живот – подумали, вернулась мать. Но Алиса ещё не была матерью и немного растерялась; она только обнюхала щенят, каждого дружелюбно лизнула и нетерпеливо забегала вокруг лестницы. Весь день она ждала, когда за ней придут ребята и они снова помчат во двор, но к вечеру заволновалась; предчувствуя неладное, начала скулить и лаять – звала ребят на помощь, но они почему-то её не слышали. С наступлением ночи в Алису вселился страх, она забилась в угол и с тревогой уставилась на тёмную лестницу. Серый и щенки урывками дремали, а она так и не сомкнула глаз.

Утром, после страшной, бессонной ночи, Алису шатало от усталости; она решила прилечь всего на минуту, но тут же уснула.

Ей снился солнечный двор, бельё, сохнущее на ветру, помойка, обложенная жухлым кирпичом, ржавая колонка, кусты сирени и шиповника перед домом, вытопанная площадка, на которой она играла с ребятами, пожарный щит с ящиком песка, возле которого хорошо спалось в тёплые летние ночи, и щель в бойлерной, куда можно было забраться в холодную зимнюю ночь.

Алиса родилась в другом районе города и, как и Серый, никогда не имела хозяйина. Однажды на несколько дней её приютила девушка, которая пахла цветочными духами. Это были замечательные дни: каждое утро девушка надевала спортивный костюм и они подолгу бегали вокруг дома, потом завтракали и девушка уходила на работу, оставив в комнате цветочный запах и включив радиоприёмник, чтобы ей, Алисе, не было скучно.

До вечера Алиса нежилась в кресле, слушала музыку по радио и смотрела в окно на улицу, где всегда происходило что-нибудь интересное. Вечером девушка возвращалась, они снова бегали вокруг дома, ужинали, смотрели телевизор, при этом девушка всё время разговаривала с ней и называла «Астрой», поскольку у Алисы была густая бело-розовая шерсть, к тому же девушка любила всё «цветочное».

К сожалению, это длилось недолго: вскоре к девушке приехал жених, который сразу невзлюбил Алису и то и дело покрикивал на неё. Он был жадным и злым молодым человеком, и Алиса никак не могла понять, почему девушка привязалась к нему; почему, как только он приходил, выгоняла её на кухню, и если заговаривала с ней, то как-то сердито.

Несколько дней этот жених пытался сделать из Алисы «злого сторожа».

– Собака должна охранять и не подходить к чужим, – говорил он девушке. – А эта – не поймёшь что!

Ему было невдомёк, что собака прежде всего друг и не так-то просто из неё вытравить природное дружелюбие. В конце концов тот недалёкий жених тайно привёз Алису в чужой двор и бросил.

Она была весёлой собачонкой и ребята сразу привязались к ней; одни угощали печеньем, другие – котлетой или косточкой; кто-то придумал кличку Алиса – так и превратилась Астра в Алису. Двор редко пустовал и Алиса все дни напролёт проводила

с ребятами, и никто никогда не видел её в унынии. Но ближе к ночи, когда двор пустел и в домах гасли окна, Алиса укладывалась около ящика с песком или протискивалась сквозь щель в бойлерную, смотря какое стояло время года, и засыпая, мечтала о хозяине – он представлялся ей девушкой-бегуньей с цветочным запахом. Но её хозяином вполне мог быть и мужчина, только не такой, как тот жених, и желательно тоже с цветочным запахом.

Игрунья Алиса имела природный красивый окрас – чтобы только посмотреть на неё, во двор прибегали поклонники со всех соседних улиц, но Алиса никому не отдавала предпочтение. «Вначале нужно найти себе хозяина, а уж потом думать о личной жизни», – благоразумно рассуждала она и всячески выказывала свою любовь каждому встречному человеку: и ребёнку, и взрослому – она любила всех людей, кроме того жениха и дворничихи, которая вечно прогоняла её со двора. С самого первого дня. И что плохого сделала ей Алиса?! Наоборот – с утра приветствовала, отчаянно виляя хвостом, пыталась сопровождать, пока дворничиха носила вёдра к помойке. Всем своим сияющим видом Алиса как бы говорила: «Я хочу вам помочь, скрасить вашу нудную работу».

Но дворничиха была бездушной женщиной. Что собачонка! Она и ребят со двора прогоняла, и молодых людей, играющих в подъездах на гитарах, – и тем и другим постоянно грозила:



– Прекратите безобразие или вызову милицию!

...Алиса проснулась, когда хлопнула входная дверь и, тяжело ступая, в подвал спустились собаколов и охранник; за собой на петле-удавке они волокли породистого сеттера с ошейником. Втолкнув собаку в подвал, они сапогами отбросили щенков, которые поползли к ним, и удалились.

Нового узника звали Джерри. Он держался довольно спокойно – был уверен, что очутился в камере по недоразумению, по нелепой ошибке, ведь у него был и хозяин, и паспорт с королевской родословной. Наверняка хозяин уже разыскивает его и вот-вот здесь появится.

Отряхнувшись, Джерри перешагнул через щенков и прошёлся по подвалу, мимо дремлющего Серого и озирающейся по сторонам Алисы; остановился около лестницы и уставился на дверь. «Как-то глупо всё получилось, – подумал он. – Хозяин считает меня умнее своих приятелей, а я оказался дураком, вернее, слишком доверчивым – сам подбежал к этим извергам-собаколовам. Хотел просто понюхать кусок колбасы, которую они протягивали. И есть-то не хотел, просто поинтересовался, что за сорт? А они раз – и заграбастали меня! Да ещё из фургона больно тащили на петле... Но ничего, сейчас придёт мой хозяин, он им всё выскажет, чтобы знали, как забирать породистых собак! Мой хозяин не кто-нибудь, а уважаемый инженер... У нас квартира со всеми удобствами и даже есть «москвич», на котором мы выезжаем на дачу...».

До позднего вечера Джерри прислушивался к наружным звукам; он ничего не вспоминал и ни о чём не мечтал – у него было всё, что только может быть у собаки. Он ждал хозяина.

Поздно вечером привезли длинноногого, лобастого Марса, вожака небольшой стаи бездомных собак, которые обитали в парке. Марса отлавливали несколько дней – он был опытный, осторожный, и хорошо изучил людей.

Несколько лет Марс служил на стройке, где у него была собственная конура и алюминиевая миска, в которой сторожа приносили кашу; часто и рабочие, возводившие дом, что-нибудь притаскивали – какое-нибудь лакомство, вроде бутерброда с сыром. В благодарность за жильё и еду Марс охранял стройку, добросовестно нёс нелёгкую службу; в самом деле нелёгкую, поскольку строительная площадка занимала большую территорию и была огорожена ветхим забором, а, как известно, всегда найдутся любители пожить за чужой счёт, так что Марс постоянно был начеку. Когда стройка закончилась и рабочие уехали, конуру Марса сломали и он попросту оказался на улице. Вскоре он примкнул к стае таких же бедолаг, как сам, а поскольку всегда отличался отвагой и силой, его сразу выбрали вожак.

Целую неделю, пока длилась в парке облава, Марсу удавалось уводить стаю от преследований, но в тот вечер и его, бывалого, перехитрили.

В конце парка среди кустарника собаколовы замаскировали сеть и погнали на неё стаю. Влетев в сеть, собаки запутались, отчаянно завизжали. Марс сумел вырваться, но не убежал, а, как истинный вожак, стал освобождать своих товарищей. Всех освободил, но на него успели накинуть петлю из проволоки...



С раной на шее он стоял посреди подвала, не в силах отдышаться от долгой изнурительной борьбы. Потом начал метаться от стены к стене, бросаться на железную решётку.

Его паника передалась другим собакам: Алиса истошно завывала, Серый и щенки заскулили, и даже Джерри заколотил озноб.

Ранним утром к подвалу подъехала легковая машина; из неё вышли кооператоры из пошивочного цеха. Вместе с охранником они спустились в подвал и сразу показали на Алису.

– Эта ничего, лохматая. Из неё шапка получится. Остальные не годятся.

– Берите и вон этого, с ошейником, – предложил охранник. – Породный. Отдам за пятёрку. Перепродадите, получите неплохие деньги.

– Не-ет, этим занимайся сам, у нас и так дел невпроворот, – заявили кооператоры и поманили к себе Алису.

Она с радостью бросилась к ним, начала лизать руки «освободителям».

Алису увели; остальные собаки с надеждой уставились на дверь – подумали, что вот-вот и за ними придут и выведут из этого мрачного сырого подвала.

Первым казнили Серого, потом щенков.

– Этих кобелей пока подержим, – сказал охранник собаководам, кивнув на Джерри и Марса. – Сегодня должны прикатить врачи.

В полдень у подвала остановился фургон с врачами, но, осмотрев собак, они заявили:

– Нам нужны маленькие и молодые, а эти слишком большие.

Как только врачи уехали, на усыпление повели Джерри. В тот момент, когда он уже затих в холодильнике, прибежал его хозяин, пожилой мужчина.

– Где моя собака?! – запыхавшись, прохрипел он.

– Какая? – с притворным спокойствием протянул собачий сторож.

Запинаясь, мужчина описал Джерри.

– Такого не было, – выдавил охранник.
– Как не было?! – возмутился мужчина. – Мне сказали, что его увезли от магазина.
– Мало ли что сказали. С ошейником и породных собаколовы не берут. Ищите там, где потеряли.
– А где эти собаколовы?
– На работе, на выезде, где ж им быть.
Хозяина Джерри всего трясло от негодования. Выйдя из помещения, он нервно закурил и невольно стал свидетелем, как охранник на петле-удавке выволакивал из подвала Марса.
Пёс отчаянно упирался, рычал, пытался перегрызть железный прут; охранник пулял нецензурной бранью и с трудом втаскивал большую сильную собаку на ступени лестницы, но было ясно – пёс просто так не сдастся, будет бороться до конца. В двери они застряли и охранник со злостью пнул Марса в живот. Пёс взвыл и на мгновение присел, и вдруг метнулся на охранника, сбил его с ног и помчался в сторону улицы.
...Марс обгонял прохожих на тротуарах и машины на проезжей части улицы; за ним, высекая искры, волочился кусок проволоки.
– Бешеный! – неслось ему вслед.
А навстречу ему уже тянул ветер из далёких загородных лесов, тот ветер доносил самое лучшее в мире слово: «Свобода! Свобода! Свобода!»...

ЖЕРЕБЁНОК

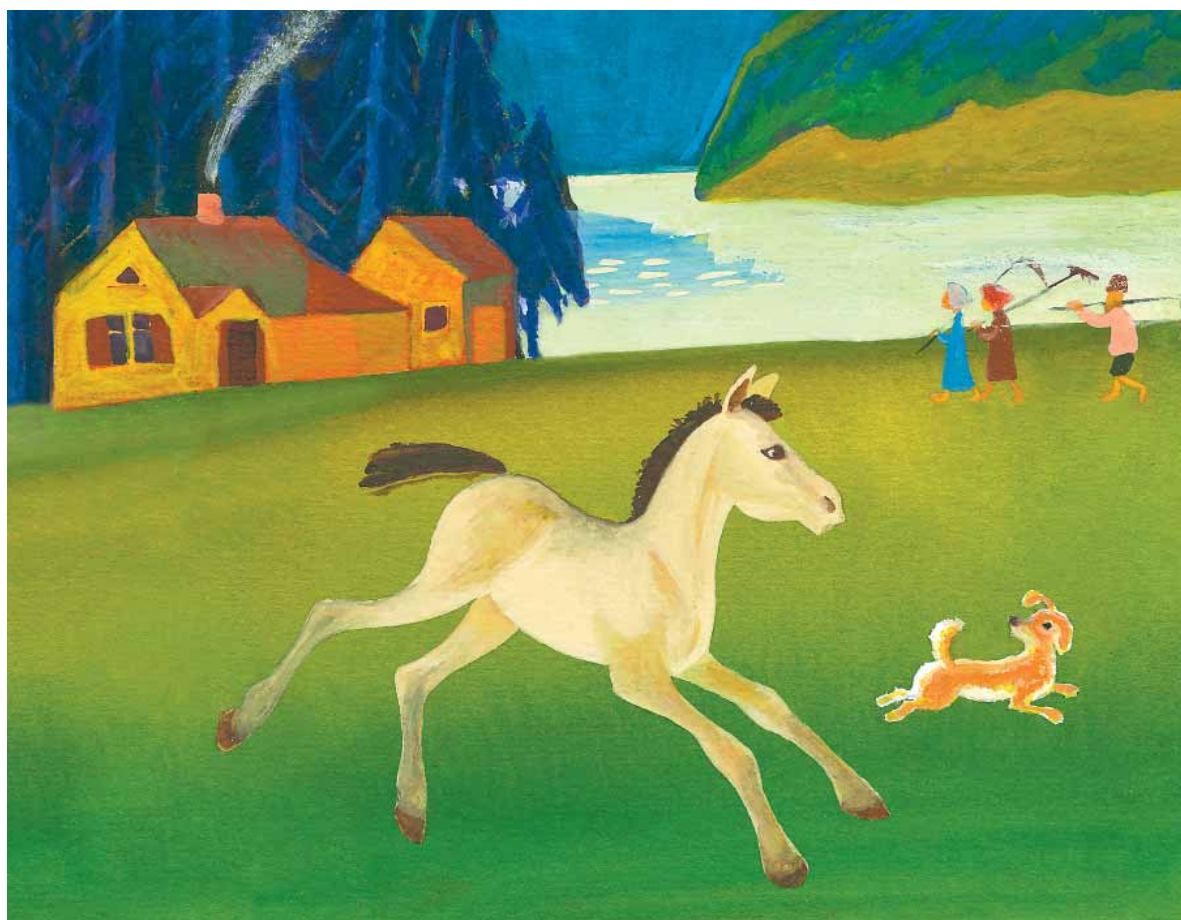
Погода стояла божественная, вечерело, спадал послеполуденный зной, в деревнях выходили на гулянье вдоль дороги первые парочки, на лавки перед палисадниками усаживались старики, из лугов к домам лениво тянулись коровы.
Я ехал по шоссе на «запорожце» – возвращался с участка, где сколачивал сарай-временку; ехал медленно: немного устал, весь день работал без передышки и обеда, только попил чаю из термоса – ехал, курил и рассуждал: «И на кой чёрт взял этот участок?! Кусок болотистого комариного торфяника. Ещё и сарай-то недоделал, а уже надоели хлопоты с лесоматериалами, а ещё предстояло брать деньги в кредит и возводить что-то вроде летней дачи, что требовалось по плану. И главное, кому нужна эта дача? Мне одному и сарая предостаточно; поставлю там раскладушку, куплю железную печурку, буду приезжать на выходные; может, кто из приятелей присоединится».
Застройщики в посёлке, конечно, противный народ – так и борются за звание самого крохобористого: каждый думает, как бы урвать кусок получше, повыгодней достать стройматериалы. И скандалят по пустякам: один оттяпал у другого лишние полметра, другой устроил на дороге мусорную кучу, и она портит вид, третий поставил хозблок так, что заслоняет солнце, да ещё прорубил окно и обозревает чужой участок – тем самым грубо вмешивается в личную жизнь. Какое там

добрососедство! Готовы прибить посягнувших на их собственность. Да и не только готовы. Говорят, в одном посёлке какой-то негодяй выстрелил из дробовика в мальчишку, который сорвал у него яблоки.

Но что в посёлке хорошо – вокруг лес, и деревья всюду цветут, не подчиняясь законам природы – ведь уже конец июня. Правда, весна была холодная, затяжная... Так что неизвестно, что лучше: иметь участок или не иметь. Я пришёл к выводу, что вообще нет окончательных истин. Неизвестно, что лучше: быть бедным или богатым, получать или отдавать, любить или быть любимым, жить не страдая или быть в рабстве у своих переживаний, купаться в славе или оставаться безвестным...

Раньше, в молодости, я шёл вверх по невидимым ступеням и особенно не задумывался о смысле жизни и всё, что происходило со мной, мог объяснить – всё было ясно, а теперь, в зрелости, даже не знаю, в чём настоящее счастье. Одно я уяснил: нужно по мере сил делать счастливыми тех, кто нас окружает, помогать слабым, отчаявшимся, попавшим в беду.

Я уже миновал половину пути и уже подъезжал к деревне Сосновка, как вдруг заметил, что плетусь за вереницей машин и все объезжают какого-то человека, мчущегося по обочине; подъехав ближе, увидел седого плечистого мужчину в майке и широких брюках. Босой, с кривой улыбкой на скуластом лице, он с безрассуд-



ной горячностью бросался под каждую машину и при этом, как бы подчёркивая необычность события, выделял руками какие-то манипуляции. «Добродушный выпивоха! – мелькнуло в голове. – Не соображает, что за такое безумство может наступить расплата».

Вслед за машинами я повторил их манёвр – взял к осевой линии и обогнул дуралея, но тут же заметил в его веселье что-то злобное: на обветренном, опалённом солнцем лице была не улыбка, а горький оскал. «Может быть, у него несчастье?» – подумалось. Взглянув в зеркало заднего обзора, я увидел, что и за мной ни одна машина не останавливается, и уже начал притормаживать, как впереди послышались пронзительные сигналы.

Я вырулил на середину шоссе, стал всматриваться – легковушки двигались гуськом, почти впритык друг к другу, каким-то нелепым и подозрительным образом, а перед головной машиной мелькало что-то тёмное; что именно, я не разобрал – до машины было метров пятьсот, но понял – там что-то происходит, и мгновенно почувствовал связь между тёмным пятном и мужчиной.

Я уже собрался развернуться и ехать за мужчиной, уже дал сигнал левого поворота, как внезапно увидел – впереди на встречную полосу выбежал маленький длинноногий жеребёнок. «Вот она, развязка», – хмыкнул я, нажал на газ и, огибая машины, понёсся к животному.

Он шарахался из стороны в сторону, водители тормозили, пугали его сигналами, но ни один не вышел, не поймал бедолагу. В последний момент, когда я уже обогнал весь поток машин, жеребёнок резко спрыгнул с дороги и побежал по кювету. К счастью, вдоль кювета по тропе катил мальчишка на мопеде.

– Хватай его! – крикнул я.

Мальчишка не растерялся и, не слезая с седла, ухватился за холку животного.

Так они и двигались дальше: мальчишка тархтел на мопеде, жеребёнок скакал рядом. Видимо, маленькая двухколёсная стрекочущая машина пугала жеребёнка меньше, чем большие легковушки; а может быть, он просто инстинктивно доверился мальчишке – ведь оба были детьми, даже одного роста. Так вдвоём они и замедлили скорость.

Остановив «запорожец», я вынул из-под сиденья верёвку, подбежал к жеребёнку и обвязал его шею. Он мелко дрожал, опасно и торопливо оглядывался, в глазах была паника, страх.

– Его хозяин там, на дороге, в километре отсюда, – объяснил я мальчишке. – Давай привяжем его к дереву. Ты посторожи, а я сгоняю за хозяином... Ну-ну, успокойся, никто тебя не обидит, – погладил я беглеца.

Подкатил мужчина – какой-то «жигуль» всё-таки его подбросил. Задыхаясь, с горящим лицом, он подбежал к нам, схватил жеребёнка за хвост, рванул к себе и, яростно стиснув зубы, хрипло процедил:

– Ну сволочи! Ни один гад не остановился! Вот дачники, будь вы прокляты!.. Молоко пить – останавливаются, ягоду купить там, овощи... А тут такое дело! Вот сволочи! – он круто обернулся и метнул в сторону шоссе быстрый вызывающий взгляд: – Ну теперь я им во дам!

Он туго завязал верёвку на шее жеребёнка, шлёпнул его по задку.

– Пошли, чертёнок! А вам спасибо!

Багровый от натуги, он рванул за собой жеребёнка, но тот онемел от страха и не двинулся с места.

– Знает, что накажут, вот и упирается, – сказал мальчишка.

– Давай его попробуем затолкнуть в машину, – предложил я мужчине.

Подогнав «запорожец», я откинул сиденье, и мы с помощью мальчишки запихнули жеребёнка в мой драндулет. Он занял всё пространство – головой упирался в боковое стекло, хвост свисал на баранку. Он оказался достаточно тяжёлым, машина сразу осела, а когда мы с мужчиной втиснулись на сиденье и я, въехав на шоссе, развернулся, «запорожец» сильно завалило на бок.

– Ну сволочи дачники! – всё раздувал в себе гнев мужчина.

– Закури, успокойся, – я протянул сигареты. – Ведь всё обошлось. Как он оказался на шоссе?

– Да ребята конфетами заманили. Приучили его к конфетам, он и отошёл от кобылы. Несмышлёныш ещё. А на дороге машин напугался и понёсся. Я за ним, машу руками, показываю туда-сюда – ни один гад не остановился... Морды им бить надо!.. Не-ет, тут нужна новая война... Я-то воевал, знаю, какие были тогда люди. Последним сухарём делились. А сейчас одни хапуги. Только под себя гребут, до других им нет дела...

Мы подъехали к деревне, и в нескольких метрах от шоссе я увидел привязанную к колу белую кобылицу. Вытянув шею, она нервно озиралась и тревожно ржала. Заслышав мать, мой четвероногий пассажир тоже подал голос, стал биться, пытаясь выскочить наружу. Я затормозил, открыл дверь, и жеребёнок, не дожидаясь, пока я откину сиденье, выпрыгнул из машины, подбежал к матери и уткнулся в её живот.

– Сосунок ещё, – уже более спокойно прохрипел мужчина и облегчённо вздохнул: – Ну спасибо тебе, выручил, – и добавил с учтивой благодарностью и деревенской простотой: – Может, это, молочка холодного попьёшь?

– В другой раз. Я теперь здесь частенько буду проезжать. Как-нибудь загляну.

Мы ещё некоторое время постояли, покурили. Кобыла уже умиротворённо жевала жвачку, жеребёнок виновато поглядывал на хозяина.

Мужчина говорил о погоде, о своих метеорологических наблюдениях, потом с подкупающей откровенностью поведал о своей семье, о детях, которые живут в соседнем посёлке и почти не навещают родной дом, о жене и её «глупой женской мечте» – перебраться в город. Он уже говорил со всей подобающей деревенским жителям неторопливостью и скромностью, точно и не он полчаса назад метал молнии; под конец, смущённо покашливая, как напутствие пожелал мне здоровья.

Отъезжая, я оглянулся – жеребёнок смотрел мне вслед робко и задумчиво. «Жеребёнок, жеребёнок, белой лошади ребёнок...» – вспомнил я популярную песню и всю оставшуюся дорогу её напевал.

СИМА

Кошка Сима была в почтенном возрасте, ей исполнилось пятнадцать лет, и за все эти годы она ни разу не покидала квартиру. Случалось, когда хозяева уходили на работу и открывали дверь, Симе удавалось заглянуть в коридор, но ничего интересного она там не замечала – всего лишь коробки, ложки, санки; иногда появлялся кто-нибудь из соседей.

Будучи сугубо домашней кошкой, Сима никогда не была во дворе, не видела ни своих собратьев, ни каких-либо других животных – разве только птиц за окном, но и тех неотчётливо – окна закрывали занавески.

Квартира была уютной, хозяева Симу – бездетные супруги – любили свою питомицу, но уделяли ей мало времени, поскольку с утра уходили на работу и возвращались поздно, уставшие. Когда она была котёнком, они с ней изредка играли – кидали на пол шарики из бумаги – Сима прыгала на них, подкидывала, ловила и снова катила к хозяевам. Когда Сима подросла и с ней перестали играть – ей только и оставалось, что гоняться за мухами.

Симу хорошо кормили, иногда брали на руки, гладили; спала она с хозяевами на одной тахте... Многие бездомные кошки позавидовали бы её благополучной жизни, но, с другой стороны, в этой спокойной, ничем не примечательной жизни ничего не происходило. За долгие годы Симу ни разу не вывели во двор, она не испытала никаких приключений, любви, не стала матерью, можно сказать, она была кошкой



без биографии. От однообразной, малоподвижной жизни под старость Сима превратилась в нескладную, вялую толстуху, которая большую часть суток спала на тахте.

Однажды хозяевам предстояла долгая командировка на всё лето за границу, и они стали обзванивать знакомых, чтобы пристроить Симу на время их отъезда. Но у одних знакомых были свои животные – кошки, собаки (у некоторых и попугаи, хомяки, морские свинки), и, вполне понятно, эти люди опасались, что их питомцы встретят новую квартирантку не очень-то доброжелательно.

Другие знакомые никогда не держали животных и боялись брать на себя такую ответственность. Третьи уже запланировали провести летний отпуск у моря, четвёртые попросту не хотели лишними заботами усложнять свою жизнь.

Выручил хозяев Симы одинокий писатель Анатолий Анатольевич. Он был пожилым человеком, страдающим от повышенного давления. Хозяева Симы почти не надеялись на то, что писатель согласится взять кошку, да ещё на целых три месяца, но неожиданно он сказал:

– Я с удовольствием возьму вашу Симу. Я собираюсь всё лето работать на даче, и вдвоём нам будет веселее. К тому же врачи говорят, что надо каждый день, хотя бы полчаса, гладить собаку или кошку – это снижает давление. Вдруг действительно поможет.

Писатель повёз кошку на дачу в большой корзине с привязанной картонной крышкой. Всю дорогу Сима нервничала, мяукала, скребла прутья корзины – пыталась выбраться. Ещё бы! – впервые её посадили в какую-то тесную клетку и везли неизвестно куда. Анатолий Анатольевич её успокаивал:

– Потерпи немного, Сима. Скоро приедем на участок, там тихо, спокойно, тебе понравится.

Когда они прибыли на дачу, писатель вынул кошку из корзины и посадил на террасу.

– Ну вот, Сима, мы и на месте. Сейчас открою дом, приготовлю нам с тобой обед, а ты пока осваивайся, погуляй по участку.

Но Сима не сдвинулась с места; открывшийся перед ней огромный красочный мир – берёзы и ели, кусты смородины, цветы и травы – всё это зелёное царство, наполненное шелестом, гомоном, писком, стрекотаньем, копошеньем, так ошеломило её, что она прижалась к корзине, и только пугливо озиралась по сторонам. Она даже отказалась от еды, и так и просидела около корзины до темноты, пока писатель не отнёс её в дом.

Ночью Сима не спала. Анатолий Анатольевич понимал, что на неё свалилось слишком много впечатлений, и подумал – как бы у старушки не случился нервный срыв. Он брал её к себе в постель, поглаживал, почёсывал за ушами, но как только засыпал, Сима перебиралась к открытому окну и всматривалась в темноту, прислушивалась к ночным звукам... Утром Анатолий Анатольевич так и застал её у окна, глазющую на участок.

И всё же утром Сима немного поела, потом осторожно переступила порог дома. Весь день она вновь просидела на террасе, с тревожным любопытством рассматривая всё окружающее. Несколько раз она подходила к ступеням, принималась к цветам; к одному принялась, а цветком оказалась... бабочка – она взлетела, а Сима озадаченно проводила её взглядом. В другой раз на перила террасы опус-

тилась стрекоза; Сима потянулась к ней, чтобы получше разглядеть диковинное существо, но стрекоза оторвалась от перил, зависла над головой Симы и так громко застрепетала, что Сима испуганно попятилась.

Из всех насекомых Сима знала лишь мух, но над террасой, кроме обычных домашних мух, вились и большие, с металлическим блеском, да ещё осы и шмели, которые угрожающе жужжали, так что Симе всё время приходилось быть начеку. На всякий случай она держалась поближе к двери, чтобы в случае чего спрятаться в доме (погода стояла жаркая и писатель даже на ночь не закрывал не только окна, но и дверь).

На третий день Сима отважилась спуститься с террасы и пройти до сарая. Первой, кого она встретила, была лягушка... Сима долго пялилась на пучеглазую особу, даже попыталась потрогать её лапой, но не тут-то было! – лягушка сделала такой прыжок, что Сима от страха отскочила в сторону. Затем она понюхала одуванчик, после чего долго чихала и трясла головой, стряхивая пух. Она уже подошла к сараю, как вдруг где-то в ветвях берёзы оглушительно затрещала сорока, подлетела к Симе и чуть не клюнула её в хвост – Сима еле увернулась и прыжками бросилась в дом.

В доме Сима чувствовала себя в безопасности. Она довольно быстро обследовала все закутки жилища, даже забралась по крутой лестнице на второй этаж, где работал писатель.

Когда она впервые появилась в «рабочем кабинете», Анатолий Анатольевич воскликнул:

– Это кто ко мне пожаловал?! Сима, заходи, заходи, дорогая! Я вижу, ты смелая бабуся – залезла так высоко... Ну, что скажешь, подружка? Как тебе наша обитель? А как участок? Это встреча с прекрасным, верно?

Но на первом этаже Симе нравилось больше. И потому, что там стояла широкая тахта – на ней всегда можно было подремать, и потому, что с комнатой соседствовала кухня со множеством приятных запахов, а под столом стояли её, Симины, миски: одна с едой, другая с водой.

Спустя неделю Сима более-менее ознакомилась с участком: обошла вокруг дома и сарая, и на углах строений оставила метки – покорябала доски когтями. Особенно ей понравился солнечный пяточок у забора, где росли высокие спутанные травы. Именно там Сима увидела первого кузнечика и первую ящерку.

Кузнечик привёл её в особо приподнятое настроение. Он стрекотал в траве и так увлёкся своей музыкой, что подпустил Симу на расстояние вытянутой лапы. Некоторое время она разглядывала зелёного крылатого музыканта, потом всё же решила его поймать, но промахнулась – кузнечик взвился в воздух и, перелетев через Симу, словно посмеиваясь над ней, застрекотал у неё за спиной. Сима немного разозлилась, и снова попыталась поймать музыканта, но у неё опять ничего не получилось. Так продолжалось до тех пор, пока Симе не надоела эта чехарда.

Ящерку Сима увидела на следующий день – она неподвижно грелась на горячем от солнца камне. Увидев её – красивую, изящную, Сима прямо-таки воспламенилась; внезапно в ней проснулся азарт охотника – изловчившись, она прыгнула и цапнула хвостатое существо. Но произошло нечто поразительное – в Симиных лапах остался только виляющий хвост, а сама ящерка исчезла.

И всё же свой первый трофей Сима принесла в дом и, желая им похвастаться, положила у ног писателя. Но Анатолий Анатольевич не только её не похвалил, но ещё и отругал:

– Этого ещё, Сима, нам не хватало! Ты домашняя, интеллигентная кошка или дикая зверюга? Тебе что, есть нечего? Вон в миске каша с печёнкой!.. Так что утихомирь инстинкты своих предков и больше не трогай замечательных животных, иначе посажу тебя на поводок.

Больше писатель не видел Симу с добычей, но, естественно, не потому, что ей стало жалко «замечательных животных» или она испугалась поводка – просто-напросто эти самые животные почувствовали появление хищника на участке и стали более осмотрительны.

С каждым днём Сима всё больше изучала участок. Через месяц она уже настолько освоилась в новой обстановке, что почувствовала себя хозяйкой огромных владений, вот только за калитку не решалась выходить – по улице время от времени пробегали собаки.

Сима заметно похудела, помолодела, от её прежней вялости не осталось и следа, а в её прежде тусклых глазах появились горящие искорки.

Теперь по утрам, после завтрака, Анатолий Анатольевич поднимался в свой «кабинет», а Сима выскакивала на террасу, щурясь от солнца, потягивалась и совершала резвую пробежку вдоль забора, при этом перепрыгивала через корни деревьев и упавшие ветви.

Как-то, заметив эти прыжки, Анатолий Анатольевич удивился:



– Ого! Я вижу, Сима, твои спортивные достижения растут день ото дня. Если дело так пойдёт и дальше, станешь мировой рекордсменкой среди кошек преклонного возраста.

После пробежки Сима обследовала что-нибудь ещё неизведанное на участке; это могла быть поленница дров, бочка с водой или тёмное пространство под сараем, или какой-нибудь раскидистый куст, или выюнок с пахучими цветками-граммофонами – на том неухоженном, заросшем участке было много всякого, заслуживающего внимания кошки.

В жаркий полдень Сима обычно отсиживалась в доме – там было прохладней. Чаще всего она отдыхала после бурно проведённой первой половины дня, а если писатель готовил обед, то тёрлась о его ноги, тербила лапами и нетерпеливо мяукала, а иногда вдруг ни с того ни с сего затевала игру с его ботинками – пыталась вытащить из них шнурки. И опять Анатолий Анатольевич удивлялся:

– Похоже, Сима, у тебя началась вторая молодость! Или ты, как некоторые старички, впала в детство?

А по вечерам, после ужина, Сима с писателем слушали по радио музыку. Анатолий Анатольевич включал приёмник, усаживался в кресло и закуривал трубку. Сима впрыгивала к нему на колени, устраивалась поудобней и, под музыку и поглаживания Анатолия Анатольевича, тихо мурлыкала.

– Ну вот, Сима, и закончился ещё один день, – вздыхал Анатолий Анатольевич. – И поработал я, доложу тебе, вполне плодотворно... И ты, судя по твоему виду, насыщенно провела время. Теперь мы имеем полное право на отдых, как ты считаешь?

В те вечерние часы Сима была просто счастлива. Во-первых, радиоприёмник ей нравился гораздо больше телевизора хозяев – в телеящике всё время что-то мелькало, кто-то постоянно тараторил; а из маленькой коробки писателя лились умиротворяющие звуки. Во-вторых, в отличие от хозяев, которые всегда говорили много и громко и только между собой, Анатолий Анатольевич говорил мало и тихо и только с ней, Симой. Да что там! Даже дым от трубки писателя был более ароматный, чем дым от сигарет хозяина.

В свою очередь Анатолий Анатольевич в те вечерние часы был счастлив потому, что испытывал приятную усталость после интенсивной работы; и потому, что впервые за долгие годы мог с кем-то поговорить перед сном; и потому, что убаюкивающее мурлыканье Симы, как ничто другое, снимало дневное напряжение.

К сожалению, эта вечерняя идиллия вскоре нарушилась.

В середине лета к Симе неожиданно стали наведываться поклонники. Первым явился соседский рыжий кот Персик. Уже пожилой, скромный, даже застенчивый, он особенно не досаждал Симе: подлезал под калиткой, нерешительно делал несколько шагов в сторону дома, усаживался под каким-нибудь кустом и издали наблюдал за новоявленной соседкой.

Сима тоже замечала пришельца и некоторое время заинтересованно разглядывала его, потом всё же убегала в дом.

Затем объявились ещё два «дачника»: самоуверенный здоровяк Кузя и холодный красавчик Иннокентий. Эти типы вели себя довольно развязно. Кузя сразу

пересёк весь участок, сделал пару меток на деревьях, а увидев Симу около террасы, подошёл, развалился в двух шагах и стал сверлить её взглядом. Иннокентий тоже подошёл, но не так близко, и, присев, уставился на Симу. Сима не выдержала их взглядов и вновь спряталась в доме.

Последним притопал кот сторожей Семён. Вечно грязный, со сбитой шерстью, Семён по праву считался властелином посёлка и слыл грозой мышей и отчаянным драчуном.

При его появлении «дачники» удрали на свои участки, а он, принохиваясь к следам Симы, забрался на террасу и так и норовил проникнуть в дом, но всё же не решился. Спрятавшись за углом дома, он подождал, пока Сима не вышла на очередную прогулку, тут же подскочил и стал нахально её обнюхивать.

Сима настолько растерялась, что даже не успела убежать, только отчаянно завопила и, готовясь защитить себя, выпустила когти. На её вопль из дома вышел писатель и прогнал Семёна.

На следующий день Семён всё же вошёл в дом, и не найдя Симы – она в тот момент нежилась на солнечном пятнышке, – слопал её кашу с печёнкой. Затем отправился на поиски «невесты» на участок.

Для Симы начались беспокойные дни. Один за другим коты приходили с раннего утра и следили за каждым шагом Симы, и всюду подкарауливали её, подбегали, выгибались, прыгали перед ней – показывали, какие они красивые и ловкие. Сима делала вид, что не замечает эти трюки, но явно нервничала – урчала, раздражённо виляла хвостом и спешила в ближайшее укрытие.

Но самое отвратное начиналось с наступлением темноты, когда коты устраивали меж собой состязание – кто кого переорёт.

Здесь уж Сима не выдерживала – с воем выбегала из дома и пыталась разогнать настырных ухажёров. Но они только отбегали от разъярённой особы, но совсем уходить не собирались.

Бывало, эти спектакли продолжались до рассвета. Не раз Анатолий Анатольевич звал Симу домой, но где там! – она так возбуждалась, что ей было не до сна.

В конце концов, вероятно, чтобы отвадить других поклонников, Сима выбрала скромника Персика и разрешила ему сидеть с ней на террасе. С той поры на участке воцарилась тишина.

С «посиделок» Сима возвращалась под утро и Анатолий Анатольевич её стыдил: – Сима, ты настоящая гулёна! В твоём солидном возрасте надо созерцательно относиться к жизни, а ты завела кавалера! Что за любовь на старости лет? Побереги своё сердце!

Между тем, конечно, отношения Симы с Персиком нельзя было назвать любовью. Их отношения были не чем иным, как дружбой, искренней дружбой двух пожилых соседей, что, как известно, не менее ценно, чем любовь.

Впрочем, к концу лета слово «пожилая» к Симе уже никак не подходило – она выглядела очень даже моложаво.

Не меньше Симы преобразился и Анатолий Анатольевич. Самое главное – его перестало мучить давление. Ну, и что тоже немаловажно, на его обычно угрюмом

лице появилась приветливая улыбка. Похоже, общение с кошкой затронуло в душе писателя какие-то дремавшие струны. Возвращая Симу хозяевам, он сказал:

– Мы с Симой так подружились, что теперь я буду по ней скучать. На следующее лето, если не возражаете, мы с ней снова поживём на даче. С ней мне работалось, как никогда, хорошо.

ДОЛИНА, ГДЕ ЗВУЧИТ МУЗЫКА

Однажды мы с художником Валерием Дмитриюком попали в красивейшую долину. Она находится в Карелии. Тот, кто хотя бы видел её мельком, навсегда унесёт с собой картину: ровный ярко-зелёный луг, сине-зелёное озеро и дома, тоже зелёные, поскольку стоят под деревьями.

Мы остановились у деда Матвея в просторной избе, половину которой занимала огромная побелённая печь.

– Кем будете, добры молодцы? – спросил дед Матвей, угощая нас чаем. – пожаловали отдохнуть или как?

– Я мастер мазка, – представился Дмитриюк. – Пишу картины.

– Художник, значит, – заключил дед Матвей.

– А мой друг, – Дмитриюк кивнул на меня, – мастер интонации (он имел в виду дневник, который я начал вести в поезде и в котором, по его словам, было несколько удачных строк).

Дед не понял, что Дмитриюк имел в виду, но вежливо сказал:

– Приятно поговорить с интересными людьми.



– Мы хотели бы пожить в деревне с неделю, – продолжал «мастер мазка». – Я хочу написать несколько этюдов, а мастер интонации – набраться впечатлений, покататься на лодке по озеру.

– Озеро у нас хорошее, – сказал дед Матвей. – Лодка там, на берегу. Долблёнка из осины. Ходкая. Что порожняя, что гружёная – одинаково идёт.

– Неужели долблёнки и сейчас делают? – поинтересовался я. – Ведь надо знать секрет, как распаривать дерево (я решил показать деду, что немного смыслю в лодках).

– Правильно подметил, – оживился дед. – Секрет почти забыли. Старики помнят, но уж руки не те. А молодёжи всё больше готовенькие подавай. Дюралевые. Отучаются люди делать своими руками, да... Приятно говорить с понимающими людьми.

После чаепития Дмитриук отправился на этюды, а я пошёл к озеру.

Был полдень, погода стояла отличная, дышалось легко, и всё, что меня окружало, создавало приподнятое настроение.

Около лодки-долблёнки меня встретили лягушки и сразу попрыгали в воду, но одна, самая большая, вдруг начала меня пугать: надувалась, привставала на лапах, издавала угрожающие утробные звуки. «Надо же, какая бесстрашная», – подумал я и уважительно обошёл пучеглазую особу.

Разглядывая лодку, я вдруг почувствовал – за мной кто-то наблюдает; обернувшись, присмотрелся и в камыше заметил две пары глаз. Одни, светлые и озорные, принадлежали мальчишке; другие, маленькие и любопытные – собаке.

– Идите сюда, ребята! – махнул я рукой.

Мальчишка с собакой подошли. На голове мальчишки красовалась шляпа из лопуха, его брюки еле держались на ремне – их оттягивали карманы, в которых,



как выяснилось позднее, лежала уйма ценных вещей: неотпирающийся замок, разноцветные голыши, осколок зелёного бутылочного стекла; в руках мальчишка держал лук со стрелами.

– Вижу – ты индеец, – сказал я. – Тебя как зовут?

– Колька. А он Шарик, – мальчишка кивнул на собаку.

– А я дядя Алексей. Я – мастер интонации.

– Мастер чего? – поморщился Колька.

– Интонации. Так меня называет мой друг, дядя Валерий. Он мастер мазка.

– Мастер пепка и мастер лепка, – засмеялся Колька, и я сразу с ним согласился.

Шарик, заметив, что у нас налачился контакт, радостно закрутился, завилял хвостом. Колька вывернул свои карманы, похвастался «ценностями» и сразу вызвался научить меня стрелять из лука. Я согласился, но предупредил Кольку, что охотник из меня никогда не получится; в лучшем случае получится сентиментальный стрелок – из тех, кто выстрелит в жертву и плачет.

– Я не могу убивать животных, – заявил я Кольке. – Другое дело – полёт стрелы. Это красиво. Тем более что вижу – у тебя отличные стрелы (действительно, стрелы были тонкие, с гвоздями-наконечниками и оперением).

– А я хочу стрелять только сусликов, – поспешно заявил Колька. – Их здесь полно. Они такие глупые, отзываются на свист.

Колька выбрал среди своих «ценностей» тонкую полоску бересты, засунул её в рот и свистнул и тут же показал на соседний пригорок:

– Смотри туда!

На пригорке из норы вылез суслик, встал «столбиком» и, озираясь по сторонам, стал посвистывать, как бы выискивая сородичей.

– Здорово ты свистишь, – сказал я. – Но суслики не глупые, а доверчивые. Они думают, что ты тоже суслик, только большой. Ты мог бы их приручать, и они бегали бы за тобой, как котята. А ты стрелять! Тебе не жалко их? Индейцы убивали животных, потому что им надо было что-то есть. И они всегда просили прощения у души убитого животного. А ты собираешься убивать, чтоб показать свою меткость. Неужели не понимаешь, что всё живое так же, как и мы, хочет жить?! И чему вас только в школе учат!

– А они посевы едят!

– Подумаешь, съедят несколько колосков. Мы от этого бедней не станем.

– Не несколько колосков, – закачал головой Колька. – У них, знаешь, какие кладовки! Там всего полно, они ж и в огороды забегают.

– То, что они запасы делают на зиму, так за это надо их похвалить. Молодцы, запасливые, не то что некоторые люди, которые живут лишь сегодняшним днём... Суслик такой красивый зверёк! И так красиво посвистывает... Ты его убьёшь, а его, может, дети ждут. В общем, если начнёшь охотиться, ты мне не товарищ.

Чтобы подчеркнуть негодование, я пнул валявшийся под ногами голыш и направился к дому деда Матвея. Шарик тоже отбежал от Кольки и понёсся в конец деревни.

За обедом я начал рассказывать Дмитриюку и деду Матвею о Кольке, но дед Матвей, недослушав, откликнулся:



– Колька хороший парнишка. У нас все люди хорошие. Войди в любой дом – примут, как родных... А ближе к городу в деревнях народ похуже. За ночёвку деньги берут, за лодку тоже. Ни стыда ни совести нет. Их туристы избаловали... А у нас люди хорошие... И луга хорошие. Клевер сочный, сладкий. Такого нигде не сыскать...

– Я сегодня писал луга. – Дмитрюк кивнул на эскиз, сохнувший на подоконнике. – А деревню писать невозможно. На солнце всё сливается в зелёное марево. Вижу не деревья и дома, а какие-то пятна и тени.

– У нас хорошие тени, – вставил дед Матвей. – Тени и клевер. Клевер сладкий, пахучий... Некоторые горожане ничего не замечают. Им лишь бы набрать грибов. А вы всё подметили. Приятно говорить с наблюдательными людьми.

К вечеру за мной зашли Колька с Шариком.

– Я не буду стрелять сусликов, – заявил Колька. – Я буду их приручать.

– Дай мне слово, слово мужчины, что никогда не будешь убивать животных!

– Даю, – кивнул Колька.

– Учти, если нарушишь слово... Если мужчина не держит слово, он не мужчина... Но тебе я верю. Пойдём постреляем в дерево, посмотрим, как летают твои стрелы.

Колька привёл меня на опушку берёзовой рощи, где росла высокая трава, синели колокольчики и порхали птицы. Около часа мы пускали стрелы в старый трухлявый пенёк. Всё это время Шарик крутился около нас и, кажется, был безмерно доволен, что мы стреляем в неживую мишень.

На следующий день я решил сделать кружок на лодке по озеру; взял у деда Матвея короткое кормовое весло, сел в лодку-долблёнку и поплыл.

Как и накануне, погода стояла жаркая. В воде отражались ослепительно белые облака. К середине озера их стало так много, а лодка шла так легко, что я почувствовал – лечу по небу. И надо мной были облака, и подо мной. У меня закружилась голова, я совершенно заблудился в облаках.

Похоже, я просто перегрелся на солнце. Так или иначе, только мне стало не до прогулки. «Добраться бы до берега», – подумал и заработал веслом, но, как оказалось, – закружил на месте.

Меня выручили Колька с Шариком. Где-то в стороне я разглядел среди зелени светлое пятнышко и рядом другое – потемнее, и услышал Колькин голос – он что-то кричал мне.

– Я сделал настоящую мишень, – сказал Колька, когда долблёнка уткнулась в берег. – Смотри! – он поднял с земли картонку с чёрными кругами. – Пойдём постреляем!

– Не могу, Колька, – пробормотал я. – Голова раскалывается от облаков. Вечером приходи, постреляем, а сейчас слишком много облаков. Пережду, пока они уплывут...

За обедом Дмитрюк спросил меня:

– Ну, какие впечатления?

– Никаких, – простонал я, всё ещё испытывая головокружение. – Заблудился в облаках. Прогулка пошла насмарку.

– Облака виноваты! – хмыкнул Дмитрюк и подмигнул деду Матвею.

– Облака у нас хорошие, – вздохнул дед Матвей. – Облака и клевер. Клевер душистый, прямо слезу вышибает...

– Настоящему мастеру ничто не помеха, – гнул своё Дмитрюк. – Я сегодня всё-таки написал деревню, – он хвастливо указал на подоконник, где подсыхал очередной этюд, написанный одними зелёными красками.

– Деревня у нас хорошая, – согласился дед Матвей. – И вот что скажу вам: дома ставили с расчётом, чтоб слышалась музыка... Как подует северный ветер, начнёт обтекать дома, так и звучит музыка. Наши дома-то из сосны музыкальной.

Дмитрюк нахмурился, но я сказал деду:

– Продолжайте! Я вас внимательно слушаю.

– Приятно говорить с воспитанными людьми, – дед Матвей, довольный моим вниманием, продолжал: – Нашу деревню раньше так и звали – музыкальной... Бывало, при северном ветре все выходили на околицу и слушали музыку. И люди,

и живность всякая: коровы, козы. Раньше ведь у нас большое стадо было. И пастухи играли на рожках.

Перед сном мы с Дмитриюком покуривали на крыльце.

– Дед – фантазёр отменный, – буркнул «мастер мазка».

– Ничего не фантазёр, – возразил я. – Уверен, при северном ветре дома звучат.

– И ты хорош гусь! – продолжал Дмитриюк. – Не мог разобраться в облаках! Я-то разобрался в зелёном мире. Всё отделил: и тёплую зелень, и холодную, и ядовитую... Всё-таки моё мастерство выше твоего.

– Выше, выше! – обрезал я зарвавшегося «мастера».

Всю неделю я ждал северного ветра, но погода не менялась; над долиной стояла жаркая тишина.

...В конце недели мы уезжали. Нас провожали дед Матвей, Колька и Шарик. Они стояли у крайнего дома и, пока мы поднимались на холм, смотрели нам вслед. От зелёного воздуха они были зелёными, прямо-таки сказочными героями.

Мы уже почти поднялись на холм, как вдруг с севера потянул лёгкий ветерок. Я остановился, затаил дыхание и... услышал музыку. Отчётливые мелодичные звуки! Они всё время менялись: то были похожи на журчанье ручья, то на пищанье мальчишеской дудки, то на трели рожка пастуха...

– Стой! – крикнул я Дмитриюку, который сосредоточенно взбирался вверх по тропе. – Слышишь?!

Дмитрюк остановился, вслушался, и его лицо посветлело.

– Хм! В самом деле дома звучат! Ты действительно неплохой мастер в области интонаций, но всё же не такой значительный, как я в области мазков. Это доказывают и эскизы, – Дмитриюк кивнул на этюдник. – Их целая куча. А ты несёшь одни звуки да запахи... Ну, может, ещё облака! – мой друг рассмеялся и хлопнул меня по плечу.





ЗВЕРИНЕЦ В МОЕЙ КВАРТИРЕ

РЫЖИК

Я нашёл его в лесу. Он лежал в траве – светло-рыжий комок с выщипанным хвостом и ранками на голове; похоже, упал с дерева, где его клевали вороны – они часто нападают на бельчат. Притаившись в траве, он испуганно смотрел на меня, его нос мелко дрожал от прерывистого дыхания.

Когда я принёс бельчонка домой, мой пёс Миф пришёл в страшное волнение: стал крутиться вокруг нас, принюхиваться – необычный зверёк произвёл на него сильное впечатление. Некоторое время Миф сердито бурчал и фыркал, на всякий случай задвинул свою миску под стол.

Прежде всего я решил покормить найдёныша и налил в блюдце молоко, но бельчонок был слишком слаб и сам пить не мог. Тогда я впрыснул молоко в его рот пипеткой. Бельчонок смешно зачмокал и облизался. Молоко ему понравилось – он выпил целое блюдце. Потом я начал сооружать жилище бельчонку. На стол поставил коробку из-под обуви, наполовину прикрыл её фанеркой, а внутри устроил мягкую подстилку. Жилище бельчонку тоже понравилось – он сразу же в нём уснул.

Целый день бельчонок не вылезал из коробки, только высовывал мордочку и с любопытством осматривал комнату. Если в этот момент поблизости находился Миф, бельчонок сразу же прятался и зарывался в подстилку.

На второй день меня разбудил Миф. Он стоял около стола и лаял, а бельчонок сидел на коробке и, быстро перебирая лапами, пытался грызть карандаш. «Посмотри, что делает этот рыжий проказник!» – как бы говорил Миф и топтался на месте от негодования.

– Он поправился и хочет есть, – успокоил я Мифа.

Рыжик – так назвал я бельчонка – проявил редкий аппетит. Он ел все овощи и фрукты, и печенье, и конфеты, но особенно ему нравилась кожура лимона. Схватит лимон и начинает крутить, выгрызая ровную полоску на цедре. Но, конечно, любимым лакомством Рыжика были орехи – их он мог щёлкать без устали. Разгрызёт орех, ловко очистит от скорлупы и жуёт. Ещё не съел один орех, а уже берёт другой и держит его наготове.

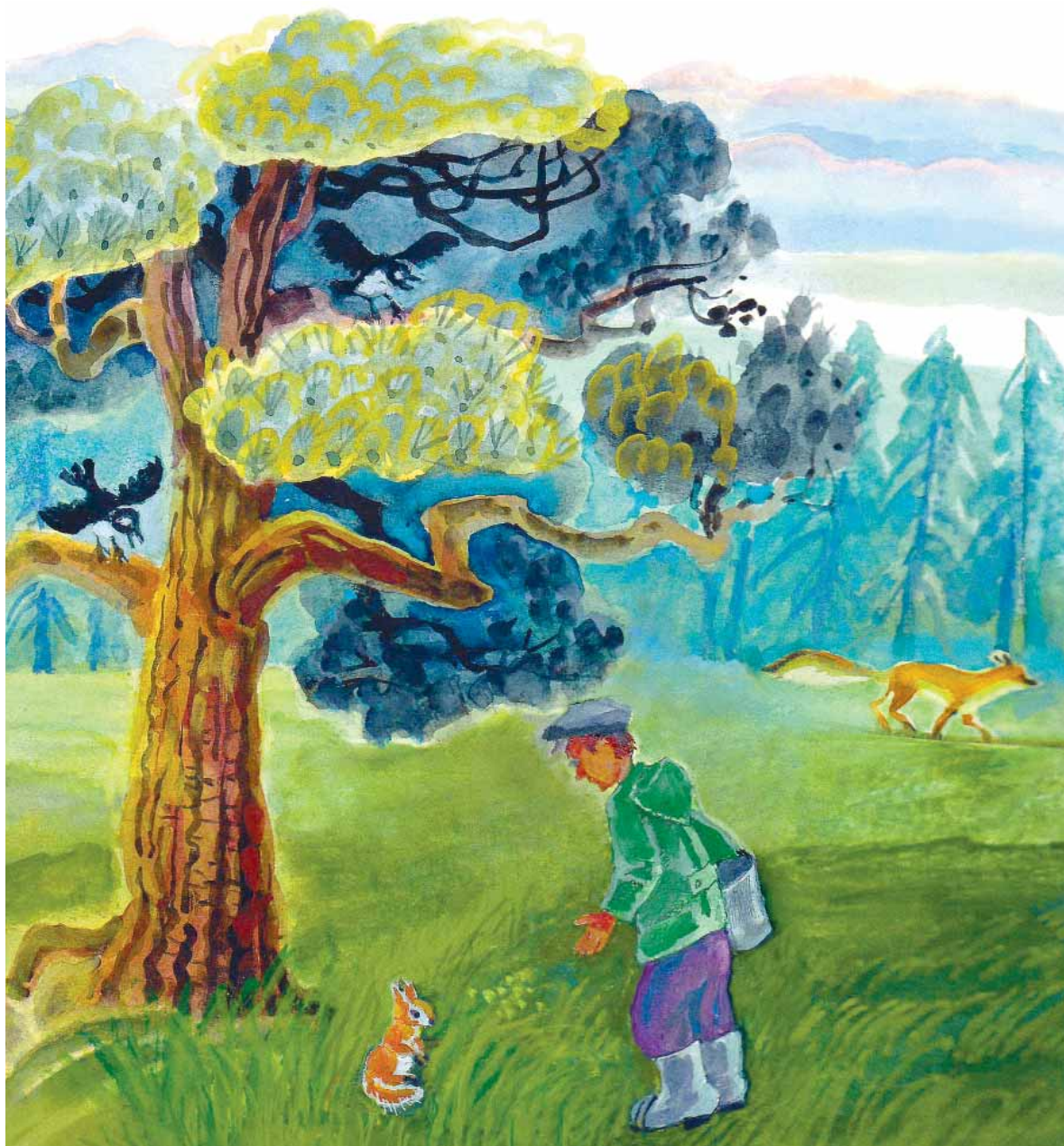
Время от времени Рыжик делал кладовки – прятал про запас огрызки картофеля, моркови, печенье, орехи. Эти заготовки я находил по всей квартире: под столом и за шкафом, на кухне за плитой, и даже под подушкой на кровати.

Через месяц Рыжик превратился в красивого зверька с ярко-оранжевой, блестящей шёрсткой и пушистым хвостом. Он совсем освоился в квартире и с утра до вечера бегал из комнаты на кухню и обратно; быстро, как язычок пламени, забирался по занавеске на карниз и, пробежав по нему, прыгал на шкаф. Со шкафа скачками перебирался на косяк двери, с косяка бросался вниз и по коридору, шурша коготками, проносился на кухню. Там вскакивал на стол, со стола – на полку около окна.

Полку Рыжик избрал как наблюдательный пункт. С неё были видны не только деревья за окном, но и коридор и комната. Сидя на полке, Рыжик всегда знал, где в этот мо-

мент находится Миф, какая птица – голубь или воробей – сидит на оконном карнизе, что из съедобного лежит на столе. На полке Рыжик чувствовал себя в безопасности, но если замечал, что на дерево уселась ворона, стремглав бежал в коробку.

Со временем Рыжик и Миф подружились. Даже устраивали игры: Рыжик схватит маленький мяч, впрыгнет на стол и, повиливая хвостом, перебирает мяч лапами – как бы поддразнивает Мифа. Миф облаивает Рыжика, делает вид, что злится, на самом деле лает, просто чтобы напомнить бельчонку, кто главный в квартире. Если Рыжик сразу не бросает мяч, Миф идёт на хитрость: подкрадывается с другой стороны и бьёт лапой по столу. Рыжик сразу бросает мяч и по занавеске вскакивает на карниз.



Заметив, что Миф спит, развалившись посреди комнаты, Рыжик начинал через него перепрыгивать. При этом бельчонок немного зависал в воздухе и, как мне казалось, любовался своей отвагой и ловкостью. Во всяком случае, в такие минуты его глаза были полны восторга.

Миф не любил, когда ему мешали спать. Да и как можно спокойно спать, когда над тобой летают всякие с острыми когтями?! Миф открывал глаза и, не поднимая головы, искоса следил за трюками бельчонка. Улучив момент, Миф вскакивал и пытался цапнуть Рыжика за хвост. Но не тут-то было! Юркий бельчонок уже стремительно нёсся к полке.

Все игры Рыжика были безобидными. Только иногда, чересчур разыгравшись, он начинал грызть ножки стульев. Заметив это, я сразу хлопал в ладони:

– Рыжик, нельзя!

Миф срывался с места, подбегал к стулу, начинал громко гавкать, всем своим видом давая понять, что не позволит портить домашнее имущество. Бельчонок впрыгивал на стол, вставал на задние лапы и как-то виновато наклонялся вперёд – явно просил прощения за свою проделку.

По утрам, как только звенел будильник, Рыжик прыгал ко мне на подушку и начинал теревить мои волосы и «укать» – вставай, мол, завтракать пора!

В ванной, пока я приводил себя в порядок, Рыжик вскакивал на полку под зеркалом и тоже прихорашивался: лапами умывал мордочку, чистил шёрстку, разглаживал хвост и уши – он тщательно следил за своей внешностью и потому всегда выглядел чистым и опрятным. Умываясь, Рыжик изредка посматривал на себя в зеркало. Почему-то ему не нравился «второй» бельчонок. Обычно, увидев его, он замирал, затем резко отворачивался, но раза два пытался царапнуть незнакомца.

Потом я выгуливал Мифа, а Рыжик нас терпеливо дожидался. Завтракали мы так: Рыжик у своего «дома», Миф на полу, я за столом. Рыжик первым съедал свой завтрак, подбегал ко мне и бил по руке – требовал чего-нибудь ещё.

Когда я приходил с работы, Рыжик не бежал, а летел мне навстречу. Он впрыгивал мне на колено и кругообразно, точно по дереву, бежал по мне до плеча. Усевшись на плечо, издавал ликующие «уканья» и гордо посматривал на Мифа, который крутился у моих ног.

По вечерам, если я работал за столом, Рыжик сидел рядом на торшере и занимался своими делами: что-нибудь грыз или комкал разные бумажки – делал из них шарики. Когда я работал, он мне не мешал, но если я смотрел телевизор, ни минуты не сидел спокойно. Носился по комнате, подкидывал свои бумажные шарики, рвал газету и разбрасывал клочья по полу, подскакивал то ко мне, то к Мифу, пытался нас расшевелить, затеять какую-нибудь игру.

Я смотрел на Рыжика, и мне было радостно от того, что у меня живёт такой весёлый зверёк. На работе случались неприятности, не раз я приходил домой в плохом настроении, но когда меня встречал Рыжик, настроение сразу повышалось.

С наступлением темноты Рыжик укладывался спать; из его «дома» слышались шорохи и скрипы – бельчонок взбивал подстилку. Спал он свернувшись клубком, уткнув мордочку в пушистый хвост, совсем как котёнок. Его выдавали только кисточки ушей.

Когда бельчонок подрос, он стал убегать из квартиры. Через форточку вылезал на балкон и по решёткам и кирпичной стене бежал наверх. С моего второго этажа он взбирался на четвёртый!

Каждый раз я со страхом следил за этими восхождениями Рыжика. Я боялся, что он сорвётся или залезет на крышу и потом не найдёт дорогу обратно. Но бельчонок всегда благополучно возвращался. К тому же он откликнулся на мой зов. Стоило крикнуть: «Рыжик! Рыжик!», как он мчал домой.

Я понимал, что Рыжик стал взрослым и ему необходимо общение с сородичами. Хотел было отнести его в лес, но подумал: «Прирученная домашняя белка вряд ли выживёт в лесу, не сможет прокормиться и погибнет».

Кто-то из мальчишек сообщил мне, что на соседней улице открылось детское кафе и там в витрине две белки крутят колесо. Я пришёл в это кафе, и заведующая охотно согласилась взять Рыжика.

– Втроём им будет веселее, – сказала.

А мне без Рыжика стало грустновато. Без него в квартире всё стало не то. Я уже не находил заначек, и на моём столе уже не лежали бумажные шарики, и на полу уже не валялись разорванные газеты. В квартире была чистота, всё лежало на своих местах, а мне не хватало беспорядка.

Особенно не по себе было по вечерам, если я не работал.

Миф тоже заскучал. Несколько дней ничего не ел, ходил из угла в угол, поскуливал.

Спустя полгода я как-то пришёл с работы, открыл дверь и вдруг из комнаты ко мне метнулась... белка! Она впрыгнула мне на колено, пронеслась по спине до плеча, затеребила мои волосы, «заукала»... Подбежал Миф, закрутился, залился радостным лаем, потянулся ко мне с сияющей мордой. Он так и хотел сказать: «Рыжик вернулся!»

МОИ ДРУЗЬЯ ЕЖАТА

Этих двух колючих зверьков мне подарили приятели на день рождения. У ежат были мягкие, светлые иголки, а на брюшках виднелась слабая шёрстка. Одного из них, юрко-го непоседу с узкой мордочкой и живым, бегающим взглядом, я назвал Остиком. Другого, медлительного толстяка с сонными глазами и косолапой походкой, – Ростиком.

Очувшись в квартире, Остик ничуть не растерялся и сразу отправился осматривать все закутки. К нему подбежал Миф, обнюхал. Остик тоже вытянул мордочку и задёргал носом. Он впервые видел собаку и, конечно, она ему показалась огромным зверем. Но Остик не испугался. Даже дотронулся носом до усов Мифа, а чтобы дотянуться, поставил свою маленькую лапку на лапу собаки. Миф оценил смелость Остика и легонько лизнул его тёмный нос.

Ростик так и остался сидеть на полу, на том месте, где я его положил. Он только обвёл взглядом комнату и, увидев Мифа, поднял иголки и съёжился. Потом ради любопытства всё же выглянул из-под иголок. Миф подошёл к нему знакомиться, а он ещё больше взъерошился.

С первых дней Остик проявлял завидные таланты: откликался на своё имя, меня узнавал по походке, а к незнакомым людям подходил осторожно и долго принюхивался.

Ростик стал откликаться гораздо позднее, а из людей узнавал только меня. Всех остальных делил на «хороших» и «плохих». Кто даст поесть – «хороший», кто не даст – «плохой». Хоть гладь его, хоть играй с ним, не даёшь – «плохой». А ел он и днём и ночью, и при этом всегда громко чмокал. Быстро своё съест, подходит к Остику и отталкивает его – пытается и у брата всё съесть. А ночью и миску Мифа подчищал.

Ростик ел всё подряд: мух, жуков, червей, супы и кисели, но больше всего любил манную кашу с изюмом. Наестся, долго зевает, потом уляжется спать, вытянув передние лапки и положив на них толстую мордочку. И задние лапки вытянет – сверху посмотришь – колючий комок, из-под которого торчат розовые «подушечки» с коготками. По-моему, и во сне Ростик что-то ел. Во всяком случае, заснув, снова начинал чмокать.

Остик был работяга и чистюля. Он исправно чистил свою «лежанку» в углу комнаты, то и дело приносил в неё дополнительные мягкие вещи: какую-нибудь тряпочку, перо, выпавшее из подушки. Остик быстро сообразил, что туалет только в одном месте – на фанерке с песком.

Ростик был отъявленный лентяй и грязнуля. Спать обычно залезал в мои ботинки, лужи оставлял где придётся. Ростик гонялся за мухами, пытался уколоть мой халат.

Они вообще были очень разные, эти ежата. И чем взрослей становились, тем больше различались их характеры. Остик обожал Мифа, постоянно ходил за ним и во всём подражал ему. Миф что-нибудь понюхает и потрогает лапой, и Остик проделывает то же самое. Миф подходит к миске, и Остик подбегает к своему блюдцу. Миф завалится спать, и Остик рядом пристраивается.

Особенно Остик подражал Мифу в играх. Миф начнёт подкидывать свою железную щётку, и Остик пытается подкинуть какую-нибудь бумажку. И если у него ничего не получается, злится, урчит, а если получается – танцует, радуется своему успеху.



Ростик побаивался Мифа и играть не любил. У него была только одна игра: ночью, когда все спят, затеять возню с Остиком. Они боролись, как котята. Ростик всё пытался навалиться на брата и куснуть его. Но ловкий Остик уворачивался и подбегал к спящему Мифу. Пёс для него был лучшим телохранителем.

Но в чём ежата были одинаковы – оба любили ласку. То один, то другой подходил ко мне, тёрся о ноги, просил погладить. Я гладил их мордочки и бока – проводил ладонью по уложенным иголкам. Если я гладил Остика, ко мне тут же подбегал Ростик, дул и тыкался носом в ладонь – не забывай, мол, и обо мне! Попробуй не погладь! Обидится и даже манную кашу есть не будет. Приходилось гладить ежей одновременно. При этом Ростик старался оттеснить брата, чтобы я гладил его одного. Тогда хитрый Остик вдруг подбегал к блюдцу и начинал нарочито громко чмокать. Он знал, чем можно отвлечь брата.

Простодушный Ростик, думая, что Остик ест что-то вкусное, тоже спешил к блюдцу. Он не простил бы себе, если бы кто-то съел больше его. Но пока Ростик разворачивался, подходил к блюдцу и распознавал обман, Остик быстро возвращался ко мне и уже получал поглаживания в «спокойной обстановке».

Как всегда, Миф спал у меня в ногах. Обычно он спал беспокойно: во сне брыкался, рычал, хрипел, стонал, поскуливал, но после наших долгих прогулок, надышавшись свежего воздуха, спал спокойно. Во сне улыбался и повививал хвостом.

А в первую же ночь меня разбудил Остик. Он, видите ли, тоже вздумал залезть на кровать и начал забираться на неё со стороны стены. Лапами цеплялся за одеяло, а иголками упирался в доски. Я проснулся от того, что кто-то с меня стаскивал одеяло и прямо около уха громко сопел. Открыл глаза – на подушку лезет Остик и радостно похрюкивает, доволен, что всё-таки добрался до меня. Уткнув мордочку в мою щёку, он засвидетельствовал свою любовь и по мне направился к Мифу.

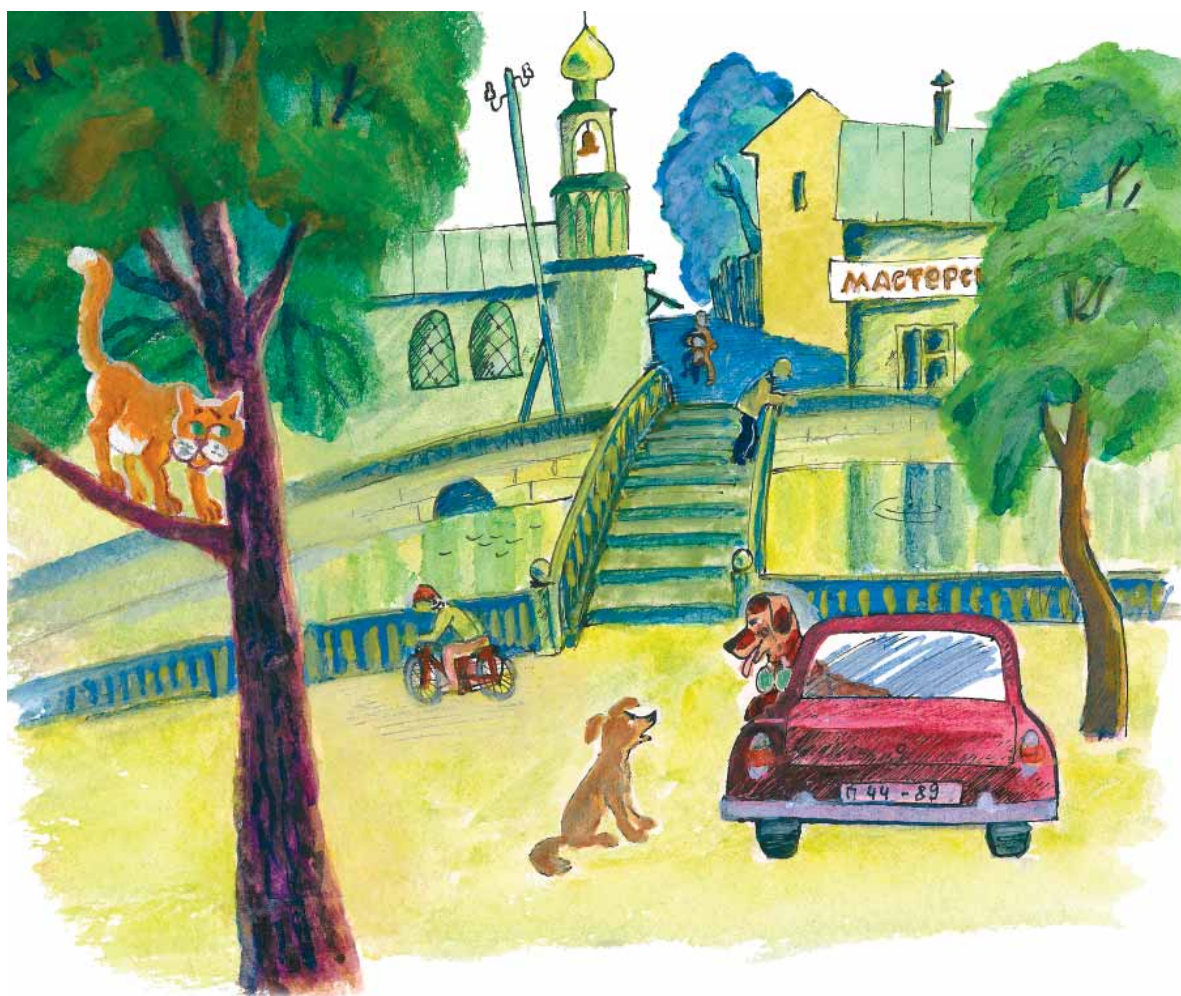
Но Миф не терпел, когда тревожили его сон. Вскочил и, недовольно бурча, отправился спать к двери.

ЗВЕРИНЕЦ В МОЕЙ КВАРТИРЕ

Конечно, зверинцу место на природе, а не в городской квартире, и когда-нибудь я займею дом на природе и переселюсь в него со своими зверятами. И у меня будет свой зоопарк. Этот зоопарк я представляю достаточно зримо: бревенчатый сруб под раскидистыми деревьями и вокруг на участке много кустарников, и среди них – навесы, домишки и мои разгуливающие зверята.

И что странно – я вижу всех своих зверят: и тех, с которыми живу сейчас, и тех, которые у меня были когда-то, и даже тех, которые, возможно, ещё будут. А пока мы неплохо уживаемся и в квартире. Мы – это пёс Миф и кот Паша, два ежа – Остик и Ростик, белка Рыжик, ворона Кузя, крольчиха Машка и я.

Мы жили вдвоём с Мифом, но однажды я подобрал в лесу раненого бельчонка. Принёс домой, выходил, и мы стали жить втроём.



Потом я приютил бездомного кота, которого голубятники поклялись убить будто бы за то, что он съел какого-то голубя-монаха. В квартире Паше больше всего нравится телевизор. Но не передачи, а сам тёплый корпус телевизора. Он любит на нём полежать, при этом сбивает накидку, чтобы расположиться с комфортом.

Ещё Паша любит «летать». Из форточки прыгает на дерево, с дерева на карниз каморки уборщицы, с карниза на землю. «Полетает», обойдёт близлежащие дворы, снова подходит к двери и мяукает.

Похоже, Пашины родители были потомственными помойщиками – его так и тянет к вёдрам, которые выносит уборщица. Можно подумать – ходит голодный. Конечно, особых деликатесов я не развожу – варю нам на всех большую кастрюлю каши с мясом. Короче, мы питаемся неплохо, просто Паше обязательно надо самому найти что-нибудь этакое, какой-нибудь рыбий хвост.

Как-то летом с соседнего дерева в моё открытое окно влетела ворона и неуклюже плюхнулась на стол. Смотрю – она волочит крыло. Видимо, ещё раньше, с дерева, она видела, как я лечил Рыжика, – у ворон острое зрение. И прилетела, чтобы я и ей помог.

Миф с Пашей хотели сразу прогнать ворону, но она улетела только после того, как я заклеил пластырем её крыло. А на следующий день прилетела снова и как ни в чём не бывало стала разгуливать на моём столе: перебирать карандаши, ластики, скрепки.

Так и повадилась прилетать каждый день. Все мы к ней как-то привыкли и не удивились, когда на зиму она вообще перебралась в квартиру.

Кузя любит всякие блестящие штучки. То и дело с улицы приносит осколки стёкол, фольгу, пуговицы, бусины. На моём столе целая гора этих «драгоценностей». И монет около рубля. Если так будет продолжаться, скоро я стану сказочно богат и наконец куплю дом на природе.

Но случается, Кузя таскает перстни и обручальные кольца – наверняка залетает в комнаты. Тогда мне приходится расклеивать объявления о «находках».

А однажды во дворе я увидел: Кузя тащит за хвост попугая. И где его нашла? Попугай верещит, а Кузя знай себе его тянет и всё пытается с ним взлететь. Я еле отбил у неё птаху. Попугай отряхнулся и полетел к соседнему дому. Кузя хотела было ринуться вдогонку, но я успел её схватить.

Кузя умная: в отличие от своих сородичей она сообразила, что бабочек можно и не ловить, а просто выклёвывать из радиаторов машин, куда они попадают. Обычно Кузя дремлет на форточке, но стоит к дому подъехать машине, как она срывается вниз. Ходит перед машиной, высматривает лакомство. Сразу не клюёт, ждёт, когда радиатор остынет.

Кузя талантливая: она умеет лаять, как Миф, мяукать, как Паша, и «укать», как Рыжик. Она повторяет некоторые мои слова и подпевает певцам, выступающим по телевизору.

В нашем доме живёт третьеклассник Дима, такой же любитель животных, как я. На лето Диму отправляют в деревню к бабушке. Однажды, вернувшись из деревни, Дима принёс мне крольчиху.

– Вот, – говорит, – возьмите в ваш зверинец.

– Дима! – говорю. – Ты же знаешь, у меня уже много животных, и крольчиху я взять никак не могу.

– Она необычная крольчиха, – говорит Дима. – Она умная. Представляете, в деревне живёт один дядька. Он разводит кроликов и шьёт из них шапки. Красивые такие кролики. Я им рвал молочай... Однажды я подкрался к загону и выпустил их всех. А там рядом лес. Я пригнал кроликов в лес. Там они стали есть траву. Я подумал, что спас их, а они, дурачки, вечером взяли и вернулись в загон. А эта крольчиха не вернулась. Она умная. Она стала жить на опушке. Я ей молочай приносил... Но бабушка сказала: «Зимой она погибнет, потому что не приучена жить в лесу».

– Да, верно, – согласился я. – Но почему ты не оставишь её у себя?

– Мамка не разрешает... Вы возьмите дня на два. Я кого-нибудь из ребят уговорю взять насовсем. А если ребята не возьмут, отвезу её на птичий рынок.

Несколько дней прожила у нас крольчиха. Мифу и Паше она сразу понравилась. Спокойно хрустает себе морковку. Съест, умывает мордочку лапами, разглаживает уши. Не трогает чужие игрушки, как Рыжик, и не прыгает по столу, как Кузя.

И вот смотрю, как-то вечером Миф с Пашей спят в обнимку, а к спине Мифа прижалась... крольчиха. Тоже спит. Спит на спине, вытянув длинные задние лапы. И я подумал: «Пусть останется. Ведь я уже приручил её, а, как известно, мы все в ответе за тех, кого приручили».

А на день рождения приятели подарили мне двух ежей, сказали, что в зверинце их явно не хватает, и пообещали для полной коллекции подарить крокодила. Но пока не достали.

Вот так и получился мой зверинец.

Я сильно привязался к своим питомцам. Теперь мне даже странно, как я мог жить без них.

Они отвечают мне преданностью и любовью. И главное, они любят меня всегда, независимо от моего настроения, независимо от моих неудач и успехов. Конечно, с ними хлопотно, но радости они дают гораздо больше. Когда мне грустновато, они утешают и взбадривают меня. Когда мне весело, они радуются так, что устраивают настоящее цирковое представление.

Квартира у меня обычная, размерами не отличается, но места нам хватает, и мы живём дружно.

Случаются и размолвки, не без этого. Бывает, Рыжик заиграется и порвёт занавески на окнах, или Ростик опрокинет миску с водой, или Кузя устроит кавардак на моём столе. Тогда я отчитываю шалунов за проделки, а Миф, как мой помощник и старожил в квартире, всячески поддерживает меня. Грозно смотрит на Рыжика, или бурчит на Ростика, или гавкает на Кузю – смотря кто провинился. Это он делает с невероятной готовностью и, по-моему, втайне доволен, что я кого-нибудь ругаю, ведь потом обязательно его похваляю:

– А ты, Миф, молодец! – скажу.

И мой верный помощник закрутится, расплывётся в улыбке, прекрасно понимая, что он-то отличается примерным поведением.

По вечерам, ожидая меня с работы, «братья меньшие» сидят у окна и всматриваются в тропу от автобусной остановки. Первым меня замечает Кузя. Она издаёт радостный клич, и все несутся к двери, и прислушиваются к шагам в коридоре, и нетерпеливо топчутся, поскуливают, повизгивают, посапывают. Я открываю дверь, и они бросаются ко мне, и каждый пытается меня лизнуть, потереть за руки, потереться о ноги.

Некоторые соседи считают, что в моём доме не всё в порядке. А я считаю, что у них не всё в порядке. У меня вдоль стен коробки-домики, кадка с фикусом, на окнах – цветники. Летом по квартире летают бабочки и запах от цветов, как на лугу. А у соседей всё завешано коврами, заставлено шкафами с хрусталём. У них всего лишь удобная красота, а у меня – живой многоликий мир. В их квартирах чистота и покой, а у меня по квартире разбросаны игрушки, бумажные шарики, палочки; с утра до вечера гомон, возня, урчание – играют мои зверята.



КОГДА Я БЫЛ МАЛЬЧИШКОЙ

СВЕРЧОК И СВЕТЛЯЧОК

Одно лето родители снимали комнату на подмосковной даче. Перед нашим окном в палисаднике было пиршество цветов, а высоких, спутанных трав произрастало такое множество, что казалось – в них войдёшь и исчезнешь навсегда.

Кто мне особенно нравился из обитателей палисадника – так это сверчок и светлячок. «Музыкант» и «фонарщик». Оба таинственные: кого бы я ни спрашивал, никто ничего толком о них не знал.

Каждое утро я просыпался от стрекотанья. Где-то под окном весёлый музыкант без усталости играл на разных инструментах. Когда стрекотанье становилось особенно громким, до звона в ушах, я был уверен – он крутит трещотку, а когда стрекот стихал и переходил в тонкое пиликание, мне казалось – он даёт концерт на скрипке.

Заслышав эти звуки, я вскакивал с кровати, вылезал через окно в палисадник и, раздвигая высокую траву, подползал к невидимому музыканту. Увлечённый игрой, он забывал про осторожность и подпускал меня совсем близко – играл где-то в травах прямо перед моим лицом, но где, я так и не мог разглядеть. «Фантастика! – думал я. – Музыкант-невидимка!»

Отец был в командировке и я спросил о сверчке у матери.

– Не знаю, не видела, – сказала она. – Говорят, он поселяется только у семейных людей, у одиноких почему-то не живёт.

Такая разборчивость сверчка сделала его ещё более загадочным.

Светлячка я представлял сторожем, который по ночам зажигает крохотный фонарик и освещает травы и цветы или летает и рисует в небе светящиеся зигзаги. Каждый вечер я подбегал к окну и вглядывался в зеленоватую темноту – всё хотел увидеть светлое пятнышко, но мне это никак не удавалось.

– Ну, а светлячок, – спросил я у матери, – он какой?

– Не видела, – сказала она. – Знаю только, что он живёт у дороги.

Это была вторая загадка, не менее сложная, чем первая. «Что за палисадник?! – думал я. – Сплошные загадки!»

Однажды поздно вечером, возвращаясь с рыбалки, я заблудился в перелеске. Долго ходил взад-вперёд, никак не мог отыскать тропу к посёлку, как вдруг заметил в траве синеватый огонёк, мерцавший, точно маленькая звёздочка. Подошёл ближе, нагнулся и увидел жучка со светящимся брюшком.

Взял его в руки и тут же чуть дальше заметил другого. Направился к этому второму жучку и внезапно заметил, что иду по тропе. Передо мной зажигался один светлячок за другим – целая россыпь огоньков освещала мне путь. Так и подошёл к дому по светящейся цепочке.

А через несколько дней из командировки вернулся отец, и стрекотавший под окном сверчок сразу перебрался к нам в дом – он оказался кузнечиком с длинными усами. Теперь целыми днями «музыкант» стрекотал и «дринькал» в комнате за шкафом.

– Почему сверчок живёт только у семейных людей? – спросил я у отца.

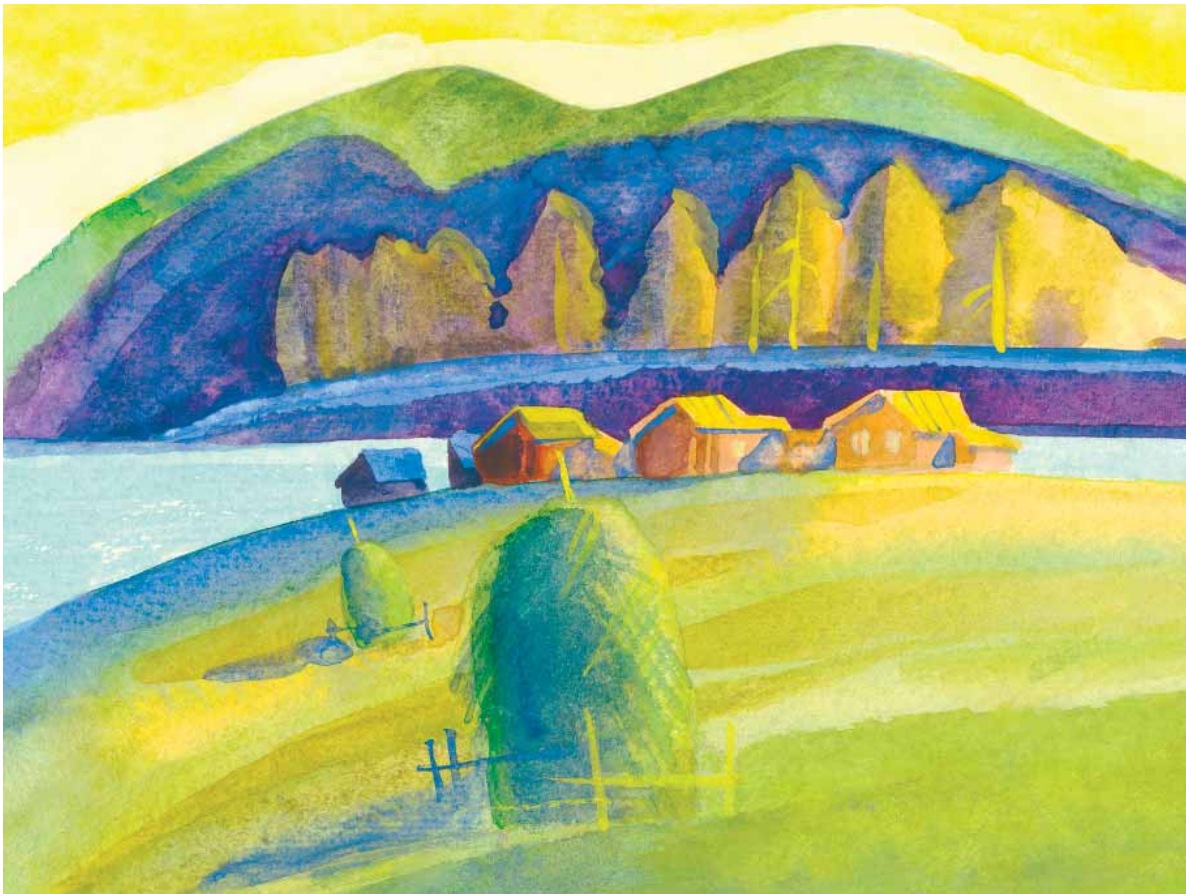
– Не в каждой семье, – засмеялся отец. – Только в семьях, где уют и покой, и во всём согласии. Ведь он музыкант, а для музыканта главное что? Хорошее настроение!

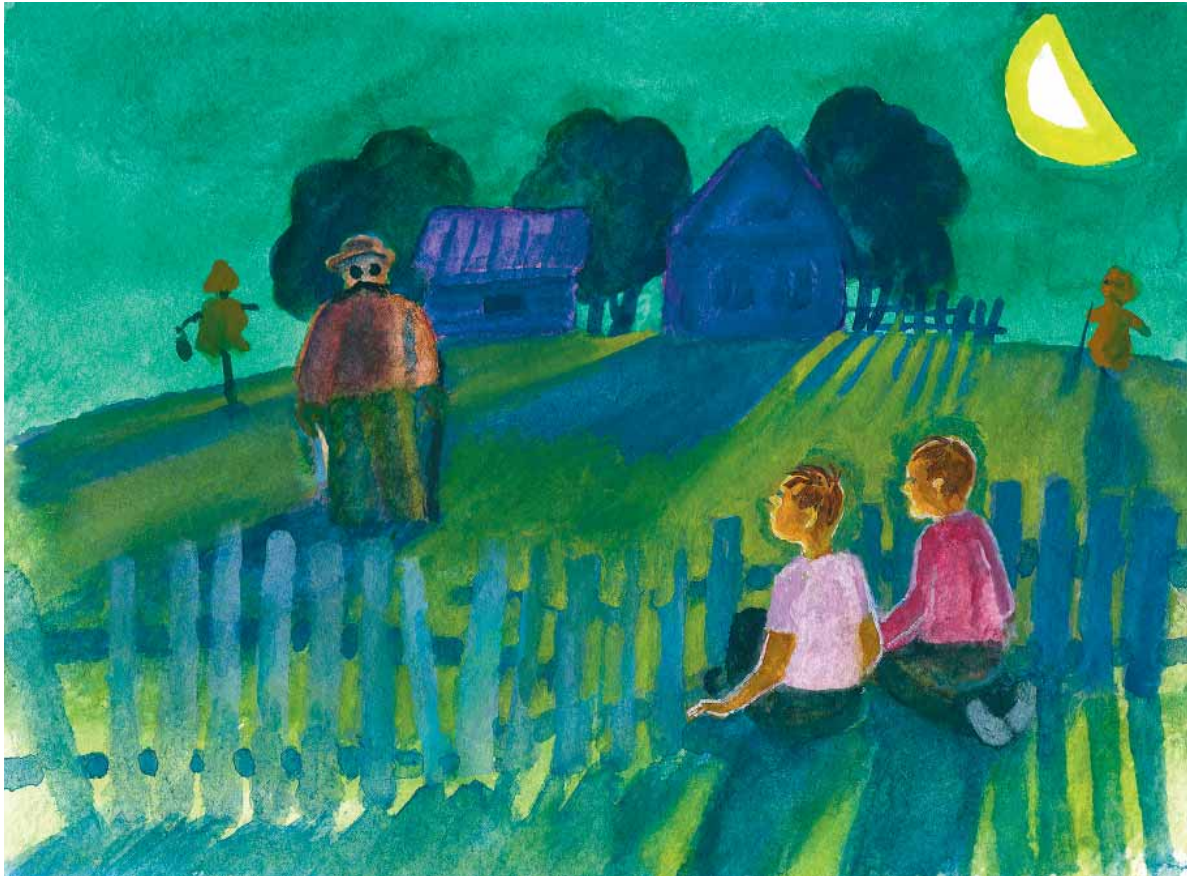
ПУГАЛО

Огородные пугала стояли во всех огородах. В сарафанах и ярких рубашках, с вёдрами, горшками и мисками на голове; в руках у них болтались бумажные вертушки, бутылки, консервные банки и разные склянки. Эти штуковины трещали и звенели, но птицы не обращали на них никакого внимания: летали где вздумается и клевали что хотели; некоторые даже садились на пугала и, как бы посмеиваясь над ними, чистили клюв.

Самое огромное пугало стояло в огороде Поляковых – оно напоминало разбойника: в драных широченных брюках, в лохмотьях от телогрейки и дырявой соломенной шляпе; на лице – наволочке, набитой опилками, – чернели глазищи-пуговицы и усы из шнурков; в руках палка – не пугало, а вылитый разбойник.

Таким же разбойником выглядел поселковый мальчишка Славка – конопатый, с растрёпанными, как мочалка, волосами, весь в царапинах и ссадинах. Целыми днями Славка шастал по посёлку в поисках приключений; за ним неотступно вышагивала его младшая сестра Алёнка. Когда Славка сбивал чужие яблоки, Алёнка стояла на стрёме и предупреждала об опасности.





Алёнка внешне была копия брата, и в ней тоже угадывались кое-какие разбойнические наклонности – то и дело показывала мне язык.

Ну а Славка с нами, дачниками, говорил насмешливо. Однажды сказал:

– Поляково пугало ночью по огороду бродит и гудит.

– Не верю! – сказал я.

– Заливай больше! – хмыкнул Вовка, тоже дачник.

– Не верьте, пожалста. – Славка разлёгся на траве и начал жевать травинку.

– Ты что, видел? – спросили мы с Вовкой.

– Если б не видел, не говорил. Вчера полез к ним за клубникой, а оно как бросится на меня! Еле удрал.

– Вот фрукт! – сказал Вовка. – Дурака валяет. Думает, мы маленькие.

– Не верьте, пожалста. – Славка пожал плечами. – Но лезть не советую.

– А мы нарочно слазим, – сказал я.

– Ну слазьте, слазьте, – усмехнулся Славка. – Я посмотрю, как вы драпака дадите.

– Не смей! – сказали мы с Вовкой. – Сегодня же ночью полезем.

– На спор? – Славка прищурился.

– На спор!

– Встретимся ночью у их сарая, идёт? – сказал Славка.

– Идёт, – ответил Вовка, а я кивнул.

С вечера мы с Вовкой забрались на наш сеновал. Стали ждать полночи. Ждали, ждали и не заметили, как уснули.

Проснулись от стука – кто-то бросал голыши в окно.

– Наверно, Славка зовёт, – вскочил Вовка.

Мы выглянули наружу, но Славку не увидели. Слезли с сеновала, обошли двор – никого не обнаружили. А вокруг темнота, и ветер какой-то, и в старицах шлёпают лягушки.

– Пойдём к поляковскому сараю. Может, он там, – предложил Вовка.

Ещё на сеновале, как только послышался стук, мне расхотелось идти к пугалу, а в этот момент – и подавно, но отговаривать Вовку я всё же не решился и, поёживаясь, проговорил:

– Пойдём.

Мы подошли к поляковскому сараю, но Славки и там не было.

– Дрыхнет, – сказал я.

– Может, он в огороде? – откликнулся Вовка.

Мы пролезли в дыру между изгородью и сараем, и очутились на грядках. Стало тихо. В глубине огорода чернело пугало.

– Пошли, – подтолкнул меня Вовка.

– Угу, – выдавил я.

Прижавшись друг к другу, мы стали подкрадываться. Внезапно я почувствовал, как Вовка дрожит.

– Ты что дрожишь? – прошептал он.

– Это ты дрожишь, – пробормотал я.

Дальше мы поползли, не отрывая глаз от пугала. С каждым ползком пугало увеличивалось; мы уже различали его глазищи и усы, слышали шелест лохмотьев, позвякивание бутылки... И вдруг – то ли мне показалось, то ли на самом деле, но неподвижный истукан качнулся. Я замер; по спине пробежали мурашки.

– Ты что? – шепнул Вовка.

– О-он шатнулся, – еле пролепетал я.

– Ты что, рехнулся? Я ничего... – Вовка недоговорил. Пугало явственно закачалось и вдруг... загудело, взмахнуло палкой и пошло на нас.

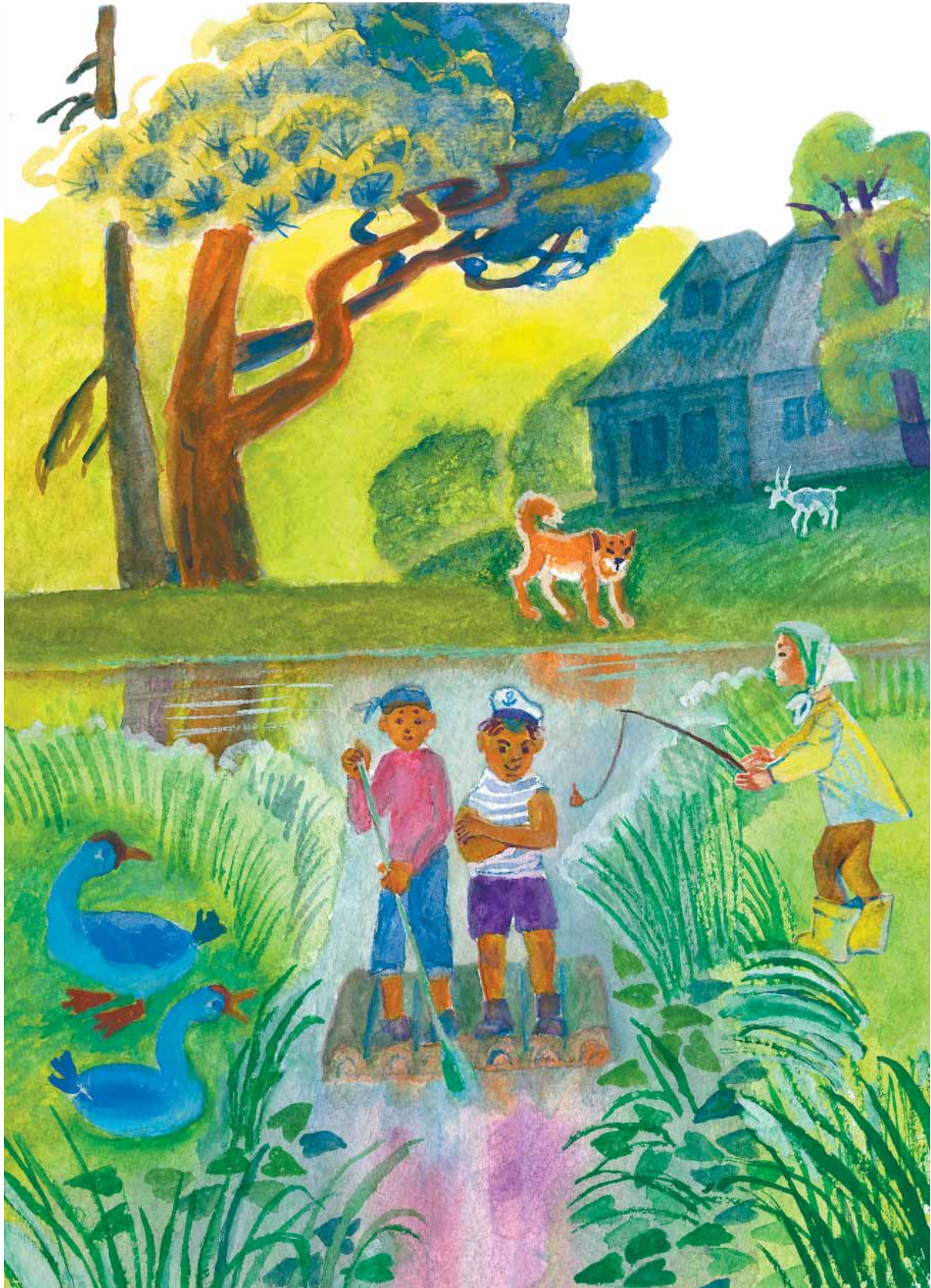
Мы заорали и бросились назад, к сараю. А оно за нами, и всё гудит. Вовка первым оказался у дыры, полез да застрял. Я пихнул его, но поскользнулся и упал. А пугало уже почти подбежало и занесло палку, чтобы огреть меня по голове, и вдруг как крикнет:

– Попались, голубчики!

И мы сразу узнали Славкин голос...

– Думаешь, мы испугались? – сказал Вовка, когда Славка вылез из пугала. – Дудки! Нам совсем не было страшно.

– Нисколечко! – добавил я, стряхивая землю и незаметно вытирая слёзы.



ВОДОЛЕЙЩИК

По вечерам все поливали огороды. Колонка находилась в центре посёлка; из неё била мощная струя. Колонку называли «водокачкой» и считали самым важным поселковым сооружением. От колонки к домам вели водоотводные канавы для стока, и в каждом саду была водоёмкая яма, чтобы не ходить с вёдрами на колонку и чтобы вода за день нагревалась.

Были и старые канавы с запрудами, от которых тянулись протоки в старицы, заросшие травой и затянутые тиной – царство тритонов, лягушек и водомеров. Две-три старицы имели большие размеры – в них мы купались и катались на плотах. Эти старицы служили водохранилищами на случай пожара.

Витька был смотрителем каналов-водоводов; то и дело углублял их русло, водомерным шестом измерял ямы, справедливо распределял водосброс, открывая одни и закрывая другие «шлюзы» на водоотливных рукавах. Это была ответственная работа; не зря Витьку уважительно называли водолейщик, а то и водовик, водовод.

Витька знал всё: какой канал водостойкий, водопадистый, какой водопойный, то есть слишком впитывающий воду; в какой яме вода синяя, в какой тёмная, в какой – ржавая, в какой «цветёт», то есть позеленела.

– Самое трудное после дождей, – объяснял Витька дачникам. – Тогда в ямах начинается наводнение. Приходится делать отводные каналы.

Многие взрослые считали, что из Витьки получится великий строитель каналов.

– Вы правы, но не вполне, – говорил дачник дядя Юра, который раньше служил на флоте, а последние годы работал на заводе. – Из него может получиться отличный моряк или водолаз, или спортсмен-пловец. У него совершенно отсутствует водобоязнь.

В самом деле Витька любил воду: с утра обходил свои владения, босиком шлёпал по каналам, вброд пересекал старицы; домой приходил мокрый, в тине и ряске. Витькина мать жаловалась посельчанам:

– У всех дети как дети, а у меня не сын, а водяной.

– Вы совершенно неправы, – говорил дачник дядя Юра. – Ваш сын занимается крайне важным делом, без него цветущие огороды совсем не цвели бы.

Два летних сезона Витька «работал» водолейщиком, но затем в посёлке провели водопровод и на участках установили краны; надобность в каналах отпала, вскоре они заросли травой, а ямы пересохли и осыпались.

Витька оказался не у дел, но он быстро нашёл себе новое занятие – его потянуло в небо. Он стал строить планеры, причём запускал свои летательные аппараты с деревьев: забирался на самую верхушку и запускал.

Посельчане почему-то не заметили нового увлечения Витьки и по-прежнему при встрече спрашивали:

– Как сегодня водичка? Тёплая или холодная? – при этом уже почему-то называли Витьку водовозом.

Некоторые интересовались:

– Когда станешь моряком, покатаешь на своей посудине?

Кое-кто заходил слишком далеко:

– Когда построишь канал-то, великий водный путь? Из Подмосковья в Европу? Хочется сплавать, посмотреть другие страны!

Витька отмалчивался, но чаще объяснял, что решил стать лётчиком. Этих поселчан на место ставил дядя Юра.

– Давно пора закончить эти водянистые разговоры, – говорил он. – Вы назначаете капитана на уже затонувший корабль. Всё в жизни течёт, всё меняется, как проточная вода. Я тоже был моряком, теперь – мастер на заводе. Почему водолейщик не может стать лётчиком? Отличным лётчиком или парашютистом. У этого паренька совершенно отсутствует боязнь высоты.

Напротив нашего палисадника через дорогу находился палисадник Васильковых. Братья Васильковы отчаянно палили в меня из деревянных пистолетов. Но ещё более отчаянно палила их сестра Ольга. Раза два она даже кинула в наш палисадник гранату – пакет с дорожной пылью. Ольга была предводителем армии Васильковых; братья выполняли все её приказы.

Я воевал с Васильковыми в одиночку, но мой пистолетный наган стрелял без промаха. Однажды я прицелился в Ольгу, но в это время как назло мимо шёл дачник дядя Юра. Я бахнул, и он вдруг.. упал. У меня по лицу прошёл жар, а внутри всё заледенело.

Я выбежал на дорогу, наклонился над дядей Юрой, а он не дышит. «Вот это да!» – мелькнуло в голове, меня охватило сильнейшее волнение.

– Дядь Юр! – зову. – Я же понарошку!

– Ничего не понарошку, – говорит он, не открывая глаз. – Убил ты меня наповал.

– А что же вы тогда разговариваете? – спрашиваю.

– Ещё не умер, умираю только, – дядя Юра поднялся, нахмурился. – Теперь твоя пуля надолго в моей душе... И когда только кончатся эти войны?! – отряхивая брюки, он направился к платформе.

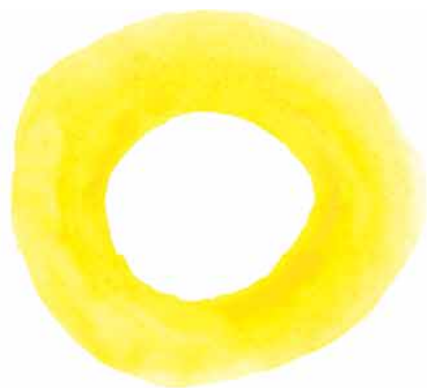
Ни к вечеру, ни на следующий день дядя Юра не появился. Мне стало тревожно не на шутку. Братья Васильковы пытались начать перестрелку, но я даже не посмотрел в их сторону. Обошёл весь посёлок и незаметно подкрался к дому дяди Юры, а в его палисаднике – Ольга; кормит печеньем Тумана, собаку дяди Юры, что-то ей говорит, почёсывает за ушами. Заметила меня и сказала:

– Дядя Юра притворщик. А Туман хороший. Хочешь, пойдём с ним гулять?

Мы пошли с Туманом по посёлку. Вскоре к нам присоединились Ольгины братья; они то и дело гладили собаку, а мне объясняли, что мать Тумана живёт в конуре у платформы, а его отец – в соседнем посёлке; днём гоняет ворон, а ночует на клумбе посреди посёлка.

К вечеру неожиданно появился дядя Юра. Увидев нас с Туманом, усмехнулся:

– Я смотрю тишина в посёлке, думаю – значит война кончилась. Наконец поживём спокойно.



АЛДАН

ИСТОРИЯ ОДНОГО ВЕРБЛЮДА



У меня есть старый друг – человек замечательный во всех отношениях. Он почти знаменитый чудак: живёт в трёхстенном доме – четвертую заменяет забор, по которому ползают орды муравьёв, но и те стены, что есть, сделаны из сухих веток тамариска – издали они не видны и кажется, что крыша висит в воздухе. «Моя пирамида», – называет своё жилище друг. Хорошо, что он живёт в Средней Азии, где всегда тепло – трудно представить такой дом в нашей средней полосе.

Внешне мой необыкновенный друг похож на разбойника: он вечно взлохмаченный, глаза выпучены, усы торчат, словно щётки; он носит бессменный костюм на пять размеров больше, чем надо, и никогда не знает, куда деть длинные руки, при ходьбе левой ногой наступает на правую – свою неуклюжесть и чудачества он довёл до совершенства. Ко всему, он курит самодельные папиросы, набивая их мелкоструганым пахучим сандаловым деревом, и вечно благоухает одеколоном.

Мой прекрасный друг десятикратный счастливчик, ему во всём везёт: выходит на улицу – прекращается дождь, направится к остановке – тут же подъезжает автобус; другие ждут полчаса, а он только подошёл – пожалуйста, транспорт к его услугам.

– Боюсь произносить желания, – признаётся мой справедливый друг, – они сбываются! Думаю, я обладаю мистическими силами.

Мой дорогой друг – высокодаровитый человек: мечтает разводить павлинов и выращивать гигантскую цветную капусту – с бочку. Но главное, мой друг любит животных и знает их повадки как никто другой. Это и неудивительно – он работает в зоопарке, правда, всего лишь сторожем, но ведь не место красит человека!

Однажды я получил письмо от моего незаурядного друга. Почерк у него жуткий – случилось, что-нибудь напишет, потом сам полчаса разбирает. Я в его письме разобрал только три слова: «...приезжай, хорошо отдохнёшь!» Забросив работу (я работаю «свободным художником»), я приехал в небольшой зелёный, цветущий городок.

– Ну, наконец-то объявился! – встретил меня закадычный друг, накрыл стол под оливковым деревом, перекрученным вокруг своей оси, заварил зелёный чай, добавив в него «царя среди трав» – корень женьшеня. За чаем друг сообщил нечто захватывающее:

– ...У нас весной была гроза, потом ударил мороз. Я замёрз на ходу и ненадолго превратился в статую...

Я не притворился, не сделал вид, что верю, и просто сказал:

– Это лучшая шутка года.

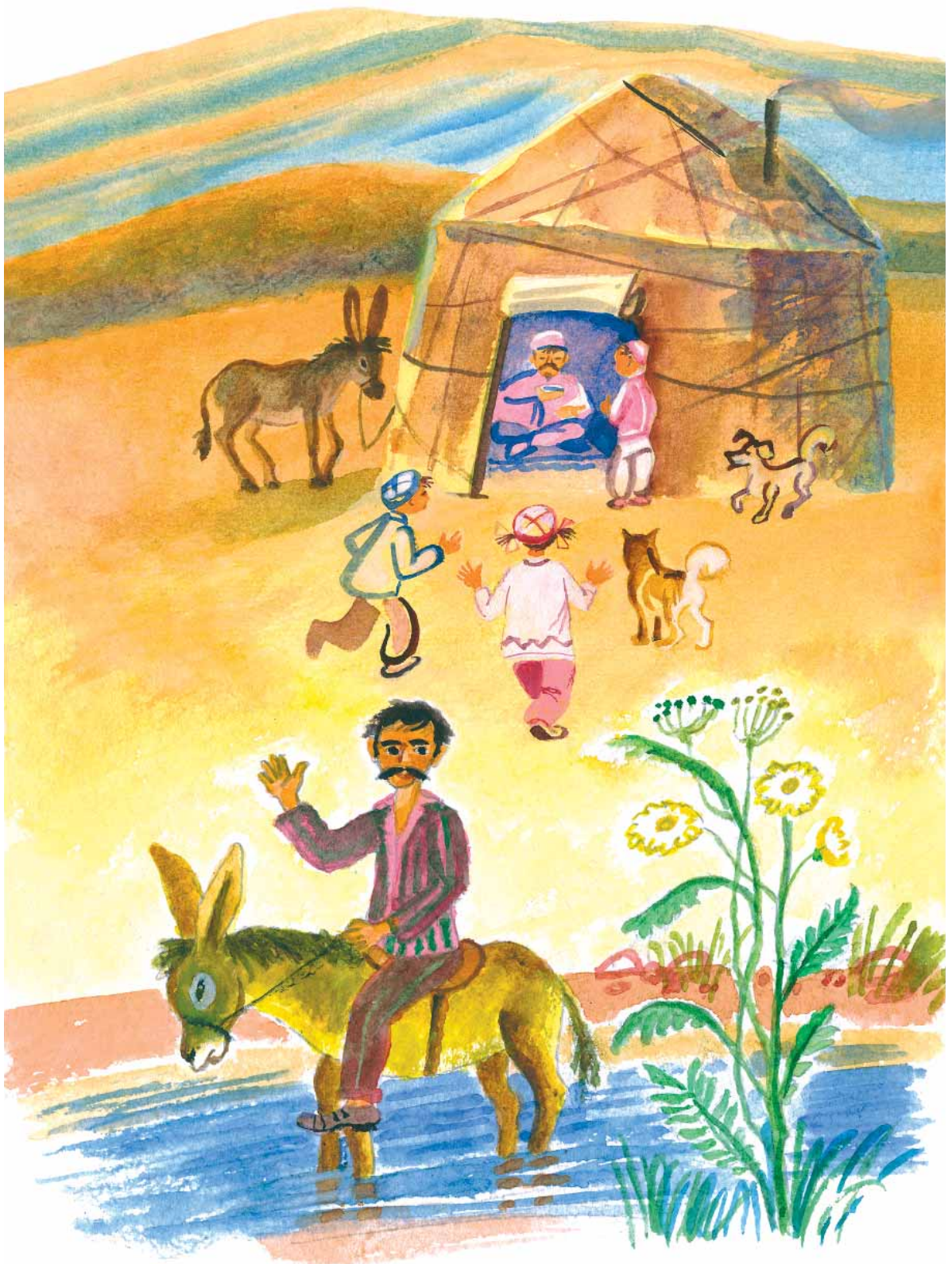
– А недавно было землетрясение, – храбро продолжал друг, не обращая внимания на мою реплику, – так на поверхность вышли реки, текущие под землёй. На моих глазах упал дом: балконы, карнизы отлетели, как щепки... Рядом с этой катастрофой гроза и мороз выглядят детскими хлопучками.

Я поёжился, а мой драгоценный друг посчитал своё выступление недостаточным и решил о землетрясении рассказать полнее:

– ...На кладбище гробы выскакивали из могил...

Тут уж я не выдержал:

– Твои ужасные слова погубят меня! Расскажи что-нибудь светлое, про красивый отрезок своей жизни! Сделай нашу беседу исторической!



Мой тактичный друг сразу переменял тему и высокаторжественно объявил:
– Самое светлое – в нашем посёлке появился Алдан, – с этими словами он вско-
чил и повёл меня смотреть «корабля пустыни».

Верблюд был очень старый: морда в морщинах и складках, ноги сбиты, шерсть облезла, только на горбах висели бурые клочья; он неподвижно стоял под деревьями, огромный, величественный; стоял с закрытыми глазами, тяжело дышал, раздувая ноздри, и жевал жвачку. Мой друг подошёл к верблюду, погладил по шее; исполин приоткрыл глаза, принюхался и, уловив знакомый запах, уткнул морду в полы пиджака моего друга.

– У Алдана необычная судьба, послушай! – друг закурил сандаловую папиросу и рассказал всю долгую жизнь Алдана.

...Его матери, игривой верблюдице, в мужья предназначался вожак верблюжьего стада – злой, надменный самец с чёрной шерстью и отвислыми губами. Так решили «уважаемые люди» городка, которые мало в чём смыслили, но во всё совали носы и командовали. В эту спаянную компанию входили: директор совхоза, капитан милиции, судья и ещё два-три крупных начальника.

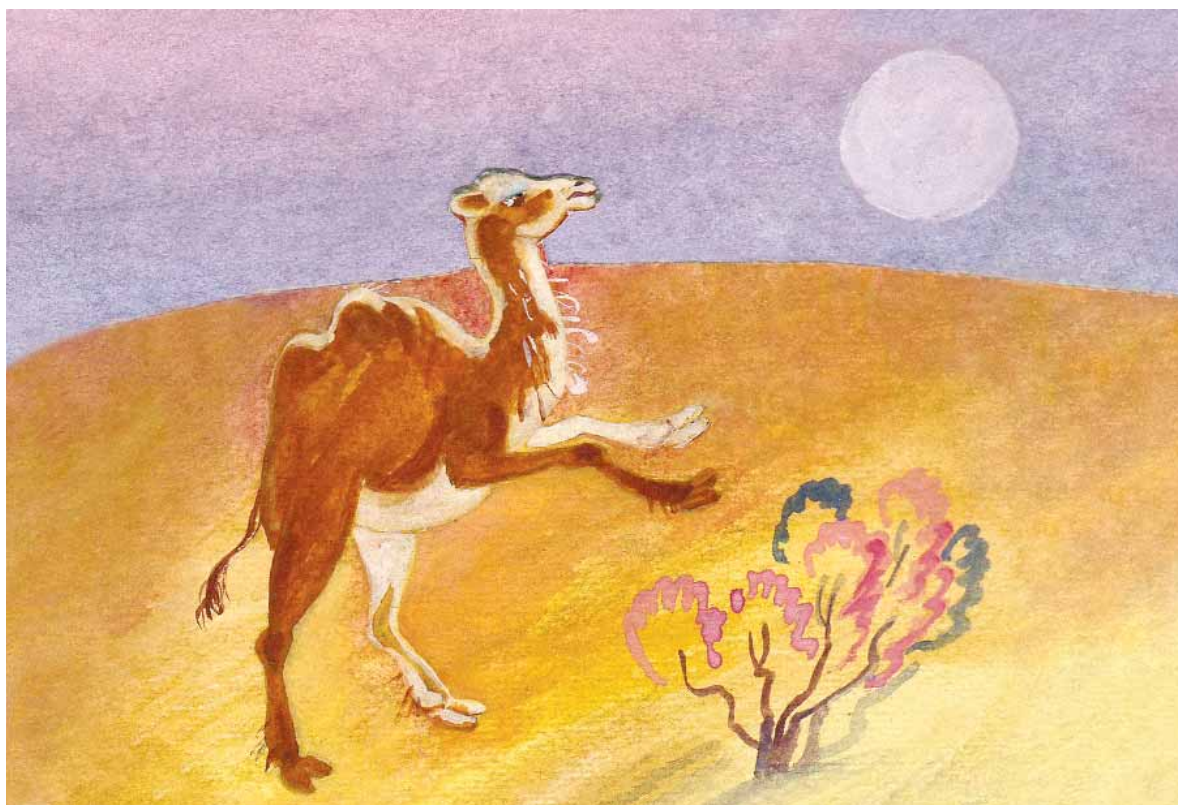
Но погонщик верблюдов, тонкий знаток своего дела, заметил, что игривую верблюдицу обхаживает молодой верблюд. Этот верблюд в караване то и дело выглядывал, высматривал будущую мать Алдана, а на привале ложился рядом с ней, вздыхал, тарасил на неё глаза, словно зачарованный, и целовал ноги своей избранницы. Он ухаживал за ней деликатно, старомодно, по-рыцарски. Мать Алдана отвечала ему взаимностью; на глазах всего стада влюблённые обвивали шеи друг друга. Погонщик их и свёл в один прекрасный день.

За самоуправный поступок «уважаемые люди» уволили погонщика, но на свет появился самый красивый и сильный верблюжонок из всех, каких видели в той местности. Известное дело – от любви и дети рождаются красивые, талантливые. (Кстати, тем погонщиком был мой талантливый друг в молодости. Талантливый – даже не то слово. Слабое слово. Непревзойдённый! Вот подходящее слово!)

Длинноногий, большеглазый с рыжей шёрсткой верблюжонок стал всеобщим любимцем. Веселяга и игрун, он унаследовал от матери лёгкий общительный характер, а от отца – терпеливость и выносливость. У него была одна особенность – когда он улыбался, на его щеках появлялись ямочки. Верблюжонок назвали Алдан. (Это имя придумал мой неиссякаемый на выдумки друг. Он же повесил на шею Алдана медный колокольчик, который верблюжонок носил с некоторым шиком.)

С раннего детства Алдана брали в многодневные переходы по степи; он шёл за матерью и никогда не хныкал от тягостей похода, только на привале дольше обычного пил материнское молоко – самое вкусное и полезное в мире. Когда Алдан подрос, у него появилась густая длинная шерсть, на ногах образовались мозолистые подошвы; сильный, резвый, на соревнованиях молодняка во время праздников он обгонял всех соперников.

– Это не корабль пустыни, это – смерч в пустыне! – восторженно восклицали зрители, в том числе и «уважаемые люди» (они начисто забыли, кому обязаны появлением Алдана на свет).



После победы на соревнованиях Алдан не задирает голову, как поступали некоторые победители до него, он просто стоял и улыбался, правда, при этом ямочки на его щеках превращались в ямы.

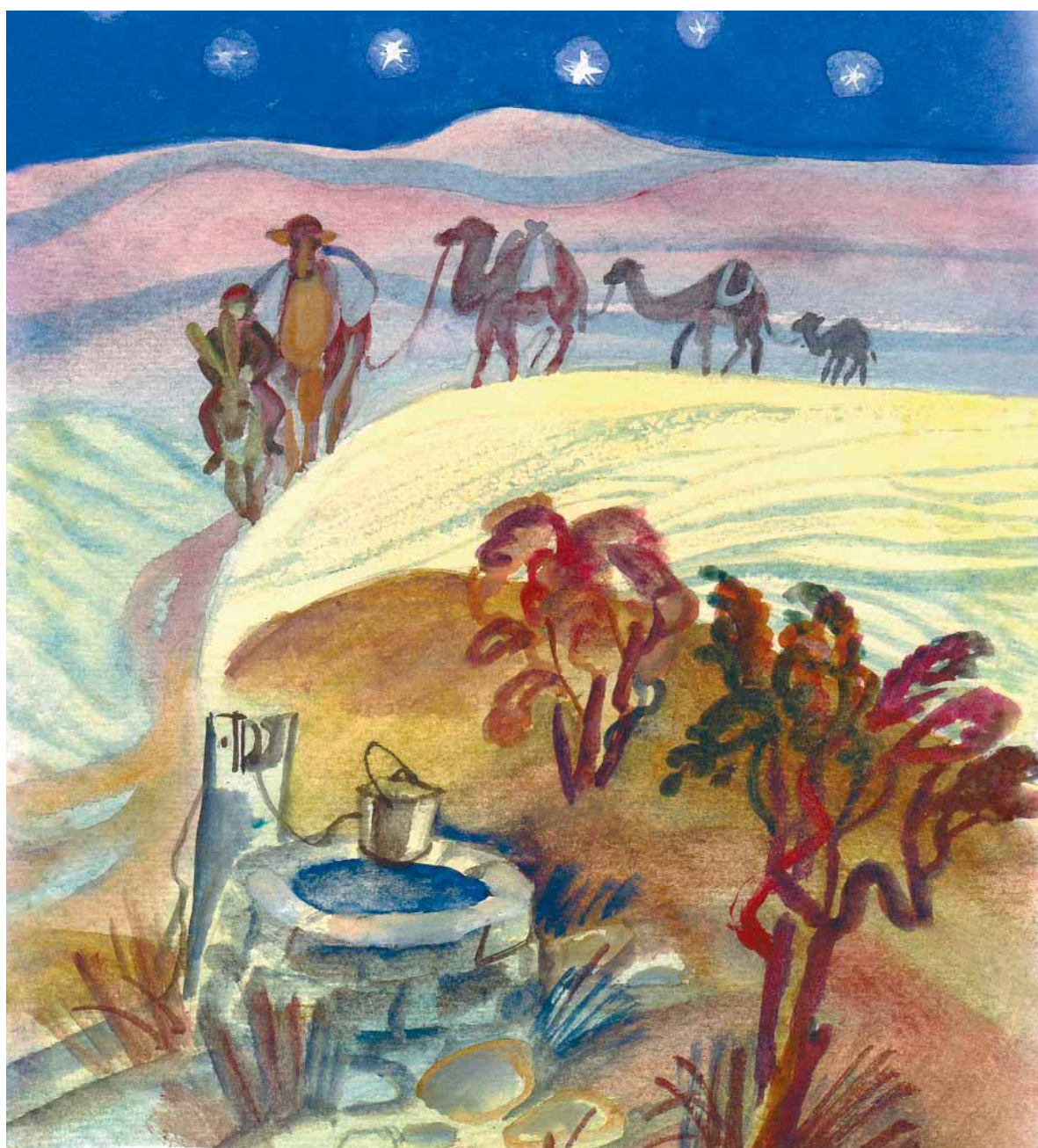
Наконец, наступил день, когда Алдана поставили в караван и доверили самостоятельно нести поклажу. Он очень гордился своей ношей, и когда на привале погонщики решили несколько облегчить его груз, замотал головой и даже плюнул (не в погонщиков, конечно, – в сторону). Алдан и в дальнейшем в этом вопросе проявлял строптивость. Когда стал совсем взрослым, мощным верблюдом, с массивным корпусом, когда таскал самые тяжёлые мешки, бывало, где-нибудь на водопое после привала ему пытались заменить груз, но он наотрез отказывался – хотел нести только то, что нёс. Во всём остальном Алдан оставался неприхотливым и послушным.

В это время у Алдана появилась ещё одна особенность – дружелюбное отношение к козлу. (Со слов моего всезнающего, мудрого друга, перед караваном шествует осёл, на нём едет один из погонщиков; но весной, когда в степи появляются скорпионы и фаланги, перед караваном пускают козла – у него иммунитет к яду насекомых, он их спокойно пожирает, как опавшие ягоды.) Так вот, почему-то большинство верблюдов относятся к козлу равнодушно, не понимают, кто их спасает от болезненных укусов, но Алдан понимал – в конце перехода непременно подходил к козлу и благодарно лизал в затылок.

В пятилетнем возрасте Алдан влюбился в молодую верблюдицу Зиган, холодную красавицу с гордой осанкой. Зиган не обращала на Алдана никакого внимания;

она вообще ни на кого не обращала внимания – была занята собой; только и знала, что любовалась своим отражением в лужах на водопое. Немного пощиплет полынь, солянку и скорее спешит к луже – прямо помешалась на своей красоте. Алдан остро переживал небрежное отношение Зиган, хотя и пытался скрыть свои чувства.

Но вскоре судьба повернулась к нему счастливой стороной. В тот день на бегах он в очередной раз выиграл приз и его отметили венком из верблюжьей колючки. Неожиданно и Зиган отметила победителя – подбежала к Алдану, поцеловала и тут же согласилась стать его подругой.



Через несколько лет Алдана забрали на озеро Арал – таскать рыболовные сети. Новые хозяева Алдана были грубыми людьми, меж собой общались посредством изобретательной полновесной ругани, и всю свою злость за тяжёлый труд вымещали на верблюде: когда он тянул из воды сети, лупили его палками. С утра до вечера без передышки работал Алдан; от верёвок шерсть на его боках вытерлась, ноги от воды распухли. По ночам, отлёживаясь под навесом, он зализывал раны и ссадины и тихо стонал. Теперь караван, погонщики и Зиган ему вспоминались как прекрасный сон.

Однажды поздней осенью на Арале появился торговец из далёкого сибирского города; при нём было шесть крикливо размалёванных чемоданов. Этот человек умел всё покупать и всё продавать, деньги были его страстью, денежные заботы не давали ему покоя.

Увидев Алдана, торговец быстро смекнул, что на энергичном напористом верблюде можно «погреть руки», как он выражался.

– Я дико извиняюсь, – сказал рыбакам, – но зачем вам этот больной верблюд?! Отдайте его мне... Ставлю ящик вина.

Рыбаки, не раздумывая, согласились.

Алдана повезли на Север в крытом грузовике, потом ещё в вагоне по «железке». Он не видел куда его везут, только чувствовал, что с каждым днём становится всё холоднее.

Наконец товарняк встал на окраине большого города, Алдана вывели из вагона и он впервые увидел снег.

Посмотреть на верблюда сбежалось полгорода, Алдан даже немного стушевался от такого внимания. (И в дальнейшем, за всё время пребывания в городе, Алдана сопровождала толпа зевак.)

Торговец решил продать Алдана в городской зоопарк, но заломил такую сумму, которая оказалась зоопарку не по карману – то пристанище животных вообще было крайне бедным и находилось в плачевном состоянии. Тогда торговец привёл Алдана в городской цирк.

– Я дико извиняюсь, – сказал директору цирка. – Готов вам для представлений продать верблюда, – и снова заломил баснословную сумму.

– Понимаете какая штука, – вежливо ответил директор цирка, – верблюд замечательное животное, но его надо готовить к выступлению с раннего возраста, а вашему уже не менее пятнадцати лет. Так что, тоже извиняюсь.

Неунывающий торговец немного приуныл и стал в голове перебирать другие варианты, куда повыгоднее пристроить верблюда – «урвать кусок», как он выражался. Он рассуждал примерно так: «Верблюд сильнее лошади, значит, может везти больший груз».

С этими мыслями торговец привёл Алдана на кирпичный завод.

На кирпичном заводе не успевали вывозить кирпич по причине отсутствия запасных частей для грузовиков, поэтому дирекция завода с радостью встретила предложение торговца.

– Опять же реклама нашей продукции, – сказали кирпичных дел мастера и купили Алдана, только за меньшую сумму, чем просил торговец.



Пять лет отработал Алдан на кирпичном заводе. Летом, задыхаясь от красной раскалённой пыли, возил тяжёлые телеги, зимой, под снегопадом и в метель – огромные сани-розвальни.

Не раз зимой Алдан простужался и болел, но и тогда продолжал работать. В конце концов кирпичный завод достал запасные части, починил грузовики, а Алдана перепродал в леспромхоз.

В леспромхозе верблюд оказался как нельзя кстати. На заготовке леса работало несколько лошадей – они лучше всяких тракторов меж пней и завалов тащили спиленные деревья из чащи к дороге. Тащили волоком связанные цепью два ствола. Алдан сразу же вывез четыре.

Вначале, после работы, Алдана вместе с лошадьми заводили в конюшню, но лошадям не нравилось такое соседство, жеребцы так и норовили куснуть Алдана – похоже, лошади завидовали его силе и побаивались, как бы их всех не заменили на верблюдов.

Тогда на ночь Алдана стали приводить в сарай, где стояла корова. Машка (так звали корову) довольно приветливо встретила Алдана – немного одичала от одиночества, к тому же она боялась мышей, а Алдан их совершенно не боялся и тем самым как бы успокаивал её, трусиху.

И хозяйка Машки обрадовалась новому пополнению. Но чего ей было не радоваться?! Во-первых, Алдану приносили сено и кое-что перепало Машке, во-вторых, в свободное время Алдан «помогал по хозяйству»: возил дрова, бочку с водой...

Слухи о том, что Алдана с Арала увезли в холодную Сибирь, пришли в цветущий городок запоздало.



Мой благородный, чуткий друг разволновался не на шутку, приехал на Арал и узнал от рыбаков о торговце. И написал ему письмо, в котором просил сообщить о судьбе Алдана.

Торговец ответил: «Судя по письму, ты – великий человек, а великий человек должен быть богатым. Готов дать информацию о местонахождении верблюда, но за определённую мизерную плату». В скобках стояла приличная сумма.

Мой щедрый друг выслал деньги, а получив адрес леспромхоза, направил телеграмму, что готов выкупить Алдана.

К этому времени Алдан уже постарел, его походка стала тяжёлой, по количеству вывозимых деревьев он сравнялся с молодыми лошадьми, а тут ещё на заготовку леса прислали японские тракторы, маленькие, юркие, грузоподъёмные. Короче, начальство леспромхоза выразило готовность продать Алдана, а заодно и лошадей. «Один верблюд – ни то ни сё, – говорилось в ответной телеграмме, – забирайте вместе с лошадьми, их всего пять штук, отдадим дёшево».

Мой добросердечный друг обратился за помощью к соседям и встретил ответную сердечную поддержку. «Нам нетрудно», – откликнулись соседи, и каждый принёс деньги, кто сколько мог.

Но ещё предстояло нанимать грузовик, оплачивать железную дорогу... И тогда мой отзывчивый друг продал свой дом, мебель и единственную ценность – старинный гобелен, фотография которого теперь украшает этот рассказ.

Таким образом, теперь мой великий друг живёт в ветхой лачуге. Впрочем, это его ничуть не огорчает.

– Главное, Алдан на заслуженном отдыхе, – ликует он и улыбается – так широко, что его усы из щёток превращаются в цветущие кусты саксаула.



Трава у нашего дома



Он был моим самым близким другом в детстве. Мы с ним проводили все дни напролёт. С утра обегали наши владения: поляну с небольшим болотцем и пружинящим деревянным настилом через низину, берёзовый перелесок, овраг, в котором струился ручей, и, наконец, бугор.

Мы влетали на бугор и останавливались передохнуть. С бугра открывался прекрасный вид на зелёный луг, по которому проходила железная дорога, и до самого горизонта поднимались и опускались телеграфные провода.

Каждое утро по железной дороге проносился скорый; он никогда не останавливался на нашем полустанке, мы и пассажиров не успевали рассмотреть – так, два-три лица, прильнувшие к стеклу, – но всё равно их провожали: я махал рукой, а Яшка кивал бородой.

Я сильно завидовал тем, кто мчал в поезде, мне тоже хотелось попутешествовать, побывать в разных городах.

А Яшка им совсем не завидовал: поезд скроется, и он спокойно пасётся на бугре, щиплет сочную траву, время от времени наполняя утреннюю тишину громким блеяньем.

Я ложился рядом с Яшкой, обнимал его за шею, делился с ним своими мечтами, и он всегда внимательно смотрел на меня зелёными глазами и слушал, правда, при этом не переставал жевать. Выслушает, качнёт головой, как бы говорит: «И куда тебя тянет? Здесь отлично, всего полно. Смотри, сколько ромашек! И чего их не лопаешь?».

В то послевоенное время мы жили в Заволжье, в небольшом посёлке, при эвакуированном из Москвы заводе, на котором работал отец. Семья у нас была большая и, сколько я помню, мы постоянно нуждались. Чтобы расплачиваться с долгами, отец с матерью каждую весну покупали месячного поросёнка, полгода его откармливали, а к зиме продавали.

Но однажды родители вернулись домой с пустыми руками – на поросят поднялись цены, – а через несколько дней отец принёс домой белого козлёнка. «На худой конец, и он сойдёт», – сказал.

Козлёнку было три недели, его тонкие ножки ещё разъезжались на полу, он жалобно блеял и мягкими губами тербил занавески – искал мать.

Первое время козлёнок сосал молоко из бутылки с соской и спал с нами, детьми, под тулупом на полу. Бывало, утром вскочит, наступит на руку острыми копытцами и заблеет – просит молока. Потом козлёнок стал есть всё подряд, всё, что мы ели, а как только на пригорках зазеленела молодая трава, мне, как старшему, отец поручил выводить его на прогулки.

С этого всё и началось. Мы с Яшкой (козлёнка называли Яшкой) привязались друг к другу; он ходил за мной, как собачонка, а я доверял ему все свои тайны. Там, на бугре, мы устраивали игры, бегали наперегонки, перескакивали через лужи и коряги, причём вначале Яшка вырывался вперёд, но скоро я настигал его, и некоторое время мы неслись рядом, а потом Яшка начинал сдавать. Тогда он резко останавливался и подпрыгивал на одном месте, как бы предлагая новый вариант игры. Здесь уж, естественно, первенство было за ним. Видя, как я неуклюже отрываюсь от земли, Яшка только ухмылялся и взлетал всё выше, временами даже зависал в воздухе и искоса посматривал на себя, любуясь своей ловкостью.

Под конец этот бахвалец на радостях брыкался задними ногами и трубил на всю окрестность о своей победе.

Ближе к лету Яшку переселили в пристройку, в которой обычно держали поросёнка. К этому времени Яшкина пушистая шёрстка превратилась в блестящие завитки, его взгляд стал более осмысленным, а на лбу появились бугорки. Пробивающиеся рожки чесались, и Яшка всё время лез ко мне бодаться. Припадал на передние ноги, качал головой – явно вызывал помериться силами. Я становился перед ним на корточки, и мы упирались лбами друг в друга.

Побеждали попеременно, и надо отдать Яшке должное: когда он наседали и я кубарем скатывался под уклон бугра, он никогда не подскакивал и не бил сбоку – ждал, пока я поднимусь и приму оборонительную позу. В нём было какое-то врождённое благородство.

Позднее, когда у Яшки появились рожки, случалось, он не рассчитывал свою силу, и тогда мы ссорились. Например, издаст предупредительный клич, разбежится, скакнёт и летит на меня наклонив башку. Я, конечно, отпрыгивал в сторону, и Яшка врезался в кусты, но, бывало, я не успевал увернуться, и Яшка больно бил меня в плечо. Тут уж я не выдерживал и тоже поддавал ему как следует.

Долго мы не дулись, Яшка первым подходил, клал голову на мои колени, виновато подёргивал хвостом и теребил ботинок копытцем: брось, мол, стоит ли ссориться из-за мелочей, ведь мы друзья! Такой ласковый был козлёнок.

В полдень я ненадолго оставлял Яшку одного: привязывал его верёвку к вбитому в землю колышку и шёл домой обедать. С обеда притаскивал ломоть хлеба, картошку, морковь – Яшка всё уминал, и мы спускались в посёлок.

Прежде всего подходили к сапожнику дяде Коле; я наблюдал за его работой, а Яшка дожидался капустной кочерыжки, которую дядя Коля всегда припасал для козлёнка.

Что меня больше всего поражало, так это умение дяди Коли по обуви угадывать наклонности хозяина. Подаст ему какая-нибудь старушка сбитый ботинок, а он посмотрит и скажет:

– Что внучок у вас – футболист?

И старушка сразу закивает:

– Житья от него нету. Отец только на обувь и работает. Вторые за месяц сбил... Да ещё штраф за разбитое окно заплатила...

Или принесёт какая-нибудь девчонка сандалии, дядя Коля проведёт пальцем по стёртым носкам и улыбнётся:

– Танцовщицей, наверно, хочешь стать?

И девчонка кивнёт, опустит глаза и покраснеет.

Дядя Коля мог определить, кто ходит прихрамывая, кто косолапит, кто ходит красиво.

Дядя Коля был низкорослым, худощавым, носил очки и при ходьбе сутулился. Он жил в старом доме с обшарпанными стенами, зато его яблоневый сад считался лучшим в посёлке. Сад огораживали высокие колья, похожие на гигантские карандаши. У широкой калитки, в которую свободно въезжал грузовик, спал огромный, как медведь, пёс Артур.

Такие внушительные бастионы и стражу дядя Коля завёл вовсе не для охраны фруктов – просто, как многие люди маленького роста, любил всё высокое. Под осень мы залезали в сад, трясли яблони, предварительно выманив Артура на улицу жмыхом – он ужасно его любил.

У Яшки с Артуром были вполне дружеские отношения: заметив козлёнка, пёс вставал, потягивался, приветливо размахивал хвостом, подходил вразвалку и покровительственно лизал Яшку большим шершавым языком. А иногда, в знак высшего расположения, притаскивал козлёнку обмусоленную кость. Конечно, не обходилось без размолвок.

Случалось, Яшка забывался и начинал объедать флоксы около дяди Колиного дома. Тогда Артур скалился и рычал, а Яшка сразу вставал на дыбы.

Дядя Коля всегда мне что-нибудь рассказывал. Чаще всего о том, как он будет жить, когда станет лесником.

– Вот выйду на пенсию, сад оставлю поселчанам, сам с Артуром переберусь на природу. У нас ведь здесь всё ж заводской посёлок, а я хочу жить поближе к земле, к зверью. Устроюсь куда-нибудь лесником на кордон, построю дом из ветвей и травы и крышу из хвои, буду приручать зверюшек...

Однажды мы с Яшкой подошли к дяде Коле. Он кивнул мне, кинул Яшке кочерыжку и стал молча подшивать валенок: прокалывал шилом дырочки и протягивал просмолённую дратву.

Подшив подошву, начал пробивать её деревянными гвоздями, чтобы лучше держалась, когда гвозди разбухнут. С полчаса работал и всё молчал. «Что ж такое случилось? – думаю. – Может, обиделся на нас с Яшкой за что?» А дядя Коля починил валенок и посмотрел на меня поверх очков:

- Давайними-ка ботинки.
- Зачем?
- Подбить надо. Того гляди, пальцы вылезут.
- У меня денег нет, – пробурчал я.
- Снимай, говорю! – нахмурился дядя Коля.

Я нагнулся, стал развязывать шнурки.

Починил дядя Коля мои ботинки, промазал краской, стали ботинки как новенькие. Надел их, а дядя Коля вздохнул:

– Был у меня такой вот сынишка, как ты... Да в войну умер от простуды. Так-то... Да... Всё мечтали мы с пацаном податься в лесничество, построить дом из ветвей и травы и крышу из хвои, приручать разных зверюшек...

От дядя Коли мы с Яшкой направлялись к Крокодилихе – так звали тётку Груню за то, что она свои владения от мальчишеских набегов огородила плотным забором и ещё установила дополнительный барьер – насажала репейник. В её палисаднике росло множество цветов: георгины, пионы, гвоздики, табак. Время от времени мы посылали в палисадник бумажных голубей с угрожающими записками, а по воскресеньям, когда тётка Груня уезжала в город, пролезали сквозь дыру в заборе, срывали головки цветов и, играя в войну, раздавали цветы как ордена. Георгин считался орденом Красной Звезды, пион – орденом Александра Невского, гвоздики и колокольчики – разными медалями.

Отмечали друг друга щедро: в петлицах наших рубашек красовалось столько наград, что позавидовал бы любой фронтовик.

После каждого воскресенья клумбы заметно редели. Обходя кусты, Крокодилиха только вздыхала и качала головой, а мы посмеивались и всё больше смелели – забирались в цветник и в будни по вечерам...

Около палисадника мы с Яшкой останавливались, находили лазейку, я срывал несколько бутонов, а Яшка, как бы невзначай, объедал пару георгинов – ему очень нравились эти яркие цветы.

Он вообще любил всё яркое: изумрудную траву у болотца и ромашки на бугре, красную колонку посреди посёлка, из которой всегда лилась струя, точно перекрученная стеклянная верёвка. Он подходил к колонке, почёсывал об неё бока, наклонялся к деревянному жёлобу и долго пил прохладную воду, бегущую среди гальки и тины. И красную тесьму Яшка предпочитал обычной поводку. А когда я раздобыл ему медный колокольчик, он перед всеми задирает голову и хвастался ярко-жёлтым украшением.

Однажды, когда Яшка уже сильно подрос, мы с ним пролезли в палисадник Крокодилихи; я стал тянуть какой-то венчик, а Яшка принялся за георгин. Внезапно перед нами возникла Крокодилиха. Яшка сразу сдрейфил и дал стрекача, рассыпая чёрные горошины, а я от страха онемел, даже не успел спрятать цветок за спину; нагнул голову и жду наказания. Но Крокодилиха неожиданно глубоко вздохнула:

– Что же ты делаешь? Я ж букеты в детский дом отвожу. Детишкам, у которых родители погибли на фронте, – она махнула рукой, подошла к калитке, распахнула её. – Зови своих дружков. Дорывайте!..

С того дня Крокодилиха снова стала тёткой Груней, и хотя калитка в её палисадник больше не запиралась, никто не сорвал ни одного цветка. Даже Яшка обходил палисадник стороной – такой сообразительный был козлёнок!



На окраине нашего посёлка пролегало шоссе – наполовину асфальтированная, наполовину мощёная дамба. По ту сторону дамбы находилась керосиновая лавка, каморка утильщика и мастерская по ремонту замков, примусов, патефонов и прочего. За мастерской начиналась городская свалка. Её называли городской, несмотря на то что город находился в пяти километрах от нашего посёлка.

Видимо, городские власти рассматривали наш посёлок как никчёмное место, годное лишь для хлама.

Мы с Яшкой любили ходить по свалке; я собирал старые журналы, разные бракованные детали, Яшка искал в основном огрызки овощей, но если ему попадалось что-нибудь несъедобное, но яркое, сразу звал меня.

После свалки подходили к мастерской и через открытую дверь наблюдали за работой мастера, молодого, вечно небритого мужчины с сиплым голосом.

Заметив нас, мастер обычно усмехался и отпускал какую-нибудь дурацкую шуточку, вроде такой:

– Ну что, подковать своего козла привёл? Всё одно коня из него не сделаешь. Козёл – он и есть козёл. И толку от него никакого.

После таких слов мы с Яшкой, не сговариваясь, поворачивали и уходили. Не знаю, как Яшка, а я вообще не подходил бы к мастеру, но уж очень хорошая у него была мастерская: на верстаке стояли тиски, на полках лежал слесарный инструмент, в углу виднелся маленький горн с мехами. Я всё мечтал, когда вырасту, тоже обзавестись подобной мастерской.

Как-то осенью у моего самодельного самоката треснула петля, а новых нигде не было. Пришлось выпрашивать у матери деньги на ремонт. Мать дала сорок копеек. Пришёл я к мастеру, попросил починить петлю.

Мастер мрачно посмотрел на меня – он сидел на лавке и паял чайник, – отложил работу и прохрипел:

– Это что, твой второй козёл? Ну, давай посмотрю... Э-э! Тут варить надо, стручок. Тащи на завод. А как ты думал? – он взглянул на меня. – Но можно и заклепать вообще-то. Заклепать, что ли?

Я кивнул.

– Ладно, посиди на улице, здесь не мешайся.

Через полчаса мастер поставил железную заплатку на трещину и прикрепил её заклёпками.

– Гони рубль, – сказал, толкнув самокат ко мне.

Я протянул монеты и покраснел:

– У меня только сорок копеек.

– Давай, завтра принесёшь остальные.

Выкатив самокат, я пересёк шоссе и пошёл к дому. Помнится, день был пасмурный, с утра накрапывал мелкий дождь.

«Где взять шестьдесят копеек? – соображал я. – Матери лучше не заикаться – не даст. Ждать до полочки отца долго». И вдруг вспомнил, что в книжном магазине напротив школы букинист покупает книги у населения.

Моя библиотека состояла из трёх книг, но у одной не хватало последней страницы, на другой виднелись чернильные пятна, третья – «Остров сокровищ», была в хорошем состоянии, но её я считал лучшей на свете. Долго я колебался, сдавать её или не сдавать, потом всё же решился. «Накоплю денег, снова куплю», – подумал и отправился в магазин.

Весь тот день Яшка сочувственно посматривал на меня, а когда я ушёл в магазин, то и дело выбегал на улицу, озирался и тревожно блеял – искал меня. Он любил меня по-настоящему и скучал, даже если я ненадолго оставлял его одного.

К тому времени Яшка уже вымахал с дяди Колиного Артура, но его сердце не очерствело.

На следующее утро денёк был отличный – всю сверкало солнце. Когда я бежал в мастерскую, в моём кармане гремело пятьдесят пять копеек.

– Вот деньги! – влетев к мастеру, задыхаясь, проговорил я. – Здесь не хватает пятака. Я вам завтра принесу. Мне мать даст на завтрак.

– Какие деньги? – просипел мастер.

– Вы вчера... чинили мой самокат...

– Ну и что?

– Я шестьдесят копеек должен...

– А-а! Это хорошо... Давай беги, купи папирос. И живо сюда!

Около нашего дома росла необыкновенная трава: высокая, упругая, ярко-зелёная, пахучая. Мы с Яшкой любили по вечерам полежать в траве, отдохнуть от дневных дел. Над нами трепетали бабочки, жужжали мухи, а перед глазами прыгали кузнечики, ползали изумрудные жуки... Я срывал травинки и жевал сочную горьковатую зелень. Яшка к траве только принимался, но никогда не щипал – сохранял для красоты. Такой умный был козлёнок!

На той траве у нашего дома я мечтал побыстрее вырасти, выучиться на инженера и поступить на отцовский завод.

И мечтал развести сад, такой же, как у дяди Коли, и цветник, подобный палисаднику тётки Груни, и мастерскую – вроде хибары мастера. И опять я доверял свои мечты Яшке.

Уставший за день Яшка слушал меня уже менее внимательно, а под конец вообще закрывал глаза.

К зиме Яшка превратился в могучего козла, с крепкими рогами и роскошной бородой. Характер у Яшки заметно испортился – он стал задиристый, лез ко всем животным в посёлке, даже приставал к Артуру и только меня любил по-прежнему.

Бывало, какой-нибудь мальчишка показывал мне кулак. Яшка тут же забегал вперёд, выставлял рога и бил копытом о землю – давал понять, что не даст меня в обиду.

Пока я был в школе, Яшка сидел в загоне около пристройки и вглядывался в дорогу – ждал меня, чтобы отправиться на бугор.

Я тоже скучал по Яшке: болтаться с ним по окрестностям мне было интереснее, чем зубрить разные формулы и спрягать глаголы. Учителя не понимали причин моей рассеянности на занятиях и частенько в дневнике писали родителям, что я просто лентяй. Отец с матерью только вздыхали.

Долго они оттягивали разговор о продаже Яшки. Но однажды вечером сквозь сон я услышал, как мать говорила отцу, что продать Яшку вряд ли удастся – она уже предлагала кое-кому на рынке, – что Яшку придётся забить и продавать мясо. Отец пыхтел папиросой и отмалчивался.

Надо сказать, отец был мягким, сентиментальным человеком, любил животных, цветы и грустную музыку. Жизнь крепко побила отца: он рано потерял родителей, с подросткового возраста работал на заводе, на фронте погибли все его друзья; он в одиночку тянул большую семью и жил в захолустье, далеко от родины.

В те годы наиболее предприимчивые из эвакуированных уже перебрались в Москву, а отец никуда не ходил и ничего не делал для того, чтобы вернуться на прежнее местожительство. Он был скромным, даже застенчивым человеком.

Мать была гораздо энергичнее. Она часто обвиняла отца в мягкотелости, сама ходила в дирекцию завода и в конце концов добилась своего – отца перевели на работу в Подмоскowie. Но это произошло не скоро.

В тот поздний вечер, когда решалась судьба Яшки, отец сказал матери:

– Давай не будем пока этого делать. Немного денег у нас есть, и я должен ещё в одном месте подработать, а попозже, ближе к Новому году... Там видно будет...

Зимой мы с Яшкой по-прежнему обегали наши любимые места и, как и летом, провозжали скорые поезда, а с бугра катались по накатанному склону: я на валенках, а Яшка на животе. Ему очень нравился снег. Бывало, даже купался в сугробах – перекатывался с боку на бок, задрал ноги. Как-то мастер увидел его за этим занятием и ухмыльнулся:

– Твой козёл совсем спятил. Забивать его пора, а вы с ним цацкаетесь.

После этих слов мы с Яшкой стали обходить мастерскую стороной.

Отец говорил, что, валяясь в снегу, Яшка чистит шерсть, но я-то знал – мой друг просто радовался зиме.

В морозные дни Яшку брали на ночь домой, и мы, как и раньше, спали с ним на полу в обнимку. Причём хитрец Яшка всё норовил занять лучшее место, у печки, из-за этого мы всегда долго укладывались – то я теснил его, то он меня.

До Нового года мать больше не заговаривала о Яшке, но я не раз замечал, как отец украдкой сидел с моим другом у пристройки, курил папиросу и поглаживал козла.

В середине зимы родители увязли в долгах, а тут ещё заболела моя сестра, нужно было хорошее питание, и мать твёрдо сказала отцу:

– Будь мужчиной! Думаешь, мне Яшку не жалко? Но чем отдавать долги? И чем кормить детей? Их здоровье мне дороже Яшки!

Отец долго молча курил, шмыгал носом, потом глубоко вздохнул и пообещал матери забить Яшку в субботу. Этот разговор я опять услышал случайно и в ту ночь долго не мог уснуть. Жизнь Яшки была в опасности, и я решил убежать с ним из дома.

На следующий день была пятница. Сразу после школы я обвязал Яшкину шею верёвкой, и мы с ним направились на наш бугор.

Ничего не подозревавший Яшка начал, как обычно, носиться, валяться в снегу, лез ко мне бодаться, но я быстро его пристегнул и потащил к железнодорожному полотну... Я задумал отсидеться с Яшкой на ближайшей станции, пока отец с матерью не найдут другой выход расплатиться с долгами.



Мы протопали километра два, как вдруг услышали сзади окрик отца, он бежал за нами, махал рукой.

Подойдя, отец снял шапку, вытер ладонью взмокшее лицо, закурил, глубоко затянулся.

– Понимаешь, – сказал, выпуская дым, – если бы мы с тобой жили вдвоём, мы как-нибудь перебились бы. Но ведь больна твоя сестра. Она не поправится без масла, молока... Да и долгов у нас полно... Яшку придётся...

Отец хотел сказать «забить», но у него не повернулся язык.

– Мы с тобой должны быть мужчинами, над нами уже все смеются, – то ли меня, то ли себя уговаривал отец. – Если хочешь, мы заведём собаку, – не очень уверенно добавил отец, прекрасно понимая, что никакая собака не заменит мне Яшки.

Назад мы плелись молча. Яшка всё понял – топал упираясь, насупившись. Я тоже еле ковылял и беззвучно ревел.

Утром отец куда-то ушёл и вернулся с длинным ножом из напильника. Пока отец затачивал нож на бруске, я зашёл в пристройку попрощаться с Яшкой. Он стоял, прижавшись к стене, подрагивал ногами, тревожно сопел и даже отказался от своего любимого лакомства – моркови. Он даже не посмотрел на меня, только покосился и отвернулся – как от предателя.

Когда отец вошёл к нему с ножом, он забился в угол и отчаянно заблеял... И вдруг подбежал к отцу и стал лизать ему руки.

Отец постоял в растерянности, потом бросил нож и, какой-то обмякший, пошёл к дому.

Мать пошла по соседям и вскоре вернулась с мастером. Он согласился убить Яшку не потому, что недолюбливал его, а просто мать пообещала ему заплатить. К тому же у мастера было охотничье ружьё, и мать справедливо решила, что так всё кончится быстрее, без всяких мучений для Яшки.

Когда мастер открыл дверь пристройки, Яшка ударил его рогами, вырвался во двор и стал метаться из стороны в сторону.

Мастер поймал конец верёвки и хотел привязать Яшку к забору, но с большим сильным козлом не так-то легко было справиться.

В конце концов мастер плюнул, бросил верёвку, вскинул ружьё и стал выжидать, когда Яшка на мгновение остановится.

Я отвернулся, заткнул уши... Потом услышал одновременно и выстрел, и рёв Яшки. Повернувшись, я увидел, что Яшка лежит на боку с открытыми глазами и неистово дёргает копытами.

Через секунду он вскочил и, припадая на передние ноги, пробежал несколько метров, разбрызгивая кровь по снегу, потом упал, и его забила дрожь... Эта дрожь становилась всё мельче, пока в Яшкиных глазах окончательно не угасла жизнь.

Моего Яшку убили на месте, где летом мы любили полежать, отдохнуть от наших будничных дел; на месте, где всегда росла высокая ярко-зелёная трава...

Я забыл сказать ещё об одном свойстве той травы: даже в самые жаркие дни она оставалась влажной, и какие бы мы с Яшкой ни были разгорячённые, какие бы обиды или радости не переполняли нас, когда мы ложились в траву, становилось прохладно и спокойно.

ДРУГИЕ РАССКАЗЫ О ДЕТСТВЕ



ДАВАЙ ДРУЖИТЬ!

Наш посёлок находился в двух километрах от окраины города, и с «городской» стороны его обрамляли лесопосадки – что-то вроде шумопоглощающей изгороди, но до нас всё равно доносилось немало звуков – правда, ослабленных.

С другой стороны посёлка лениво текла речушка Серебрянка, а за ней открывался незатейливый пейзаж: луга, перелески. Посельчане вели спокойный образ жизни, хозяйственные дела выполняли неспешно, добротны; в общении друг с другом были открыты и вежливы, только общаясь с горожанами, проявляли некоторую стеснительность, вызванную комплексом провинциалов – всё-таки горожане считались людьми более «цивилизованного мира».

Мы, подростки, по этому поводу никаких комплексов не испытывали, ведь с городскими ребятами учились в одной школе, а там ценилось не место проживания, а личные качества. Больше того, мы считали, что у нас в посёлке интересней, чем в городе – мы жили на природе, у нас были свои лесопосадки, своя речка, сады и огороды, где произрастали ягоды, овощи, фрукты, и мы лопали их сколько влезет.

Ко всему, кроме домашних животных, нас окружало множество всевозможной живности: от бабочек и стрекоз до сусликов и коршунов, которые кружили над посёлком – словом, у нас было то, что городские ребята видели только на картинках.

Конечно, нам приходилось пилить и колоть дрова, пропалывать и поливать огород, заготавливать на зиму корм для животных, но именно это – приобщение с детства к труду – помогло нам в дальнейшей жизни.

Поселковые ребята мало отличались друг от друга – как ни рассуждай, а среда делает людей во многом похожими, часто даже уравнивает особенности каждого. Но всё же один мальчишка выделялся из нашей команды.

Его звали Генка. Этот белобрысый остроносый мальчуган был нашим главным заводилой и выдумщиком: то придумает копать землянку, то строить шалаш из стеблей подсолнухов, то соорудить запруду на реке; а то и что-нибудь захватывающее – отправиться в «далёкое путешествие», оставив родителям записки, чтобы нас не ждали.

К сожалению, нам не удалось осуществить этот план – родители раскрыли его, как только мы начали тайно запасать продукты.

Но однажды одержимый непоседа Генка оказался в тени другого мальчишки. В один прекрасный день к нашим соседям на лето приехала семья москвичей, среди них был наш ровесник – Юрка.

Когда Юрка появился на улице, мы приняли его за иностранца, точнее, даже за инопланетянина: на нём была футболка с надписью на непонятном языке, светлые брюки с накладными карманами, на голове красовалась спортивная кепка с длинным козырьком, а на ногах – кеды, невиданная обувь для нас, босоногих.

К тому же Юрка употреблял какие-то странные словечки. Когда мы его окружили, он поднял большой палец и небрежно бросил:

– Клёвый у вас посёлок.

Мы поняли, что ему понравилось у нас, и стали наперебой расхваливать свою местность. Потом Вовка, самый маленький в нашей команде, пожирая Юрку глазами, робко предложил:

– Давай дружить!

– Давай! – кивнул Юрка. – Фронтально!

– Как это? – спросил Вовка.

– Ну, железно, – пояснил Юрка. – Ты что, совсем молекула?

– Что это? – разинул рот Вовка.

– Ну, малявка, ничего не сечёшь, – хмыкнул Юрка и объяснил, что молекула – невидимая частица.

Вперёд выступил Генка и несколько самоуверенно заявил:

– Мы всё сечём.

– Молоток! – похвалил Юрка. – Вижу, ты здесь доberman.

Генка смутился, не зная, что означает это слово. Мы тоже не знали, хотя и сделали вид, что знаем, но опять высунулся Вовка:

– Кто это?

– Клёвая собака. Порода такая, – важно изрёк Юрка и заносчиво добавил: – У меня в Москве живёт. Большой, сильный, фронтальный.

Понятно, рядом с разодетым всезнающим москвичом Генка выглядел не доbermanом, а пуделем, а мы и вовсе дворняжками.

Тем не менее меткие словечки Юрки – меткие и острые, как стрелы из лука – нам понравились и с того дня мы так и звали Вовку – Молекула, а Генку – Доbermanом. Они страшно гордились новыми прозвищами.

В тот первый день «нашей дружбы» Юрка после обеда вышел на улицу и снова ошеломил нас – достал из брючных карманов вещи, о которых мы могли только мечтать: перочинный ножик с десятью предметами, пистолет, стреляющий водой, сигнальный фонарик, который светил красным и синим светом. Выставив напоказ свои драгоценности, Юрка безразлично обронил:

– Можем клёво поиграть в это, – он протянул нам свои сокровища.

Мы выхватывали его вещи друг у друга, рассматривали их, гладили, присвистывали и причмокивали от восторга...

До вечера мы играли «в ножички», набирали в пистолет воду из пожарных бочек и «стреляли», а с наступлением темноты, попеременно посвечивая фонариком, привели Юрку в один из наших лучших шалашей на окраине посёлка – там у нас всегда имелся запас овощей, яблок и груш.

– Фронтальная хижина! – произнёс Юрка, когда мы влезли в шалаш и развалились на сладко пахнущей сухой листве. – У нас в Москве квартира недалеко от Кремля, в окно фронтально видно звёзды на башнях, ночью они светятся – клёво!

Мы с завистью уставились на Юрку, а он, уминая плоды садов и огородов, продолжал нас удивлять:

– В Москве полно машин и площади побольше, чем весь ваш посёлок. Фронтально! И мосты длинные, как отсюда до города. И дома огромные, под сто этажей... На улицах парады физкультурников – клёво!

Мы слушали Юрку и глотали слюни, представляя яркий, захватывающий мир, где жизнь бурлила, как вечный карнавал...

А нас окружала тишина. Эта тишина давила, вселяла уныние – наш посёлок вдруг стал маленьким и жалким, а вся наша жизнь – совсем не такой интересной, какой казалась раньше.

Похоже, Юрка задался целью пришибить нас своим немислимым богатством: на следующий день, кроме ножика, пистолета и фонарика, он вынес из дома то, что мы вообще никогда не видели – авторучку и ракетки с воланом.

Авторучкой мы стали расписываться на заборах, столбах, пожарных бочках, а волан подкидывали до тех пор, пока он не залетел в печную трубу.

В тот же день мы водили Юрку по окрестностям посёлка, показывали норы сусликов на лугу, кусты орешника в перелеске – показывали без особого энтузиазма, догадываясь, что для столичного гостя всё это малоинтересно.

Единственно, чем мы собирались Юрку поразить, это нашей главной достопримечательностью – речкой Серебрянкой.

Но неожиданно наша любимая Серебрянка не произвела на Юрку никакого впечатления. Рассматривая норы и орешник, он время от времени поднимал большой палец, а увидев речку, вяло протянул:

– Ничего особенного. В Москве фронтальная Москва-река. Там клёвые лодочные станции, купальни, вышки...

Нам стало обидно за нашу Серебрянку, Генка даже шепнул мне:

– Много из себя строит этот Юрка.

В то лето мы ежедневно ходили на речку купаться, и все, кроме Вовки, уже научились держаться на воде; правда, мы плавали вдоль берега и не больше двух метров – «не хватало дыхания».

Юрка тоже стал ходить с нами на речку, но так – за компанию, с явным безразличием; и на речке ни разу не разделся, не окунулся в воду. Пока мы осваивали «собачий» стиль, он шастал по берегу, разглядывал коряги, ракушки или что-то выводил на песке перочинным ножиком, или набирал воды в пистолет и обдавал нас тонкой струёй. Своим поведением он давал понять, что после просторов московской реки ему скучно плескаться в какой-то невзрачной речушке.

Его равнодушное отношение к нашей Серебрянке нешуточно задевало нас – можно сказать, даже оскорбляло. Как-то Генка зло процедил:

– Все городские ребята завидуют, что у нас есть Серебрянка, а этот только и хвастает своей московской рекой. Давай завтра его столкнём в воду!

На следующий день мы отправились на речку вчетвером: Юрка, Генка, Вовка и я.

Обычно мы купались на песчаной отмели – там был пологий спуск к речке и глубина чуть больше метра. А перед отмелью начинался глубокий тёмный бочажок.

Как только мы подошли к нему, Генка подмигнул мне и кивнул на идущего сзади Юрку. Мы остановились, чтобы подождать его и столкнуть в глубину, но вдруг произошло непредвиденное.

Сто раз мы проходили то место без всяких происшествий, но в тот день Вовка поскользнулся и упал в воду, и сразу стал тонуть; он отчаянно шлёпал по воде руками, его голова то исчезала, то вновь появлялась над водой.

От страха мы с Генкой застыли на месте. И вдруг к Вовке бросился Юрка, прыгнул в воду как был – в одежде. Вначале он весь ушёл под воду, потом вынырнул, но подплыть к Вовке почему-то никак не мог, барахтался на одном месте, задрал голову и глотая воздух. А в метре от него Вовка уже совсем выбился из сил – на поверхности воды оставалась только его макушка, и было видно, как под водой он продолжает двигать руками, но уже медленно, еле-еле.

– Ищи палку! – скомандовал Генка.

Мы забежали по берегу, нашли длинную корягу и, протянув её Юрке, закричали:

– Хватай Молекулу! Он за твоей спиной!

Юрка успел схватить Вовку одной рукой, другой вцепился в корягу; с немалым трудом мы выволокли их на берег.

Вовка ещё долго лежал на песке, откашливался, выплёвывал воду, а когда окончательно пришёл в себя, разревелся.

Юрка лишь упал на колени, но его руки тряслись, а губы дрожали.

– Спа-асибо, что выта-ащили, – сбивчиво пробормотал он, и неожиданно, вслед за Вовкой, стал всхлипывать: – Я тоже... не умею пла-авать.

Через неделю родители увозили Юрку в Москву.

Накануне отъезда он попрощался с нами и каждому подарил одну из своих бесценных вещей. Генке вручил пистолет, Вовке – перочинный ножик, мне – сигнальный фонарик. Его подарок я храню до сих пор – он подаёт мне сигналы из детства.



ТАЙНА

Подростковый возраст – замечательное время, когда зарождается первая влюблённость, когда пустяковые, по мнению взрослых, переживания достигают такого накала, что порой переходят в серьёзную болезнь.

Понятно, ведь загадочное чувство возникает впервые и потому всё воспринимается особенно остро: каждый взгляд полон значения, каждое прикосновение имеет важный смысл, не говоря уж о словах – они могут поднять в небо или сразить наповал.

Наш маленький посёлок, как каждое место, где прошло детство и отрочество, навсегда остался для меня дорогим. Помню точно – тот тихий мирок я считал самым лучшим на свете, и до десяти лет мне не было никакого дела, что где-то есть огромный шумный мир.

В посёлке имелось всё для мальчишеского счастья. Перед нашими домами росли высоченные берёзы, на их нижних ветвях мы устраивали качели, а на верхних – «жилище Тарзана». С одной стороны за посёлком простирался луг с петляющими тропами к городской окраине. На лугу мы запускали змея, играли в футбол.

С другой стороны к домам примыкал заросший кустарником овраг, на дне которого протекала мелководная речушка; большую часть её русла заполняли коряги с бурой гнилью, но попадались и чистые бочаги с песчаными отмелями – местами наших купаний. На противоположной стороне оврага начиналось редколесье, где были грибные поляны, малинники и россыпи земляники.

Посреди самого посёлка стояла колонка, от которой бежал ручей в пожарный водоём – в нём летом мы катались на плоту, а зимой гоняли на коньках.

Ко всему, наши дома окружали сады и огороды – то есть фруктов, овощей и ягод мы ели сколько влезет.

Ну а с общением нам повезло особенно – нас, мальчишек десяти-двенадцати лет, было семь человек, а девчонок-однолеток всего три, что нас вполне устраивало, поскольку в том возрасте мы считали девчонок никчёмным сословием. Например, когда мы всей нашей смешанной ватагой строили шалаши, девчонкам отводили роль всего лишь подсобных рабочих – они что-нибудь подавали и поддерживали, а во время футбольного матча ставили их вратарями.

У наших девчонок были обычные имена и они, естественно, имели прозвища: Ленку Козлову звали Коза, любительницу сладких плюшек Катьку Запольскую – Плюшка, тихоню Машку Полякову – Мышка.

Коза и Плюшка участвовали во всех наших играх, в том числе и в войну, и не пропускали ни одной вылазки в лес, и даже забирались в «жилище Тарзана». Как и мы, они ходили в синяках и ссадинах.

Мышка избегала наших игр. Она вообще не отличалась общительностью, с девчонками дружила, а нас, мальчишек, вроде и не замечала. Бывало, играем в футбол, Коза с Плюшкой, само собой, – в «воротах», а Мышка безучастно наблюдает за игрой или вообще сидит на склоне оврага и читает книгу.

Но именно Мышка однажды сделала наше времяпрепровождение «более интеллектуальным».

Обычно с наступлением темноты мы всей командой сидели на брёвнах и болтали о пустяках. Однажды Мышка предложила новую игру «в слова»: кто-нибудь называл первое пришедшее на ум слово, сидящий рядом называл слово, которое начиналось на последнюю букву предыдущего слова, и так далее.

Чтобы усложнить игру, Мышка придумывала определённую тему: например, «предметы» или «животные». Побеждал тот, кто произносил последнее слово, после которого всеобщий словарный запас иссякал. Как ни странно, в большинстве случаев побеждали девчонки, чаще всех – начитанная Мышка. Как только все смолкали, не в силах вспомнить ничего подходящего, она тут же спокойно выдавала нужное слово. Однажды и я, будучи в ударе, вышел в «финал» и некоторое время пикировался с Мышкой на равных, но всё-таки мне выиграть не удалось.

После этого поединка я разозлился на Мышку и, когда мы расходились, подошёл к ней и процедил:

– Много строишь из себя, воображала! А в футбол с нами слабо играть?!

Мышка поджала губы:

– Сам воображала! Футболист называется! Я видела, как ты по мячу мажешь!

Это обвинение просто взбесило меня, я готов был треснуть её по голове, но сдержался и только бросил:

– Дура!

– Сам дурак! – хмыкнула Мышка и ушла задрав нос. Тихоня Машка оказалась зубастой Мышкой, даже Крысой.

Знать бы мне тогда, что нередко крепкая дружба и даже любовь начинаются с жёсткого противоборства. Но я не знал, и не упускал случая нагрубить строптивой девчонке. Она отвечала мне злыми насмешками. Так продолжалось, пока мы не повзрослели – всего на два года, но наши отношения круто изменились.

Как-то мы с Мышкой оказались у колонки – оба с вёдрами пришли за водой. Пока наливалась вода, я молчал, ждал от «Крысы» очередной колкости, но она вдруг кивнула на забор, увитый усами тыквы, и сказала:

– Тыква – моё любимое растение. Такие большие жёлтые граммофоны. И вначале за ними только маленькие шарики, но с каждым днём они растут и превращаются в огромные шары. Прямо чудо!

– Я люблю пшённую кашу с тыквой, – буркнул я.

– Я тоже люблю, – тихо проронила Мышка. – И жареные тыквенные семечки тоже.

Так, на любви к тыкве, мы и помирились. Со временем наше примирение переросло в дружбу.

А повзрослевшие Коза с Плюшкой в один прекрасный день заявили, что больше не будут играть в футбол, и демонстративно вышли из «ворот» в самый разгар матча. На все наши уговоры Коза тянула:

– Надоело. Неинтересно. И потом болят руки и ноги.

Плюшка высказывалась ещё жёстче:

– Футбол – глупая игра.

А буквально через неделю «бывшие вратари» со значением объявили, что придумали себе новые имена – Изольда и Виолетта, и потребовали называть их «по-новому». Экзотические имена звучали, как музыка, но мы долго не могли к ним привыкнуть, то и дело срывались на привычные прозвища, чем вызывали гнев наших новоиспечённых «королев» – так их в шутку назвала Мышка.

– Хотите стать королевами, – усмехнулась она. – А мне и моё имя нравится.

Вместе с новыми именами «королевы», как и положено, изменились и внешне: Ленка-Коза-Изольда стала украшать себя искусственными цветами, а Катя-ка-Плюшка-Виолетта закручивала около ушей волосы в некие спирали – Мышка их называла «завлекалки». Но главное, каким-то странным образом эти красотишки вовлекли нас в новую игру, точнее – ввели в нашу забаву «со словами» романтический уклон.

Игра называлась «Садовник» и заключалась в том, что каждый выбирал какой-нибудь цветок и во время игры был не Вовкой и Сашкой, а, например, Ландышем и Колокольчиком. Ведущий – «Садовник», после слов «все цветы мне надоели, кроме...» – называл один из цветов; тот откликнулся и переадресовывал свой выбор другому цветку, и так далее. Было очевидно – если кто-либо постоянно выбирает один и тот же цветок, он испытывает тайную симпатию к этому игроку.

Чаще всего ребята становились цветами, которые росли в наших палисадниках: пионами, георгинами, ирисами. Изольда непременно была лилией, а Виолетта – розой. Мышка, конечно же, – цветком тыквы, а я – репейником (мне нравились эти колючие лиловые цветы).

И вот однажды я замечаю, что Виолетта-роза всё время выбирает репейник и при этом как-то загадочно смотрит на меня. Понятно, игру Виолетты заметил не только я, и ребята начали хихикать. Мышка даже фыркнула и вышла из игры.

Спустя несколько дней мы с Виолеттой столкнулись на городской окраине у продмага, куда меня мать послала за продуктами. Я только вышел из магазина, как она появилась неизвестно откуда, в её руках был букет васильков.

– Вот сейчас один молодой человек подарил, – пояснила она, кивнув на цветы.

Мне было совершенно всё равно, кто чего ей подарил, но она продолжила:

– Он сказал: «Вы такая красивая»... А ты как считаешь? – она кокетливо трянула «завлекалками».

А я никак не считал. Некоторые ребята уже проявляли кое-какой интерес к Изольде и Виолетте, но для меня они были всего лишь товарищами, ну ещё бывшими игроками футбольной команды, к тому же – самыми худшими. Естественно, на её вопрос я просто пожал плечами и пробубнил что-то невнятное.

– Ничего ты не понимаешь, – скривилась Виолетта и направилась к посёлку.

Но, видимо, моя небрежность всё же задела её, она решила доказать мне, тупоумному, что является не только красивой, но и «необыкновенной».

На следующий день я зашёл к Мышке за книгой, которую она обещала дать мне почитать. Мышка с Изольдой и Виолеттой сидели на скамье в палисаднике и, щёлкая тыквенные семечки, что-то обсуждали. Не успел я открыть калитку, как Виолетта вскочила со скамьи:

– Ну, что я сказала?! Сейчас он придёт! И точно! У меня волшебное чутьё, могу даже угадать, что произойдёт завтра!

Я подивился способностям Виолетты, а Мышка хмыкнула и пригласила меня в дом:

– Пойдём, дам тебе книгу.

Сняв книгу с полки, Мышка вдруг сказала:

– Всё Плюшка выдумывает, она увидела тебя ещё издали... И васильки ей никто не дарил, она сама в этом призналась...

Я мало что понял из всех этих «штучек» Виолетты. Понял одно – она просто морочит мне голову. Но вскоре Виолетта по-настоящему поразила всех нас. Как-то «на дровах» она вдруг заговорила с Изольдой... на «иностранным языке».

– На-бас ши-бас маль-бас чиш-бас ки-бас ду-бас ра-бас ки-бас, – произнесла Виолетта.

– Ду-бас ра-бас ки-бас, – откликнулась Изольда и обе «иностранки» рассмеялись.



Это было впечатляющее выступление, мы все оцепенели, разинув рты. Загадочные фразы сразу возвысили Виолетту и Изольду над нами. Стало ясно – они знают такое, что нам и не снилось.

– Мы изучили один очень трудный иностранный язык, – пояснила Виолетта нам, ошарашенным.

Но внезапно Мышка повернулась к «иностранкам» и проговорила:

– У-бас нас-бас в-бас клас-бас се-бас так-бас дав-бас но-бас го-бас во-бас рят-бас, – и, повернувшись к нам, «перевела»: – У нас в классе так давно говорят. Никакой это не иностранный, это тарабарский язык. Надо просто к слогам прибавлять «бас».

Уже через час мы все освоили «новый язык» и чуть ли не до полуночи изъяснялись исключительно «по-тарабарски». И в последующие дни продолжали коверкать наш «великий и могучий» язык.

Только Мышка говорила «нормально». И всё реже участвовала в наших сборищах – всем своим видом она давала понять, что ей надоели наши игры, что ей попросту неинтересно с нами.

Зато Виолетта с Изольдой чувствовали себя героинями нашей компании. Они «тарабарили» без умолку, а Виолетта ещё и пела какие-то весёлые мелодии, и ужасно жалела, что мы не можем устроить «танцы под радиолу».

Похоже, она не понимала, что её партнеры ещё недоросли до танцев, а такие, как я, и вовсе презирали всякие «танцульки».

Как-то при встрече Виолетта сказала мне:

– На-бас до-бас по-бас го-бас во-бас рить-бас. Встре-бас тим-бас ся-бас ве-бас че-бас ром-бас у-бас ов-бас ра-бас га-бас, – и чтобы до меня дошла вся важность предстоящей встречи, прошептала на «чисто русском»: – Но это тайна, никому ничего не говори.

Меня охватило любопытство и некоторое смятение – какую тайну собиралась сообщить Виолетта, я никак не мог предположить. Около часа в беспокойном ожидании я ходил взад-вперёд вдоль оврага. Наконец, показалась «носительница тайны». Подошла и, глядя мне прямо в глаза, спешно выпалила:

– Ты-бас мне-бас нра-бас вишь-бас ся-бас.

Я растерялся от такого признания, стоял и тупо пялился на Виолетту. А она вдруг приблизилась и еле слышно выговорила:

– По-бас це-бас луй-бас ме-бас ня-бас!

Наверняка со стороны такая просьба, высказанная «по-тарабарски», выглядела смешно, но мне было не до смеха, я струсил так, что у меня затряслись ноги. Не знаю, откуда появились силы, но я припустился к дому, словно заяц, за которым гнались собаки.

С того дня Виолетта стала обходить меня стороной. Я тоже не стремился общаться с ней, но однажды всё же спросил:

– Так про какую тайну ты хотела сказать?

СЧАСТЛИВЕЦ С НАШЕЙ УЛИЦЫ

Я отчётливо его помню. Он жил в конце нашей улицы. Бывало, идёт по тротуару, высокий, стройный, в гимнастёрке, перетянутой портупеей, с планшеткой, перекинутой через плечо, в пилотке, небрежно, с некоторым шиком, сдвинутой набок, в новеньких скрипучих сапогах. Идёт и насвистывает модный мотивчик, со всеми здоровается, вскидывая руку к пилотке, и улыбается, приветливо и дружелюбно – улыбка, как нельзя лучше, выражала его приподнятое состояние.

Когда он шёл по нашей улице, мы, мальчишки, стонали от зависти, а девушки застывали в тихом восторге.

Его имя было Ростислав, но все звали его Ростик. Мы знали о нём всё: он закончил лётное училище и служит в части на окраине нашего городка, живёт с матерью-старушкой, у него есть девушка – по воскресеньям он гуляет с ней в парке и фотографирует её «лейкой», он играет в защите местной футбольной команды «Крылья Советов», любит музыку и курит папиросы «Казбек».

Мы считали его невероятным счастливецом и торопили время, чтобы скорее вырасти и тоже стать лётчиками.

В то предвоенное время на нашем аэродроме базировались самолёты И-2, которые назывались АДД – авиацией дальнего действия... Мы прибегали к закрытой зоне аэродрома, ложились на бугор и часами смотрели, как за колючей проволокой механики готовили машины к полёту, как по лётному полю снова-ли бензозаправщики, а с бетонной полосы на тренировочные полёты то и дело с рёвом взлетали бомбардировщики. Мы знали их по номерам, и, когда взлетал экипаж Ростика, нас охватывал безудержный восторг, мы вскакивали и с криками бежали вдоль изгороди вслед за улетающим самолётом.

Иногда по вечерам Ростик появлялся на улице; мы сразу окружали его, чуть не висли на нём, а он с неизменной улыбкой, по-взрослому, здоровался с каждым из нас за руку и называл «орлята»...

Присядет на скамью, достанет папиросу, постучит ею о пачку, выбивая осыпавшийся табак, закурит и радостно скажет: «Прекрасный вечер!» Или: «Прекрасная погода!» Или: «Сегодня прекрасно поработали!»

«Прекрасно» было его любимым словом. И наш городок был для него прекрасным, и на прекрасных самолётах он летал, и его девушка Аня была самой прекрасной на свете – неслучайно он столько её фотографировал!

Ростик рассказывал нам о скоростных истребителях и о самом большом в мире самолёте «Максим Горький», об испытателях парашютов, о перелётах Чкалова и о спасении челюскинцев.

Рассказывал увлечённо, с жаром, так, что нас начинала бить дрожь... Потом вдруг встанет, одёрнет гимнастёрку:

– Ну я пошёл!.. А для вас есть прекрасное задание – научиться делать планеры и закаляться как сталь. Сами понимаете – авиации нужны сильные и отважные парни...

Мы не пропускали ни одного матча команды «Крылья Советов». Особенно болели за Ростика, для нас он был лучшим защитником в мире. Даже когда «Крылышкам» забивали голы, мы не видели промахов своего кумира, просто считали, что вратарь «шляпа», и уж, конечно, не замечали мастерства соперников.

Однажды в воскресенье, направляясь с Аней в парк, Ростик пригласил и нас «покататься на карусели и сфотографироваться» – сделать, как он сказал, «прекрасный групповой портрет на память».

Кажется, это был его последний снимок, и мне думается, он сделал его неспроста, предчувствуя долгую разлуку.

Мы получились смешно: горстка замызганных сорванцов вокруг Ани в ослепительно белом платье; у нас – напряжённые позы, вытаращенные глаза, вымученные улыбки, а Аня, точно фея, – одного из нас обнимает за плечи, другого держит за руку – стоит непринуждённо и улыбается фотографирующему нас Ростик. До сих пор я храню тот снимок как бесценную вещь, как лучшее напоминание того безмятежного времени и... как свою боль.

В начале войны завод, на котором работал отец, демонтировали и отправили за Волгу. Вместе с заводом эвакуировали семьи рабочих. Собирались второпях, брали с собой самые необходимые вещи; грузились в старые, продуваемые товарные вагоны, которые точно в насмешку называли «теплушками».

Наш товарняк тянулся медленно, подолгу простаивал на запасных путях, пропуская воинские эшелоны, спешившие на запад.

В одном вагоне с нашей семьёй ехала Елена Николаевна, мать Ростика, и Аня с родителями. Елена Николаевна, сгорбленная старушка с усталым лицом, закутавшись в плед, сидела около печурки-«буржуйки», которая стояла посреди вагона, и рассказывала Ане о сыне. Аня выпрашивала у Елены Николаевны всяческие подробности из жизни Ростика до их знакомства, а после разговора забиралась на полку и рассматривала фотографии своего возлюбленного. Посмотрев фотокарточки, она перевязывала их бечёвкой и прятала в чемодан. Я был уверен – эти снимки представляли для неё единственную настоящую ценность из всего утлого скарба её родителей...

Глядя на Аню, я испытывал романтическое любопытство к тайной связи между нею и Ростиком, ощущал себя причастным к великой любви.

Наш состав прибыл в Заволжье в конце лета. От железнодорожной станции до рабочего посёлка, где нам предстояло жить, семьи и заводское оборудование перевозили на грузовиках по расхлябанной, размытой дороге, среди чёрных от дождей построек и жухлых кустарников.

Часть эвакуированных, в том числе Елену Николаевну и Аню с родителями, расселили по частным квартирам.

Нам предоставили общежитие металлоремонтного завода – дощатый барак со множеством комнат; раковины и туалеты – в одном конце коридора, кухня – в другом.

Сколько я помню, в общежитии всегда царил полумрак и холод, только на кухне было тепло от «буржоек». На кухне все и собирались: женщины готовили чечевичные похлёбки, мужчины угрюмо курили самокрутки и обсуждали дела на фронте, мы играли в «махнушку» – кто больше подбросит ногой кусок меха со свинцовым кругляшом.

В школу ходили за три километра; на весь класс выдавали три-четыре учебника, тетрадей не было – писали на обёрточной бумаге. После школы гоняли тряпичный мяч, играли в «расшибалку» и «чижа», лазали по свалке в поисках «ценных штук-вин», через туалет пролезали в кинотеатр «Вузовец».

Как-то возвращаясь из школы, я повстречал Аню. Она первая окликнула меня и удивлённо спросила:

– Чтой-то ты несёшь ботинки в руках?

– Не видишь разве, они почти новенькие, – ответил я. – Мать недавно купила на базаре. Сказала «береги»... Я и берегу.

– Дурачок! Надень сейчас же, простудишься!

Аня заставила меня обуться, рассказала, что работает учётчицей на заводе, и похвалилась письмом от Ростика, при этом её лицо посветлело.

Я смотрел на неё и думал, что, когда вырасту и стану лётчиком, у меня тоже будет невеста, такая же красивая и преданная, как Аня.

Однажды зимой мать послала меня в керосиновую лавку... Я брёл по грязному, перемешанному с гарью снегу, пинал попадавшие куски льда и вдруг чуть не столкнулся с Еленой Николаевной. Она везла дрова на санках, её седая голова была укутана драным платком, полушубок опоясывала верёвка, из бот выглядывали тряпки. Она шла зигзагами, то и дело проваливаясь в придорожные сугробы. Когда я поздоровался с ней, она подняла на меня тёмные запавшие глаза:



– А-а, это ты! Здравствуй, здравствуй!.. Ты Аню случайно не видел? Первое время она часто заходила, а сейчас что-то редко... Вот уже месяц как её не видела.

Я помог старушке подвезти санки, и в благодарность она пригласила меня «попить чайку».

Елена Николаевна жила в полуподвальной комнате, где стояли железная пружинная кровать с матрасом, из которого вылезали клочья ваты, «буржуйка» с длинной трубой, тянувшейся через весь полуподвал и выставленной в маленькое окно у потолка, расшатанный табурет и стол с алюминиевой посудой и свечой в ручейках застывшего воска.

Когда мы вошли в помещение, нас встретил тощий пёс.

– Это Артур, – сказала Елена Николаевна. – Он был ничейный. Вдвоём-то нам веселее коротать время... Ты животных-то любишь? У нас с Ростиком всегда были животные... А в школе у тебя как, всё хорошо? А мама с отцом как?.. Давай-ка с тобой растопим печурку, да заварим кипяток сухариками и попьём. Сухариков у меня много...

За чаем Елена Николаевна сказала:

– Хорошо, что тебя встретила. И помог мне, спасибо. И вот что. На-ка, почитай мне письмо от Ростика. У самой-то у меня зрение стало никудышное. Недавно получила. С фотографией.

Она достала из-под матраца конверт и протянула мне.

Я начал читать и сразу понял – старушка уже знала письмо наизусть: подсказывала слова, когда я запинался, и поправляла по памяти.

Ростик писал про свой экипаж: о командире, штурмане, стрелке-радисте, о том, что у них замечательный самолёт – «летает прекрасно, как пчела». Писал, что в их отряде появился лисёнок. Его подобрали полузамёрзшим и назвали Лиской. С Лиской они делятся пайком и берут с собой на вылеты. «Первое время, – писал Ростик, – Лиска боялась шума. А теперь привыкла, только надеваем комбинезоны, сама бежит к самолёту и лезет в кабину».

Ростик просил мать беречь себя и не волноваться за него и заверял, что они обязательно разгромят фашистов.

В конце письма сообщал, что послал Ане пять писем, но получил только два и те давно. «Почему она редко пишет?» – спрашивал он.

На фотографии Ростик выглядел отлично, как и прежде, как всегда: тот же приветливый взгляд, та же улыбка. На руках он держал остромордую зверюшку с пушистым хвостом.

– Вот так, – вздохнула Елена Николаевна, когда я закончил чтение. – У меня Артур, у него Лиска... А почему Аня ему не пишет, я и сама не знаю. Ведь она отзывчивая девушка и любит Ростика... И ко мне не заходит. Работы у них, конечно, много, они и в ночь работают, но всё же не написать... Может, заболела? Ты бы её разыскал, она где-то у завода живёт...

Слова Елены Николаевны сильно озадачили меня, я никак не мог понять, почему Аня не пишет Ростiku. Её молчание я воспринимал как личное оскорбление: «Пусть работает, пусть заболела, но не написать Ростiku!».

Неделю я проторчал у заводской проходной и наконец увидел её. Она вышла с парнем в чёрном флотском кителе, весело кивнула мне, но тут же, прямо на моих глазах, как ни в чём не бывало взяла матроса под руку, и они зашагали к остановке автобуса. Оторопев, я застыл; потом спохватился и устремился за ними.

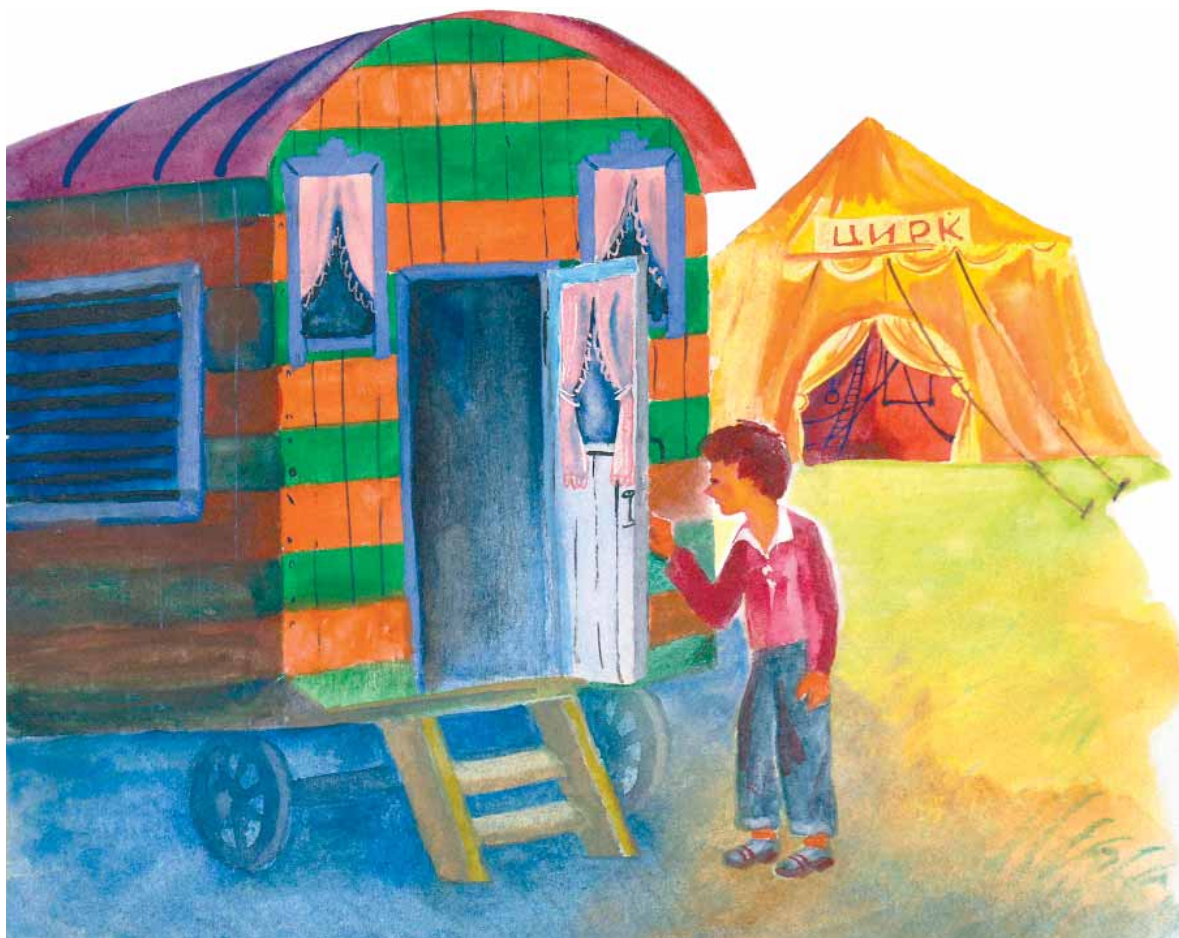
Некоторое время я выслеживал их и отчётливо слышал, как он назвал её «чудо природы», и видел, как на её лице появилась счастливая улыбка. Потом до меня донеслись её слова:

– Заходите ко мне в цех...

Дальше всё дорисовало моё воображение – я понял: у Ани появился новый поклонник. «А как же Ростик?!» – моему возмущению не было предела.

Вскоре я выведал у заводских подростков, что матрос – вовсе не матрос, а шофёр, что матросом он никогда не был и вообще освобождён от военной службы из-за какой-то болезни – просто живёт рядом с Аней и провожает её, «чтобы не напали хулиганы». Я немного успокоился, но всё же решил выяснить, почему она не пишет Ростику.

Из-за Ани я сильно запустил занятия в школе, и когда об этом узнал отец, мне порядком влетело.



Слежку пришлось прекратить... Но к Елене Николаевне я продолжал наведываться раз в неделю. Весной она получила ещё одно письмо; Ростик писал, что жив и здоров, что они каждый день «бомбят фашистов», что у них «вовсю бушует прекрасная весна и девушки-техники, которые готовят самолёты к полёту, кладут в кабину букетики цветов, чтобы мы знали, что нас ждут на земле». «А Лиска всё летает с нами – она приносит удачу». В конце письма Ростик снова спрашивал, «почему Аня совсем не пишет?».

В тот день, когда я перечитывал Елене Николаевне это письмо, она сообщила мне, что в наш посёлок приехал цирк шапито. Наутро на окраине посёлка я и в самом деле увидел крытый грузовик и прицеп-фургон, облепленный афишами. Фургон был с дверью, окнами и откидными ступенями – целый дом на колёсах... Подойдя ближе, я услышал в фургоне рычание собаки и мяуканье кошки. Заглянул внутрь, а там за яркими костюмами на табурете сидит усатый толстяк и... лает и мяукает. «Сумасшедший, что ли?» – подумалось.

– Похоже? – спросил мужчина, заметив меня.

Я кивнул...

– Ну тогда садись, слушай дальше, – и он засвистел соловьём, заквакал лягушкой.

– Здорово у вас получается, – я прищёлкнул языком. – Только зачем?

– Приходи вечером, узнаешь... Тебя как зовут? Меня Игорь Петрович...

Вечером около грузовика появился огромный шатёр и будка-касса, вокруг которой выстроилась очередь. Я заглянул в фургон – Игорь Петрович сидел на прежнем месте и что-то клеивал. – Залезай! – махнул он. – Вот билет на самое лучшее место. Отдашь контролёрше, она тебя посадит. Только уговор – после представления поможешь разбирать лавки, договорились?

Я кивнул и, прижав билет к животу, дунул к шатру, потом взглянул на билет, а вместо него увидел клочок бумаги, на котором было написано: «Маша! Пропусти этого мальчугана!». Оторвавшись от «билета», я вдруг увидел – к шатру подкатила полупорка, и из неё вылезли Аня с «матросом». Они не заметили меня, хотя прошли совсем рядом.

– Машина любит чистоту и смазку, а девушка – любовь и ласку, – проговорил «матрос», обнимая Аню.

Неожиданная встреча и присказка «матроса» сильно задела меня. Я мысленно сопоставил «матроса» с Ростиком, и на меня нахлынула жгучая обида, горечь подступила к горлу.

В том городке, где мы жили до войны, не было цирка, так что я совершенно не представлял, какое зрелище меня ожидает; только войдя под полог шатра и увидев множество ярких ламп и красный плюш на круглой арене, догадался – меня ждёт что-то захватывающее. Оркестр из четырёх музыкантов грянул марш, и я тут же забыл об Ане с «матросом», и о своих неурядицах в школе, и о родителях, которым даже не сказал, куда направился. Я ждал волшебства, и не обманулся...

Теперь, вспоминая то представление, я понимаю, что выступали довольно посредственные провинциальные артисты, но они были первыми циркачами, которых я видел, и поэтому навсегда остались в памяти. И ещё – до сих пор передо

мною стоят усталые лица зрителей – заводских рабочих, для них то представление было отдушиной в тягостной, полной изнурительного труда и лишений, жизни.

Больше всех запомнился клоун; он вышел на арену с резиновыми надувными зверями и, щёлкая хлыстом, стал изображать укротителя: то стравит медведя с тигром, то сунет голову в пасть льва; и звери, словно живые, раскачивались и рычали. Иллюзия подлинности была полной, зрители покатывались от смеха, а я так просто давился хохотом...

Когда погасли лампы и зрители начали расходиться, я увидел на манеже Игоря Петровича, и до меня дошло, кто за зверей подавал голоса.

– Ну как, понравилось? – спросил он, подходя.

Я ничего не смог ответить, только радостно закивал...

Мы принялись убирать лавки, и вдруг на полутёмную арену выбежал чёрный пёс и начал танцевать на задних лапах. Я стал наблюдать за собакой. А она расхотелась всюю: то прыгнет через невидимую планку, то перевернётся в воздухе. Прodelав трюки, пёс раскланялся и заковылял к выходу, но наткнулся на барьер. Я засмеялся.



– Наш Чавка, – услышал я за спиной голос Игоря Петровича. – Он слепой... Два года назад после представления у нас загорелся шатёр. Стали его тушить, а он рухнул и накрыл одного гимнаста. Думали, сгорел, вдруг видим – Чавка его из огня волочит. Оба дымятся. Гимнаст выздоровел, а Чавка остался слепым.

Направляясь к дому, в одном из окраинных проулков я внезапно снова увидел полуторку «матроса». Машина стояла в тени под деревьями, но я заметил огонёк папиросы в кабине, подкрался поближе и ясно разглядел рядом с «матросом» Аню.

...Летом мы подрабатывали на кирпичном заводе – подвозили к печи вагонетки с сырыми кирпичами. Несовершеннолетним разрешалось работать только по три часа, поэтому во второй половине дня мы отправлялись в парк, где проходили военную подготовку призывники в армию – мы смотрели, как они разбирают



и собирают ружья, кидают учебные гранаты и, конечно, мы ужасно жалели, что не можем вместе с ними отправиться на фронт.

Как-то в воскресенье, направляясь в парк, я заметил на скамье парочку. Молодые люди сидели в тени кустов и пили фруктовую воду.

– Прохладная, вкусная, то, что я люблю, – услышал я и сразу узнал голос Ани.

Сделав дугу, я приблизился к скамье со стороны кустов... Аня сидела с «матросом». Он что-то говорил вполголоса, а она, облокотившись на спинку скамьи и положив голову на руки, внимательно его слушала и то и дело вздыхала:

– Как интересно!

Мои прежние подозрения мгновенно подтвердились... «Вот сейчас, когда она здесь строит глазки этому «матросу», Ростик летит на своём бомбардировщике и бьёт по врагу», – подумал я, и ненависть к Ане охватила меня.

Я следил за ними около часа. В какой-то момент «матрос» обнял Аню, и она с готовностью упала в его объятия.

Я чуть не потерял равновесие и схватился за ветку; «матрос» обернулся.

– А-а, это ты, свисток! Ну как она, жисть-жестянка?.. Пойдём, Анютка!

Она даже не взглянула на меня, да и как могла взглянуть – её глаза были закрыты, точно она в обмороке; покорно встала и взяла его под руку. Они последовали к выходу из парка... Я шёл за ними до самого её дома и, пока они прощались, стоял за деревьями и бросал в её сторону гневные, презрительные взгляды... Когда «матрос» ушёл, а она направилась к крыльцу, я вышел из укрытия и преградил ей дорогу. Видимо, у меня был угрожающий вид – её лицо вспыхнуло.

– Предательница! – задыхаясь, проговорил я.

– Почему? Чем я тебя обидела? – удивлённо спросила она, то ли не догадываясь, что я всё знаю, то ли притворяясь, то ли просто ещё витая в романтических облаках.

– Прокатись на машинке со своим липовым матросиком! – выпалил я и пошёл в сторону. Где ей было знать, что их отношения с Ростиком давно были и частью моей жизни.

Как-то осенью, возвращаясь из школы, я увидел на окраине посёлка мужчину в лётной форме. Незнакомец шёл прихрамывая, опираясь на палку, рассматривал номера домов, что-то выспрашивая у встречных прохожих.

Я подбежал к нему, он улыбнулся и отдал мне честь – точно так же, как и Ростик когда-то...

– Вот ты, наверное, всё здесь знаешь... Где здесь проживает Елена Николаевна?

– Знаю, пойдёмте. А вы... вы от Ростика?

– Угу, – нахмурившись, буркнул лётчик.

Он смолк, а я насторожился, меня охватило какое-то недоброе предчувствие, и я поспешил его отогнать:

– Вы с ним вместе летаете?

– Отлетали, брат, – тихо проговорил лётчик. – Я вот с протезом... А Ростик... Ростика уже нет. Погиб он. Вот не знаю, как это выложить его мамаше и невесте...

ТАНЦУЮЩИЕ СОБАКИ

Нас считали слегка «с приветом»: его, тридцатилетнего механика, вечно небритого, навеселе, и меня, шестиклассника, который, по мнению учителей, «ходил в школу не учиться, а отмечаться». А слегка тронутыми нас считали за безоглядные поступки и выходки, и прежде всего, потому что мы устраивали танцы с собаками и часто это делали публично, с большим подъёмом.

Нас вообще объединяло многое. Прежде всего нам обоим было в высшей степени наплевать во что одеваться, что есть, на чём спать, и свободное время мы проводили легко – болтались где попало, благо в нашем городке был и речной порт, и стадион, и тьма закусовых.

К примеру, с полочки дяди Серёжи – так звали моего старшего друга – мы селись в попутный грузовик и катили куда шла машина – нам было всё равно куда ехать. Где-нибудь на окраине просили шофёра притормозить, заходили в закусовую, дядя Серёжа брал стакан портвейна, несколько холодных котлет, конфеты, при этом подмигивал мне:

– Трата денег требует искусства. Конфеты тебе, котлеты собакам, а это мне, – он опрокидывал стакан портвейна.

Мы выходили на пятак перед закусовой, кормили местных дворняг котлетами и с весёлым задором затевали с ними возню.

Ещё мы оба любили технику. Дядя Серёжа работал механиком в авторемонтной мастерской, а я собирался после седьмого класса податься в ученики к автослесарю и частенько, прогуливая школьные занятия, торчал в мастерской.

– Машина это не просто набор железок, – многозначительно говорил дядя Серёжа. – Это живой организм. Отсюда пение, пыхтение, дыхание машины. Она вбирает энергию людей, которые её делали. Злой передаёт ей злость, непрочность, добрый – доброту, надёжность. Потому машина сама выбирает, сколько ей работать.

Я слушал развесив уши и восторгался интеллектуальным величием моего друга и наставника. В масштабах нашего городка он мне казался самой значительной личностью. В свою очередь дядя Серёжа тоже видел меня личностью в некотором роде.

– Ты толковый парень, – говорил. – Из тебя выйдет слесарь что надо! По части техники уже имеешь основательный запас знаний.

Вдобавок у нас была ещё одна любовь – к собакам. У дяди Серёжи жили три беспородные собаки: молодая рыжая сучка Глафира, молодой разнопятнистый кобелёк Гришка и старый пёс Артём, у которого была облезлая шерсть, но взгляд острый, повелительный. Дядя Серёжа неслучайно дал собакам такие имена. Он говорил, имея в виду своих собак:

– У моих ребят больше человечности, чем у некоторых людей, которым надобно давать клички.

Полуподвальную, захламлённую квартиру дяди Серёжи кое-кто называл «свалкой». В самом деле, она напоминала лавку утильщика, но я был уверен –

у дяди Серёжи прекрасное жилище, захватывающая жизнь и лучшие собаки в нашем городке, ведь они были музыкальные, то есть любили музыку и даже танцевали под неё. Стоило дяде Серёже завести патефон, как Глафира вставала на задние лапы и с оглушительным лаем скакала по комнате, при этом вся сияла от радости.

Гришка тоже кое-что изображал – быстро перебирая лапами, крутился на месте и то и дело разевал пасть – вроде пытался запеть. Степенный Артём некоторое время невозмутимо взирал на эти фортеля, демонстрируя умственное превосходство перед собратями, но потом не выдерживал – раскачивал головой в такт мелодии, его взгляд теплел, он улыбался и всем своим видом давал понять, что танцы ему нравятся.

Чтобы ещё больше завести собак, я вскрикивал:

– Танцы-шманцы-обниманцы! – и приседал, и подпрыгивал.

Потом и дядя Серёжа присоединялся к нам: кружил по комнате, раскинув руки. Наш праздничный настрой не очень-то нравился жильцам наверху. Случалось, они барабанили в дверь, кипели, как горох в кастрюле, грозили милицией, после чего дяде Серёже приходилось снимать пластинку.

А бывало, во дворе слышалась музыка – кто-нибудь из соседей громко включал радиоприёмник; собаки тут же бросали на дядю Серёжу выжидательные взгляды и, если он кивал, стремглав выскакивали во двор и устраивали танцы на публике.



Останавливались прохожие, из окон высывались жильцы. Ещё бы! Не каждый день увидишь такое зрелище.

Собаки дяди Серёжи любили танцевать, потому что по характеру были веселягами, да и жили припеваючи – дядя Серёжа кормил их тем же, что ел сам, только что не наливал портвейна. Ну и, конечно, постоянно разговаривал с ними, и собаки с жадным вниманием его слушали. Дядя Серёжа вызывал у них чувство глубокого уважения и был для них почти Богом.

– Заметь, – говорил мне дядя Серёжа, – Глафира больше любит вальсы. У неё душа нежная. А Григорий тяготеет к песням. Артём – тот уважает марши... Артём, скажу тебе, пёс редкий. Кристально честный, без разрешения со стола ничего не возьмёт. Гришка с Глашкой могут сцапать, Артём – никогда... А вообще они все ребята отличные, и утешить умеют и развлечь. И тебя любят – знают, ты мой друг, – дядя Серёжа хлопал меня по плечу, – ведь мы с тобой друзья – не разольёшь водой, верно?

От этих слов я надувался – гордость прямо распирала меня.

После школы, когда дядя Серёжа ещё был на работе, я выгуливал его собак (ключ от квартиры мы прятали в потайном месте). Окружённый лохматой свитой, я спустился в овраг, причём шёл медленно, из уважения к возрасту Артёма – он тяжело ходил, а Глафира с Гришкой, само собой, неслись впереди. В овраге мы купались в ручье, обследовали бугры и впадины, я раскачивался на ветвях орешника, собаки облаивали ворон – неплохо проводили время.

Вечером с работы приходил дядя Серёжа, доставал из сумки еду, портвейн; мы ужинали, а потом устраивали танцы, и не останавливались, пока не являлись жильцы сверху, или за мной не заходила мать; она стыдила дядю Серёжу за «балаган» и под конец говорила одно и то же:

– ...Жениться тебе, Сергей, надо. Не женишься – плохо кончишь!

Ну, а меня выталкивала за дверь и по пути к дому давала подзатыльник:

– Кто будет делать уроки? Пушкин?! Ещё раз прогуляешь школу, отдам в детдом!

Кроме любви к технике и собакам, нас с дядей Серёжей объединяло враждебное отношение к женскому полу. Я вообще всерьёз девчонок не воспринимал, считал их никчёмным сословием.

Ну а дяде Серёже, по его словам, «женщины прилично насолили», и потому он твёрдо решил остаться холостяком. Как-то он сказал:

– У мужчин полно недостатков, а у женщин только два – всё, что говорят, и всё, что делают. Так говорят англичане. Я тоже так считаю. У меня над рабочим местом видел надпись: «Не верь тормозам и женщинам!»

– Я девчонок ненавижу! – выпалил я, пытаюсь развить эту тему.

– Ты гигант! – кивнул дядя Серёжа. – Настоящий мужчина должен заниматься техникой, а не волочиться за юбками. И должен любить животных... Послушай, что произошло вчера. Иду, значит, с работы, вдруг вижу её.

– Кого? Женщину?

Дядя Серёжа нахмурился:

– Да какую там женщину! Собаку! Хорошую такую собачонку. Лежит мёртвая на проезжей части. Какой-то лихач сбил. Набить бы ему морду. Не перевари-

ваю лихачей. Грамотный водитель едет спокойно... Ну, похоронил собачонку честь честью.

Как я уже сказал, свободное время мы проводили – лучше нельзя: посещали стадион, «болели» за футбольную команду нашего городка или направлялись в речной порт, где среди рыбаков и лодочников у дяди Серёжи было немало закадычных дружков.

Пока мужчины пили портвейн, я узнавал, кто сколько поймал рыбы, кто куда плавал, что нового в верховьях и низовьях реки. От любого рыбака и лодочника я получал гораздо больше знаний, чем от всех школьных учителей.

Но прошлым летом всё пошло наперекосяк.



Ни с того ни с сего мой старший друг стал каким-то задумчивым, рассеянным, отвечал невпопад... И даже танцевал с собаками без прежнего энтузиазма – так, два-три раза прокрутится, ляжет на кровать, запрокинув голову и улыбается каким-то своим мыслям.

– Дядь Серёж! – допытывался я. – Что с тобой? Может, заболел?

– Спрашиваешь! Ясное дело, заболел... Но совсем малость. Думаю, скоро поправлюсь.

Но не поправился, и через несколько дней стал говорить с виноватой улыбкой:

– Ты это... сходи на стадион один, у меня тут есть одно дельце. И это... вот свёрток с едой, покорми собачек. Я поздно вернусь.

Или, переминаясь с ноги на ногу:

– Ты это... сгоняй в порт один, скажи корешам, чтоб сегодня меня не ждали. Есть одно дельце. И это... потанцуй с собачками. Я сегодня, может, и не вернусь.

И вот однажды, возвращаясь со стадиона, я внезапно увидел его в сквере с... женщиной. С женщиной на скамье под деревьями! Я не поверил своим глазам и подошёл ближе, чтобы убедиться – мой ли это горячо любимый друг, убеждённый женоненавистник?!

К великому огорчению, это был он. Рядом с ним сидела полная женщина в невысказанно ярком платье, она была, как надувной шар, перевязанный посередине, и вся в украшениях. Почему-то я сразу подумал, что вместе с украшениями толстуха весила должно быть немало.

Они прижимались друг к другу, дядя Серёжа что-то с жаром говорил, и хватал женщину за разные места, потом смолкал, и она посылала ему улыбки и вздохи, а он взмахивал руками – как бы ловил её улыбки и вздохи, словно бабочек.

– Это похоже на любовь, – хмыкнул я, охваченный ревностью и злостью. Мой друг нанёс мне чувствительный удар.

Я думал, на следующий день он сам всё расскажет. Где там!

– Есть одно дельце, – только и сказал с дурацкой блаженной улыбкой.

Казалось, он задался целью подшутить надо мной. Но чаша моего терпения переполнилась, и как только он заикнулся про «дельце» в очередной раз, я едко процедил:

– Не ври!

Он глубоко вздохнул, достал папиросы, закурил.

– Точно, вру. Плюнь мне в морду! – и дальше начал оправдываться: – Понимаешь, какая штука. Скажу тебе прямо, от чистого сердца. Я, кажется, немножко полюбил... Она душевная женщина. Очень красивая, любит песни. А чутьё и слух у неё – как у собаки. Она тебе понравится.

– Ты что ж, решил жениться? – как бы с вялым интересом усмехнулся я; внутри-то у меня бушевало адское пламя.

– Не знаю, не знаю, – он обнял меня и расплылся. – Но мы всё равно останемся друзьями, верно?

Смертельно усталый я побрёл домой. «Нет уж, дудки! Друзьями мы не останемся! С предателями не дружу!» – беспощадно бормотал я и пинал все камни, попадавшие на пути.

рассказы старого водолаза



Для начала представлюсь, чтобы вы знали, с кем имеете дело: меня зовут дядя Лёша, я – водолаз, который провёл под водой немало времени, может быть, столько, сколько вам сейчас лет. Ещё в детстве, когда я ловил головастика, один прохожий мне сказал: «Тебе надо стать водолазом». Я и стал. Теперь я старый «морской волк», можно сказать, весь оброс ракушками. Но лучше этого не говорить, поскольку ракушек на мне нет, зато, как видите, на моём теле полно татуировок. Вот якорь, вот Акулы, с которыми я встречался не раз; этот дед с трезубцем – Морской царь Нептун, а это Русалки – они постоянно уговаривали меня остаться под водой навсегда. Но, сами понимаете, я непременно возвращался к жене, вот и клятва ей: «Любовь до гроба».

Моя жена, скажу вам по секрету, в тысячу раз лучше любой Русалки. Хотя, справедливости ради, отмечу – среди Русалок попадаются красивые до жути.

Кстати, Нептун тоже уговаривал меня остаться в его царстве, обещал довольно высокий пост – советника по связям с живущими на суше и плавающими на кораблях – это что-то вроде нашего министра иностранных дел.

Но зачем мне, скажите на милость, быть министром?! Хлопот не оберёшься! Меня и должность водолаза вполне устраивала. Так что я благодарил старину Нептуна за доверие и вежливо отказывался от его предложения.

Вы, конечно, догадываетесь, что я повидал немало и знаком со всеми обитателями морских глубин. Скажу больше – знаю их как свои пять пальцев, а с некоторыми мы стали друзьями. Наверно, вам не терпится услышать мои рассказы. Угадал?

Хорошо, охотно расскажу вам пару-тройку захватывающих историй, и при этом не пожалею красок для их описания. Усаживайтесь поудобней на диване и слушайте.

НА ВОДЕ И ПОД ВОДОЙ

Прежде всего, мои юные друзья, расскажу вам об удивительных Рыбах, с которыми я имел приятельские отношения. Взять хотя бы Рыб-Парусников. Представляете, бывало наш водолазный бот только выйдет в море, а они сразу затевают игру – плывут с нами наперегонки, скользят по поверхности и управляют большим верхним плавником, как парусом. Ясное дело, они обгоняли наш тихоходный бот и на радостях выделяли разные сальто-мортале.

А Летучие Рыбы при нашем появлении и вовсе выскакивали из воды и, пролетая мимо бота, словно птицы, помахивали длинными боковыми плавниками – приветствовали нас, желали удачи в работе.

Ну, а когда я надевал скафандр и по трапу спускался в воду, меня окружали Морские Петухи и Коньки. Петухи, пока я работал, всё норовили помочь мне – тыкались в трубопровод или сваи – смотря что я ремонтировал.

Случалось, подплывали к гаечному ключу или молотку – подсказывали, каким инструментом лучше производить ремонт. Честно говоря, они только мешались.

Вдобавок ещё придирчиво осматривали мою работу и, если я что упустил из вида или сделал, по их мнению, не так, подплывали, хватили за шланг, тянули назад. Бесцеремонные, настырные Рыбы, что и говорить!

Любопытные Морские Коньки всегда тактично стояли в стороне и внимательно наблюдали за каждым моим движением. Иногда, чтобы их позабавить, я выпускал из шлема воздух, и они смотрели на цепочку серебристых пузырьков, как на чудо.

Я был для Коньков волшебником, не иначе. Они относились ко мне с величайшим почтением; целой стайкой неотрывно сопровождали меня по всему морскому дну, а когда я подходил к трапу, пытались вслед за мной подняться на бот.

Крепкая дружба меня связывала с Прилипалой – Рыбой с присосками на спине, которыми она прилепляется к Акулам и Китам и путешествует по водным просторам сколько хочет, не затрачивая на это ни малейших усилий. Такая у неё особенность.

На некоторых островах с помощью Прилипалы рыбаки ловят Морских Черепах: привязывают к хвосту Прилипалы верёвку и забрасывают в воду. Прилипала прилепляется к Черепахе и рыбаки вытаскивают улов на берег.

Как только я входил в воду, Прилипала присасывалась ко мне и мы работали вдвоём. Она была как бы моим напарником. Особой помощи от Прилипалы ждать не приходилось, но она некоторым образом скрашивала моё одиночество, ведь я постоянно разговаривал с ней.



Впрочем, однажды... Так получилось, что моя сумка с инструментом осталась довольно далеко от места работы. Не долго думая, я привязал к хвосту Прилипалы верёвку и сказал:

– Прилипала! Хватит ездить на мне верхом! Тащи инструмент!

И Прилипала тут же притащила мою сумку.

Со временем Прилипала стала моим самым исполнительным помощником, даже доставляла на бот записки, которые я писал под водой. Да, да, под водой! Это несложно. Попробуйте!

Кроме Рыб под водой я общался с Раком-Отшельником. Это хитрец тот ещё! Живёт в раковине, которую всюду волочит за собой, а на раковине, точно прекрасный цветок, колыхается ядовитая Актиния.

Спешу заметить, что под водой самые безжалостные хищники имеют яркую, привлекательную внешность. И наоборот, обитатели, страшные на вид, как правило, довольно безобидны. Например, самая огромная Акула – Китовая, поедает всего лишь мелких Рачков.

Так вот, доверчивые Мальки то и дело подплывают к «цветку» – Актинии, а Рак их – хватать! И лопает. Актинии тоже кое-что достаётся – Рак подкидывает ей рыбью труху. Когда Рак вырастает и уже не помещается в раковине, он находит себе другую, более просторную, и Актинию забирает с собой – пересаживает на новое местожительство.

У меня с Раком были прохладные отношения. Пока я работал, он следил за мной из раковины, но стоило мне присесть на камень передохнуть, осторожно подползал: то ли просто хвастался своей Актинией, то ли хотел, чтобы она «ужалила» меня и я убрался из его владений. Что у него было на уме – не знаю.

А вот с Рыбой-Брызгун у меня сложились самые тёплые отношения. Сразу должен вам пояснить, почему Рыба называется «Брызгун». У неё своеобразные повадки: заметит над водой насекомое, наберёт в рот воды и «плюнет» длинной точной струёй. Собьёт насекомое и проглотит, и сразу танцует в воде, выписывая круги – радуется удаче, гордится своей ловкостью. Такая веселяга!

Когда я выходил из воды, Рыба-Брызгун встречала меня первой, встречала ликующим фонтаном, а иногда, ради озорства, и брызгала в мою маску. Я отвечал шалунье тем же, но не плевал, конечно, а брызгал в неё рукой.

Некоторое время Брызгун крутилась около меня, потом неслась к боту и там устраивала фонтан – извещала матросов о моём благополучном возвращении.

Был случай – я находился под водой, а на море неожиданно опустился туман. Выйдя на поверхность, я еле различил бот, но Брызгун испугалась, что я его не вижу, и начала носиться между мной и судном, поднимая каскад фонтанов – как бы указывая мне путь.

Кстати, обитатели морей частенько помогают друг другу. На Дальнем Востоке я был свидетелем, как к берегу плыл Морской Лев, и вдруг его стали окружать Касатки. Лютые хищницы уже почти приблизились; в страхе бедняга Лев истошно заревел; его услышали Дельфины, на огромной скорости подлетели и разогнали Касаток. Как известно, Дельфины – самые преданные друзья.

Да, дорогие мои, в морских пучинах случается такое, что и во сне не приснится. Там есть над чем посмеяться и погрустить. Я, например, своими глазами видел, как одна нерасторопная Рыба попалась на крючок, но рыболов никак не мог её вытащить – Рыбу удерживал Краб: одной клешнёй уцепился за хвост рыбы, другой за скалу. И так держал до тех пор, пока не подплыла Рыба-Пила и не перепилила леску.

Вот такая взаимовыручка у них, морских обитателей, не в пример некоторым людям. Согласитесь, у вас есть знакомые, которые могут и не заметить, что вы попали в беду. К счастью, таких мало, и о них говорить не хочется.

МОРСКОЙ ЧЁРТ, РЫБА-ШАР И ДРУГИЕ

...Охо-хо, где я только не погружался в воду! Помню в тропиках в тёплом море проверял подводный кабель. Это была не работа, а так, лёгкая прогулка. Бывало, идёшь по песчаному дну, над тобой колышутся Медузы, справа плывёт Морской Чёрт-удильщик, слева – Рыба-Шар, вся в шипах, перед маской – стайка Мальков-карапузов.

Сонные Медузы на меня – ноль внимания, Чёрт тарашится, никак в толк не возьмёт, кто я такой; Шар надувается, пугает меня, а Мальки прямо перед моим носом устраивают цирковое представление: гоняются друг за другом, винтообразно крутятся, а то и вовсе плывут вниз головой – вот уж кто умеет радоваться жизни!



Кстати, знаете почему Чёрт называется удильщиком? У него от верхней губы тянется «удочка» – отрост с прямо-таки настоящим червяком, да ещё светящимся! Доверчивые Рыбёшки подплывут к «приманке» да попадут к Чёрту в пасть.

А Шар надувается, когда видит что-нибудь необычное, он слишком самонадеян – думает, его все боятся, за что и платится. Местные ребята его вытаскивают из воды, а он так и остаётся раздутым. Потом высохнет, шипы опадут – отличный мяч получается. Ребята играют им в футбол.

В том тёплом море не счесть обитателей: есть крохотные Моллюски и Рачки, которых и не разглядишь без увеличительного стекла, и есть гигантские Скаты, вроде Морского Дьявола, который, когда плывёт, напоминает одеяло, развевающееся на ветру. Великолепное зрелище, скажу вам!

Надо отдать Дьяволу должное – он уважительно относился к моей работе – плавал в отдалении и не приставал с дурацкими вопросами, не то что Морские Петухи, которые просто замучили меня; от них только и слышалось: «Зачем это?» «Почему так?».

Кстати, должен со всей ответственностью заявить: абсолютно неверно выражение: «нем, как рыба». Рыбы разговаривают. И ещё как! А Петухи так и вовсе болтливы до неприличия. Поверьте мне, ведь я прекрасно изучил язык подводных обитателей. Хотите убедиться, пригласите к себе, если у вас есть аквариум.

Некоторые обитатели тёплого моря – неразлучные друзья, просто не могут жить друг без друга. Например, Акула и Лоцманы – небольшие, но суетливые Рыбёшки, которые постоянно вертятся перед носом своей грозной повелительницы. Они-то и наводят близорукую Акулу на косяки Рыб. Потому и называются Лоцманами. Удобно устроились, между прочим, – ведь им тоже немало остаётся после трапезы Акулы.

Правда, Лоцманы глупые: если Акулу поймают, плывут перед бочкой или бревном и тех наводят на разбой, и никак не поймут, почему их новый деревянный друг не нападает на Рыб.

Некоторые обитатели обладают недюжинными способностями. Взять хотя бы Краба; он больше всего любит пообедать Моллюском. Но как его достать? Моллюска надёжно укрывают створки, крепкие, как рыцарские доспехи. Краб долго выжидает, но стоит створкам чуть раскрыться, швыряет в них камешек, чтоб они не смогли сомкнуться. Ну, а после этого уже без труда достаёт Моллюска.

А теперь представьте себе холодное Охотское море – «всесоюзный холодильник», как его называют, и наш бот посреди льдин (они плавают даже летом).

Как-то я осматривал одну затонувшую посудину. Должен вам сказать – работа подо льдом – крайне сложная штука. И опасная. Да, да, поверьте мне, крайне опасная! Я был в гидрокостюме, с дыхательным аппаратом за спиной; под гидрокостюмом, разумеется, шерстяная одежда, иначе вмиг замёрзнешь. Холодное море – это вам не холодный дождик и не холодный душ в ванной! Это огромная тёмная масса, которая, словно иглами, пронизывает насквозь. Так-то!..

И вот я, значит, высвечиваю фонарём эту посудину, а она наполовину в грунте, обросла бурыми водорослями... и внезапно чувствую – верёвка от бота ослабла. Тяну её и вдруг вижу – измочаленный конец. Верёвка перетёрлась об острые края льдины.

Заспешил я назад, пошёл наверх, да ударился головой об лёд. Осмотрелся – вокруг сплошной ледяной потолок. Куда ни поплыву – никакого просвета. Дело принимало серьёзный оборот. А воздух в баллонах уже подходит к концу, и фонарь садится – уже еле светит.

Скажу честно – я немного испугался. Но тут, на счастье, появился Тюлень. Подплыл прямо к маске, коснулся усатым носом стекла, и хотите верьте, хотите не верьте – подмигнул мне: «Не пугайся, мол. Выведу тебя к боту!» И поплыл. Я устремился за ним. Он то и дело оборачивался, чтоб убедиться, что я не отстаю. Так и подвёл меня к трапу.

А на боте уже была паника; я только ухватился за трап, матросы потащили меня на палубу; я поднял руку – подождите, мол, ребята. Снял маску, обнял Тюленя и поцеловал в усатую морду. «Спасибо, друг», – говорю. С того дня мы с Тюленем стали настоящими друзьями – не разольёшь водой. Он с утра поджидал меня у бота: залезет на льдину, бьёт ластой по животу, ревёт: «Эй, там на боте! За работу пора!» Я надевал гидрокостюм, спускался к Тюленю, угощал его бутербродом из рыбных консервов, потом мы вдвоём уходили на дно осматривать затонувшую посудину и мой новый друг ни на минуту не оставлял меня одного.

ЖЕМЧУЖИНА

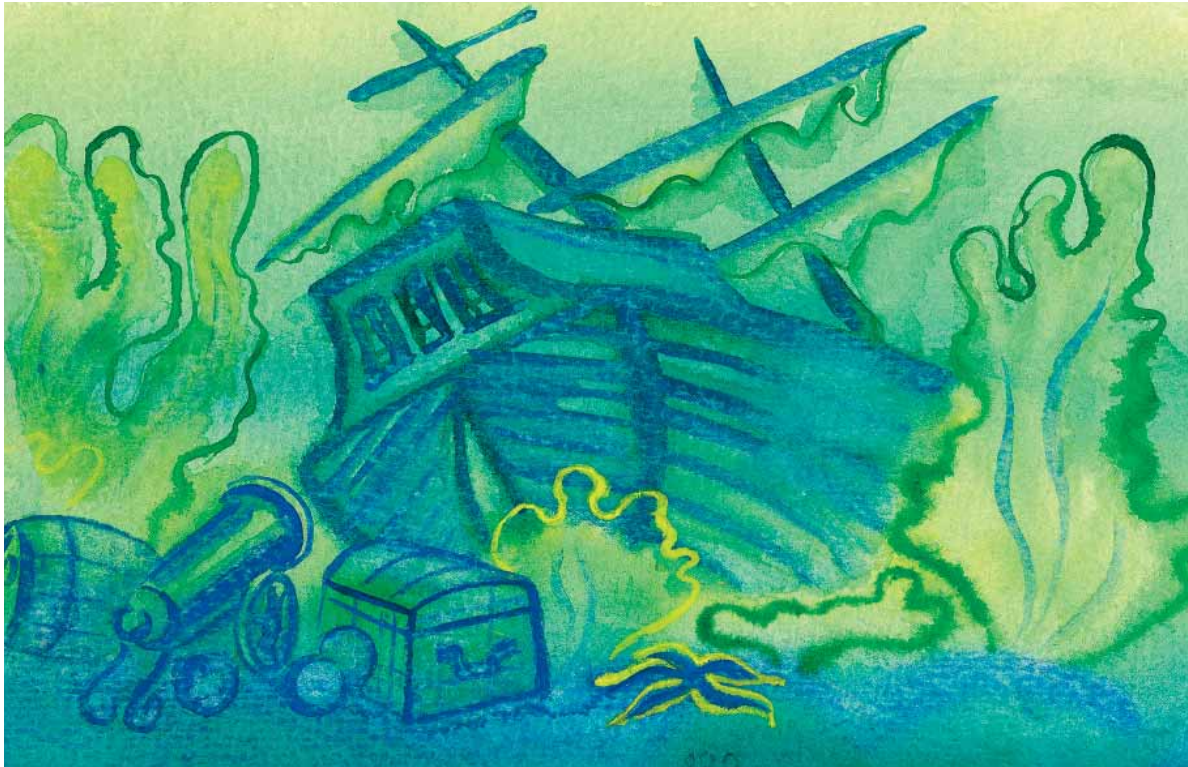
Странная вещь погода на морском побережье! То спокойный денёк, на море – полный штиль, с берега видны все глубины и отмели, то совершенно неожиданно разыграется шторм. Однажды под водой я обследовал какую-то штуковину, вдруг вижу – все Рыбы устремились в глубину, Крабы поползли в расщелины скал, Актинии свернули свои ядовитые лепестки.

«Что-то не так», – думаю, но моё сердце бешено не заколотилось, мы водолазы – люди бывалые; продолжаю работать – обследую эту самую штуковину. Кажется, это был затонувший железный ящик, но может, и подводная лодка – точно не помню. По сути дела, это неважно, к рассказу ни ящик, ни лодка не имеют никакого отношения. Ровным счётом никакого.

Короче, когда я закончил работу и «пошёл на поверхность», как у нас говорят, меня вдруг начало раскачивать из стороны в сторону. Я почувствовал себя прямо-таки пьяным, словно не работал под водой, а пил вино с Нептуном.

Так вот, я «пошёл на поверхность» и чем выше поднимался, тем сильнее чувствовал качку, а очутившись на поверхности, увидел волны высотой с десятиэтажный дом. Эти высоченные волны швыряли наш водолазный бот, как щепку. С помощью друзей я всё-таки забрался на палубу; мы с трудом подошли к берегу, с ещё большим трудом пришвартовались у причала.

А наутро, когда море успокоилось, я увидел на берегу Русалку – её выбросило штормом на берег. Бедняга была без сознания – видимо, сильно ушиблась о камни, на её боку темнел огромный синяк.



Я отнёс Русалку в воду, она ожила, поблагодарила меня за спасение, улыбнулась и уплыла – вот так всё просто и произошло, как в кино.

В полдень, когда я вновь обследовал ящик или подводную лодку – повторяю, не помню, что именно, Русалка неожиданно объявилась, представилась дочерью самого Нептуна и нетерпеливо пробормотала:

– Отец зовёт вас в гости.

Я хмыкнул и ответил:

– Я, конечно, уважаю подводную власть, но работа для меня превыше всего. Передай отцу – приду, когда закончу работу.

Позднее заглянул во дворец Царя. Ну, скажу вам, и хоромы он себе отгрохал! Чего там только нет. И золотишко, кстати, имеется. Сами догадывайтесь откуда.

Нептун встретил меня как ближайшего родственника: обнял, расцеловал и, в награду за спасение дочери, подарил огромную жемчужину, вот она на столе, полюбуйте! Это самая высокая награда Нептуна, как орден Славы у нас.

Но это ещё не всё. На следующий день Нептун сам явился к месту моей работы и неожиданно заявил:

– Никому не показывал, а тебе, Алексей, покажу, где лежит пиратский корабль. Там полно сокровищ.

И показал. Действительно, трюмы того пиратского судна были забиты сундуками с награбленными драгоценностями. Видели бы вы, что это такое! Ошеломляющее зрелище!

Я таскал сундуки на бот несколько дней. Измучился жутко.



А потом, конечно, всё это добро передал нашим городским властям. С тех пор мы и живём припеваючи. А вы думали, с каких пор? Кстати, один из сундуков предложили мне, но я с презрением отверг это предложение и сказал:

– Богатство – чепуха, главное – иметь любимую работу.

И это в самом деле так, поверьте мне, старому водолазу. Любимая работа и верные друзья – лучшее, что можно иметь в жизни.

НА ПЕСЧАНОМ ДНЕ

Ну, кто из вас назовёт мне животное, которое движется, как реактивный самолёт, меняет цвет в зависимости от местности, имеет огромные глаза и клюв, и чернильный мешок на случай нападения врагов, и целых восемь ног с присосками?!

Сдаётесь?! То-то же! Ладно, не буду вас мучить, отвечу на этот самый сложный вопрос: – осьминог, вот кто! Именно осьминог втягивает в себя воду и, выпуская её сильной струёй, несётся в плотной водяной среде – точь-в-точь, как реактивный самолёт в воздухе. Именно осьминог меж камней приобретает серый цвет, а притаится среди зелёных водорослей, становится зелёным. А если на него кто-то нападёт, моментально выбросит «чернила» – густо-синюю жидкость, и нападавший, оказавшись в темноте, остановится ошарашенный, и пока будет разбираться что к чему, осьминог преспокойно уплывёт. Ну, а клюв совершенно необходим, чтобы разламывать морские звёзды – излюбленное лакомство осьминогов.

Как-то на песчаном пятаке, среди Морских Лилий, я обнаружил необычный дом. Он был сложен из камней и больших раковин. На вид – никудышное строение, так себе домик, но внутри вполне просторный и чистый. В том доме жила семья Осьминогов. Целый месяц я работал по соседству с ними и вот что увидел.

Глава семьи – огромный Осьминог целыми днями охотился в коралловом лесу; лес начинался сразу за домом – этакая тёмно-красная глушь.

Хозяйка дома – Осьминожиха без устали хлопотала по хозяйству: одними щупальцами прибирала в доме, другими разделывала рыбу, третьими укачивала новорождённого Осьминожка, а четвёртыми проверяла тетрадки старшего сына. Я не оговорился. Старший сын Осьминогов был школьником и плавал в Морскую школу.

Да, да, не удивляйтесь! Морские обитатели тоже учатся и, кстати, более усердно, чем мы, люди. И это понятно. Рыбам, Осьминогам, Морским Конькам нужны немалые знания, чтобы избежать сетей и крючков, грозных Акул и птиц – Бакланов. Чтобы знать, когда приближается шторм, и уйти на глубину, иначе может выбросить на берег.



Что и говорить, нелёгкая жизнь под водой – опасностей в ней побольше, чем на земле. Ко всему следует добавить – в школу Осьминожек плавал без провожатых. Родители приучали его к самостоятельности, не то что у нас в некоторых семьях, где на ребёнка боятся дышать – выращивают из него парниковый цветок.

В школе двое учеников: Осьминожек и Морской Конёк. Они сидят на камнях; напротив них возвышается скала с рисунками рыболовных принадлежностей и разных зубастых хищников. Однажды, возвращаясь из школы, ученики вдруг услышали слабые призывы о помощи. Подплыв ближе, Осьминожек и Конёк увидели Летучую Рыбу; эту растяпу угораздило попасть в сеть. Даже вдвоём Осьминожек с Коньком не смогли освободить пленницу, и тогда, как вы догадываетесь, они понеслись за подмогой ко мне. Втроём-то мы, конечно, распутали сеть. Летучая Рыба горячо поблагодарила меня, а Осьминожка с Коньком вызвалась прокатить на спине.

Вначале совершил воздушное путешествие Конёк. Затем полетел Осьминожек, но... не вернулся. Только позднее я узнал, что случилось.

Оказывается, в воздухе с Летучей Рыбы его сдул порыв ветра. Приводился он мягко, поскольку раскрылся, как парашют, но в незнакомом месте. В совершенно незнакомом и немного страшноватом, да.

Первым, кто подплыл к Осьминожку, был маленький Электрический Скат.

– Ха-ха! Во фокус! Пучеглазая многоножка! Ни плавников, ни хвоста! Как же ты плаваешь?!

– Я Осьминожек, – тихо проговорил Осьминожек. – А ты кто?

– Я – Электрический Скат, – гордо произнёс Скат.

– Ты можешь светиться, как фонарь водолаза? – поинтересовался Осьминожек.

– Нет, светиться не могу. Но во мне электричества больше, чем в батарейке карманного фонарика. Если я до тебя дотронусь, тебя дёрнет так, что искры из глаз посыпятся. Меня даже Акула боится.

– Завидую тебе, – вздохнул Осьминожек. – Но как мне попасть домой? Ты не знаешь, где мой дом?

– Не знаю, – покачался Скат.

– Ну может быть, ты знаешь водолаза дядю Лёшу (меня то есть)?

– Хм, водолаза дядю Лёшу отлично знаю, – хмыкнул Скат. – Кто ж его не знает?! Он работает на песчаном пятаке около Морских Лилий.

– Вот-вот, – обрадовался Осьминожек. – Там и мой дом. Меня уже заждались родители.

– Это недалеко. – Скат показал, в какой стороне песчаный пятак.

– Приплывай в школу! – крикнул на прощанье Осьминожек.

Но не успел он отплыть и нескольких метров, как перед ним возникла... Кто бы выдумали? Правильно! Акула! Огромная Акула в сопровождении Лоцманов.

– Это что за каракатица на моём пути?! – грозно спросила Акула.

– Осьминожек – противная мелюзга! – затараторили Лоцманы. – Съешьте его!

Но только Акула раскрыла пасть, как Осьминожек выпустил чернильную жидкость и, опустившись на дно, притаился среди камней.



– Негодный головастик! Облил меня чернилами и скрылся! – завопила Акула. –
Это ему просто так не пройдёт!
– Мы ему покажем! Мы его подкараулим! – затараторили Лоцманы.

Ну, само собой разумеется, Осьминожек благополучно вернулся домой. А дальше события развивались таким образом.

Через некоторое время Акула неожиданно нагрянула в школу. У меня в тот день был выходной, и всё, что произошло, я узнал позже.

– Вот школа старухи Черепахи! Она всем говорит, что вы бессовестная разбойница! – наперебой кричали Лоцманы. – Она опозорила вас на всю морскую округу! Громите эту дурацкую школу! И съешьте этих учёных малявок!

Съесть Акула никого не успела – Черепаха с учениками спрятались в коралловом лесу, но школу злодейка разгромила.

– Теперь вы нас надолго запомните! – кричали, уплывая, Лоцманы. – До скорой встречи, старая карга!

– Надо проучить разбойницу, – сказала Черепаха, вылезая из укрытия. – Надо построить большую клетку и в неё заманить Акулу.

Два дня они строили западню: Черепаха таскала с берега прутья, укрепляла их в грунте, ученики связывали прутья водорослями (к тому времени учеников уже было трое – школу посещал Электрический Скат). В разгар строительства западни я и спустился под воду и, узнав о случившемся, сказал:

– Решение строить клетку – абсолютно верное, – после этих слов принёс с бота увесистый замок для клетки и добавил: – Как только Акула появится, немедленно сообщите мне. Я оглушу её молотком, запихну в клетку и дело с концом!

– Обязательно сообщим, дядь Лёш! – хором откликнулись Черепаха и ученики.

Я спокойно отправился работать – это приблизительно в сотне метров от школы. Но меньше чем через час за мной приплыл Осьминожек. Он был невероятно возбуждён.

– Дядь Лёш! Мы поймали злодейку Акулу! – радостно заголосил он. – Пойдёмте скорее, она уже в клетке!

По пути сбивчиво Осьминожек рассказал, как было дело. Вот как оно было.

Только я ушёл, явилась Акула. Хорошо, что Черепаха и ученики успели доделать клетку, и даже замаскировали её всякими растениями... Электрический Скат сразу оглушил Лоцманов, и Акула стала растерянно озираться, звать своих поводырей.

– Эй, мои спутники! Куда вы запропастились?

Черепаха схитрила:

– Простудились они и слегли. Вмиг, все сразу. Напрасно вы до сих пор не купили очки. Но к вашему дому вас может проводить мой ученик – Осьминожек.

– Это тот негодный головастик, который облил меня чернилами? – зло спросила Акула.

– Это он нечаянно. А сейчас он покажет вам самую короткую дорогу к дому. Мои ученики уважают старших.

Осьминожек нырнул в клетку и выплыл меж прутьев с другой стороны. Акула ринулась за ним, но застряла. В тот же миг Черепаха захлопнула дверь клетки и навесила мой замок.

– Это ваш новый дом, – сказала Черепаха Акуле.

– Очень уютный домик! – хихикнули Конёк и Скат.

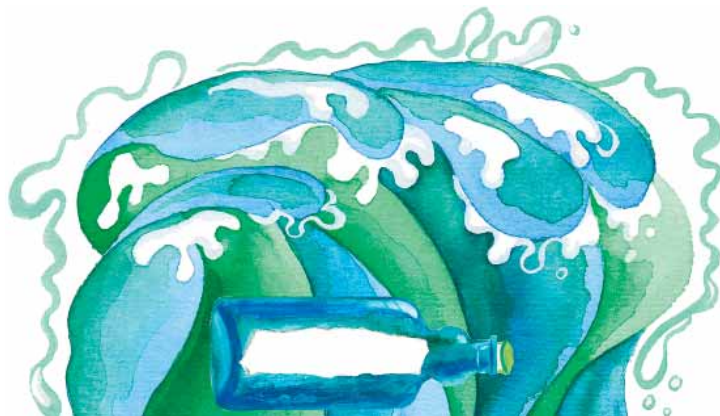
Здесь подошёл я.
– Привет, Акула! – говорю.
– Ой, дядя Лёша! Известный водолаз! – запела Акула. – Представляете, Черепаха и её невоспитанные ученики вздумали сыграть со мной злую шутку. Пожалуйста, выпустите меня!
– Нет уж, дудки, дорогая! – твёрдо сказал я. – Твоё место в музее, – и потащил клетку на бот.

Вот такие истории случаются в море.

Ну, на сегодня хватит. В следующий раз ещё что-нибудь расскажу. Заходите, не стесняйтесь! А пока всего вам хорошего! Кстати, на Акулу можете взглянуть в Зоологическом музее. Там выставлено её чучело, и есть надпись, где указано, кто её поймал и когда. Ну и кто доставил в музей, то есть я, водолаз дядя Лёша.

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ КАК ПРИЛОЖЕНИЕ К РАССКАЗАМ

1. Морские Петухи – напоминают озёрных окуней; естественно, не кукарекуют, но драчливы не меньше, чем их земные тёзки.
2. Бурые водоросли – морская капуста, на вкус не хуже капусты с грядки; бывают свободноплавающие, похожие на мешок для картошки.
3. Рак-Отшельник – угрюмый тип, да ещё скряга – готов скорее влезть на высокую скалу, чем расстаться со своей Актинией.
4. Морской Конёк – животное, голова которого – копия лошадиной; к сожалению, на Коньке нельзя кататься – он слишком маленький.
5. Медузы – студенистые прозрачные тарелки; первыми предчувствуют шторм и уходят на глубину, чтобы не выкинуло на берег.
6. Морские Ангелы – семейство Акул, с далеко не ангельскими характерами.





У ЛЕСНИКА

– О-о! Это кто же к нам пожаловал?! Юные грибники! Ну здравствуйте, ребята! Проходите быстренько, а то промокнете до нитки – вон как дождь-то посыпал... Полкана не бойтесь! Это он так радуется, приветствует вас... Должен вам, ребята, признаться – дождь-то я устроил, хе-хе! Видите, в сеньях туюски? В тёмном – дождь, в светлом – солнце. Ведь целую неделю сушь да зной стояли, вот я и открыл тёмный туюсок, выпустил дождь... А этот туюсок с ветром, вон тот – с росой, хе-хе!.. Проходите, рассаживайтесь. Значит, дождик решили переждать? Правильно решили. Как раз к самовару поспели. Ну, давайте знакомиться. Меня зовут дядя Юра. Я местный лесничий или управляющий лесом. А это Полкан, самый умный пёс на свете.

НА ОТКРЫТЫХ ПОЛЯНАХ

– Вот и самовар. Сейчас будем пить чай с медком. Медок, скажу вам, самый лучший – шмелиный. Небось, и не слышали о таком?! То-то! Кроме пчёл, мёд ведь собирают и осы и шмели. Но шмелиный мёд самый вкусный и полезный. Вот он, драгоценный, золотистый – отличное средство от всех болезней! Берите ложки, лопайте, не стесняйтесь! У нас этого добра полно, верно Полкан?.. Мёд липовый... Кто больше всего мёда даёт, знаете? Липа! Хорошая липа



даёт бочонок мёда. А у меня их три штуки – за домом стоят, красавицы. И все взрослые, зрелые.

Липа – скромное, но богатое дерево. Её бог оберегает – потому и молния не бьёт. Во время грозы звери прячутся под ней. Полезно просто постоять в тени липы – сразу улетучиваются плохие мысли... Днём Полкан под липами спит. А на ночь укладывается на клумбе, среди цветов. Любит приятные запахи. Это и понятно, ведь приятные запахи устанавливают хорошее настроение, навевают красивые сны. Видали, какие у нас цветы на клумбе? Верно, красивые? И весьма большие. Но, конечно, не самые большие в мире! Самый большой в мире цветок знаете какой? Виктория-Регия. На реке Амазонке в Бразилии. Это, скажу вам, по красоте просто богиня среди цветов. В её чашку вы вполне могли бы залезть и покачаться, как в гамаке. Вернее, поплавать в ней, как в надувной лодке...

Но, скажу вам, и у нас тут есть необычные цветы. К примеру, на открытых полянах растёт запальный цветок. Яркий, с резким запахом. В жару у него такие сильные испарения, что иногда сами по себе воспламеняются. И может начаться лесной пожар. Так что, в жару я обхожу поляны с огнетушителем, хе-хе!..

Там, на полянах, уйма насекомых, но самые интересные пауки-рыболовы, которые не плетут сеть, а держат в лапах удочку – нить с блестящей липкой каплей на конце. Эта приманка привлекает разных... нет, не рыбёшек, конечно! Мушек! Любопытные мушки то и дело прилипают к капле, так что еды у паука хоть отбавляй!

Наливайте ещё чай, наливайте, не стесняйтесь! Улавливаете, какой у чая запах? Это я добавляю лист смородины. Такой чаёк бодрит и от всякой хандры избавляет...

Ну, что ещё вам рассказать? Я ведь в лесу и ветеринаром работаю. Чуть кто из животных захворал, к кому обратиться? Ясное дело – ко мне. Особенно зимой, когда нет лечебных трав. А у меня вон на стене сухие лечебные травы: мята, медуница, зверобой... Зверобой, скажу вам, самая целебная трава – целую аптеку заменяет.

ОБИТАТЕЛИ ЛЕСА

Вижу – вы городские ребята, ведь так? Ясненько! Но вижу также – понятие о грибах имеете, уважаете благородный гриб; в корзинах-то белые, подберёзовики...

Честно скажу – мне уже про вас Михалыч доложил, хе-хе! Михалыч – наш местный медведь. Живёт с семейством в двух километрах отсюда. Час назад Михалыч здесь объявился, обнял меня и сказал: «По лесу шастает компания грибников. Обобрали всю малину, нам ничего не оставили. Все цветы, – сказал, – оборвали, всё затоптали, поломали. Арестовать их надо!..»

Ничего не рвали, не топтали, говорите? Я вам верю. Видимо, Михалычу так всё нарисовалось. Он под старость очень уж прижимист стал. А Волк всё просит меня оформить его сторожем – сторожить лес от людей. Не знаю, назначать его или нет? Ещё, чего доброго, начнёт с деревенских взятки брать. Сами понимаете,





людям нужен и хвост и дровишки. Так что, не знаю, допускать ли Волка к этой ответственной должности? Нельзя? Вы совершенно правы! Пожалуй, лучше назначить сторожем Лося – тот честный зверь. И справедливый, рассудительный, живёт прилично и скромно...

Открою вам тайну, я в лесу считаюсь мировым судьёй. Да, да, серьёзно! Разрешаю споры зверей, выслушиваю их жалобы, просьбы. Вот недавно разобрал одно дело: плутовка Лиса выкинула номер: нагадила возле дома Барсуков. А те самые чистоплотные звери; и нора у них – образец чистоты и порядка. Ну, разумеется, после того как Лисица натворила чудес, они покинули жилище. А Лиса-нахалка его заняла. Пришлось вмешаться, заставил Лису всё вычистить и убираться восвояси. А Барсуков уговорил вернуться и, как вознаграждение за моральный ущерб, подарил им зеркальце.

А зимой я делаю в лесу кормушки: раскладываю пучки сена, разные отруби. Случается, сюда звери подходят целыми семействами. Ну, мы с Полканом выносим корки, очистки. Но, скажу вам, самое сложное время здесь – в половодье, когда разливается река и затопляет лесные массивы. Тогда работы невпроворот. Спасаем с Полканом всякую живность. Бывает, на каком-нибудь островке соберётся десятка два Зайцев, Кабанов, и тут же Лисица и Волк. Стоят рядом, прижавшись друг к другу – общая беда всех объединяет.

НЕЧИСТАЯ СИЛА

Хорошо побеседовать за чаем, верно? И Полкан любит беседы – ишь как вертится! Мы с ним тут немного одичали, вот я и разговорился. Вы уж не обессудьте. К нам ведь редко кто заглядывает. Только зверьё, да Степан – местный Леший. Наведывается пошалить, каналья!.. Правда, он не вредный. Напрасно некоторые деревенские зовут его «Лесным Демоном». Напрасно. Он не злодей. Больше изображает из себя свирепого...

Где живёт? В самой глуши леса, в шалаше из досок, которые натаскал из деревень. Доски, прохиндей, выбирал самые красивые – гладко строганные, с разводами, а шалаш собрал безобразно... Он вообще безалаберный мужик. За собой не следит, ходит небритый, оборванный, весь в репьях-колючках. У него в голове одно баловство, дурацкие забавы – напугать грибников, поставить капкан-рогульку на тропе, огреть веткой по спине... Выкинет что-нибудь в этом роде, и гогочет и весь трясётся от удовольствия, а то и танцует на пне, как заводной петрушка на шкатулке...

Иногда подходит к деревьям, пуляет в окна шишки. Позорно себя ведёт, что и говорить! Но приходится мириться – живём-то в одном лесу, в непосредственном соседстве, и даже считаемся приятелями, хотя, конечно, он – недостойный приятель. Ничего не поделаешь, так устроен мир. Бог даже деревья сделал разные, а то людей! Скажу вам – так интереснее. Представляете, какая была бы скучища, если бы мы все были одинаковые, и в лесу росли бы одни, предположим, осины?! То-то же!..

Справедливости ради замечу – Степан не лишён музыкального слуха. Например, с наслаждением слушает песню Овсянки. А у этой пичуги, и правда, хорошая



песенка. Простая такая. Послушаешь, и сразу становится спокойно на душе. Не зря Степан и шалаш мастрячит под гнездом Овсянки. А если пичуга переселяется в другое место, и Степан перебирается следом за ней. Разбирает шалаш на пять частей и перетаскивает...

А по вечерам Стёпка подкрадывается к деревьям – любит слушать песни девочек. Иногда подпевает задорным голосом. Старается изо всех сил, но девочки пугаются.

В прошлом году пришёл ко мне и говорит:

– Дай баян на неделю. Хочу научиться играть.

– Нет, Степан, – говорю. – Баян тебе в лес не дам. Отсыреет инструмент и тогда его только выбрасывай. Здесь, в избе, играй, учишь в своё удовольствие, мне не жалко, но в лес не дам ни за какие коврижки.

Обиделся Степан. Ушёл, недовольно бурча, а вечером запустил мне в форточку бумажного голубя, на котором было написано: «Жмот!»

Теперь-то иногда заходит, играет на баяне. Я ему говорю:

– Разучивай задушевные песни. А он знай наяривает разухабистые песни, дурачится. «Я же не Овсянка», – твердит. От песен Степана даже Полкан прячется в конуру, а каково мне, представляете? Короче, измучился я с этим упрямым...



Что говорите, ребята? Не знаком ли с Водяным? Как же не знаком?! Не только знаком, но и поддерживаю дружеские отношения с Петром Налимычем.

Он живёт в реке у ближайшей деревни; в его владеньях – водяная гряда. Там река довольно широкая, но Полкан, к примеру, переплывает её спокойно, без напряжения. Когда ходит в гости к деревенским собакам. Верно, Полкан?.. У Полкана в той деревне и отец живёт. А его мать ушла с Волками. Так-то!

Но я отвлёкся, вернусь к Петру Налимычу. Что о нём рассказать? Он, вроде Лешего Степана, особой аккуратностью не отличается. Ходит по вязкому илистому дну, весь в болотной траве, на голове – тина... Вылезет из воды, становится прозрачным, потому его никто и не видит. Но при желании может и проявиться – для тех, кого уважает. Скажу без ложной скромности, со мной Налимыч всегда принимает нормальный облик. Мы беседуем о том о сём, как сейчас с вами, хе-хе! Иногда беседуем на деликатную тему – о нашей холостяцкой жизни...

Вообще-то, раньше у Налимыча была жена, осанистая особа русалочного типа. Её звали Аквитания. Но характер у этой Аквитании был – хуже нельзя придумать. Только и ворчала: то, видите ли, Налимыч редко дарит ей лилии, то не развлекает; то подавай ей осетринку, то серёжки, как у деревенских женщин; то вдруг начнёт пилить Налимыча – будто бы он засматривается на деревенских женщин. А сама, между прочим, строила глазки рыбакам и зазывала их в глубину. Короче, покоя



с ней Налимыч не имел. В конце концов они развелись. Аквитания объявила, что «ошиблась в своих чувствах», и перебралась в дальнюю старицу – заливную низину. Налимыч сделал вид, что страшно огорчён, но наедине мне признался, что давно мечтал пожить один, спокойно.

Но чаще мы с Налимычем ведём серьёзные разговоры о том, что разные безмозглые механизаторы загрязняют реку, что народ стал безответственный – ставят сети-трёхстенки, а некоторые ещё и глушат рыбу взрывчаткой. Недавно рванули так, что Налимыч стал глуховат на одно ухо. Неудивительно, что Налимыч презирает многих деревенских, и при случае портит сети, делает в лодках дырки. А однажды проучил одного рыбака. Тот наловил ведро рыбы, но ему всё мало. Тогда Налимыч взял и нацепил на крючки нарисованный кулак. Рыбак вытащил снасть и хлопнулся в обморок. И поделом хапуге, хе-хе! И многих животных Налимыч недолюбливает. Я его понимаю. В самом деле, подойдут на водопой Кабаны, всё вытопчут, взбаламутят...

Ну а к тем, кто ведёт себя как подобает, ничего не нарушает в природе, и рыбу ловит только по необходимости, а не ради забавы или корысти, к таким Налимыч относится вполне дружелюбно. Особенно это касается водоплавающих – к ним Налимыч испытывает самые тёплые чувства.

– Вот смотри, – не раз говорил мне Налимыч, – как прилично ведут себя Гуси, Утки. Огибают каждую кувшинку, достают корм со дна ровно столько, сколько нужно.

Ни грамма больше. Потому и сохраняется в реке равновесие. А подойдёт к реке какой-нибудь нерадивый человек, перепашет сетью дно, запустит мотор – перепугает мальков, поднимет волну, подмоет берег. А то ещё, чего доброго, и бензин сольёт в воду...

Горькая правда в этих словах, ребята! Больше скажу – после набегов разных туристов, на берегах реки остаются следы кострищ, свалки. Это незаживающие раны на теле природы, если можно так выразиться. А выразиться так можно, потому что это горькая правда. Очень горькая. Надеюсь, вы не такие туристы-варвары?..

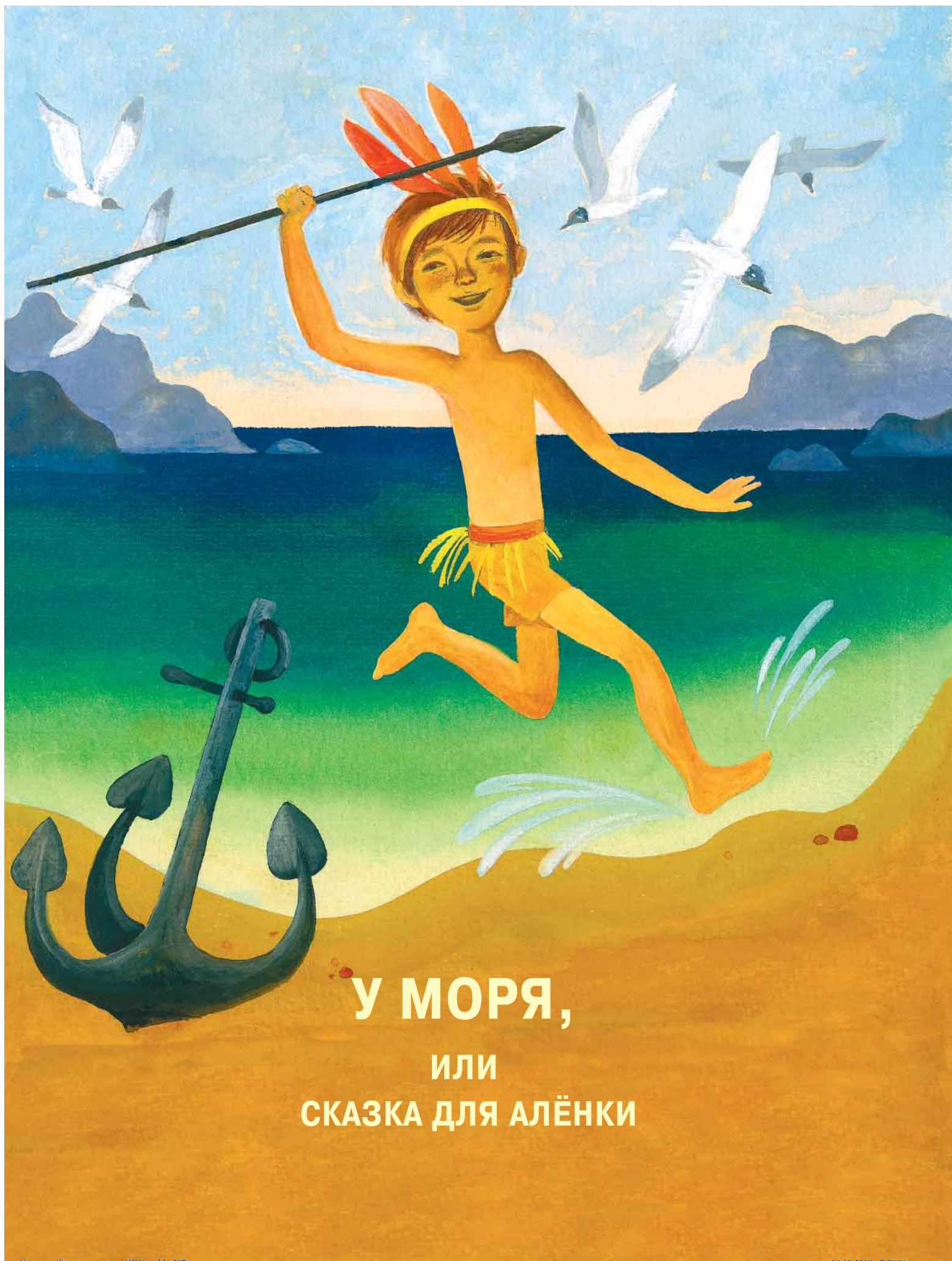
...Ну, вот и Харитоныч застучал на чердаке, подаёт мне знак – дождь кончается... Кто такой Харитоныч? Как кто?! Наш с Полканом Домовой!.. Харитоныч мужик строгий, любит порядок. У него на чердаке – ни пылинки ни соринки; он занятой, бережливый; постоянно колдует над разными деревяшками; всё расставляет по местам.

Харитоныч отмечает все религиозные праздники, при этом требует от меня медухи. Он такой!.. Следит, чтоб я вовремя туески открывал и закрывал, топил печь, когда холодно, да дровишек не жалел, хе-хе!.. А тут ещё пригрозил Лешего Степана отлупить метлой, если тот не прекратит свои вольные песни... Так и соседствуем с Харитонычем.

Я рассказал вам, ребята, о главных представителях нечистой силы. Про разных Духов, Ведьм и Привидений не говорю; те – мелкий народец. И трусливый – их легко напугать... И всё это правда. Или почти правда, хе-хе...

Ну вот, пожалуйста, и дождь кончился. Можете спокойно идти домой. И всех благ вам!





**У МОРЯ,
ИЛИ
СКАЗКА ДЛЯ АЛЁНКИ**



Я снова в Батуми, городе шумной листвы, где улицы пахнут фруктами и морем, где поезда идут среди волн, где солнце плавится в голубизне и раскалённые камни не остывают ночью; где порт грохочет и лязгает, где швартуются корабли и с них вразвалку сходят матросы; где на камнях ловят рыбу мальчишки, а на пляже влюблённые пересыпают песок из руки в руку.

По утрам море в бухте спокойное, гладкое; на воде неподвижно сидят чайки. Иногда из воды веером выскакивают мальки – спасаются от маленькой акулы – катрана. Наденешь маску и нырнёшь в море, вода прозрачная – видно, как на дне колышутся водоросли и греются на камнях бычки. Доплывёшь до буйка, перевернёшься – издали не бухта, а райский уголок.

В полдень все ходят по набережной в полудрёме, обалделые от жары и терпких запахов, улыбаются бессмысленно и говорят невпопад. На парапете сидят продавцы подводных драгоценностей, перед ними разложены раковины, сердолики, в стеклянных пузырьках с глицерином плавают металлические рыбки. Чуть в стороне под высоченными платанами без коры, которые местные называют «бесстыдницами», дремлют старики.

А пляж пестрит от ярких одежд. По пляжу ходит фотограф. Он в полосатых шортах и соломенной шляпе, в руках – фотоаппарат на треноге и складной ящик с образцами фотокарточек. Захочет кто-нибудь сняться и вытянется перед объективом – фотограф поморщится, закачает головой:

– Поймите же, я не делаю мёртвых фотографий. Я – художник, мастер художественной фотографии. В моих работах только жизнь, только радость жизни. Извольте взглянуть на эти портреты, – он кивает на ящик.

Отдыхающий начинает переминаясь с ноги на ногу, потом растягивает рот до ушей.

– Не то, – вздыхает фотограф и достаёт из кармана журнал «Крокодил» и начинает громко читать анекдоты.

Отдыхающий хватается за живот, хохочет на весь пляж, фотограф бросается к фотокамере, но не щёлкает – ждёт, когда «натура» немного успокоится. Отдыхающий ещё долго всхлипывает и вытирает слёзы, а потом вдруг мгновенно вытягивается, и его лицо каменеет. Фотограф снова вздыхает, смахивает капли пота, снова принимается читать какую-нибудь историю.

Измучив и себя, и свою жертву, фотограф наконец находит среди анекдотов как раз то, что нужно: историю, после которой отдыхающий не впадает в истерику, но всё-таки и не выглядит мрачным.

Во второй половине дня на пляже появляется толстуха – оперная певица. Она медленно вышагивает в махровом халате, негромко что-то напевает и раскланивается со всеми направо и налево.

За певуньей семенит эскорт слушательниц. Дойдя до середины пляжа, певица сбрасывает халат, потягивается и входит в море. Поклонницы тоже раздеваются и спешат за ней.

Доплыв до буйка, певица во весь голос распевает арии – «укрепляет голосовые связки». Слушательницы кружат вокруг неё, время от времени аплодируют и стонут от восторга.

По вечерам на прибрежных улицах стоит жар – от разогретой за день листвы, раскалённых камней и асфальта струится горячий воздух. Но иногда с моря тянет ветер, и тогда, если идти по ветру, кажется, плывёшь в прохладной реке. По вечерам в колючем кустарнике и в листве деревьев, над домами и над тропами слышен звон. Это трещат цикады.

Вечером на набережной зажигаются огни ресторана «Приморский», к нему стекаются местные завсегдатаи и отдыхающие, а около парикмахерской на лавках усаживаются старики, они курят трубки, обсуждают последние новости, рассматривают гуляющих.

В соседних тускло освещённых дворах женщины полощут бельё, над жаровнями коптят кефаль и ставриду, мужчины играют в нарды... и повсюду в каждом проулке хихикают парочки.

Я снова в Батуми, снова у прежней хозяйки – впереди целая неделя беззаботного отдыха. Снова по утрам я брожу по пляжу, а ночью сплю в саду на соломе, прямо под открытым небом. Рядом посапывает пёс Курортник. В обязанности Курортника входит гонять дроздов с виноградника, но он целыми днями ходит от одного открытого кафе к другому – кланчит еду.

Каждое утро мы с соседом Генкой отправляемся ловить бычков. У Генки два кривых удилица из орешника. Одно он даёт мне.



В Батуми каждый мальчишка в душе моряк. Каждый третий – обладатель тельняшки. Генка тоже носит выцветшую тельняшку и ходит босиком по острым камням – хвастается загрубевшими подошвами.

Долго сидеть с удочкой Генке надоедает; как только он вылавливает на несколько рыбёшек больше меня, тут же бросает удилице, скидывает тельняшку, разбегается и прыгает в воду. Немного поплавает, заберётся на волнолом, разляжется на камнях. «Скоро поступлю в морское училище, – скажет. – Окончу – и прощай, Батум!»

Часто с нами на рыбалку ходит Алёнка, внучка сторожа на виноградниках, загорелая, голубоглазая девчонка; её коленки в ссадинах, а на платье пятна от ягод шелковицы. Как-то я вернулся из похода по окрестностям, сижу на крыльце, отдираю колючки от одежды, высыпаю песок из ботинок, вдруг подбегает Алёнка и садится рядом.

– Дядь Лёш, расскажи что-нибудь!

– Что?

– Какую-нибудь сказку.

– Ну слушай.

Я начал рассказывать Алёнке сказку про теремок, но она сразу меня перебила:

– Эту я знаю.

– Ну хорошо, а про репку знаешь?

Алёнка поморщилась:

– И эту знаю. Расскажи какую-нибудь новую.

– Новую? – пробормотал я и стал вспоминать. Потом решил сам что-нибудь придумать.

Думал-думал, но так ничего и не придумал. А Алёнка сидит рядом, смотрит на меня, улыбается, жуёт травинку.

– Эх ты, ни одной новой сказки не знаешь! – она встала, протанцевала что-то. – Ну, может, ты хоть в камни умеешь играть?

– В камни? Это как?

Алёнка засмеялась:

– Иди сюда, я тебя научу.

Алёнка нашла на земле несколько голышей, потрясла их в ладонях и подкинула в воздух. Камни упали недалеко друг от друга.

– Вот видишь? Нужно дотянуться до камня, и всё! – объяснила Алёнка. Села на корточки, положила ладонь на один голыш, а пальцами достала другой. – Всё! Я дотянулась! Тебе щелчок! – она встала и приготовила пальцы. – Нагнись-ка!

Я нагнулся, и Алёнка щёлкнула меня по лбу. И засмеялась.

– Теперь ты кидай!

Я подкинул камни высоко, и они разлетелись в разные стороны. И, понятно, я не дотянулся.

Алёнка снова засмеялась, собрала камни и снова их подкинула. Чуть-чуть от земли. Снова дотянулась, и я снова получил щелчок. Так мы играли, пока Алёнка не отбила пальцы о мой лоб. Тогда она вздохнула:

– Ну хватит! Ты всё равно не выиграешь!

Мы сели на крыльцо.

– Дядь Лёш, а ты видел лешего?
– Нет, не видел. И никто не видел, потому что его не бывает.
– Бывает! Вот кто нацепил тебе колючек на штаны?
– Сами прицепились.
– Сами! Скучный ты, дядь Лёш, какой-то. – Алёнка поджала губы. – Никого не видел, и сказок не знаешь, и в камни играть не умеешь. Вот мой дедушка всех видел. И лешего, и домового. Дедушка мне всегда рассказывает про них. Хочешь, приходи послушай.
– Ладно, приду.
С Алёнкой мы познакомились в день моего приезда. Я сидел у кромки воды, как вдруг ко мне подбежала какая-то пигалица и, уставившись на мою бороду, насмешливо заявила:
– Ты похож на Бармалея!
– Я и есть Бармалей, – говорю.
– Нет, правда, почему у тебя борода, ведь ты не старик?
Я сказал, что целый месяц плавал по разным речкам и ещё не успел побриться.
– А у меня есть вот что! – Алёнка разжала ладонь, и я увидел ракушку.
– Красивая, – сказал я.
– Мокрая ещё красивей... Меня зовут Алёнка, а тебя как?
– Дядя Лёша.
– Дядя Лёша Бармалей, – засмеялась Алёнка и, кивнув в сторону шелковицы, зашептала: – Там лежитдохлый краб, пойдём покажу.
Она показала мне краба, потом спросила:
– Дядь Лёш, почему ты не купишь машину, если любишь путешествовать?
– У меня нет денег на машину.
Алёнка побежала домой и скоро вернулась снова.
– Вот, на! – она протянула мне множество бумажек, на них были нарисованы палочки и много ноликов. – Теперь ты сможешь купить какую хочешь машину.
– Ого! Здесь целый миллион! Я не буду их сразу тратить, и мне хватит на всю жизнь.
– Трать! Я ещё нарисую.
Вечером мы с Алёнкой встретились снова и прямо на пляже строили дворец из кила – местной глины. Алёнка подносила мягкие куски кила, а я лепил разные башни и шпили.
Потом Алёнка притащила цветные голыши и украсила ими наше сооружение. Красивый дворец получился, даже некоторые взрослые подходили смотреть.
А на другое утро на пляже ещё издали замечаю плачущую Алёнку.
Подошёл – а наш дворец разрушен. Наверно, какой-то подвыпивший романтик присел помечтать и, задремав, свалился на башни. А может быть, на наш дворец наткнулась одна из старушек, шастающих ночами по пляжу. Они, эти старушки, даже переворачивают лежаки в поисках забытых вещей, а тут дворец! Подумали, тайник, и решили поживиться!
Я обнял Алёнку за плечи:



– Ничего, мы сейчас с тобой искупаемся и построим такой дворец, что все ахнут. Вылепим огромные башни, и толстые стены, и каналы, и висячие мосты, и много разных зверей... А потом зайдём к твоему дедушке, полопаем винограда и послушаем его рассказы...

Однажды мы пошли купаться – Алёнка, Генка и я. За нами увязался и Курортник. Мы шли босиком по набережной, по раскалённому, как сковорода, асфальту. На парапете пищали чайки, выпрашивали хлеб у прохожих. Мы купались на волноломе, где обычно ловили бычков. Генка прыгал в воду ласточкой, Алёнка – солдатиком, я – лягушкой, а Курортник входил боком – побаивался волн. Накупавшись, мы обсохли на камнях и полезли в горы за шелковицей.

Уплетая тёмно-красные ягоды, мы и не заметили, как наступил вечер. Спускаясь по сыпучей тропе к бухте, мы видели, как на набережной один за другим загорались фонари, а в домах появлялось всё больше освещённых окон.

Вода в бухте была тёмной и спокойной, только у самого берега чуть плескались волны, и на их гребнях светилась пена – она вспыхивала барашками и сразу рассыпалась на множество искр.

Мы уже направились к волнолому, как вдруг недалеко от берега что-то плеснуло. Бежавший впереди Курортник насторожился. Я посмотрел в темноту, но ничего не заметил.

– Чайка, наверное, – тихо сказала Алёнка. – Или рыба.

– Тц-цц! – процедил Генка и присел.

Мы с Алёнкой тоже пригнулись. Снизу поверхность воды просматривалась лучше, и мы сразу увидели что-то серповидное, торчащее из воды. Курортник зарычал, но Генка схватил его за морду.

– Что бы это могло быть? – подумал я вслух и уже хотел подойти ближе к воде, как Генка проговорил нетвёрдым голосом:

– Может, шпионская подлодка?.. Спрячемся за камни...

Мы притаились за камнями. Генка навалился на Курортника и зажал ему пасть, чтобы он не рычал. Тёмный серп в воде покачался, потом медленно описал полукруг и... направился в нашу сторону.



Алёнка пискнула и прижалась ко мне. Серп всё больше показывался из воды, но мы так и не могли его рассмотреть. Только когда он оказался в пяти метрах от берега, мы узнали в нём... плавник огромной рыбы.

– Дельфин! – Генка вскочил, а Курортник залаял.

Мы с Алёнкой тоже вышли из укрытия и подошли к воде. Я думал, дельфин сразу повернёт в сторону моря, но неожиданно он подплыл ещё ближе. На поверхности появилась его блестящая чёрная спина и узкая клювообразная голова. На мгновение дельфин скрылся под водой и вдруг вынырнул прямо у наших ног. Курортник бросился на него с лаем. Дельфин развернулся, и тут мы увидели рану у хвоста. Из неё, как дым, струилась кровь.

– Отгони собаку! – сказал я Генке, но он уже тянул Курортника в сторону.

Дельфин подплыл снова.

– Ой, что же делать! – запищала Алёнка. – Он хочет что-то сказать. Ему надо помочь!..

– Надо... – растерянно пробормотал я. – Вот что... Бегите с Генкой домой, возьмите тряпку, бечёвку. Надо его перевязать... А я здесь постерегу.

Ребята с Курортником помчались к домам, а я нагнулся к воде и стал посвистывать. Дельфин подплыл совсем близко, протиснулся меж торчащих из воды камней и замер у моих ног. Его маленькие глаза смотрели на меня – просили о помощи. Я протянул руку и погладил его гладкую голову.

Через некоторое время прибежали запыхавшиеся Генка с Алёнкой; увидев, что я глажу дельфина, разинули рты. Потом присели рядом на корточки и тоже дотронулись до животного. Генка протянул мне белую тряпку и бечёвку.

– Еле посадил Курортника на цепь, – проговорил он. – Всё хотел бежать с нами...

Мы с Генкой вошли в воду и стали перевязывать дельфина: подводить под хвост тряпку, стягивать её вокруг раны и обматывать бечёвкой. Несколько раз дельфин дёргался и поднимал голову, но потом снова замирал. Перевязав животное, мы присели на камни.

– Дядь Лёш, он умрёт? – с дрожью в голосе спросила Алёнка.

– Не знаю, должен выжить, если недавно рану получил.

– А кто его поранил?

– Возможно, задело винтом какого-нибудь мотобота.

– А может, рыбак какой! – предположил Генка. – Папка говорил, что раньше дельфинов ловили и убивали. Жир из них получали.

Мы отошли от дельфина уже в полной темноте.

Утром, проснувшись, я позвал Генку, но никто не откликнулся. Заглянув в дом, я увидел, что Генкина кровать пуста; зашёл к Алёнке, но и её не было дома. «Наверно, около дельфина», – сообразил я и заспешил к морю.

Ещё издали я заметил, что дельфин ожил. Ребята стояли на мелководье, а между ними плавал наш «раненый».

– Он рыбу ест, – крикнула мне Алёнка. – Смотрите!

Она впрыгнула на берег, подбежала к бидону и, запустив в него руку, вытащила маленькую рыбёшку, потом снова вбежала в воду и поднесла рыбёшку дельфину. Тот задрал голову и осторожно взял рыбу.

– Что ж ты, дядя Лёш, так долго? – пристыдил меня Генка. – Уж я и рыбы наловил, а ты всё спишь и спишь.

Увидев меня, дельфин подплыл ближе и, как мне показалось, приветливо вильнул хвостом. Со спины он был блестящий, точно лакированный, а внизу белый, как перламутр. На его упругом, стремительном теле нелепо выглядела белая тряпка.

«Но ничего, – подумал я. – Если бы не она, может, и не ожил бы».

– А зубы у него мелкие, – продолжала Алёнка. – И их очень много. Но он очень умный. Такой умный, что прямо не знаю. Осторожно берёт рыбку – боится укусить меня за палец...

Через несколько дней дельфин совсем поправился, и мы решили снять с него тряпичный жгут. Размотав повязку, мы увидели, что рана затянулась, остался только небольшой рубец.

Теперь дельфин стал всё чаще уплывать из бухты в открытое море, но чуть завидит нас – сразу спешит к берегу.

Покормим его рыбой, начинаем играть в воде – гоняться друг за другом. Дельфин носится между нами, выпрыгивает из воды, кувыркается или поднырнёт под кого-нибудь из нас и прокатит на спине.

Всего несколько дней я прожил у моря, и вот уже поезд увозит меня из Батуми. За окном мелькают кипарисы и бронзовые, точно кованные, сосны – так много деревьев, что почти не видно домов; не улицы – зелёные тоннели.

Я проезжаю порт, где под кранами стоят корабли; проезжаю пляж, и поезд идёт у кромки воды; кажется, ещё немного и волны затопят вагон, но они только перекачиваются через камни и ползут назад, сине-зелёные, с белыми вспышками пены.

Поезд проходит мимо волнолома, и я, высунувшись из окна, машу рукой Алёнке и Генке, которые изо всех сил бегут за составом и тоже машут мне руками. Их догоняет Курортник, видит меня, виновато виляет хвостом – извиняется, что запоздал проводить.

Так и бегут они втроём: Курортник лает, а Генка и Алёнка улыбаются и что-то кричат мне – не могу разобрать что. Кончается волнолом, а они бегут по мелко-воду, вспугивая чаек, поднимая тучу брызг. Они бегут и когда поезд, прибавив хода, поворачивает и отдаляется от моря.

...Дома у меня на окне лежат Генкин высушенный морской конёк, Алёнкины голыши и ракушка и «миллион» её бумажных денег. Когда я смотрю на эти вещи, меня сильно тянет в Батуми, к морю. Я достаю плавки, маску, тёмные очки, укладываю чемодан. «Потрачу-ка своё богатство», – бормочу и рассовываю Алёнкин «миллион» по карманам.

СОЛНЕЧНАЯ СТОРОНА УЛИЦЫ

ПОВЕСТЬ





Я знал только трёх людей, которые на вопрос «как дела?» всегда поднимали большой палец. Первым был столяр дядя Матвей. Его мастерская находилась в подвале нашего дома; к ней вела скрипучая деревянная лестница со стёртыми ступенями; из подвала пахло столярным клеем и свежей стружкой. В мастерской было небольшое продолговатое окно, но, каким-то загадочным образом, даже в пасмурные дни в ней было светло, а уж в солнечные – её просто затопляли ослепительные волны, и, казалось, в них плавали верстак, рубанок, деревянный молоток и спирали стружек, и сам дядя Матвей – он работал и улыбался тайным мыслям.

Дядю Матвея называли Мастером, и этим высоким званием его наградили неслучайно – он реставрировал, «оживлял» старинную мебель с инкрустациями и резьбой, и вкладывал в работу недюжинную любовь к дереву. Глядя, как он подбирает, прилаживает друг к другу куски «благородной» древесины, как зашкуривает их, покрывает лаком, полирует, я сильно завидовал ему и мечтал стать таким же мастером-краснодеревщиком, когда вырасту.

Вторым был матрос на Соловецких островах. Он сказал мне как-то:

– Быть счастливым просто – не надо желать чего нельзя получить.

Я-то знал – с этим никогда не соглашусь и усмехался – попробуй не желать! Но матрос был по-своему счастлив; он побывал во многих странах, вечно находился в пути, но не хотел менять свои скитания на городскую жизнь в «коробке».

Третьим был мой отец.

1.

Я любил катить железное колесо каталкой или идти вдоль забора и палкой трещать по рейкам. Любил грызть сосульки, играть в ножички и кричать в пустой бочке. Любил стручки гороха, семечки от тыквы и, когда жарко, любил залезать в ручей – становилось прохладно и спокойно. Любил полевую сумку, потому что в ней много отделений, любил подставить ладонь под струю воды из колонки и брызгать. Любил свистеть, засунув в рот пальцы, и любил мандарины – они пахли Новым годом (их продавали только перед зимним праздником).

Ещё я любил вертеть на полу раскрытый зонт, как юлу, любил гудеть в водосточную трубу и смотреть, как пытит каток, разглаживая асфальт. Любил пыльные чердаки с косыми лучами солнца и любил слушать шум дождя по крыше – казалось, там расплясались какие-то беспечные весельчаки.

Ещё любил стрелять косточками от вишни и палкой с пластилином доставать монеты из фонтана. И любил подавать инструмент дяде Матвею, когда он работал. И любил всех дворовых собак... И конечно, любил свою мать... Но особенно любил отца – горячо, безудержно.

Отец постоянно ездил в командировки – то на один завод, то на другой; всё время мы с матерью его провожали и встречали. Зато, когда он бывал дома, наступал праздник. Я просыпался от смеха в комнатах, отец шагал взад-вперёд, что-то рассказывал матери, смеялся и пел... Он всегда был в приподнятом настроении. Наверное, иногда ему становилось плоховато и наверняка он иногда грустил, но этого никто не видел. Поэтому все считали отца счастливецом. И он так считал тоже.

– Я, в самом деле, счастливый, – говорил мне. – Не потому, что во всём везёт. Нет! Просто я знаю, чего хочу, и люблю свою работу, и у меня есть надёжные, преданные друзья, и есть мама, и ты...

Меня-то отец любил больше всех, я знаю точно. Даже «любил» – не то слово. Отец просто не мог жить без меня, а я без него – и подавно.

Когда отец возвращался из командировки, мы с ним не расставались ни на минуту: играли в чехарду, строили в ручье запруду и пускали бумажные корабли; или гоняли в футбол или запускали змея и посылали к нему «письма». Или усаживались на диван, отец обнимал меня и рассказывал захватывающие истории. Он знал их огромное множество, ведь столько ездил по разным местам!

Всё своё детство я ждал отца. И всю свою юность. С отцом было легко, интересно и весело; он сразу ставил всё на свои места и заражал меня оптимизмом. И сразу неудач становилось меньше, а те, которые и были, казались мелкими, чепухой.

Я и теперь жду отца, хотя его уже давно нет.

2.

Мы жили в коммуналке, занимали тесную комнату, заставленную расшатанной мебелью.

– Господи, когда у нас будет просторная комната, хорошая мебель? – вздыхала мать.

– Будет! – отзывался отец, поправляя очки. – Когда я заработаю много денег. А вообще, деньги – это необходимость, далеко не главная в жизни. Нельзя же, к примеру, купить молодость, любовь, дружбу! – как бы закрывая тему нашего неблагополучия, отец обводил комнату рукой. – И потом, у нас и сейчас неплохо. Полно света. А свет – главное в комнате. У нас свет мягкий, спокойный, он способствует творчеству, – отец подмигивал мне, давая понять, что мы-то с ним живём высшими понятиями, а не какими-то там мелочными заботами.

Наш дом был старый, с облупившейся штукатуркой и поломанными дверьми. Ничего примечательного в доме не было, за исключением чёрного хода и пожарной лестницы, с которой открывался вполне примечательный вид на Москва-реку. Зато у нас был колоритный двор: выбитый «пятак» – площадка футболистов, стол – для любителей сразиться в шахматы и домино, и в тени, под деревьями, где всегда пузырилось выстиранное свежеспавшее бельё прачки тёти Зины, – скамья, на которой обсуждались дворовые, городские и всемирные новости. Плюс ко всему, двор украшали цветы в горшках и эмалированные вёдра; цветы выносили под летнее солнце, в вёдра женщины собирали дождевую воду, чтобы лучше промыть волосы.

В каждом дворе мальчишки имеют прозвища; в нашем они были и у взрослых. Так столяра дядю Матвея звали Мастером, полную тётю Зину – Пышка. Моего отца нарекли Астрономом (некоторые, малосведущие, называли Звездочётom, и отцу не раз приходилось объяснять разницу между первым и вторым).

На чердаке нашего дома отец соорудил что-то вроде телескопа – картонную трубу с линзами от очков; труба слабо, но всё-таки увеличивала ночные светила.

С наступлением темноты отец часто наблюдал за звёздами, при этом что-то записывал в тетрадь. Как-то сказал мне:

– Сегодня увидим редкое явление! Комету!

За ужином он был необычно взволнован, то и дело снимал и протирал очки.

– Комета – это тебе не фунт изюма съесть! – подмигивал мне. – Это не каждому удаётся увидеть. Можно прожить целую жизнь, но так и не увидеть ни одной кометы.

Когда стемнело, мы забрались на чердак; отец долго наводил трубу на небо и бормотал:

– Созвездие Весов, Рака, Лебеда...

Наконец воскликнул:

– Вот она, смотри!

Я приник к трубе – всё черным черно.

– Ничего не вижу, – говорю.

– Как не видишь? – нахмурился отец и посмотрел сам. – Эх ты. А это что?! – он подтолкнул меня к телескопу.

На этот раз я разглядел маленькую светящуюся точку.

– Вижу! Комета!

– То-то и оно. Совершенно очевидно – комета! Красивое событие!

В другой раз, заметив, что я слоняюсь по лестничной клетке без дела, отец сказал:

– Неужели тебе нечем заняться? Знаешь, что самое страшное в человеке? Лень!.. Перебори себя, отбрось хандру, заставь себя трудиться, вот это будет победа! Самая почётная победа – над самим собой... Полезли-ка на чердак, что-то покажу – закачаешься!

– Что? – еле выдохнул я.

– Сейчас увидишь, – отец загадочно улыбнулся.

На чердаке, среди всякого хлама, он кивнул на бочку.

– Угадай, что это?

– Бочка.

– Хм! Ничего ты не понимаешь! Ну, какая же это бочка. Это для всех бочка.

А для нас? Для нас это...

– Стол! – быстро подсказал я.

– Не-ет! – поморщился отец и повысил голос: – Корабль! Самый лучший в мире корабль! Необычной конфигурации. Давай, залезай, поплывём в разные страны.

Залезли мы в бочку, отец замахал руками.

– Отдать концы! Полный вперёд!

Но вдруг взглянул на меня с укоризной:

– Как ты стоишь? Ну кто так нелепо стоит?! Подует ветер, и в итоге свалишься, как статуэточка, – он засмеялся. – Стрелять умеешь?

– Стрелять?

– Из лука? У тебя, вроде, есть лук?

Я кивнул.

– Тащи! Чего же медлишь? В путешествии голова должна варить как надо. Принёс я лук со стрелами. Снова залез в бочку.

– Приближаются пираты! Стреляй! – скомандовал отец и показал на дерево посреди двора.

Я пустил стрелу и попал в ствол.

– Дай-ка я тоже попробую, – отец выхватил у меня лук. – Пострелял, дай другим пострелять. И подвинься – ты заслонил мне весь вид, даже море не видно, не то что пиратов.

Он стал целиться и всё поучает меня:

– Важно, как ты держишь лук. Крайне важно. Такая тонкость. По тому, как человек держит лук, можно сказать, какой он стрелок.

Отец спустил тетиву и промазал. А я прицелился и снова попал.



– Плохо, – сказал отец. – Очень плохо. Так не стреляют. Стрелять надо на большом расстоянии. И стрелы у тебя плохие. Они должны быть с оперением.

– Полезли на крышу! – перебил я отца. – Мы потерпели кораблекрушение и попали на необитаемый остров.

– Здорово придумал! – отец хлопнул меня по плечу. – Давай, фантазируй ещё, развивай воображение! Все существа на земле через игру познают мир.

Вскарабкались мы на конёк крыши.

– Теперь подавай сигналы бедствия, – отдуваясь, проговорил отец.

– Я не умею.

– Как не умеешь? Совсем не умеешь? Но надо подавать. Хоть тресни, а надо. Иначе мы умрём с голоду.

– Идите ужинать! – вдруг слышим снизу голос матери; она стоит около лестницы, и вдруг спрашивает: – Что вы там делаете?

– Да вот, – отец повёл в воздухе рукой, – на остров приплыли. Хочешь, полезай к нам.

– Что за бесшабашные поступки?! Выставляете себя на посмешище. Слезайте сейчас же! Я думала, у меня один ребёнок, а у меня их, оказывается, два.

– Не грешите преувеличениями, сударыня, – отозвался отец, а мне тихо бросил: – Ничего не поделаешь, придётся слезать. Кое-чего она не понимает, наша мамка.

– Совсем ничего, – согласился я

– Твой отец большой оригинал, – частенько слышал я во дворе. – В его голове одни чудачества. Ему легко живётся.

А между тем отцу жилось далеко не легко. Будучи инженером-самоучкой (он закончил только курсы чертёжников), ему всё время приходилось заниматься самообразованием.

– Я вечный ученик, – говорил он, – всю жизнь учусь и не стесняюсь своих недочётов, ошибок, неумения.

Но отец был отличный практик – неслучайно ему заказывали работу многие заводы. Так что по вечерам он не только смотрел в телескоп, но и чертил за доской, иногда до полуночи.

3.

У отца было редкое качество – он радовался успеху других и, как никто, восхищался работой мастеров. Однажды дядя Матвей сделал нам полку; отец прибил её на стену, сел напротив, подозвал меня.

– Полюбуйся! Не полка, а произведение искусства. Матвей Петрович не просто Мастер, он исключительный талант в области столярного ремесла. И яркий человек. Яркий и не шумный. Спокойно делает своё дело. Мы с тобой не смогли бы сделать такую полку никогда. Как бы ни пыжились. Вот так и нужно работать. Нужно делать или прекрасные вещи или не делать никаких. Не так важно, кто ты: столяр, инженер, живописец, куда важнее – отношение к работе. Ты должен быть прежде всего мастером своего дела. Такая немаловажная деталь.

Эту премудрость я не смог постичь.

– В сущности, – продолжал отец, – ценить мастерство очень просто: хорошая вещь та, на которую никак не насмотришься, и хороший кинофильм – когда выходишь из зала и становится грустно, что расстался с героями фильма...

Эта премудрость до меня дошла и, отягощённый новыми знаниями, я долго не мог подняться с дивана, а отец, после столь длинной речи, подошёл к сундуку и достал свой музыкальный инструмент – трубу. Он всегда, когда волновался, играл на трубе; музыка на него действовала умиротворяюще. Отец играл всего две мелодии, и только при мне и матери, и никогда – при посторонних.

– Я всего лишь любитель, – говорил, – играю для души.

В тот момент его душа была переполнена возвышенными чувствами.

Всякий раз, когда отец играл на трубе, наша комната наполнялась приглушёнными витиеватыми звуками: они напоминали журчание воды у колонки – та вода по деревянному жёлобу стекала в ручей, который заканчивался ярко-зелёным болотцем с острыми травами; из болотца вытекал второй ручей – он впадал в Москва-реку... Слушая звуки трубы, я шёл по ручью, плыл в реке, и как-то само собой, миновав огромное пространство, уже на пароходе бороздил океанские просторы, посещал далёкие страны... Удивительный инструмент труба!

Отец играл легко, без напряжения; со стороны казалось, подуй, и у тебя получится не хуже, но когда я пытался что-нибудь сыграть, у меня ничего не получалось. Я дул изо всех сил, но вместо звуков из трубы вырывались хрип и стон.

До сих пор я отношусь к трубе с почтением. Её звуки моментально поднимают настроение, если взгрустнулось, и наоборот – заставляют погрузиться, если слишком развеселился.

4.

На одно лето мать сняла комнату за городом, чтобы «подышать свежим воздухом и приобщиться к природе».

– Как там, Ольга Фёдоровна, обстоят дела со светом? Вы это выяснили? – поинтересовался отец (в некоторые моменты он шутливо называл мать по имени-отчеству. Мать, в свою очередь, тоже кое в какие моменты называла отца на «вы»).

– Со светом там, как везде, – отозвалась мать. – Электрическое освещение хорошее.

– Хм, я имею в виду солнечный свет, – прояснил отец. – За городом свет должен быть ярким, но не слишком. А то бывает солнце нестерпимо палит и в комнату течёт жара, стоит изнурительный, удушающий зной. Это никак не способствует творчеству. А у нас с сыном обширные планы, в смысле творчества, – он подмигнул мне. – Я беру заказы двух заводов, а сын – бумагу и краски. У нас тьма планов.

Посёлок располагался в отличном месте: с одной стороны к домам вплотную подступал лес, с другой – простирались луга, через которые петляли тропы к озёрам. По субботам мы с отцом отправлялись на рыбалку – на рыбалку с ночёвкой под открытым небом! На озёра приходили вечером; я собирал сушняк, отец вылавливал две-три плотвички для ухи; мы разжигали костёр, ставили рогульки, вешали котелок...



– Что может быть лучше ночёвки у костра! – говорил отец и, подчёркивая величие момента, обводил рукой окружающее нас пространство.

В самом деле, что могло быть лучше? Я лежал на отцовской куртке и смотрел на языки пламени; в котелке бурлила уха, и её запах щекотал ноздри; с противоположного берега доносились скрип телег, голоса... Когда мы съедали уху, отец подкидывал веток в костёр, закуривал папиросу и начинал рассказывать истории, которые с ним случались в командировках. Я мужественно боролся со сном, и всё же, как-то незаметно, мои глаза слипались – обычно на самом интересном месте рассказа.

Рано утром, едва рассветало, отец будил меня и мы спускались к воде.

Мы удили на обычные поплавочные удочки. Как только у меня начинало клевать, я подсекал, и рыба часто срывалась. Отец не спешил, ждал, когда рыба съест концы червя, почувствует вкус лакомства, осмелеет и набросится на всю наживку. Тогда подсекал. И всегда без срывов. При этом подмигивал мне и, с некоторой долей хвастовства, как бы говорил: главное в ужении – техника исполнения. Отец по поклёвке чувствовал, какая берёт рыба, и снова подмигивал мне и шептал: подлещик или голавль, или ёрш. И всегда угадывал. Это было какое-то чудо!

Когда становилось жарко и рыба уходила на глубину, мы выбирали песчаную отмель и плавали (отец учил меня плавать «брассом»), и ныряли навстречу друг другу, чтобы встретиться под водой. Потом плоской галькой «пекли блины» на воде, рвали для матери кувшинки. Я купался до «гусиной кожи», когда уже зуб на зуб

не попадал, а отец только смеялся и не устраивал мне никаких выговоров, в отличие от матери, которая никогда не давала развернуться в воде по-настоящему.

С рыбалок возвращались просёлочной дорогой; по пути к дому отец мечтал о яхте.

– Скоро сделаю одну важную работу, получу много денег и мы с тобой приступим к строительству яхты, – серьёзно говорил он. – Вот тогда попутешествуем... Нам путешествия совершенно необходимы, чтобы набираться впечатлений, расширять кругозор... Но немного терпения. Надо запастись терпением.

Отец объездил много разных мест, но все его поездки были сухопутными, поэтому он мечтал совершить путешествие по воде. Даже наметил маршруты этих путешествий. Не хватало только яхты. Яхта не давала отцу покоя: все разговоры в семье заканчивались разговором о паруснике. Чертежи отец давно начертил. Их было множество – листов пятьдесят, не меньше. На одних красовались беспалубные шлюпы, на других – парусно-моторные, с мачтами и каютами. Чертежи были всюду: под столом, за шкафом, в диване. Если бы однажды отец решил развесить все чертежи на стенах, не хватило бы всей нашей комнаты. К тому же наша комната была завешена моими рисунками и, возможно, отец не хотел заменять их чертежами, поскольку считал меня «способным», а главное «плодовитым живописцем».

Каждый раз, когда отец заговаривал о яхте, мать вздыхала:

– Неисправимый романтик! – и, насупившись, уходила на кухню.

Но я-то слушал отца всегда. Я знал, что рано или поздно мы построим яхту, и был уверен – это будет отличное судно.

Когда отец уезжал в командировки (он их в шутку называл «трудовыми путешествиями»), на меня часто находила тоска, мне казалось – в прошлом веке жизнь была намного интереснее; я представлял во всём блеске необитаемые острова, клады, пиратов, и сильно завидовал мальчишкам, которые жили в те времена. Но возвращался отец, рассказывал о нехоженых лесах и диких зверях, о геологах, строителях, и я начинал завидовать отцу. Много раз я просил его взять меня с собой, но он говорил, что мне нужно подрасти. И я ждал, когда подрасту. А время, как назло, тянулось ужасно медленно. Иногда мне казалось, что я не смогу стать хорошим путешественником, таким, как отец, и я делился с ним своими сомнениями. Но отец быстро меня успокаивал:

– Как это не сможешь? Тоже мне сказанул! Ты станешь отменным путешественником! Ты должен верить в это. Недооценивать себя так же вредно, как и переоценивать. Такая немаловажная деталь.

Собственно, отец напрасно меня успокаивал. Такие сомнения меня посещали редко. В общем-то я был уверен в себе. Даже чересчур. Особенно в рисовании. Но в этой области я, по общему признанию, достиг немалых успехов. Даже отец, который относился ко мне с повышенными требованиями, отмечал многие мои рисунки. Иногда брал карандаш и делал в рисунках поправки (он рисовал блестяще), при этом провозглашал:

– В любом деле главное последний штрих! И у столяра, и у портного, и у рисовальщика. Мастер сделает два-три штриха, и вещь заиграет. Такая тонкость.

Отец откладывал карандаш и, чувствуя себя «Мастером», доставал трубу, но проиграв обе разученные вещи, вздыхал:

– Да, приходится признать, здесь имею средние способности, мастерства не хватает. Ноль тонкости. Похоже, высокое музыкальное искусство для меня недостижимо. Как, впрочем, и столярное ремесло, и многое другое.

И такое самоуничижение находило на отца. Всё от того, что он ко всему подходил с высокой меркой.

5.

Однажды, в знойный полдень, возвращаясь с рыбалки, мы подошли к опушке леса, и отец сказал:

– Хочешь посмотреть бой хищников?

– Где? – удивился я.

– Здесь, прямо сейчас. Это заслуживает пристального внимания... Ты много раз встречал этих хищников на лугу и у озера, и они первые пускались от тебя наутёк. Они очень маленькие, эти хищники, но свирепы не меньше, чем их большие собратья. Они тоже прячутся в зарослях, и выслеживают добычу, и неожиданно нападают из засады.

Отец свернул с тропы и остановился около родника, на дне которого кипели песчинки.

– Вот здесь, – он лёг за трухлявый пенёк.

Я распластался рядом. Над нами закачались крупные стаканчики колокольчиков – меж них блестела паутина.

Только мы замаскировались, как в паутинную сеть плюхнулась большая с металлическим блеском муха; запуталась и отчаянно зажужжала. И сразу откуда-то из-под листьев к ней устремился паук: забежал вокруг мухи, опутывая её нитями. Но муха была сильная – всё время рвала паутину и не давала пауку приблизиться. Тогда паук неожиданно стал обрывать паутину вокруг пленницы, и муха, освободившись, улетела.

– Не справился, – объяснил отец. – Теперь починит сеть и снова сядет в засаду. Скоро какая-нибудь бабочка-растяпа наткнётся на его бредень. Паук парализует её укусом и высосет... Но это ещё что! Давай-ка посмотрим, кто обитает в пне. В нём всегда немало насекомых... По крайней мере парочку жуков наверняка обнаружим...

Отец отломал от пня кусок коры, и тут же в траву свалился чёрный жук с рогом на голове. Пробежав под травами, жук полез на стебель лопуха; внезапно скользнула тень какой-то птицы, и жук-носорог сразу упал, поджал лапки и замер. Отец хмыкнул:

– Притворился мёртвым, хитрец!.. Иногда путается и окаменевают, когда вообще видит что-нибудь загадочное. На всякий случай. Такая тонкость... А некоторые жуки пугают своих врагов, принимая страшные позы... А жук-бомбардир выбрасывает из брюшка едкую жидкость, устраивает настоящий взрыв. Любой преследователь остановится ошарашенный, а жук в это время убежит.

В стороне застрепетала стрекоза; присела на цветок и замерла.

– Вот и стрекоза тоже, – сказал отец.

– Что стрекоза?

– Тоже хищник. Да ещё какой!

– Не может быть!

– Точно! Присмотрись, комаров щёлкает на лету, – отец встал, отряхнул брюки. Я тоже вскочил.

– А оса! – сказал отец. – Думаешь, она сладёна? Только сок в цветочках пьёт?

– Да.

– Ничего подобного. Как бы не так. Тоже хищник. Жало-то у неё какое! Помнишь, тебя ужалила? Тебе и то больно было. А каково, к примеру, мотыльку? Сразу падает замертво, – отец поднял удочки, и мы снова вышли на тропу.

– А светляки? – всё сгущал краски отец.

– И светляки хищники? – удивился я.

– То-то и оно! Улиток съедают!

Мы уже отошли от леса, и отец усмехнулся:

– Вот такие огорчительные наблюдения! Это данность, от неё никуда не деться. Но ты, наверное, понял, что все эти хищники полезные. Представляешь, сколько было бы комарья и мошкар, если б не они?

– Сколько?

– Тучи! Вот сколько! Если б не они, да ещё лягушки.

Выдержав паузу, отец продолжил:

– Но, конечно, мало радости, если всё в мире построено на чувстве страха, опасности, что побеждает тот, у кого больше зубы. Хотелось бы, чтобы все умирали своей естественной смертью. Но так уж устроен мир – тут ничего не попишешь. Поэтому и существует равновесие в природе. Есть добро и есть зло. И есть хорошие люди, и есть плохие. Только хороших всё же больше. Несравнимо больше. Как ты считаешь?

6.

Отец привил мне любовь к дождям. Когда чуть моросило и за запотевшим стеклом лишь виднелись водяные капли, отец говорил:

– В такой дождь хорошо работается. Давай-ка, я почерчу, а ты порисуй. Изобрази что-нибудь этакое – как мы плывём на яхте. Предпочтительно в южные страны, там солнца больше.

Когда лил сильный дождь и по стеклу с хрустом лупили косые стеклянные плети, а в лужах лопались огромные пузыри, отец восклицал:

– Смотри! Дождь, точно проказник портной, сшивает белыми нитками дома с деревьями, небо с землёй! А не побегать ли нам наперегонки под дождём?! Для закалки!

Мы сбрасывали ботинки, выскакивали на крыльцо и сразу глохли от плещущего шума.

– Кто первый добежит до телеграфных столбов, тот чемпион посёлка! – отец поднимал руку и начинал отсчёт: – Раз, два, три, старт!

Мы бежали босиком по скользкой траве; отец сразу вырывался вперёд, но вскоре, изображая хромоту, притормаживал и мы финишировали одновременно.

После дождя прямо на размытой обочине дороги мы выкапывали каналы, наводили мосты, воздвигали дворцы из глины... Когда появлялось солнце, наши сооружения подсыхали и становились твёрдыми, как памятники – все прохожие охали и ахали.

– Мечта о Венеции, – объяснял отец, давая понять, что наши планы (в смысле путешествий) простираются достаточно далеко.

Вряд ли прохожие понимали этот намёк, тем не менее уважительно обходили наши «мечтания»; некоторые говорили отцу:

– Весёлый вы человек. Легко вам живётся – никаких забот.

– Абсолютно никаких! – соглашался отец.

Но тут же добавлял:

– Только сегодня. Ведь не каждый день бывают красивые события – такие тропические ливни и столько материала для работы, – он кивал на глину и улыбался – то ли простодушно, то ли иронично – каждый понимал по-своему.



7.

То прекрасное время оказалось коротким. Вскоре началась война.

Город помрачнел: над домами повисли «колбасы» – воздушные заграждения, на площадях появились металлические «ежи», в нашем дворе расположился зенитный расчёт; комендант района издал приказ: замаскировать окна и сдать радиоприёмники. Случалось, с наступлением темноты выли сирены, по небу шарили прожекторы и мы бежали в бомбоубежище или в метро.

Завод, на котором работал отец, эвакуировали в Казань. Целый месяц мы ехали в вагоне-«телятнике»; назад убегали лесные массивы, поля, унылые деревни на косогорах. По несколько дней товарняк простаивал на запасных путях, пропуская воинские эшелоны, спешившие на запад; в вагонах солдаты играли на гармошках, распевали песни, кричали нам, что вернутся с победой!

Нас поселили в общежитии на окраине, где трамвай делал петлю, и дальше начинались красноглинистые овраги. На окраине разбегались полосы окученной картошки с бело-голубыми венчиками выюна, тикали кузнечики; было солнечно и тихо, местные жители спокойно работали в огородах, и я подумал: «Может, здесь ещё не знают о войне?» Но Вовка, старожил общежития, сообщил мне, что в соседние дома уже пришли две «похоронки» и «там сильно кричали женщины».

Красноглинистые овраги выглядели впечатляюще: огромные, с подтёками и осыпями; в некоторых зияли трещины – мы называли их пещерами. Около пещер играли в войну, кидали друг в друга колючки репейника; в кого попадёт «пуля», тот убит. Обычно делились на два войска: наших и немцев. Быть немцем никто не хотел, и приходилось кидать жребий. Но и после жребия «немцы» играли без особого энтузиазма, часто сдавались в плен, и игра заканчивалась полной победой «наших», без единой потери.

Основным местом действия в общежитии была кухня – помещение с печками-«буржуйками». На кухне женщины готовили еду, стирали, сушили обувь; мужчины по вечерам курили, обсуждали последние новости с фронта.

Вовка с матерью, тётёй Машей и младшей сестрой Катькой жили в первой комнате. Из их двери пахло сухарями и кислыми щами. Вовкин отец был на фронте; его фотография висела на стене комнаты: светловолосый лётчик в комбинезоне с планшеткой в руках. Каждый раз, когда тётя Маша смотрела на эту фотографию, её подбородок начинал дрожать и она отворачивалась, чтобы дети не видели её слез.

До войны тётя Маша работала швей-надомницей, но в эвакуации на заводе освоила мужскую профессию – токаря. Вовка хвастался:

– У неё на рабочем месте стоит флажок передовика.

С работы тётя Маша спешила в детсад Катьки и там ещё подрабатывала уборщицей.

– Маша необыкновенная женщина, – говорила мать отцу. – Я поражаюсь, как она всё выдерживает.

– Да, безусловно, она героическая женщина, – соглашался отец. – И на заводе совершенно справедливо считается мастером высокого класса. Без преувеличений, она художник по металлу.

Во второй комнате жили Артём и его мать, тётя Валя. Из их комнаты пахло солёными огурцами и лекарствами. Тётя Валя работала истопником в котельной, постоянно ходила в угольной пыли, от тяжёлой работы часто болела. Артём – стриженный, с металлическим зубом верзила, второй год ходил в пятый класс; засунет учебник под ремень, закурит «чинарик» и идёт, но не в школу, а к кинотеатру «Авангард»; там околачивался до вечера, «подрабатывал» – попросту спекулировал билетами с друзьями, тоже прогульщиками; по слухам, среди них были и карманники. Эти дружки всячески восхваляли Артёма, заискивали перед ним и величали Вождём, на что мой отец усмехался:

– Гулливер среди лилипутов. Вся их компания катится в пропасть, ибо, кто не учится, станет примитивным до безобразия, шумным человеком. Они позорят своих отцов.

Но Артём позорил не отца, а отчима, который служил на флоте. Отец Артёма бросил семью, но вскоре Артём сам выбрал матери второго мужа. У тётя Вали появилось два ухажёра: один торговец, второй моряк. Она спросила у сына:

– Какой отец тебе нужен?

Артём выбрал моряка.

К нам, малолеткам, Артём относился насмешливо, при случае щёлкал по лбу, но в дни «приличного заработка» играл с нами в футбол, правда, и тогда выпячивался, кичился своим мастерством.

В третьей комнате жили Гусинские. Из их комнаты пахло жареной картошкой, мясом и киселём. Гусинский работал завхозом. Толстяк (по прозвищу Баобаба), с глазами навывкате, как у мороженой рыбы, он держал в голове цены на все товары, знал где что выгодней можно перепродать и, пользуясь бедственным положением соседей, скупал у них вещи за бесценок. Тётя Маша продала ему швейную машинку, тётя Валя и моя мать – одежду и посуду, мой отец – трубу. Ходил слух, что Гусинский «увильнул» от армии. Гусинская, как нельзя лучше, оправдывала свою фамилию: толстая и неуклюжая, при ходьбе переваливалась, словно гусыня; у неё пальцы были как сосиски, а глаза маленькие – этикие дробинки.

Мы с Вовкой на двоих имели самокат, шахматы из катушек и стреляные гильзы, которые нашли на свалке, а Витька Гусинский, наш сверстник (по кличке Гусь), имел полевую сумку, перочинный ножик с пятью предметами и набор цветных карандашей.

Из четвёртой комнаты пахло парфюмерией. В неё позже всех въехали ярко-накрашенная женщина и остроносая девчонка. Женщину звали тётя Лёля, девчонку – Настя. Тётя Лёля работала машинисткой, ходила в облаке духов, по минутно доставала расчёску и причёсывалась. Первое время тётя Лёля редко отпускала Настю во двор, говорила «там мальчишки отвратительного поведения», но всё же Настя успела нам сообщить, что её отец – майор, командует артиллерией, а сама она хочет стать танцовщицей.

Иногда к тётя Лёле приходил высокий мужчина с усами; тогда в их комнате играл патефон – всегда одну и ту же пластинку: «Мы на лодочке катались».

От этой мелодии тётя Лёля, по её словам, получала «море удовольствия» и часто распевала «лодочку» на кухне – она считала, что у неё «неповторимый голос». Когда приходил мужчина с усами, тётя Лёля разрешала Насте гулять до позднего вечера.

– Усатый подарил мне куклу, но я его всё равно не люблю, – призналась нам Настя. – Он говорит маме: «Война войной, а молодость угасает и нельзя быть монашкой». Противный!.. И мама с ним какая-то не такая... Расставляет вазочки, говорит «для отрады». Противно! И почему его не прогонит? Из-за него мы ссоримся.

Женщины на кухне в глаза осуждали тётю Лёлю. Она краснела и оправдывалась, говорила, что муж всегда относился к ней невнимательно и что они вообще хотели разводиться. Моя мать возмущалась поведением тёти Лёли, отец отмалчивался. Однажды мать не выдержала:

– Почему ты молчишь? Разве это не возмутительно? Что видит её ребёнок, эта чудесная девочка?

– Чужая жизнь всегда тайна, – вздохнул отец. – Не будем осуждать маму чудесной девочки. Не всем так повезло с семьёй, как нам. Не у всех же дружба и согласие.

Пятую комнату занимала наша семья. Вовка говорил, что у нас из-под двери тянет одним табаком и что мой отец такой же заядлый курильщик, как Артём.

Но я-то чувствовал – из нашей комнаты исходил воздух, наполненный дружбой и согласием.

8.

Мать устроилась на завод копировальщицей и теперь большую часть времени я был предоставлен самому себе. Мать оставляла мне еду: на завтрак – чай с сухарями, на обед – чечевичную похлёбку, но я съедал всё сразу и до прихода родителей постоянно испытывал чувство голода.

Отец много работал: и на заводе и дома. По утрам сквозь сон я слышал, как он чертил за доской: затачивал карандаши, шелестел калькой, бормотал цифры. Случалось, отца вызывали на завод и ночью; за ним приезжали на мотоцикле с коляской, он уезжал и не появлялся несколько дней. Отец выполнял заказы для заводов, на которых строили самолёты и речные суда, товарные вагоны, прессы и насосы – до сих пор используется многое из того, что он придумал.

Отец сильно уставал, но даже в те тяжёлые дни не впадал в уныние и находил время, чтобы смастерить мне самокат на подшипниках, сделать шахматы из катушек от ниток. Несколько раз мы ходили в дальний лес за грибами, чтобы, по выражению отца, «поддержать ослабленный организм подножным кормом». В этих вылазках на природу отец расширял мой кругозор, рассказывал о цветах и травах, учил входить в лес как в «храм, стараясь ничего не нарушать».

Как-то на кухне разразился скандал. Гусинская заявила, что у неё стащили горсть щавеля. Громыхая кастрюлей, она обвинила женщин в воровстве. Тётя Маша и мать Артёма упорно защищались. В скандал вмешались тётя Лёля и моя мать; все женщины кричали одновременно – это было какое-то земле-

трясение, даже комнатные перегородки шатались. И вдруг на кухню вошёл отец и поднял руку.

– Сударыни! Какое некрасивое событие! Вы знаете, почему слоны долго живут?

– Почему? – вставил я.

– Они никогда не выясняют отношений. Такая тонкость. Как вам, сударыни, не стыдно. Какой-то щавель! Позвольте вам напомнить, вы же прекрасная половина человечества. И вдруг такое раздражение! А в раздражении человек некрасив. Так что не отвлекайтесь на ерундистику, несущественные детали.

Женщины притихли и смущённо заулыбались, а отец продолжал:

– Разве можно ссориться, когда над страной нависла такая угроза?! Сейчас, наоборот, мы все должны объединиться, помогать друг другу... Давайте вот что! В воскресенье оставим все заботы в городе и махнём на природу. И там нарвём этого щавеля всем по ведру. И проветримся, и вообще устроим красивое событие.

Это был всеобщий день смущения; после него в общежитии воцарилась дружеская атмосфера, даже Гусинская расщедрилась и всем подарила по куску сала.

9.

Однажды утром выпал снег; в общежитии стало холодно. Печки-«буржуйки» перенесли из кухни в комнаты, и когда их растапливали, комнаты заполнял густой и едкий дым. По вечерам часто отключали электричество и для освещения



использовали керосиновые коптилки. Потом ударили морозы, да такие лютые, что потрескались стены общежития и во дворе порвались провода. В один из этих дней отец принёс замёрзшую худую собачонку.

– Вот лежала в снегу, – сказал. – Пусть отогреется.

Так у нас появилась Альма.

В благодарность за то, что её приютили, Альма проявляла к нам невероятную любовь: то и дело лезла целоваться; желая нас порадовать, танцевала – крутилась на одном месте.

Стоило матери загрустить, как она тут же подскакивала, ласкалась, подбадривала свою хозяйку. Когда я был не в настроении, она подходила, теребила лапой, «пойдём, мол, поиграем во дворе!».

Ну, а отца Альма просто-напросто боготворила. Как только он приходил, заливалась радостным лаем, подпрыгивала и лизала руки своему спасителю. Отец садился за стол – она вскакивала к нему на колени, обнимала и целовала до тех пор, пока отец не делал ей мягкое внушение:

– Альма, дорогая, твоя любовь прекрасна. Поверь, я её очень ценю. Но дай перекусить главе семьи, иначе он свалится от голода, – отец гладил собаку и обращался к матери: – Что там у нас, Ольга Фёдоровна, на ужин? Мне, будьте добры, гуся с вафлями!

Отец ещё пытался шутить, но, конечно, это было только подобие его прежних шуток.

После ужина отец закуривал «козью ножку» (делал трубку из газеты и набивал её махоркой), Альма усаживалась у его ног и неотрывно, с восхищением смотрела отцу в глаза; от избытка чувств у неё даже текли слюни, она только что не плакала от счастья.

Гусинской не понравилось появление в общежитии собаки; она пожаловалась коменданту.

– Нашлись безумцы, устроили псарню, мешают спокойно жить...

– Собачка – член нашей семьи, – с улыбкой сказал отец коменданту. – Она очень воспитанная и ведёт себя прилично, предельно тихо. Говорит, лает? Да нет, это она так смеётся.

Комендант уважал отца и пришёл, чтобы просто отметить, ради пустяковой формальности, чтобы отреагировать на заявление склочной жилички. К отцу вообще все хорошо относились – он вызывал расположение.

На Новый год отец принёс ёлку, пакет пряников и во фляге немного спирта. Матери подарил флакон одеколona, мне – два простых карандаша и ластик, Альме дал пряник.

– Подарки крайне скромные, – сказал, – но ведь главное что?

– Внимание! – подсказала мать.

– Совершенно верно. Хорошие подарки за мной. Подарю после войны.

Мать в свою очередь подарила нам с отцом носки. Альму чмокнула в лоб, давая понять, что ей дарит любовь.

Я подарил родителям свои рисунки, Альму просто обнял.

Ёлку украсили самодельными бумажными флажками и пряниками – их подвесили на нитках, но утром я заметил – несколько пряников надкусано, а Альма прижимает уши и виновато виляет хвостом.

10.

Много раз отец просился на фронт, но его не пускали. Во-первых, у отца было плохое зрение; во-вторых, он считался хорошим специалистом и работал на оборонном заводе. Но не такой человек был отец, чтобы находиться в тылу, когда его товарищи воевали. Он стал писать куда-то письма, уговаривал, требовал, и в конце концов добился своего.

Когда отец появился в общежитии в военной форме, все стали над ним смеяться. Действительно, в шинели отец выглядел не очень выигранно, скорее нескладно: худой, сутулый, в очках; шинель на нём висела мешком. Все смеялись над отцом, и больше всех он сам:

– Я похож на лешего или водяного, верно?! Буду устрашать немцев одним своим видом! Увидят мои очки – подумают оптический прицел снайпера и сразу дадут драпака!.. Очки – деталь что надо!

Отсмеявшись, отец одёрнул шинель.

– Но вообще-то, товарищи жильцы, напрасно мы смеёмся. Должен заметить, на войне главное не только сила и ловкость, но и смекалка. Да, такая тонкость. А её, смекалки то есть, смею вас уверить, мне не занимать. Во-первых, не забывайте, я инженер и кое-что смыслю в стратегии и тактике. Во-вторых, я ориентируюсь в лесу, как садовник в оранжерее. В третьих, у меня не слабый дух, а это много значит. В четвёртых... впрочем, что я!.. В общем, вам не придётся за меня краснеть...

Отца зачислили в пехоту. Узнав об этом, я жутко расстроился. У Вовки отец был лётчик, у Насти – майор-артиллерист, отчим Артёма – моряк. А мой отец всего-навсего пехотинец. Да ещё рядовой! Было ужасно обидно за отца, но он меня быстро успокоил.

– Пойми! – сказал, широко улыбнувшись. – Лётчики, артиллеристы только наносят удары по врагу, а пехота непосредственно с ним сражается. Лицом к лицу. Пехота – самая главная в армии, можно сказать – основная деталь в конструкции.

Понятно, после этих слов я стал гордиться отцом не меньше, чем Вовка и Настя своими отцами.

За ужином отец приободрял нас с матерью как мог, говорил, что скоро в войне наступит перелом, потому что его завод начинает выпускать «летающий танк» – самолёт, от которого «немцам достанется».

– Ну, а чтобы солдат хорошо воевал, у него должно быть спокойно на душе. А для этого надо что? Чтобы в семье всё было хорошо. Чтобы наша мама не расстраивалась, берегла свою драгоценную душу, а наш сын хорошо учился... А с яхтой придётся повременить. Отложим строительство до окончания войны, до моего возвращения.

Проводы были такими же, как всегда, когда отец уезжал в командировку, только у матери в глазах стояли слёзы. А на следующий день исчезла Альма. Я обошёл все подворотни, но её нигде не было – казалось, убежала на войну вслед за отцом.

11.

Школой служила большая изба с русской печью (в настоящей школе располагался госпиталь). Тетрадей не было, писали на обёрточной бумаге; один учебник выдавали на троих; тем не менее в желании учиться мы давали сто очков вперёд теперешним ученикам, а на внеклассные занятия, когда делали подарки бойцам, шли как на трудовой фронт: девчонки шили кисеты, мальчишки сколачивали ящики для посылок.

После школы катались на «колбасе» трамваев, гоняли «мяч» – шапку-ушанку, набитую газетами, играли в «расшибалку» – переворачивали монеты битой, и в «махнушку» – подкидывали ногой кусок меха со свинцовым грузом. Но больше всего играли в «ножички». Очерчивали круг на земле, делили его пополам и поочерёдно кидали напильник во владения соперника. Воткнётся напильник – отсекаешь кусок земли; потом ещё кидаешь – и так, пока напильник не упадёт. Когда у соперника остаётся совсем крохотный клочок, на котором нельзя устоять, завоеватель обязан выделить землю и отдать напильник, чтобы соперник попытался расширить свой надел. «Ножички» – самая благородная игра по отношению к сопернику и возможности отыграться.

Однажды, когда мы с Вовкой неистово резались в «ножички», к нам подошла моя мать.

– Рядом с заводом есть детдом, в нём детишки, у которых родители пропали без вести. Там скучно, и игрушек нет. Надо устроить им какое-нибудь представление. Подумайте! Вот радость-то была б малышам!



Пока мы с Вовкой ломали голову, как повеселить ребят, Настя придумала замечательную вещь – поставить спектакль «Золотой ключик». К спектаклю готовились основательно: вырезали из картона декорации, из тряпок и газет шили костюмы, а уж роли учили – усердней, чем уроки. Вовка взял себе роль Буратино, Настя – Мальвины, я репетировал кота Базилио и одновременно Карабаса-Барабаса.

Спектакль смотрел весь детдом и детвора из соседних домов. Во время действия малыши кричали, подсказывали Буратино (Вовке), где Карабас (я): «Он сзади!» или: «Он за деревом!». А когда я хриплым голосом объявил, что «поймаю негодного Буратино!», один шкет выстрелил в меня из рогатки.

После спектакля нас долго не отпускали, нахваливали. Но самую лучшую похвалу я услышал от Насти по пути к общежитию.

– Ты играл лучше всех. Ты был вылитый кровожадный Карабас.

До этого я часто влюблялся в девчонок; обычно моя любовь длилась день-два – как только замечал, что девчонка не желает мне подчиняться или не хочет играть в «ножички», мои сложные чувства моментально улетучивались. После того как Настя похвалила меня, я влюбился в очередной раз.

12.

Кроме мальчишеских игр, вроде «расшибалки», у нас были «интеллигентные» игры с девчонками: «замри» и «колдунчики». От бедности мы спорили не на что-нибудь, а на «замри». То есть выигравший спор в любой момент мог крикнуть тебе: «Замри!». И ты должен был не двигаться, пока он великодушно не скажет: «Отомри!».

В «Колдунчиках» выбирали «колдуна» и «волшебника», потом считали до трёх и все разбегались в пределах двора. Догонит тебя «колдун», дотронется – ты заколдован. Стой с вытянутыми руками, жди пока «волшебник» не расколдует.

Когда мы играли в «колдунчики», я нарочно не расколдовывал Настю первой. «Вот ещё! – думал. – Что ребята подумают?» Настя, наоборот, открыто старалась расколдовать меня первым и ни разу не воспользовалась своим правом на «замри». Она явно выделяла меня из общего мальчишеского клана – правда, только во время игры. Но однажды, после школы, подошла и сказала заговорщическим голосом:

– Пойдём за общежитие, что-то тебе скажу!

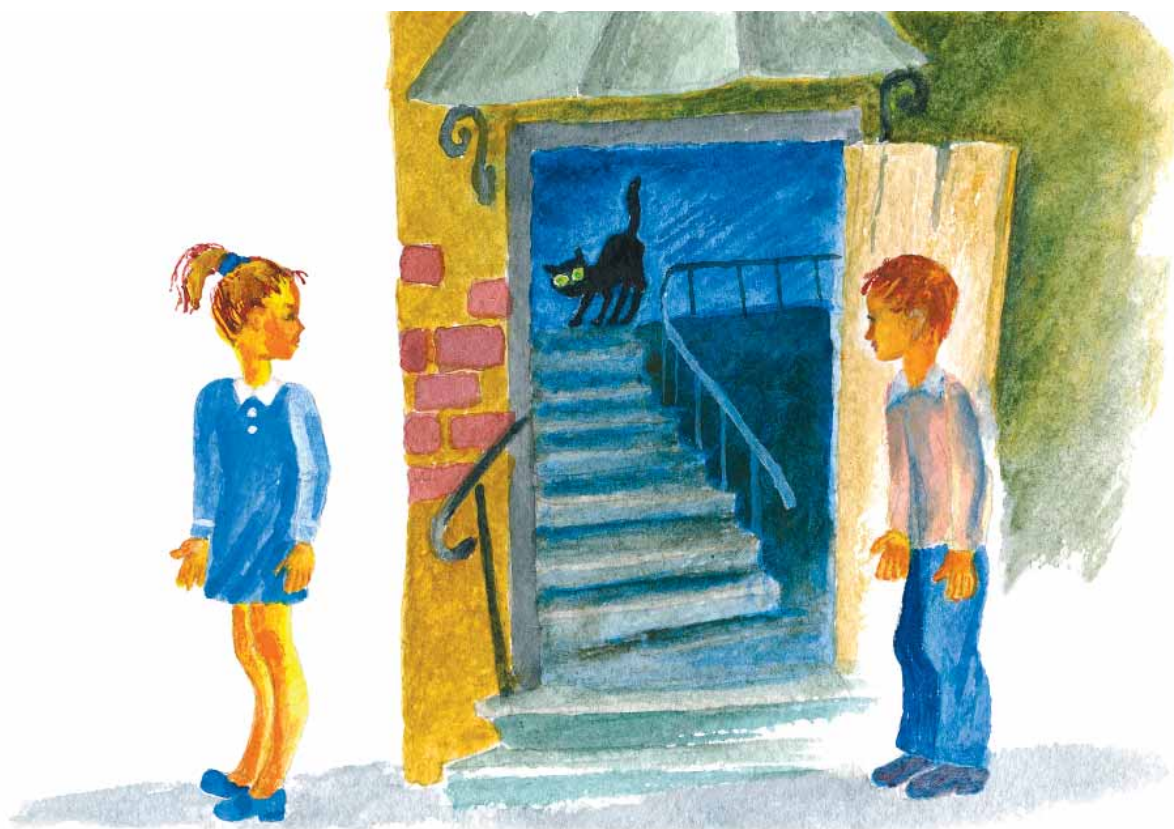
Пришли мы на чёрный ход общежития, сели на холодные каменные ступени, и Настя торопливо проговорила:

– Давай ты будешь король, а я королева. А это всё будет наше королевство, – она обвела рукой кусты лебеды.

– А что мы будем делать? – спросил я и замер.

– Любить друг друга, – тихо произнесла Настя.

Я растерялся: меня охватили и трусость и любопытство. Я был не против любви – как можно быть против, когда уже всю тянет к девчонкам? Эту самую любовь я представлял таинственной сверхдружкой. Думал, в любви девчонка должна во всём мне подчиняться. Ну и, само собой, принимать участие в моих делах.



Пока я пребывал в растерянности, Настя приблизилась ко мне и прошептала:

– Ты согласен?

Я непроизвольно кивнул.

– Всё! – Настя встала. – Теперь у нас с тобой есть тайна. Теперь ты должен заботиться обо мне и защищать меня.

– Лучше я буду править, – неуверенно вставил я.

– Нет, – решительно сказала Настя. – Править ты будешь потом, а сейчас должен выполнять все мои желания, ведь я королева. Ты должен построить замок и устроить в нём залы. И приносить мне разные подарки.

Я смутно понимал, что тараторила моя королева. Это было что-то неуловимое и загадочное, но королева говорила так настойчиво, что мне ничего не оставалось, как уступить ей. Я натаскал камней и огородил чёрный ход, обозначил «залы». Я рвал для королевы цветы, бегал домой за фантиками. С каждой минутой у меня появлялись новые обязанности. Всё управление королевством королева взяла в свои руки. Я только ей помогал: подавал что-нибудь или держал. А требования королевы всё возрастали.

Это было какое-то колдовство, я ничего не мог с собой поделать – совершенно потерял волю. Только к вечеру, когда то ли устал, то ли, наконец, взбунтовалось моё самолюбие, собрался с духом и объявил, что мне надоела эта игра, и предложил королеве сразиться в «ножички». Но моя королева скорчила презрительную гримасу.

– Ну и не надо, не играй! – фыркнула и ушла задрвав нос.

В тот день я понял, что каждая, даже самая маленькая любовь – ещё всегда и маленькое рабство.

13.

Через несколько дней мать послали на узловую станцию отправлять посылки на фронт. Ей предстояло работать трое суток.

– Собирайся! – сказала она. – Не оставлять же тебя одного.

В день отъезда мы с ней сидели на крыльце общежития, ждали заводскую «эмку», которая должна была отвезти нас на станцию. Но машина не появлялась. Ребята у меня на глазах играли в «колдунчики», а я обнимал рюкзак. Правда, Настя тоже не играла – стояла в стороне и грызла жмых; несколько раз ребята звали её, но она качала головой. Я повернулся к матери.

– Неизвестно когда придёт машина, пойду пока поиграю.

– Иди, – сказала мать, – но далеко не убегай.

И надо же так случиться, что по жребию «колдуном» выпало быть Вовке, а «волшебником» – недотёпе Витьке-Гусю. Вовка бегал быстро и заколдовал нас за пять минут. Неожиданно подошла Настя и согласилась включиться в игру, но с условием – быть «волшебником». Ребята не возражали и началось соревнование «колдуна» с «волшебником». Настя бегала не хуже Вовки и начала расколдовывать ребят. Много раз она пробежала мимо меня и ей ничего не стоило дотронуться до моей руки, но она не дотрагивалась, и вообще делала вид, что меня не замечает. Постепенно она расколдовала всех ребят, и они уже бегали от «колдуна», поддразнивали его, и только я стоял, не двигаясь, с вытянутыми руками. Уже давно пришла машина и мать звала меня, и шофёр грозил кулаком, а я всё стоял посреди двора, заколдованный.

Обида и злость переполняли меня все три дня на узловой станции, но настоящий удар мне нанесла Настя по нашему возвращению – за общежитием в «королевстве», которое я построил, она играла с... Вовкой и его сестрой Катькой. Я сильно мучился от этого предательства. Несколько раз даже унижался – предлагал свои услуги в качестве солдата-охранника «королевства».

– У нас нечего охранять, мы ещё не накопили драгоценностей, – безжалостно говорила Настя.

– Только копим, – пищала Катька.

– Я сам кого угодно отлуплю, – добавлял Вовка.

Его прямо распирало от счастья, он чувствовал себя всемогущим.

И всё же Настя сжалилась надо мной: через пару дней, когда я почти заболел от переживаний, она сказала, что не будет возражать, если я стану солдатом.

Они продолжали играть, а я ходил взад-вперёд перед «королевством» – охранял его, и всё прислушивался к «королевским» разговорам. И странное дело, наблюдая за этой игрой, я стал замечать, что Настя не такая уж королева, скорее – просто воображала. Мне даже стало жалко Вовку, который этого не замечал и не видел себя со стороны. А со стороны он имел невзрачный

вид – был не «король», а всего лишь «слуга»; Катька и вовсе выполняла роль кухарки. Как-то само собой я стал всё меньше думать о Насте, она по-прежнему мне нравилась, но уже не так сильно, как раньше. Избавившись от любви, я испытал огромное облегчение, словно сбросил тяжёлый груз, который долго тащил.

14.

Однажды Вовка где-то раздобыл банку, на дне которой была чёрная краска; пришёл ко мне и говорит:

- Давай что-нибудь нарисуем. Что-нибудь изобразим.
- Давай, – говорю, – только что можно изобразить одной чёрной краской?
- Кита! – быстро сообразил Вовка.
- Точно! – кивнул я. – Кита в штормовом море!

Кита мы начали рисовать на газете в коридоре. Только наметили контур чудорыбы, как краска кончилась. Стали искать чего-нибудь чёрного: лазили в печку за углями, счищали сажу с кастрюль, но на кита всё равно не хватило. Сидим, размышляем, что делать... Мимо прошёл Артём с матерью.

- Это что, танк? – бросил Артём.
- Что ты! – сказала тётя Валя. – Это ночь в лесу, ведь так, мальчики?

Потом из комнаты вышла тётя Лёля, перешагнула через газету и пропела:

– Красивый букет, но слишком мрачный. В него добавить бы весёлых красок. Наша жизнь и так не отрадная, хотя бы рисунки давали отраду. В рисунках должно быть море удовольствия.

Я вздохнул и передо мной сразу возник отец. Он-то никогда бы такое не сказал, он-то всё понял бы и всё оценил... Я вспомнил, как однажды нарисовал лес, освещённый солнцем. Огромные деревья, точно зелёные великаны, и от деревьев – длинные густые тени. Все сказали:

- Неплохо. Что-то есть в этом. Рисувай, может, из тебя что-нибудь и получится.

А отец сказал:

– Вот это да, я понимаю! Это почти произведение искусства. Заявка на яркую личность. Вне всякого сомнения, картина будоражит. Особенно тени. Такие прозрачные и холодные, прямо мурашки по спине бегут, – отец поёжился и похлопал меня по плечу, благословляя на новые достижения.

У отца не было половинчатых суждений: или великолепно, или ерунда! Когда ему не нравился мой рисунок, он разбивал меня в пух и прах. Как-то я нарисовал забор и куст шиповника; нарисовал всё как есть, скопировал каждый сучок на заборе, каждую трещину. Я очень старался и вложил в работу всю душу, но когда показал рисунок отцу, он долго разглядывал его, прищуривался, хмурился. Наконец произнёс:

– У меня к твоему рисунку серьёзные претензии. Предположим, ты всё скопировал один к одному, но получилась-то чепухенция. Ноль тонкости. Мёртвая фотография. Пойми, нет жизни в твоей работе. Неужели ты не мог нарисовать облака и ветер... и чтобы куст шелестел листвою, и травы раскачивались...

– Какой ветер? – робко возразил я. – Ничего не было: ни ветра, ни облаков.
– Что ж что не было! – повысил голос отец. – А где твоё воображение? У тебя же есть воображение. Должно быть!

– Какое воображение? Что это? – я ничего не понимал.

– Ну, ты же умеешь фантазировать, представлять себе что-то. Ведь вот тени ты же прекрасно нарисовал. Вот так и твори!.. А «забор» убери, это твоя творческая неудача.

Отец забраковал мой рисунок, и я немного сник.

– И не дуйся! – безжалостно продолжал отец. – Яснее ясного, мастерству надо постоянно учиться. А для этого надо что? Не терять темп. И запастись терпением! Такая немаловажная деталь. Вообще, надо всё время совершенствоваться. Остановишься, будешь доволен собой – всё! Больше ничего дельного не сделаешь. Такая тонкость.

Я рисовал не останавливаясь. Всё общежитие было в моих рисунках. Я дарил их соседям по любому поводу и без повода. Пейзажи дарил матери Артёма тёте Вале (ей нравились абсолютно все мои рисунки); тёте Маше и Катке рисовал кошек и собак, тёте Лёле и Насте – букеты и целые сады, а морские и воздушные бои, и особенно – сражения пехоты, висели у нас. На стенах нашей комнаты летело столько снарядов, что, казалось, когда они взорвутся, рухнет общежитие.

Я рисовал быстро. Только начну какой-нибудь рисунок, как он мне надоедал и дорисовывать его уже не хотелось. Обычно я только набрасывал контуры, а раскрашивал рисунки Вовка и его сестра.

Отца не было, и мне никто не мог помочь. Мать говорила, что художник из меня никогда не получится, потому что я лентяй. Но тут же заключала:

– А если искоренишь лень, то получится. И даже хороший. Вот твой отец... он не знал, что такое лень. Ему не хватало времени, у него было столько задумок. И яхту мечтал строить, ведь он романтик, мечтатель... А как можно жить без мечты? – мать угрюмо сжимала рот и уходила на кухню, а я, стиснув зубы, набрасывался на рисунки.

Однажды нас обокрали; воры утащили несколько сухарей и селёдку; облигации не нашли – на них сидел плюшевый медвежонок, которого до войны отец подарил матери как талисман. К моему удивлению, и к ещё большему удивлению матери, воры ещё прихватили один из моих рисунков.

Помнится, я страшно гордился этой потерей, рассказал о ней всем жильцам общежития. Многие мне сочувствовали.

– Не расстраивайся, – сказала тётя Маша, – новый нарисуеть. – А грабителей накажет Бог.

Гусинский сказал:

– Теперь они разбогатеют за твой счёт. Пока не поздно, тащи остальные рисунки на барахолку, хоть сколько-то за них получишь.

Только Артём, как всегда, отпустил грубость:

– Рисунок, небось, содрали, чтоб завернуть селёдку!..



15.

Однажды в наш двор вкатила тележка старьевщика. На тележке лежали сломанные зонты, битые пластинки, разное тряпье. Как только тележка загромыхала во дворе, ребята помчались к ней со всякими безделушками. Ещё бы! В обмен на какую-то ерунду старьевщик давал удивительные вещи: надувные шары, которые пищали «уй-ди», «уй-ди», бумажные очки с цветными плёнками и бумажные мячи на резинках.

Я тоже бросился искать у нас какую-нибудь штуковину. Перерыл все закутки, но нашёл только старый атлас, и за него получил надувной шар.

Вовка с сестрой принесли сломанную пластмассовую линейку и тоже стали обладателями шара. Витька-Гусь отдал дырявый чемодан и получил за него шар, мячик и цветные очки.

Некоторые взрослые приносили разный хлам, клали на тележку и взамен получали несколько копеек. Гусинская притащила старые ботинки и драную сумку; старьевщик вручил ей целый рубль.

Когда тележка доверху наполнилась вещами, старьевщик покотил со двора. В это время из общежития выбежала Настя с чайной чашкой и крикнула:

– Дяденька, подождите! – и побежала за старьевщиком.

Она уже почти догнала тележку, но вдруг споткнулась и упала. А когда поднялась, от чашки остались одни осколки. Настя посмотрела на нас с Вовкой и заплакала.

Мы подбежали к ней, стали успокаивать: говорили, что наши шары будут общими, будем надувать их попеременно, но Настя нас не слушала, и плакала всё

сильнее. И вдруг к ней подошёл старьёвщик и протянул цветные очки. Настя перестала плакать и покачала головой. Но старьёвщик сам надел ей очки и шепнул что-то на ухо. И Настя засмеялась, потом снова заплакала и снова засмеялась, сквозь слёзы. А старьёвщик сунул Насте в руки ещё надувной шар, помахал нам рукой и покатил тележку со двора.

Теперь, когда я слышу разговоры – каких людей больше: хороших или плохих, почему-то сразу вспоминается этот старьёвщик. И отец. Ведь он был уверен – хороших людей гораздо больше, чем плохих.

16.

День шёл за днём, месяц за месяцем. За два года, которые отец уже был на фронте, мы получили от него всего три письма – три сложенных треугольника с печатями полевой почты. Отец писал о своих товарищах, о командире, которого все зовут «батьа», хотя ему нет и тридцати лет – такой он «опытный и степенный, не шумный». Писал, что и сам «стал сильным и ловким, шире в плечах и выше ростом». Просил мать не волноваться за него и беречь себя, а мне «приказывал» – учиться только на «хорошо и отлично». В конце писем специально для меня непременно были смешные рисунки: мы приплываем на яхте в какие-то экзотические страны; на всех рисунках с нами Альма (мать не разрешала сообщать, что Альма пропала).

...Я просыпался от солнца; оно затопляло всё окно, стекало с подоконника и плескалось лужей на полу. С подоконника мне улыбался молодой мужчина – портрет отца.

Когда я думал об отце, перед глазами мелькал наш дом в Москве, телескоп на чердаке, подмосковный посёлок, озёра; мелькали луга, просёлочные дороги... Я видел нас с отцом – мы бежали с рыбалки, бежали наперегонки до куста чертополоха. Потом, чтобы отдышаться, плюхались в выжженные солнцем травы, и отец сбивчиво говорил:

– Эх, если бы у нас был автомобиль! На худой конец – мотоцикл. Мы помчали бы в разные страны...

– Мы гнали бы, как ветер, правда, пап?

– Именно, как ветер!

– А если бы у нас была яхта?

– Яхта! Тогда мы прямо сейчас махнули бы на Каспийское море!

– А мама? Маму мы возьмём с собой?

– Нет, не возьмём. В путешествиях бывают опасности, да и с женщинами всегда масса проблем.

– Но как же она останется одна? И с огородом не справится.

– О чём ты говоришь! Какой-то там огород! Это всё второстепенное. Не та тонкость. Мы привезём ей тысячу овощей. И лучших в мире! – отец поднимался. – Ладно, не огорчайся! Ну, нет у нас с тобой пока ни яхты, ни автомобиля. Но мы можем совершить воображаемое путешествие, потому что умеем мечтать. Разве не так?

...Каждое воскресенье мать доставала из шкафа отцовский костюм, чистила щёткой и вешала снова. Потом уходила на кухню и начинала переставлять

кастрюли с места на место, пыталась что-то спеть, но я замечал – она украдкой смахивает слёзы.

Мать любила полевые цветы. Особенно незабудки. Как-то я спросил у неё, почему незабудки называются незабудками? Мать смутно улыбнулась.

– Наверное, потому что не забывается человек, который их подарил. Увидишь их где-нибудь и сразу его вспомнишь.

Не знаю, правда это или нет, но до войны отец с полочки всегда дарил матери незабудки, при этом говорил что-нибудь такое:

– Вы уж извините, Ольга Фёдоровна, за скромный букет, но он – от всего сердца. Моего несчастного сердца, которое вы когда-то сразили наповал. А это, чтобы отметить маленький праздник, – отец доставал из кармана бутылку портвейна.

– Какой праздник? – удивлялась мать.

– Как какой?! День счастливой семьи!

Однажды мы с матерью возвращались из деревни, где покупали картошку; шли по берегу реки и вдруг увидели рябину; среди её листы свисали крупные ярко-красные гроздья, и под деревом валялось несколько переспелых ягод.

– Иди, постой под рябиной, – сказала мать.

– Зачем, мам?

– Иди-иди! Потом скажу.

Поставил я на землю сумку с картошкой, подбежал к рябине, поднял с земли гроздь, стал жевать горьковатые ягоды. А мать смотрит на меня издали, как-то грустно смотрит и нежно, и шепчет что-то. Потом подошла и сказала:

– Рябинка – русская красавица. Кормилица леса. Всех птиц и зверей кормит. И настойки и лекарства из неё делают, и варенье варят. Любимое варенье твоего отца. До войны я всегда его варила, ты помнишь?.. Считается полезным постоять в тени рябинки. Говорят, её запах отпугивает болезни... Вот она какая, рябинка! Недаром столько песен про неё сложили, – мать тихо запела какую-то протяжную песню про рябину и пошла к общежитию.

Я набил полную рубашку сочных ягод и помчался за ней.

17.

У нас с Вовкой была великая тайна – мы планировали убежать на войну. «Разыщем отцов, – думали, – станем в их отрядах разведчиками; мы маленькие, незаметные, везде пройдем».

К побегу готовились долго: копили сухари и сахарин, спички и соль; складывали в мешок, прятали на чердаке общежития. Наконец, в одно солнечное утро, когда матери ушли на работу и Вовка отвёл сестру в детсад, мы написали записки, чтобы за нас не волновались (подробно объяснили, куда и зачем отправляемся), достали мешок с чердака, сели в трамвай и доехали до вокзала; затем спустились на пути и зашагали по шпалам в сторону, куда уходили воинские эшелоны.

Кончились пригороды, потянулись поля, перелески, деревни. Солнце поднялось высоко над горизонтом, стало жарко, но мы шагали бодро – подогревала предстоящая встреча с отцами. Вскоре железнодорожное полотно углубилось

в сосновый лес; мы спустились с насыпи и дальше шли вдоль путей по мягкой ржавой хвое. Было тихо, только слышалось стрекотанье кузнечиков... Пронёсся товарняк, ударил упругий ветер, снова стихло.

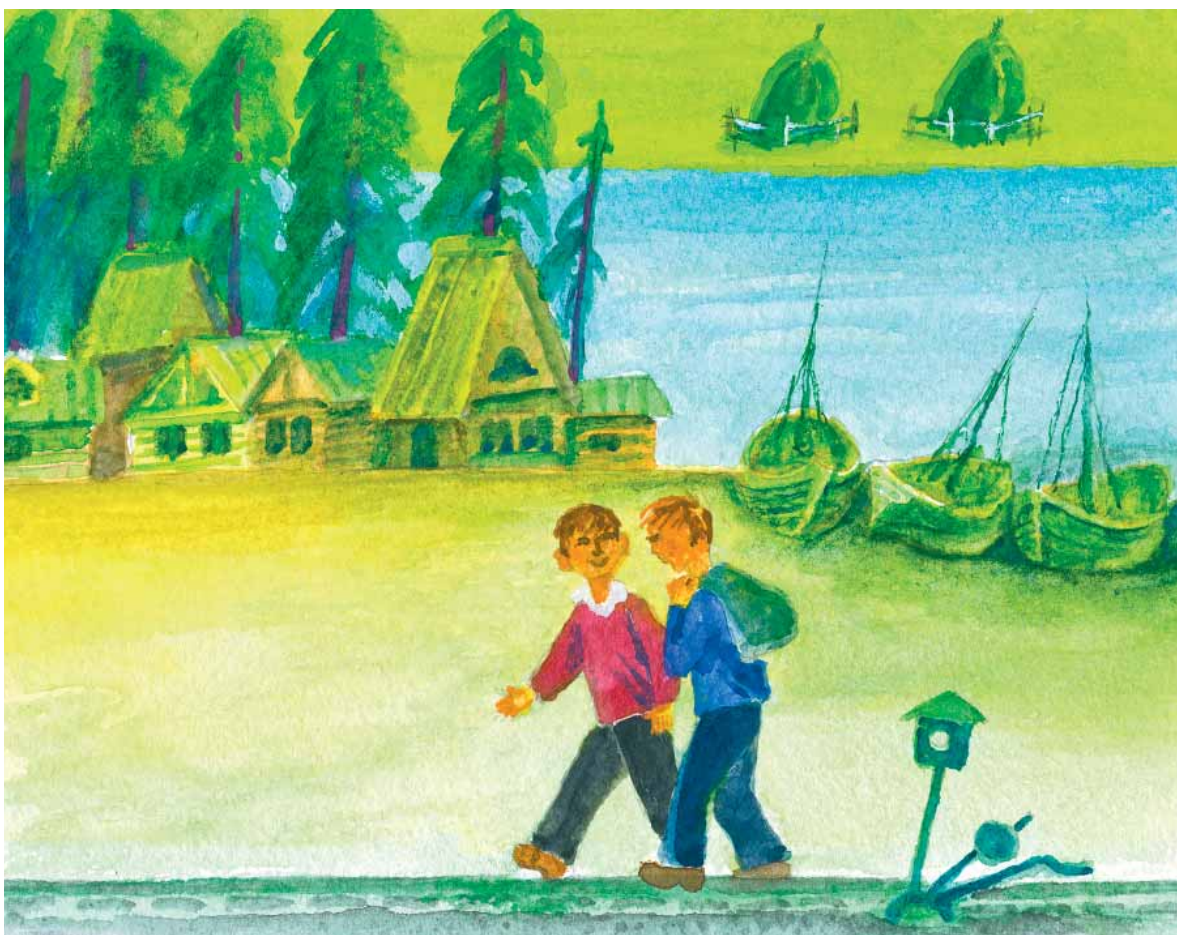
В полдень неожиданно потемнело и стал накрапывать дождь. К этому времени мы подошли к разъезду, где на запасном пути попыхивал дымком старый маневровый паровик; около паровика ходил седой машинист, постукивал молотком по колёсам. За ним по пятам семенил рыжий мальчишка – рассматривал механизмы.

Мы подошли, решили передохнуть и посмотреть на работу машиниста. А он вдруг оборачивается и говорит:

– Та-ак, полезли, хлопцы, в будку. Ненароком промокнем до костей – вон как посыпало!

Дождь в самом деле полил сильнее, и мы не раздумывая полезли за машинистом и мальчишкой по железной лестнице.

В будке от топки било жаром, пахло сладким паром, смазкой и углём, которым был забит бункер. Машинист полил уголь водой из шланга, стал закидывать его в топку лопатой.



– А зачем вы поливаете уголь водой? – спросил Вовка.

– Мой внук объяснит. Он всё знает. Готовится прийти мне на смену, та-ак. Давай, Алёшка, объясни.

– Чтоб его лучше огонь схватил, – важно произнёс рыжий.

Машинист закрыл топку, постелил на уголь брезент.

– Располагайтесь с удобствами.

Мальчишка плюхнулся на брезент, мы пристроились рядом.

– Далеко, хлопцы, топаете? – спросил машинист.

– Далеко, – уклончиво сказал я, чтобы не выдавать наши планы.

– На войну! – ляпнул Вовка.

– Ха! Вояки-раскоряки! – прыснул рыжий, но машинист дал ему подзатыльник, закурил самокрутку, присел на своё рабочее место.

– Молодцы! Я бы тоже пошёл, да не пускают. «Возраст не тот, – говорят. – Доживай на пенсии со своим паровиком на запасных путях». Так-то... А вы хорошее дело задумали. Небось, разведчиками хотите стать?

Мы с Вовкой кивнули. Рыжий посмотрел на нас, но уже как-то уважительно. Машинист глубоко затянулся и, выпустив дым, сказал:

– Ну, стрелять вас научат. Но, допустим, пошлют вас в разведку. Как будете читать ориентиры на карте? Леса, там, болота? Как пользоваться компасом, знаете?

Мы с Вовкой пожали плечами.

– Та-ак! Ну, допустим, вас обнаружили, надо затаиться. Как дышать под водой? Мы опять промолчали.

– Я знаю! – вскочил рыжий. – Через камышину!

– Помолчи! – остановил его машинист и снова обратился к нам: – Так! Ну, а если попали в окружение и нечего есть. Какие съедобные травы знаете?

– Какие? – вздрогнул Вовка.

– Вот то-то и оно – какие? – машинист открыл топку и бросил в неё самокрутку. – Это хитрая наука. Так что, хлопцы, возвращайтесь-ка домой, подучитесь малость. Без знаний и навыка на войне делать нечего.

Когда кончился дождь, машинист показал нам дорогу через лес к ближайшей станции, сказал, что к вечеру в город пойдёт пригородный.

Вступив в лес, мы некоторое время шли молча; потом, перебивая друг друга, заговорили одновременно. Я сказал, что у нас есть журнал «Всемирный следопыт», и в нём много ценных советов для путешественников. Вовка заявил, что достанет карту и компас, выучит всё назубок и потренируется на местности – в оврагах за общежитием.

В вагоне мы уже наметили новый план – через месяц, вооружившись мощными знаниями и навыками, снова отправиться на фронт.

Нам казалось, что мы ушли очень далеко от города, но уже через пятнадцать минут поезд замедлил ход, споткнулся о стрелку, за окном веером разбежались пути, мелькнул шлагбаум, шоссе с белыми зубьями, трамвай. Потом показался вокзал и крупные буквы «КАЗАНЬ».

18.

Посреди двора на столбе висел громкоговоритель «колокол». Летом вокруг столба росли цветы «солдатики». Каждый вечер жильцы из общежития и ближайших домов собирались у «колокола» – слушали известия с фронта. Собирались задолго до сообщений; одни садились на лавку, другие приносили стулья и табуретки. Приходили все, даже Гусинские, хотя было достоверно известно – никто из их родственников на фронте не был.

Мы, мальчишки, смутно осознавали происходящее – нам было по семь-восемь лет, но мы видели, как угрюмо мужчины курят, а женщины вытирают слёзы, и понимали, что война – ужасное бедствие. И догадывались – наши отцы сражаются за то, чтобы мы всегда могли играть в футбол, и кататься





на трамвае, и носиться по лугу и сбивать головки цветов. Чтобы мы учились в настоящей школе, а не в старой избе. Чтобы всё было, как до войны, когда по Волге (по рассказам местных мальчишек), вместо барж с пушками, ходили белые пароходы, а вместо барахолки был пахучий базар с овощами и фруктами. Чтобы мы вернулись в Москву... То есть чтобы было всё то, что мы любили в мирное время и что объединяется в понятие Родина.

В последнее лето войны известия с фронта были хорошие. Наши войска освобождали один город за другим. После этих сообщений во дворе гремело «ура!» и жильцы долго не расходились; подробно обсуждали услышанное, спорили. И странное дело! Много всего было, а в памяти остались только цветы «солдатики» и голос диктора.

19.

Снова наступила осень; за окном в голых прутьях засвистел ветер. Однажды в окно я увидел: двор пересекает Вовка и высокий лётчик на костылях. Это был Вовкин отец, я узнал его сразу, по фотографии.

Вовкин отец приехал из госпиталя. Его звали дядя Коля. Теперь Вовка целыми днями без умолку рассказывал нам о подвигах своего героического отца. Сам дядя Коля оказался молчаливым, замкнутым, с глухим голосом: на кухню заходил редко, а если и заходил, о войне не рассказывал. От вопросов жильцов отмахивался.

– Что рассказывать-то! Погибли самые лучшие, самые смелые...

Но со слов Вовки до нас всё-таки дошли кое-какие обрывочные сведения. Я запомнил одну историю.

...Немцы подбили наш танк и побежали к нему, чтобы взять танкистов в плен. А танкисты отстреливаются, и прямо под огнём ремонтируют покорёженную гусеницу. Немцы уже подбежали, совсем взяли танк в кольцо. И вдруг сверху на них спикировал наш «ястребок». Стал кружить вокруг танка, обстреливать немцев из пулемёта. Немцы залегли, тоже открыли огонь по истребителю, и попали в бензобак; вспыхнул «ястребок» и рухнул на землю. И к нему сразу бросились немцы. Только танкисты уже починили танк и, разгоняя немцев, подкатили к горящему самолёту; вытащили из кабины лётчика и укатили к своим. Тем лётчиком был Вовкин отец.

После Вовкиных рассказов я пытался представить, как воюет мой отец, но как ни силился, у меня ничего не получалось. Почему-то я никак не мог представить отца стреляющим из винтовки, в атаке, в рукопашном бою... Передо мной возникали совершенно другие – мирные картины: отец у телескопа, на рыбалке, в лесу, рассматривающий травы и насекомых. Я вспоминал, как мы строили дворцы из глины, как однажды с полочки отец купил на птичьем рынке несколько клеток с щеглами, приехал в посёлок и выпустил птиц...

20.

В разгар зимы мы с Вовкой совершили благородный поступок. Как-то играли в коридоре общежития, вдруг из двери выглядывает мать Артёма, тётя Валя, подзывает нас.

– Ребятки, сбегали бы на почту. Говорят, мне там весточка с фронта, а я захворала. В котельной-то сквозняки. Артём-то, оболтус, второй день не ночует... Просила Витю Гусинского – отказался.

Почта находилась в восьми километрах от общежития, в аэропорту. После уроков мы с Вовкой подошли к учителю по физподготовке, объяснили в чём дело и попросили выдать нам лыжи.

– Дело хорошее, – сказал физорг. – Лыжи возьмите.

День был метельный; ветер гнал вихри, с сугробов текли снежные водопады. Чтобы не петлять по дороге, мы двинули к аэропорту напрямик, по рыхлому снегу – он хрустел под лыжами, как раздавленные огурцы. Мы глубоко проваливались и шли медленно, но иногда замечали сбоку чей-то след – ровный, с чёткими



кружками от палок – кто-то шёл впереди легко, размашисто. Мы вставали на проторённую лыжню и тогда скользили быстрее.

Ветер усилился, стемнело; снежная пыль набивалась в рукавицы, за воротник, залепляла лицо. Мы потеряли лыжню и некоторое время топтались на месте; ветер доносил лай собак, гул моторов – аэродром был где-то рядом, но где именно мы не могли разобрать. Потом нас ослепил луч прожектора и мы увидели людей; закричали, замахали палками. К нам подъехали на «газике», посадили в кабину, подвезли к вышкам с красными огнями. Дежурный на почте усадил нас за стол, налил горячего чая, а когда мы спросили про письмо, удивился:

– Письмо? А я отдал его. Вон ей! – он кивнул в сторону соседней комнаты.

Мы повернулись и увидели Настю, всю в снегу и клубах пара; одной рукой она сжимала лыжи, в другой держала письмо; она смотрела на нас и улыбалась.

21.

Пришла весна, последняя весна войны. По ночам ещё лужи стягивались хрупким ледком и белые хлопья заснеживали дорогу, но днём уже в канавах бормотали ручьи и у общежития бились сосульки. Мать расклеила оконную раму, и после школы я делал уроки прямо на подоконнике, у распахнутых створок.

Однажды под окном остановился точильщик: молодой, в гимнастёрке с медалями и нашивками ранений; один рукав пустой, заправлен под ремень. Точильщик поставил станок, достал нож, нажал на педаль – закрутились серые и красные наждаки, послышался визг, полетели искры.

К точильщику подбежала Настя – уже без пальто и шапки; она явно радовалась, что первая сбросила зимнюю одежду; пританцовывая стала смотреть, как точильщик окунает лезвие ножа в банку с водой, чтоб не перекалилось, пробует на лоскутках материи. Вдруг точильщик нагнулся к Насте и что-то шепнул ей. Настя вскинула глаза.

– Не может быть?! – удивилась и побежала в общежитие.

К точильщику подошёл Вовка с сестрой, протянул ножницы. Точильщик заточил их, с улыбкой поклацал инструментом в воздухе и тоже что-то шепнул Вовке.

– Точно? – переспросил Вовка и кинулся в подъезд.

– Ура! – завопила Катька.

Я высунулся из окна.

– Что вы им говорите?

Точильщик обернулся, хмыкнул.

– Что говорю? Сообщаю важную новость. Скоро война кончится!

– Откуда знаете?

– Знаю, раз говорю... Твой отец на фронте?

– Угу.

– Жди, скоро вернётся!

В тот день мы получили письмо от отца. Он писал, что его часть уже около Берлина, вот-вот немцы капитулируют, и он вернётся домой; что родился под счастливой звездой, потому что дошёл до Берлина и даже ни разу не был ранен. Писал, что очень хотел бы, чтобы я стал строителем и восстанавливал бы разрушенные города, и строил бы их ещё красивее, чем они были до войны. Писал, что когда вернётся, купит мне такую же, как у него, брезентовую куртку-штормовку и новые бамбуковые удилища, и тогда уж мы порыбачим! И конечно, писал о яхте – что мы начнём её строительство сразу же, как только он вернётся – «больше откладывать не будем ни дня!». В конце письма просил мать не волноваться, не нервничать – «худшее уже позади!» А мне нарисовал смешной рисунок: мы с ним на яхте в тельняшках; вокруг парусника водяной и русалки – тарашатся на нас, Альма на них гавкает. Яхта называлась «Ольга Фёдоровна».

22.

Этот день начинался как все, только с самого утра стояла необычная тишина. Так же, как всегда, на «петле» позвякивал трамвай, из булочной пахло горячим хлебом, во дворе висело бельё, плотно надуваемое ветром... Всё было как всегда, только тишины такой никогда не было.

Проснувшись, я пошёл за общежитие, где у чёрного хода стояла кадка с водой – в ней я проверял самодельные поплавки. Около кадки обитал лягушонок. Днём, когда становилось жарко, лягушонок прыгал по ступеням до ободка кадки, затем нырял в воду и плавал от стенки к стенке. Наплавается, заберётся на ободок, и с него



соскочит в заросли лебеды. Но в то утро кадка почему-то разохлась, и вода из неё вытекла. Я заглянул в кадку, а на дне, среди травы и тины, сидит лягушонок и смотрит на меня тревожными глазами. Он никак не мог выбраться из кадки и уже выбился из сил – мешочек под его ртом так и дёргался.

Помог я лягушонку выбраться, а он не убегает – явно поплавать хочет. Принёс я деревянный черпак с водой, поставил около лягушонка; он сразу полез в воду, нырнул, перевернулся как акробат...

Я спас лягушонку жизнь и в это время узнал, что кончилась война: смотрел, как лягушонок купался, и вдруг услышал по радио громкий голос диктора о падении Берлина. Я услышал это первым во дворе и на всей окраине, и мне показалось – даже первым в мире. Потому что ничего не изменилось. Всё так же на ветру раскачивалось бельё и по-прежнему было удивительно тихо. И тогда я закричал во всё горло и побежал через двор к близлежащим домам. А навстречу мне уже бежали другие мальчишки и девчонки – они тоже кричали и размахивали руками.

...Через несколько дней я проснулся от стука в дверь; вскочил с постели, а в двери взъерошенный Артём.

– Чеши к нам! Мой отчим вернулся!

Отчим Артёма, мужчина со шрамом на щеке, выбрасывал из комнаты рухлядь.

– Помогай, браток! – бросил мне. – Выносим на помойку этот балласт! Захламили, понимаешь, комнату. И вот что! Есть боевое задание – очистить двор от мусора! Соберите свою братву, и чтоб блестел как палуба!

Артём изменился: бросил курить, объявил, что будет поступать в ФЗУ.

...Спустя месяц вернулся отец Насти. Он приехал вечером, когда мы с Настей играли во дворе (её отпустила мать – к ним должен был прийти усатый и патефон уже вовсю играл «Мы на лодочке катались»). Я первым увидел, как во двор вошёл военный с чемоданом в руке. Он подошёл к Насте, внимательно посмотрел на неё, и Настя уставилась на военного, и вдруг вскрикнула:

– Папка! – и бросилась к отцу.

Военный поднял Настю на руки и они вошли в общежитие. Патефон в их комнате смолк, и оттуда долго ничего не слышалось. А потом в подъезде появилась заплаканная Настя и пробежала мимо меня за общежитие.

Спустя неделю мать сказала, что Настя уедет с отцом в Москву.

В ту ночь я впервые узнал, что такое бессонница – тяжёлая горечь лишила меня покоя и сна. Я и не догадывался, что Настя так много значит в моей жизни.

Рано утром я постучал в их комнату, и когда Настя вышла, сказал:

– Пойдём за общежитие.

Мы пришли на чёрный ход, сели на ступени и некоторое время молчали.

– Наше королевство! – как-то по-взрослому вдруг сказала Настя и улыбнулась.

Потом посмотрела на меня – так же, как три года назад, когда предложила «любить друг друга», и я понял – всё это время, несмотря ни на что, между нами была тайна.

– Правда, что ты уезжаешь? – спросил я.

– Только когда закончатся занятия в школе, – Настя повернулась ко мне: – Но ведь когда твой папа вернётся, вы тоже приедете в Москву? И мы встретимся.

– Встретимся, – выдавил я. – Но как будет... когда ты уедешь? – на большее у меня не хватило сил. Это было моё первое признание в любви.

Настя всё поняла и пришла мне на помощь.

– Я тоже буду по тебе скучать. Но я уверена, мы скоро встретимся.



23.

Уже солнце пекло по-летнему, и на дороге появилась пыль, а отца всё не было. Над нашим окном уже строили гнёзда ласточки, в оврагах за общежитием, не смолкая, кричали грачи, а отца всё не было. Уже вернулись отцы Вовки и Насти, отчим Артёма, а моего отца всё не было.

...Наступил день победы. На улицах незнакомые люди поздравляли и обнимали друг друга, и всюду слышалась музыка. Гусинские где-то достали муку и всем жильцам раздали по пакету, и все напекли пышек – первый раз за четыре года я попробовал стряпню из белой муки.

Во дворе было весело: отчим Артёма играл на аккордеоне, все пели и танцевали. И моя мать танцевала тоже. Она надела платье, которое не доставала из саквояжа с начала войны, подвязала волосы лентой. Мать была очень красивой – я даже подумал, что она красивей всех женщин в общежитии, а может быть, и во всём мире.

Кто-то принёс бенгальские огни, мы с Вовкой зажгли их спичками, устроили фейерверк. Внезапно я увидел – через двор бежит Настя и машет каким-то белым листком – она вся в слезах, с ободранными коленями. Настя подбегает к моей матери, протягивает ей листок, и мать вдруг вскрикивает, закрывает лицо руками и прислоняется к стене.

...Мне никак не верится, что мой отец никогда не вернётся. После войны прошло много лет, я давно стал взрослым, но всё ещё жду отца. Мне кажется, когда-нибудь наша дверь распахнётся и он войдёт, загорелый, весёлый, и наша комната снова наполнится смехом, и мы, как прежде, отправимся на рыбалку, а потом построим яхту, чтобы путешествовать.

...Я вижу, как отец идёт с работы и ветер раздувает его пиджак. Он идёт по солнечной стороне улицы, машет мне рукой и смеётся.

Вижу отца у окна нашей комнаты. Он курит папиросу, разговаривает с кем-то на улице и щурится от солнца и смеётся.

Сохранилась только одна фотография отца. Он стоит у озера; одна рука в кармане брюк, другая заложена за борт пиджака. Отец небритый, в каких-то смешных коротких брюках, а очки на самом конце носа, вот-вот упадут. На фотографии отец тоже смеётся.





Белый
лист
бумаги
повесть

Повесть для подростков и взрослых,
которые занимаются живописью,
или интересуются ею,
или просто любят художников

ОГРОМНЫЙ, МНОГОЛИКИЙ МИР

Замечательный материал – белый лист бумаги! Я имею в виду не какой-то клочок, из которого делают голубей или на котором пишут всякие записки, большей частью дурацкие и только изредка прекрасные – о сильном загадочном чувстве – такие послания запоминаются на всю жизнь; я имею в виду – большой лист. Такой лист открывает перед нами неограниченные возможности. Из него можно сделать белоснежный пароход и, если помечтать, уплыть в далёкие страны – такие далёкие, недостижимые, что, кажется, находятся не просто за морями и океанами, а где-то в поднебесье.

Можно сделать воздушного змея, запустить его навстречу ветру и, когда он зависнет в восходящем потоке, как бы и самому парить над землёй, то есть взглянуть на свою жизнь со стороны, и тогда многие житейские неурядицы покажутся мелкими, не стоящими того, чтобы из-за них сильно переживать.

Можно склеить отличное прикрытие от солнца – широкополую шляпу или зонт. Или целый костюм. А почему и нет? Каждый должен смело выражать свой вкус, индивидуальность начинается с одежды. Я знал такого чудака, философа и поэта, который героически разгуливал по улицам в бумажном костюме и чувствовал себя в нём вполне удобно. И, что немаловажно, независимо. В самом деле – ведь он не зависел от денег на настоящие костюмы и не был скован разными общепринятыми понятиями. Этот фантастический человек был внутренне свободен. А такая свобода – неременное условие для творчества. Именно такие чудачки, философы и поэты (хотя бы в душе) и создают всё самое ценное, ведь создавать необыкновенное может только необыкновенный человек.

Как было бы замечательно, если бы нас окружали сплошные индивидуальности и каждый человек отличался от другого и внешне, и мыслями, и поступками. К сожалению, ещё немало трафаретных, деревянных людей с мелкими недостойными целями. Главное для них – не выделяться, быть как все. И мысли у них деревянные – как бы побольше всего закупить. Они уверены: изобилие вещей – основа жизни. У этих ограниченных людей многие чувства недоразвиты, они живут пресно. Их раздражает всё, что выходит за «деревянные» рамки. Они ворчат на ребят, которые, по их понятиям, устраивают слишком шумные игры; швыряют камни в бездомных животных, уверены – те только разносят заразу, и, конечно, бешено ненавидят чудаков, потому что сами никогда не смогут быть такими. То есть никогда не создадут ничего необыкновенного.

Зато какая радость общаться с яркой личностью, с человеком, в котором есть дух красоты! Ты смотришь на мир одними глазами, а этот человек моментально перестроит твой взгляд, посмотрит на привычное под другим углом и всё расцве-

тит новыми красками, откроет то, чего ты не видел до сих пор. Это как прорыв в новую среду. Разумеется, и большой белый лист бумаги для людей без воображения, «деревянного» склада – всего лишь упаковка для увесистого товара, а для личности – водный транспорт, или летательный аппарат, или модель одежды...

Много, очень много возможностей открывает перед нами большой лист бумаги, но главное – он открывает неограниченное пространство. Глядя на него, так и хочется что-нибудь изобразить.

Вот волшебство – несколько штрихов карандаша, прикосновений кисти – и внезапно, прямо на глазах, белый квадрат расширился, наполнился воздухом, на плоской поверхности появились объёмные предметы, художник словно распахнул окно в огромный, многоликий, жестокий и благодущный, отвратительный и прекрасный мир!

Ещё большее волшебство – картины заражают своим состоянием! Бывает, нахлынет беспричинная радость, развеселишься без всякой меры, и кажется, что сейчас всем весело и вообще жизнь – весёлая штука, но вдруг увидишь какую-нибудь печальную картину, и сразу становится грустновато и стыдно за свою беспечную весёлость.

А бывает, от вполне конкретных причин найдёт такая тоска, что вроде и жить не-возмогу, но увидишь радостную картину и подумаешь – «всё не так уж и плохо». Картины великих мастеров заставляют смеяться и плакать. Глядя на них, хочется сделать мир лучше, чем он есть, и, главное, стать самим лучше. Благодаря искусству мы делаем в своей душе открытия, в нас зреет дух красоты.

КАРАНДАШ С ТРЁХЦВЕТНЫМ ГРИФЕЛЕМ

Я всегда испытываю сильнейшее волнение при виде рисовального ватмана: подолгу трогаю лист, поглаживаю шероховатую крупнозернистую поверхность и нюхаю – пытаюсь уловить запах. Всё от того, что в детстве, во время войны, мы рисовали на обёрточной бумаге, да и её доставали с трудом. Рядом с общежитием, где мы, эвакуированные, жили, находился госпиталь. Время от времени на чёрный ход госпиталя среди всякой всячины выбрасывали обёрточную бумагу. Бумага была жухлой, с выступающей древесной трухой и сильно измятой. Тем не менее мы находили ровные клочки. Сложнее было подобраться к драгоценной бумажной куче – чёрный ход охранял сторож; неподвижный, непроницаемый, с тяжёлыми кулаками, он в каждом мальчишке видел «шалопая с чёрными намерениями». К счастью, сторож иногда «впадал в дрёму», как он выражался. В момент «дрёмы» мы таскали бумагу у него из-под носа.

На обёрточной бумаге рисовали всем, что оставляло след: обугленными лучинами, красным кирпичом, штукатуркой. Кое-кто имел кисти – клеевые, конторские. Иногда делали кисти из собственных волос, которые собирали после стрижки. Красками служили чернила из синильного порошка и бузины, разведённые водой побелка и глина. Редко у кого появлялись цветные карандаши, ещё реже – акварельные краски – разноцветные лепёшки, приклеенные к картонке-палитре. Таких счастливиц считали «миллионерами».

Был среди нас и «миллиардер» – мальчишка, обладатель толстого карандаша с трёхцветным грифелем. Этот необычный карандаш давал потрясающие линии – на них один цвет плавно переходил в другой. Если цвета наслаивались, возникали неожиданные сочетания тёплых и холодных тонов. Это было сильным зрительным впечатлением – оно приводило нас в восторг, мы вырывали карандаш друг у друга. Но однажды «миллиардер» установил определённую плату за пользование чудо-карандашом: кусок жмыха или сала. После этого мало кто из нас держал в руках чудо-карандаш – в то голодное время жмых и сало были для нас таким же лакомством, как мороженое для теперешних детей.

Конечно, те, кто живут в далёких таёжных посёлках, более бережно относятся к рисовальным принадлежностям – хорошие краски и кисти туда не так уж и часто завозят. Наверное, есть места, куда их не привозят совсем, и начинающие художники только мечтают иметь «все цвета радуги», как и мы мечтали когда-то. Таких художников хочу приободрить: принадлежности для рисования играют важную роль, но не основную. Всё-таки художник рисует не только красками и кистью, и не только руками, но и сердцем.

ЗЕРКАЛЬНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ

Человек, умеющий удивляться, уже способен к искусству; если он ещё и выражает своё удивление – талантливый. В детстве мы все способные: каждый день открываем окружающий нас мир, не перестаём ему удивляться и всё хотим узнать, как же он устроен? В юности пытаемся найти своё место в этом мире. В зрелости, познав радости и боли, задумываемся – каким же он должен быть, этот мир?

Мои первые открытия – зеркальные отражения. Помню, года в три-четыре меня поразил отражённый в озере ельник. Вода была спокойной и прозрачной; я различал каждый ствол, каждую ветку; на них, словно ёлочные игрушки, висели кувшинки. Некоторые ёлки верхушками касались дна озера, и между ними проплывали облака, мелькали ласточки и стайки мальков. Невозможно было понять, где кончается вода и начинается небо. День был солнечный, и на поверхность воды от ельника падала густая тень. Этот третий, лежащий на боку лес окончательно сбил меня с толку. Дома я нарисовал все три леса: настоящий, утонувший и лежащий на боку. Нарисовал неумело, и приятели, взглянув на рисунок, приняли его за жестокий обман.

– Так не бывает! – заявили.

– Бывает! – сказала мать. – В жизни и не то бывает. И потом художник имеет право на воображение.

Отец поддержал её:

– В этом буйстве линий и красок есть тайна. Озеро до краёв наполнено тайнами. Нешуточными тайнами, поверьте мне. В этом озере надо купаться с величайшей осторожностью. Может за ногу схватить водяной.

Отец увидел в моей картине больше, чем я изобразил. Его слова повергли меня в смятение; я и не подозревал, что картина может вызвать такие странные ощущения. Слова отца придали мне новые мощные силы.

На следующий день я решил нарисовать наш дом – каким хотел бы его видеть: некий замок на берегу беспокойного, ещё более таинственного озера. Замысел был отличным, но воплотил я его не совсем удачно. Лучше всего получился дым, валивший из трубы, пышным облаком он застилал полнеба. Дым по достоинству оценили все, в том числе и мои приятели.

Возгордившись, я целую неделю рисовал «дымные» картины. Из одних домовых труб текли густые тёмные реки, из других тянулись лёгкие струйки, словно растянутые пружины. Дома получались так себе, но от дыма все приходили в восторг. Особенно отец. Он протирал глаза, чихал – всем своим видом показывал, как едко чадят мои трубы, и приговаривал:

– Нет сомнения, здесь без трубочиста не обойтись!

После войны мы переехали в посёлок (всего шесть домов) на разъезде Аметьево. Самым примечательным в посёлке был воздух. Не дома, не сараи, не дуплистые тополя, не сочные травы и яркие цветы, а воздух. В жаркие дни он колебался, от земли струились вполне различимые потоки, и все постройки и деревья как бы раскачивались, а железнодорожное полотно, будка стрелочника и телеграфные столбы таяли в зыбком бело-розовом мареве.

Много раз я пытался нарисовать тот воздух, вернее, пространство между нашими домами и разъездом, но у меня ничего не получалось. Каждый раз я терпел сокрушительное поражение. Получались бестолковые строения и между ними грохочущие безумные паровозы. Именно поэтому меня восхищали репродукции с картин мастеров – в них чувствовался воздух. Воздух на картине – моё второе значительное открытие.

Позднее я научился пространственному рисованию и попытался отобразить воздух вокруг нашего посёлка; вроде он получился, но я не смог передать его аромат. А в том воздухе были запахи смолистой древесины, и высоких спутанных трав, и луговой клубники. Да что там! Он неповторим, воздух моего детства! Я и теперь говорю друзьям:

– От болезней меня спасает бутылка с воздухом из детства; она у меня всегда под рукой – только вдохну, сразу выздоравливаю!

ГЛОТОК СВЕЖЕГО ВОЗДУХА НАМ НЕ ПОВРЕДИТ

Всякие бывают лица: красивые и некрасивые, тупые и одухотворённые. Бывают безликие – никакие; людей с такими лицами называют посредственностями, серыми личностями. Человек с красивым лицом может иметь чёрствую душу, и тогда, если внимательно всмотреться в его красивое лицо, оно станет не таким уж красивым. И наоборот: если человек с некрасивым лицом добросердечен и душевно одарён, то есть имеет дух красоты, его лицо светится и кажется красивым.

Люди с тупыми лицами, как правило, дураки. Причём дураки делятся на несколько категорий (исключая умников, которые строят из себя дураков; таких хитрецов распознать несложно). Есть простодушные, безвредные дурачки, на которых

и обижаться нельзя. Такой простодушный дурачок, заметив, что вы рисуете, случайно, если не сказать нарочно, беззлобно бросит:

– Художник от слова худо, – и расплывётся в блаженной улыбке.

Есть круглые дураки, которые лишены возвышенных чувств, но постоянно всех поучают. Круглый дурак непременно вам скажет:

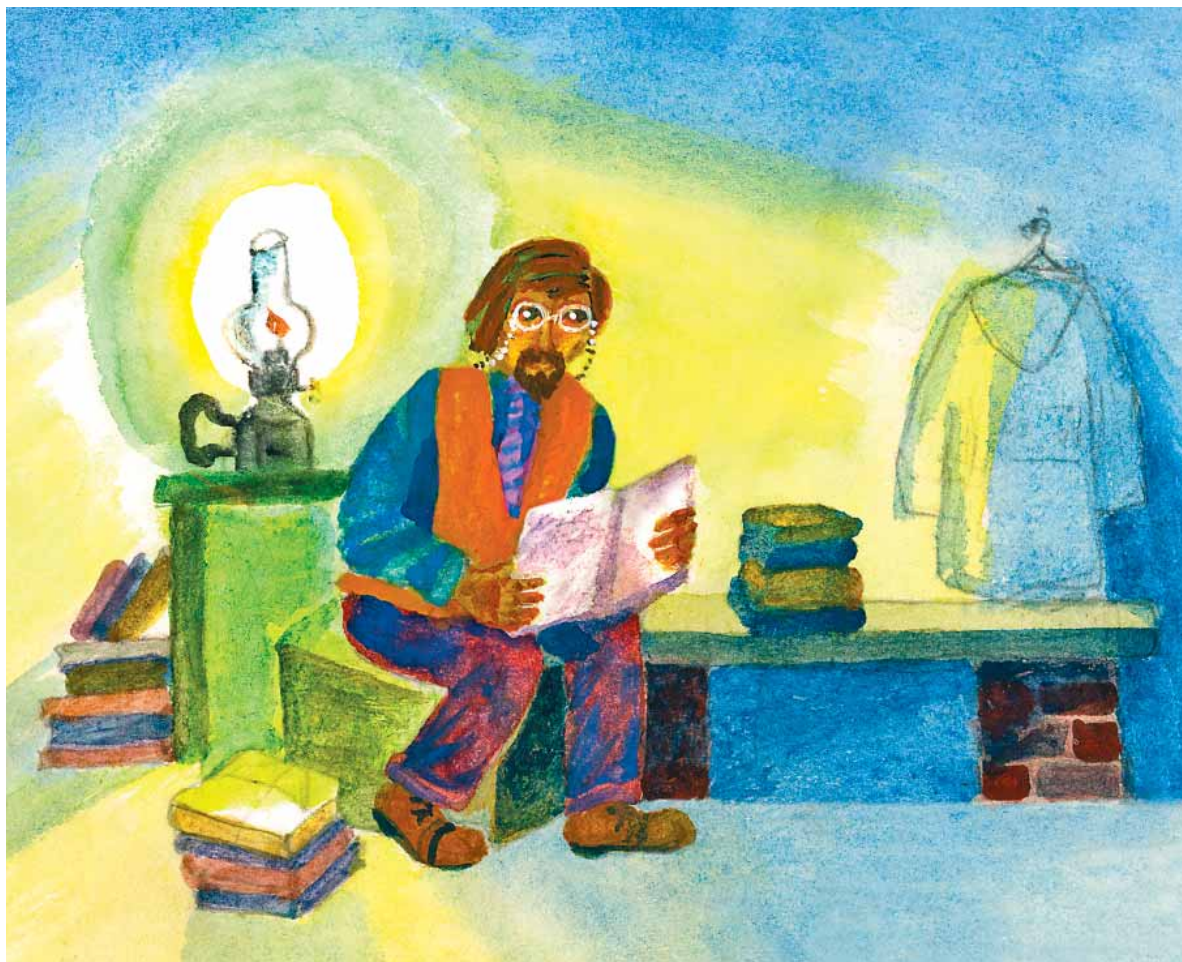
– Не картина, а ерунда. Я лучше нарисую. Художник должен рисовать так, чтоб всё было понятно.

Круглый дурак упрям и не пытается ничего понять. Ему не нравится – и всё!

Но самые опасные – дураки с претензией. Это очень агрессивные люди. Они постоянно рвутся к власти над родными и знакомыми, над соседями и сослуживцами, над городами и странами. Дурак с претензией говорит:

– Все художники – бездельники и деньги гребут лопатой. И кто только платит за такую мазню?! Будь моя воля, я бы всех этих малевальщиков отправил на лесоповал!

Понятно, интеллигентный человек никогда такое не скажет. Интеллигентность – это врождённая культура, в основе которой лежат духовные интересы, стремление к возвышенному, в том числе к искусству и благородным поступкам. Многому



можно научиться, но нельзя научиться быть интеллигентным. Как ни пыжься, манеры будут неестественными, поступки нарочитыми, слова корявыми. Интеллигентность нельзя привить, она передаётся по наследству. И вытравить нельзя. Можно человека заставить делать что угодно, но мыслить он всё равно будет по-своему.

В общежитии жил эвакуированный из Ленинграда инженер Евграф Кузьмич, «представитель старой интеллигенции», как его называли умные люди, а дураки и завистники – «гнилым интеллигентом». По вечерам Евграф Кузьмич у коптилки читал книги. Из его приоткрытой двери в коридор падала полоса света. Я заглядывал внутрь комнаты – Евграф Кузьмич сидел на фанерном ящике, попыхивал самокруткой и, то и дело поправляя пенсне, бормотал:

– Ну и ну, любезные мои! Ну и ну!

Драное пальто, потёртый костюм и две связки книг – «остатки прежней роскоши» – вот и всё, что захватил из Ленинграда пожилой инженер, но, когда я попадал в его прокопчённую, прокуренную комнату, мне казалось, я попадаю в большую, светлую галерею. Евграф Кузьмич угощал меня чаем – заваренной горелой коркой хлеба, показывал репродукции с картин великих мастеров и мягко, ненавязчиво учил «смотреть живопись».

– ...Это Шишкин, великий пейзажист. Вот «Корабельная роща». Смотри, какие роскошные сосны, как золотятся на солнце. И прямо пышут жаром, верно? А как выписаны ветви и хвоя! Какая любовь к нашей прекрасной природе!.. Да-а, любезный, такую картину увидишь один раз и запоминаешь на всю жизнь... А это «Дорога во ржи». Какой простор, а? Какая ширь! Слышишь шелест колосьев, пение жаворонка?! А могучие дубы-исполины как бы подчёркивают пространство. Что и говорить, мы, любезный, привыкли к пространствам нашей средней полосы. Нам было б тесно, например, в тайге или в горах... Да-а, Шишкин великий художник, да что там – гениальный!

Евграф Кузьмич доставал новую папку.

– ...А это Левитан. Вот «Омут». Какая строгость и величие в картине! И как она наводит на размышления! А это «Золотая осень». Обрати внимание, любезный, на сочные краски. Воздух прозрачный, всё дышит покоем. Чувствуешь, прямо повеяло сладким запахом осенней листвы?! А это «Март». Здесь всё звенит. Картина создаёт приподнятое настроение, уверенность, что впереди много хорошего. Ты чувствуешь?! Чувствуешь, что всё пройдёт, изменится к лучшему и впереди нас ждёт много хорошего?! Искусство и должно давать надежду на лучшую жизнь...

Евграф Кузьмич брал очередную папку и продолжал в приподнятом настроении:

– А это волшебник Куинджи. «Ночь на Днепре». Какое высочайшее мастерство! Такие холодные тени, и река серебрится под луной. Тебя потрясает? Мурашки бегут по спине? То-то! И обрати внимание, любезный, как светится луна. Когда Куинджи выставил эту картину, многие подумали – за луной спрятана лампочка. Подходили, заглядывали за картину, обвиняли художника в шарлатанстве. Эх! Всё необычное в искусстве невежественные люди встречают в штыки. И не только в искусстве. Человека, который придумал зонт и отважился выйти с ним на улицу, закидали камнями...

Евграф Кузьмич называл себя «собирателем редких книг» и, как все коллекционеры, был счастливым человеком. В те тяжёлые годы многие за бесценок отдавали дорогие вещи. Я видел, как на барахолке за буханку хлеба музыкант отдал скрипку; поцеловал инструмент и чуть не плача отдал какому-то барыге. Кто знает, может, музыканта дома ждали голодные дети! Евграф Кузьмич не продал ни одной из своих книг, правда, у него и детей не было.

В те мрачные годы комната Евграфа Кузьмича мне казалась настоящим музеем, хранилищем бесценных вещей; в ней я ежедневно открывал неведомые пласты в искусстве, и что особенно важно – старый инженер вселял в меня свою влюблённость в живопись, я выходил из его комнаты насквозь пропитанным этой влюблённостью. Под руководством Евграфа Кузьмича я сделал головокружительный скачок (в смысле восприятия живописи). Это восприятие, словно пожар, охватывало меня со всё нарастающей силой. В конце концов я почувствовал внутри такое адское пламя, что заболел – наполовину сошёл с ума. В те дни во сне я писал картины не хуже Шишкина, Левитана и Куинджи, а иногда даже лучше. Я поправился только когда мне родители с превеликим трудом достали цветные карандаши.

Я начал делать копии с картин великих мастеров, но удивительная вещь – как ни старался, всё получалось блекло и невыразительно – какой-то компот, жалкое подобие оригинала. И здесь во мне забушевал пожар другого рода – пожар сомнения: получится ли из меня художник вообще?

– Получится, я не сомневаюсь, – сказала мать. – Самое горькое разочарование – разочарование в себе, когда душа в смятении и думаешь: «Смогу ли что-то сделать?». Нельзя сомневаться в себе.

– Не художник, так инженер из тебя получится, – заявил отец. – Инженер должен уметь рисовать, уметь объёмно представлять детали, в разных проекциях...

– Как это не получится? – удивился Евграф Кузьмич. – Не сгущай краски. Художник это состояние души. В этом плане ты уже зашёл далеко. И если взялся за кисть или за перо, должен верить, что сделаешь что-то значительное. Конечно, не сразу. Надо учиться, изучать великих мастеров, их умение выражать главное и внимательно относиться к мелочам. Помни, картина останавливает время, на ней навсегда остаётся прекрасным лицо или пейзаж.

Я снова засел за копии. Всё основное из работ великих мастеров перенёс на бумагу один к одному, а в мелочах кое-что изменил, вернее, добавил кое-какие мелочи, которые, на мой взгляд, художники упустили из виду. Так, над «Дорогой во ржи» я нарисовал самолёт, чтобы дополнить и усилить «пространство» Шишкина. В «Золотой осени», по моему мнению, Левитан забыл изобразить лодку с рыбаком, и я исправил его оплошность. «Берёзовую рощу» Куинджи я заселил зверями – они явно просились на полотно.

– Неплохо, неплохо, любезный, – сказал Евграф Кузьмич, разглядывая мои работы. – Не перевелись ещё таланты на нашей земле. Это как глоток свежего воздуха – он нам не повредит... У тебя богатейшая фантазия и всё прочее, но, как бы это помягче сказать... Понимаешь, любезный, твой летательный аппарат прекрасен, спору нет, но здесь он ни к селу ни к городу. Грохот его мотора заглушает шелест колосьев,

трель жаворонка. Уже нет спокойствия, умиротворения в картине. Не дай бог он ещё грохнется и всё поле сгорит дотла... И твой рыбак хорош, ничего не скажешь. Сразу видно, по экипировке, оснастке, он мастер своего дела. Гений рыбалки! И смотришь только на него, он главное пятно на картине. А осень отошла на второй план и уже не будоражит наши чувства. Ты понимаешь, о чём я говорю? Твоего бы рыбака на отдельную картину, это совершенно самостоятельный сюжет. Нарисуй его отдельно и покрупнее. Попробуй, у тебя получится. И это будет замечательная работа. А Левитана оставь в покое. Пожалей его... То же самое и с Куинджи. У тебя получился, как бы это поточнее сказать, заповедник, что ли. Увидел бы Куинджи – зарыдал. В эту рощу без страха уже не войдёшь, звери растерзают. Пожалуйста, загони их всех в зоопарк, у тебя это прекрасно получится, вот увидишь. А «Рощу» оставь как есть, так приятно погулять среди прохладных берёз.

Евграф Кузьмич положил мне руку на плечо.

– Для чего нужно изучать великих мастеров? Чтобы отталкиваться от них, а дальше идти своей дорогой. Своей дорогой, – повторил Евграф Кузьмич и показал за окно, где начинался мой путь.

БЕЛЫЕ СЛОНЫ

Моим друзьям-художникам исключительно повезло. Один уверяет, что видел летающие тарелки и настоящую принцессу, правда, издали. Другой говорит, что видел не только принцессу, но и саму королеву Англии, и довольно близко, а уж разных русалок лицезрел видимо-невидимо и однажды недолго поплавал с ними. У третьего, по его словам, на даче проказничает домовая и бродят привидения – он гоняет их метлой. Четвёртый даёт слово, что не раз наблюдал за водяными и лешими, колдунами и ведьмами, а пятый клянётся, что не только видел чертей, но и разговаривал с ними.

Многие им не верят, говорят:

– Мелкая хвастливая ложь.

А я верю, потому что сам кое-что видел.

Некоторые из моих друзей-художников имеют необыкновенные квартиры. Так, у Валентина Коновалова обитает сверчок и даже зимой по комнатам летают бабочки – возможно, их привлекают красочные пейзажи мастера.

Борис Сафронов живёт за городом в стеклянном доме, собранном из оконных рам; этот «аквариум» он прозвал «зелёным болотным королевством».

Некоторые из моих закадычных друзей-художников обладают сказочными богатствами, вроде Сергея Денисова и Леонида Андреева. У первого дома потрясающий сад из комнатных растений – в нём можно заблудиться, и все растения редкостные, страшно дорогие; у второго есть попугай, который знает сотню слов, и сундук, доверху набитый фотографиями редких животных.

Особенно богат Виктор Алёшин. Он богат до неприличия. У него нет своего жилья, он скитается по знакомым, зато, на зависть приятелям, его всегда окружает стайка восторженных поклонниц, одна красивей другой – целая оранжерея красавиц.

Я не видел летающих тарелок, и никогда не встречался с представителями нечистой силы, и живу в обыкновенной квартире с двумя обыкновенными дворняжками – Челкашом и Дымом, но я был свидетелем редких явлений природы. Например, видел звездопад, когда звёзды падали одна за другой, словно кто-то устроил фейерверк. Видел шаровую молнию – на болоте светящийся шар медленно проплыл над травами. Однажды в раскалённый полдень видел мираж – на облаке, точно на гигантском экране, отчётливо отразились деревья и озеро. Видел зимнюю грозу, с молнией, громом и белой радугой, и летнюю – когда летели градины с большую пуговицу.

Много раз я попадал под оглушительные ливни. Особенно запомнился один из далёкого детства. В тот день я нарисовал мелом на дощатом заборе белого слона, а рядом – слонёнка. Надо сказать, в то время я просто бредил слонами; любил всех животных, но слонов особенно – мне казалось, они самые мудрые и добрые, как большинство великанов. Я рисовал слонов на каждом клочке бумаги, в книгах и на стенах. В нашей комнате обитало целое слоновье стадо. Мать не успевала стирать животных со стен, а отец говорил, что слоны приносят счастье.

И вот однажды я нарисовал слонов во дворе на заборе. Это был мой лучший рисунок (и белый – «идеального» цвета). Кажется, я даже его посчитал значительным достижением в изобразительном искусстве. Да, собственно, не кажется, а наверняка. Сюжет был предельно простым, без чрезмерности деталей, излишних подробностей: огромная слониха важно вышагивала в сторону зарослей акаций, за ней семенил слонёнок и, как это бывает в жизни, судя по книгам, хоботом держался за хвост матери. Белые слоны гуляли на летних знойных просторах...

Когда я закончил рисование, во двор вбежали ребята и бессовестно предложили стрелять в слонов из лука. Я запротестовал и даже хотел стереть слонов, но они были как живые, и мне стало жалко своё «значительное произведение». Я ушёл со двора поздно вечером, последним, да и то потому что начался ливень.

Затяжной ливень грохотал всю ночь (казалось, прохудились все небесные трубы) и как-то незаметно вошёл в мой сон: я увидел белых слонов под хлещущими водяными струями. Заросли акаций были рядом, но они почему-то никак не могли туда добраться. Топтались на месте и мокли. Внезапно во двор вбежали ребята с луком и... воздух потряс мой предупредительный клич. Страшный вопль поднял на ноги всё общежитие, но главное... его услышали слоны; они подняли хоботы, протрубили мне прощальное приветствие и скрылись под зелёным куполом леса.

Утром на мокром заборе ничего не было!

– Смыло твоих слонов, – сказал мне дворник дядя Коля. – Ничего, ещё нарисуешь. И вот что! Нарисуй ещё какую-нибудь уборочную машину. Надоело махать метлой.

Когда забор подсох, я попытался нарисовать новых слонов, но, как ни усердствовал, у меня ничего не получилось. Выходили какие-то схемы, а не живые существа.

В тот день я сделал важное открытие: всё ценное создаётся только в минуты высокого настроения, когда чего-то сильно хочешь, о чём-то сильно мечтаешь, что-то сильно любишь или так же сильно ненавидишь. Тогда я ещё не знал, что этот настрой называется вдохновением.

ДАЛЁКИЕ И БЛИЗКИЕ МЕЧТЫ

Лет в десять, сразу после войны, у меня к неопишуемой радости, наконец появилась акварель «Чёрная речка», и я с утра до вечера рисовал как одержимый, рисовал без всякой системы, всё подряд – и что поражало в окружающем мире, и что представлял в голове – всякие далёкие и близкие мечты.

Самой далёкой, почти несбыточной мечтой было – попробовать фрукты, которые я видел только на картинах: виноград, гранаты, инжир. С этой целью я рисовал такие натюрморты, от которых бежали слюни.

Самой близкой мечтой было – стать пиратом. Начитавшись книг про морских разбойников, я рисовал парусники, бородатых уголовников, острова в океане, сундуки с награбленными сокровищами и, конечно, морские сражения, где я, знаменитый пират, находился в самом пекле. После каждого сражения, руководствуясь гуманными соображениями, я рисовал тех, кого мы, пираты, ограбили и сбросили в море – разных купцов, богатых пассажиров – они благополучно добрались до берега и жгли костры в ожидании помощи. Я даже писал записки от имени этих бедолаг, с указанием их местонахождения; записки закупоривал в бутылки и бросал в речку Казанку. Думаю, моя почта вызывала немалый переполох у речной милиции во всём Волжском бассейне.

– Если ты станешь пиратом, это будет позором для семьи, – выговаривала мне мать. – Несмываемым пятном на нашей чести.

– А по-моему, «пират-художник» это неплохо, – рассуждал отец.

Я только ухмылялся их наивным представлениям моего будущего, поскольку втайне ещё планировал стать и слесарем-водопроводчиком и собирался чинить сантехнику до тех пор, пока не умру от усталости.

Представляя себя знаменитым пиратом, я всё время хотел столкнуться с опасностью, тренировал металл в голосе и жгучий пронзительный взгляд и жалел, что имею мало шрамов (ведь известно, шрамы украшают мужчин, а пират без шрамов – вообще не пират).

Как каждый пират, тем более знаменитый, я, разумеется, был весь разрисован татуировками, с головы до ног (к счастью, синими чернилами). На моём теле красовались якоря, осьминоги, акулы, парусники с пушками и целые сцены, где пираты брали на abordаж купеческие суда. Были и другие сюжеты: пираты на берегу, в баре, на ипподроме. Не было только романтических сцен. Всё, связанное со словом «любовь», по моему глубокому убеждению, не стоило и сантиметра моей пиратской кожи.

Ребята во дворе (мы ещё некоторое время жили в общежитии) с величайшим интересом рассматривали мои татуировки, а дома я ходил и спал в наглухо застёгнутой рубашке и подолгу не мылся, пока однажды мать насильно не сняла с меня рубашку и... чуть не хлопнулась в обморок.

Мать отмыла мои татуировки, но не смогла вытравить из моей души пиратский дух. Я по-прежнему ходил вразвалку, с нагловатым видом, с оттопыренными

карманами, в которых лежали перочинный нож, пробочный пугач, отполированное тёмно-зелёное бутылочное стекло, напоминавшее море, и настоящие пули – они попадались на свалке.

С ребятами во дворе я разговаривал заносчиво и едко. Случалось, ребята просили меня что-нибудь нарисовать, но я говорил, что подумаю или что «нет настроения», или врал, что нет карандашей. Если кто-то и приносил карандаши, я говорил, что это никудышные карандаши, неважнецкий материал и им рисовать не могу.

– Это не так легко, как кажется, что-нибудь нарисовать, – объявлял я ребятам и удалялся, насвистывая разухабистую пиратскую песню.

Такой был балбес, к стыду родителей.

Но в один прекрасный день на асфальтированном пятаке двора кто-то нарисовал зверей: волков, тигров и слонов. Моих слонов! Животных, по которым я считался крупнейшим специалистом! Зверей нарисовали цветными мелками, и они казались прямо-таки настоящими. Я был потрясён, меня охватило страшное смятение. Вечером близкий друг Вовка, который научил меня покуривать, а я его ругаться, сообщил, что в одну из квартир приехали новые жильцы и что в той семье девчонка Машка – художница.

С того дня ребята напрочь забыли обо мне, им рисовала Машка; рисовала всё, что ни просили. Девчонка, но хорошо рисовала и самолёты, и корабли, в том числе пиратские; рисовала в основном фиолетовыми мелками, а этот цвет свидетельствует о высокой эмоциональности, высокой чувствительности и прочих высотах.

Однажды на пятаке мелками Машка нарисовала огромный парусник, да такой, каких я никогда не рисовал. Это был прямой вызов. Меня заело не на шутку, и когда ребята разошлись, я углём подрисовал на корабле взрыв, как будто в него попала торпеда, а вокруг ещё изобразил тонущих матросов.

В ту ночь мне снился сладостно-злорадный сон. Но наутро, выйдя во двор, я увидел: матросы не утонули, а в лодках преспокойно плывут к берегу. Ребята наперебой рассказали, как Машка спасла матросов. История принимала скандальный оборот. Я чуть не взбесился, но меня спасла очередная выдумка. Достав уголь, я нарисовал огромного – с кровать – кита, чудище подплывало к лодкам и уже разинуло пасть.

– Пусть она теперь что-нибудь нарисует, – стиснув зубы, заявил я ребятам и победоносно ушёл со двора.

В разгар моего торжества прибежал Вовка и, запыхавшись, проговорил:

– Выходи скорей! Машка такое нарисовала!

Мы выбежали во двор. Около рисунков толпились ребята и смеялись, гоготали, всхлипывали. Я протиснулся в середину – матросы уже восседали на спине кита, исполин широко улыбался и тащил на буксире пустые лодки. На середине кита стояла Машка, маленькая остроносая девчонка; она была вся в фиолетовом мелу.

Я вернулся домой подавленный, униженный. Взял бумагу, сел перед окном, и надо же! – впервые почему-то не захотелось рисовать пиратов. Я догадывался: теперь, чтобы вернуть уважение ребят, свой престиж, должен был отличиться как никогда – нарисовать что-то фантастическое. Долго я сидел за чистым листом,

но ничего фантастического придумать не мог; сидел, смотрел во двор, где Машка всё что-то рисовала... Постепенно мой разрушительный настрой угас, и вдруг в голове мелькнуло: нарисовать Машку! Достав акварель, я стал набрасывать Машкин портрет; старался изрядно, и, кажется, у меня получилось то, что надо; во всяком случае, в те минуты я взвинулся и был уверен – это моя лучшая работа (о слонах, парусниках и пиратах я забыл начисто). Краски ещё не просохли, а я уже вынес портрет во двор.

– Замечательный портрет! – выдохнула Машка.

– Вылитая Машка! – закричали ребята.

Понадобилось немало лет, чтобы я сделал вывод из тех рисунков на асфальте: творческая злость – хороший двигатель в работе, но всё-таки злость не должна затмевать разум художника.

После портрета Машки (ошарашенный восторгом ребят) я неистово бросился рисовать и другие портреты. Бывало, в школе на уроке все решают задачи, а я делаю наброски соседей, за что не раз выводился из класса и объяснялся с директором.

Дома я просто-напросто терроризировал родных: ежедневно заставлял меня позировать. Обычно мать с отцом под разными благовидными предложениями увиливали от моих назойливых приставаний, но младшие сестра и брат позировали охотно – подолгу неподвижно сидели в священном молчании. Но особенно от меня доставалось гостям. Как только к нам кто-нибудь заходил, я сразу усаживал гостя на стул и начинал его рисовать, причём рисовал не меньше получаса – не умея выявить главное, характерное в лице, всё делал по наитию, на авось, при этом бубнил:

– Портрет – дело нешуточное. Требует массу времени...

Многим не хватало терпения, они вставали, говорили, что спешат.

– Искусство требует жертв, – безжалостно произносил я фразу, которую где-то услышал и сразу взял на вооружение. – Этот портрет, может, возьмут на выставку. Вы ещё будете гордиться, что я вас рисовал.

Гость вздыхал и садился на стул снова. Я заканчивал портрет, подписывал и дарил на память. Но никто себя не узнавал. Мне приходилось объяснять, что сходство – чепуха, важно – каким художник представляет человека. После этого гость вздыхал ещё глубже:

– А-а! Вот оно что! А я-то думал – сходство важнее, – и благодарил меня, и жал руку, и долго к нам не заходил.

А когда приходил, я снова усаживал его позировать, и, получив второй портрет, гость благодарил меня ещё горячее, но больше не появлялся совсем.

Постепенно все знакомые перестали к нам ходить, и сестре с братом надоело позировать. И тогда я начал рисовать себя: садился перед зеркалом и делал автопортреты. Законченные работы вставлял в рамы, которые снимал с репродукций, фотографий, вышивок, и вешал на стены, прямо на рисунки слонов. Я перестарался – вскоре всю нашу комнату заполонили мои автопортреты. На одних картинах я стоял в железных доспехах, словно «рыцарь без страха и упрека»,

на других – распластался у моря, и было ясно – перед зрителями пират с затонувшего корабля... На всех портретах, как мне казалось, я выглядел предельно скромным: не смеялся, не размахивал руками, не задираю нос и смотрел на зрителей просто и серьёзно.

Родителям не нравилось моё новое увлечение.

– Что за пристрастие! Испортил все стены! – возмущалась мать.

– Портрет не твой конёк, – хмурился отец, – не твоё коронное блюдо. Лучше рисуй пейзажи – озёра, отражения, дым...



Но я-то считал пейзажи пройденным этапом и продолжал печь как блины автопортреты. Со временем я так наловчился их рисовать, что мог себя изобразить с закрытыми глазами. На чём было замешано такое внимание к собственной персоне – не знаю. Кажется, в тот подростковый период мне не очень нравился мой нос «валенком» и оттопыренные уши, и на рисунках я несколько сглаживал эти «дары природы».

Моё героическое сподвижничество в области автопортрета закончилось собственной скульптурой. Наклепав такое количество своих изображений, что их уже некуда было вешать, я начал делать слепки из глины.

Позировать мне по-прежнему никто не хотел, и я лепил себя. Вначале ваял маленькие скульптуры, потом и большие. А однажды в сарае смастрячил себя во весь рост. Чтобы эта гигантская скульптура не развалилась, прежде пришлось сколотить каркас из реек и обмотать его проволокой – и только после этого класть глину. Я извёл целую бочку глины (корячился два дня). Скульптура мне понравилась. Я изобразил себя очень скромным: стоял, опустил голову и сморщив лоб, как будто думал о чём-то вселенском, словно «Мыслитель» Родена.

Эту скульптуру я решил установить перед общежитием как памятник самому себе. Рано утром, когда все спали, приволок глиняного колосса на видное место двора и сел невдалеке на скамью, в ожидании реакции на своё творение. Через некоторое время вышли ребята и разинули рты в замешательстве.

– Кто это? Что-то не пойму! Может, Баба-яга?! – слышалось.

Мимо прошёл Евграф Кузьмич, взглянул на скульптуру, покачал головой. Расстроенный, я направился к дому, но меня догнала Машка.

– А я сразу узнала, кто это! – сбивчиво шепнула мне.

– Кто?

– Знаменитый пират!

Слова Машки окрылили меня, я моментально почувствовал прилив жизненных сил.

Это была моя первая персональная выставка – она представляла всего одну работу, но зато какую! И какой ошеломляющий успех! Правда, всего у одного зрителя, но у профессионала! То, что Машка училась в художественной школе, являлось непреложным фактом.

НАТЮРМОРТ С ОВОЦАМИ И ПРОЧЕЕ

Мне посчастливилось – в художественном училище, куда я поступил после седьмого класса, преподавал Пётр Максимилианович Дульский, автор монографии о Шишкине, мэтр с бантом, в жилетке жёлтого цвета, который, как известно, выражает спокойствие, интеллигентность.

Пётр Максимилианович не только объяснял нам основы живописи, но и давал нравственные уроки.

– Скромность в жизни и скромность в творчестве – разные вещи, – говорил он. – Нельзя быть скромным за мольбертом. Если хотите сделать что-то значительное, смелее самоутверждайтесь, отстаивайте своё видение, своё «я».

Эти слова я воспринимал буквально. Отбросив всякую скромность, устраивал на полотнах такое бурное пиршество красок, что у самого захватывало дух. Но странное дело: моя «богатая палитра» – широкие мазки и прямо-таки кричащие свирепые цвета повергали однокурсников в уныние.

– Всё разваливается и пестрит, – поджимали губы одни.

– Нет гармонии, – разводили руками другие.

– Я так вижу! – многозначительно изрекал я.

А Пётр Максимилианович посмеивался:

– Ничего, ничего, это самоутверждение лучше боязни цвета и всякой зализанной, замученной живописи. Главное – неустанно обогащать своё творческое пространство. насыщать его впечатлениями. Впечатления – самое ценное в жизни. Наше богатство. Позднее отберёте всё существенное из этих впечатлений. Чувство меры придёт, когда всем переболеете, – он похлопывал меня по плечу, как бы благословляя на новые искания.

Однажды я написал «огненный натюрморт», вернее, впечатление от натюрморта с горшком и овощами. Для большей выразительности и самоутверждения использовал цвета страстей: яркие красные и оранжевые краски, «сверхбогатую активную палитру».

– Нагловатые цвета, – морщились одни.

– Ерундистика, оголтелый оптимизм, – с насмешливым презрением отмахивались другие.

А Пётр Максимилианович пощадил меня и дипломатично сказал с лёгкой улыбкой:

– Выразительный рисунок и грамотная живопись – дело техники. То есть наживное дело. Этому можно научиться. Но вот своя интонация, своя атмосфера, своё пространство – это, как говорится, от Бога... Я совсем не против этого дикого натюрморта, но вот... этот огурец... э-э, не мешало б... чуть-чуть передвинуть сюда. Так композиция будет более уравновешенной.



В другой раз на свалке я нашёл банку серебристой краски и с дурацким восторгом так самоутвердился, что некоторые перестали со мной здороваться. Я написал автопортрет, где серебристая краска выполняла роль лунного света; автопортрет в образе матроса (естественно, в подростковом возрасте пират уступил место матросу, и, кажется, я уже подумывал о морской царевне).

– Умора! – хмыкали одни. – Возвёл себя в святые, сделал нимб над башкой!

– Совсем чокнулся, – безнадёжно вздыхали другие.

– Эта самолётная краска не очень портит общее впечатление, – невозмутимо заметил Пётр Максимилианович. – Как говорится, максимум выразительности и минимум средств для выражения. Но в композиции не хватает э-э... изюминки. Быть может, вот здесь... подрисовать чайку или дельфина?!

Вскоре я «переболел» и перестал самоутверждаться за счёт эффектных красок. До меня дошло, что хороший вкус – это не только чувство меры, но и благородные цветовые сочетания. «Богатая палитра» уступила место «палитре сдержанной». Рассматривая мои новые холсты, Пётр Максимилианович одобрительно кивал:

– Это обнадеживает. В этом уже есть что-то. Заявка на серьёзность, – и с неизменной улыбкой добавлял: – Как говорил Андрей Рублёв, «красота не в пестроте, а в простоте»... Настоящее искусство всегда искреннее. Нарочитость, желание пооригинальничать – это видно невооружённым глазом. Там всё поддельное, фальшивое. За такими декорациями не видно сердца. Это холодное, бездушное искусство. А искреннему художнику не до трюков. Это очевидно. Ещё очевидней – тот, кто занимается искусством, то есть причастен к возвышенному, не встанет на путь жестокости. В этом смысле вы – моя последняя надежда в наше жестокое время.

Кажется, мы не очень оправдывали эти надежды. Я, например, безжалостно ловил рыбу; а Кукушкин (первый умник в группе, который вроде меня планировал в будущем походить под парусами, и это нас сразу сблизило) – певчих птиц. Узнав про наши злодеяния, Пётр Максимилианович нахмурился и прочитал нам строгую проповедь с предостерегающей концовкой:

– Вы – моя головная боль. Учтите, над вами сгущаются тучи. Скоро грянет гром.

Тучи над нами сомкнулись, и гром действительно грянул: однажды, после очередной вылазки на природу, нас с Кукушкиным встретило мрачное демонстративное молчание сокурсников. А позднее в стенгазете нас изобразили как живодёров... Чтобы вернуть расположение сокурсников, Кукушкин притащил в училище свои клетки и при свидетелях выпустил птиц на волю. А я, тоже публично, смастерил аквариум и начал разводить рыбок. Эти значительные операции почему-то никто не воспринял всерьёз; наверное, были уверены, что мы просто устроили передышку и втайне вынашиваем особо зловещие планы.

УВЯДШИЕ ЦВЕТЫ

Рисунок вела Ксения Борисовна Пирогова, женщина матрёшечного типа, вся увешанная побрякушками, с шальями на плечах и румянами на лице. Несмотря на эту яркость, в искусстве Ксения Борисовна предпочитала серый цвет и его

многочисленные оттенки – то, что обычно любят строгие, рассудительные люди. У Ксении Борисовны были маленькие руки и прозрачные глаза, а голос далёкий, как в тумане.

– Это неизящно, – говорила она про рыхлый рисунок.

– Это топорно, даже вульгарно, – про энергичный штрих, и мы недоуменно молчали.

Матрёшка (так мы звали Ксению Борисовну) ставила нам «чистые натюрморты»: старинные вещи с отражением на стекле.

– Отражённость, зеркальность создают эстетичность, изыск, – говорила рисовальщица, и мы с пониманием кивали (особенно я, поскольку считал себя специалистом по отражениям).

Матрёшка лазила с нами по городским свалкам и заставляла разыскивать поломанную антикварную мебель, дырявые абажуры, побитые витиеватые рамы, дверные ручки, чугунные утюги. Потом в училище всё это расставляла на стекле, занавешивала окна, зажигала свечи, и мы рисовали «искрящиеся натюрморты», иногда «отмывкой» – прозрачно-чёрной краской.

Особую страсть Ксения Борисовна питала к натюрмортам из увядших цветов.

– Живой, яркий цветок, бесспорно, красив; в нём, бесспорно, есть эстетический момент, – говорила она. – Но всё же он легковесен, он слишком заявляет о себе. А увядший цветок более скромнен и потому более выразителен... Он более культурен, благороден, если хотите («...хотите, хотите» – прокатывалось эхо).

Ксения Борисовна подвешивала у окон живые цветы на нитках, головками вниз и, когда лепестки скрючивались, восклицала:

– Когда цветок увядает, появляется другая красота, другой дух! Посмотрите, как выявляются прожилки, какие пластические линии, сколько эстетики! Красота со временем не исчезает, а переходит в новую форму. Это касается не только цветов, но и людей.

Ксения Борисовна подходила к зеркалу и рассматривала своё отражение, видимо, чтобы убедиться в правоте своих слов, убедиться, что уцелевшие остатки её красоты ещё сияют достаточно ярко.

Слушая Ксению Борисовну, я мотал головой – всё живое мне было гораздо ближе мёртвого, отжившего, поломанного.

С Ксенией Борисовной ходили на «мелкую пластику», двухчасовые наброски в сквер. Это было самым интересным из её занятий, когда мы, раскрепощённые, «набивали руку» – рисовали в блокнотах всё, что попадалось на глаза: корявые деревья, урны, газетный киоск, старух с детскими колясками и «деликатные ситуации»: влюблённых и разных подвыпивших, отсыпавшихся на клумбах.

«ОБНАЖЁНКА» АЛКА-СЫРОЕЖКА

«Обнажённой» называли обнажённую натуру. Одним из натурщиков был старик с величественной массивной головой. Он работал сторожем в трамвайном депо, а в училище подрабатывал. Искусство ему было безразлично; обычно на стуле он засыпал и переливчато храпел. Матрёшку Ксению Борисовну это не смущало.

– Обратите внимание на складки на лице, – говорила она. – В складках и оборках есть эстетичность.

Ещё нам позировала Лиа, толстуха с богатыми формами, модель – мечта для скульпторов. Ни один художник, и не только художник, не мог пройти мимо Лиа, чтобы не обернуться. Лиа по много часов неподвижно стояла под софитами, но никогда не жаловалась на усталость. Она содержала большую семью и говорила, что «раньше была как тростинка, а в войну от разных похлёбок распухла».

– Обратите внимание на пластические ходы, – Ксения Борисовна поводила рукой в сторону Лиа. – Смотрите, как один блок мышц плавно переходит в другой.

Одно время нам позировала бывшая балерина, сухопарая царственная старуха с грациозной осанкой и тонкими косичками. Словно фея, она всегда торжественно молчала, устремив взгляд за окно. В её царственном величии угадывался богатый и таинственный внутренний мир, который никак не перекликался с реальным миром. На «балерину» Ксения Борисовна только почтительно взирала и ничего не говорила.

Натурщица Алка-сыроежка постоянно грызла морковь и другие сырые овощи. Сидит среди драпировок, грызёт овощи и без умолку болтает о подругах, о брате-первокласснике.

– Я не против, рассказывай, милая, – говорила Ксения Борисовна, – но, пожалуйста, не вертись. Сиди неподвижно, эстетично.

Многие люди, не связанные дружбой, подходя друг к другу, задаются вопросом: «Для чего мне с ним общаться? Какой интерес?» Или уж совсем практично, с пошлым расчётом: «Что от него можно получить?» Алка же всегда спрашивала себя: «Что я могу сделать для этого человека, чем могу помочь?». Жертвенность была её отличительной чертой. Она помогала нам натягивать холсты, приносила из дома драпировки, чтобы ставить «мешанину с вазоном», как мы называли натюрморты. Время от времени Алка дарила нам какие-нибудь безделушки. Просто так, без всякого повода, от душевной щедрости. Эти подарки были чисто символическими, но, как известно, главное не подарок, а внимание.

На праздники Алка приносила конфеты дворничихе, бутерброды слесарю. Она могла отдать последние деньги какому-нибудь пьянице-попрошайке, подарить единственный шарф одинокой старухе. Она всё отдавала другим, даже всю себя как модель.

Здесь необходимо пояснение. Наши первые занятия с обнажённой натурой связаны с немалым стеснением, неловкостью. Особенно когда позировала Алка. Она была нашей ровесницей, и мы с Кукушкиным испытывали сильнейшее волнение; то боялись смотреть в её сторону, то, наоборот, прямо пожирали её глазами. Алка в свою очередь абсолютно не испытывала никакого волнения – как ни в чём не бывало грызла овощи, а случалось, и подмигивала нам. Казалось, она запросто могла обойтись вообще без всяких одежд и разгуливать по городу обнажённой, как дикарка. Понадобилось немало занятий, чтобы мы с Кукушкиным успокоились и научились смотреть на обнажённую Алку только как на модель.

Ещё больше занятий понадобилось, чтобы мы привыкли к Алкиным превращениям: несколько часов перед нами сидела неподвижная натурщица, и вдруг из-за ширмы выходит одетая, живая Алка; рассматривает саму себя на мольбертах,

нахваливает нас... Случалось, кто-то из учащихся начинал сомневаться в своих способностях. Таких Алка подбадривала:

– У тебя есть искра божья. У тебя всё пойдёт, вот увидишь. Хочешь, я попозирую тебе после занятий?

Разным самоутверждавшимся вроде меня, чрезмерно уверенным в себе, Алка, чтобы сбить спесь, могла заявить:

– Красиво, но всё сикось-накось и как-то пресно.

Иногда Алка-сыроежка выезжала с нами на этюды. Прежде чем писать натуру, чтобы увидеть местность более обобщённо и выделить в ней главное, мы подолгу прищуривались, наклоняли голову в разные стороны, делали из ладоней «подзорные трубы». Алка придумала совершенно гениальную вещь, и, как всё гениальное, то, что она придумала, было удивительно просто. Однажды, встав спиной к деревне, которую мы собрались писать, Алка наклонилась и посмотрела на дома между ног. Потом спокойно сказала:

– А так всё выглядит красивей. Просто чудо, как выглядит.

Повторив Алкину позу, мы действительно обнаружили чудо: перевёрнутая деревня смотрелась гораздо объёмней, в ней моментально выделились все основные цветовые пятна. С того дня мы взяли Алкино открытие на вооружение и, случалось, где-нибудь на бугре застывали в нелепых позах, к большому ликованию детворы.

Алкину позу я использую на этюдах до сих пор, если, конечно, никого нет поблизости. Хотя недавно проштрафился – не заметил, как меня окружили зрители.

– Дядь, что вы высматриваете? – спросила одна девчушка.

– Да вот, потерял кисточку, – сконфузился я.

– Художники все со странностями, – объяснил девчушке кто-то из зрителей, а один мужчина вздохнул и покрутил согнутым пальцем у виска.

ВЫСОКОЕ, ЗЕЛЁНОЕ, ЧИСТОЕ!..

В нашей группе было немало интересных ребят, самобытных личностей. Один Кукушкин чего стоит! Колоритный здоровяк, который, сидя за мольбертом, принимал устрашающие позы, играл мускулатурой и бормотал:

– Этот проклятый вазон никак не принимает форму... Но ничего, мы преодолеем сопротивление материала.

Рисовал Кукушкин тяжеловато, основательно – его живопись сразу узнавалась по мощной кладке мазков. По училищу Кукушкин ходил насвистывая, руки держал в карманах брюк, то и дело боксировал с собственной тенью, «так безопаснее» – подмигивал мне.

После занятий Кукушкин всегда провожал девчонок, таскал их папки, сумки; а весенними вечерами приглашал девчонок за город «слушать соловьёв и шелест леса», но каждый раз, когда они приезжали, соловьи почему-то спали, а лес не шелестел.

– Так и прокуковали с Кукушкой, – смеялись девчонки. – Да ещё заблудились. У Кукушки болезнь – пространственный кретинизм. Он и в городе-то плохо ориентируется, а то в лесу!



Тина была круглая и неповоротливая, как афишная тумба. Имя ей подходило как нельзя лучше – поверхность болота точно соответствовала её лени. Она «обожала салатный цвет» (как многие неискренние, хитрые люди) и рисовала вяло, с кислой миной, будто выполняла нудную работу. Её родители – какие-то деятели в нашем городе – имели немалые связи, и будущее Тины выглядело накатанным – уже на третьем курсе отец устроил её оформлять витрину ателье.

Тина была слишком высокого мнения о себе и, рассматривая работы сокурсников, презрительно фыркала:

– Грязный цвет, какая-то слякоть. Цвет блохи, упавшей в обморок.

Или:

– Грубая цветовая растяжка, гадкость... Открытый цвет – это пошлость! У меня цвет сложный, но чистый. А это не поймёшь что. Это просто убивает...

Особенно доставалось мне и Кукушкину. Тина разносила нас в клочья и называла не иначе как «грубыми мазилами». У самой Тины цвет, в самом деле, был сложный. Такой сложный, что я, несмотря на титанические усилия, ничего не мог разобрать.

– Мы ещё не поднялись до понимания такого, – подмигивал мне Кукушкин и шёпотом добавлял: – Не живопись, а кисель.

И была у нас лучезарная девчонка, самая способная в группе – Катя Сланцева. Вот уж кто радовался жизни по-настоящему, так это она. Идёт в училище, напевает весёлые мотивы. За мольбертом сидела легко, поминутно вскакивала, отбегала, строила смешные гримасы и вся светилась. Рисование доставляло ей радость, и это чувствовалось в её радужных прозрачных акварелях. На них всегда струился мягкий свет. Если заходило солнце, тут же непременно всходила луна. Вся жизнь Кати Сланцевой представлялась мне оазисом красоты и веселья.

Она мне очень нравилась, если не сказать больше. Непонятные чувства к ней одолевали меня с первого курса; эти чувства призывали к действиям, но Сланцева была слишком хороша для меня. Всегда – аккуратная, приветливая, уверенная в себе, а я постоянно «самоутверждался», метался и страдал, оттого что не могу найти «свою исходную точку».

Однажды на этюдах мы писали деревню на косогоре. Стояли на берегу реки у мольбертов, среди высокого разнотравья и фейерверка кузнечиков. Катя Сланцева была в розовом платье (цвет жизни!), и на фоне зелени смотрелась особенно впечатляюще. В сущности, я и не рисовал, а смотрел на неё. С балетной лёгкостью рассекая воздух, она кружила перед этюдником, всматривалась в даль, пропевала:

– Какое всё высокое, зелёное, чистое! – с улыбкой делала мазки и мыла кисть прямо в реке.

И вдруг заметила мой взгляд. На секунду замерла и тут же подлетела, играючи мазнула краской на моей бумаге и шепнула с придыханием:

– Ты смешной чудак! – и чмокнула меня в щёку чисто дружески.

Эти слова были самыми лучшими из всех, которые я слышал, а поцелуй с неделю жёг мне щёку.

В те дни Катя Сланцева не выходила у меня из головы, уж не говоря о сердце. Моём несчастном сердце! Что с ним происходило, когда я встречался со Сланцевой?!

Оно сжималось от страданий! Втайне я планировал похитить Сланцеву, увезти на один из волжских островов и с размаху предложить пожениться.

Сланцева всегда была со мной, и, когда у меня случались трудности, я обращался к ней за поддержкой. Мысленно. Но однажды и не мысленно. Набрался храбрости и сказал ей, что мне плоховато без неё.

– Как чудесно, что ты думаешь обо мне, но я люблю Кукушку, – Катя Сланцева лучезарно улыбнулась и разбила моё сердце вдребезги.

С того дня мир потерял краски, я стал замкнутым и мрачным и уже не надеялся когда-нибудь повеселеть. Оказалось, можно планировать всё что угодно, только не любовь. И ещё – каким же надо быть болваном, чтобы влюбиться в сокурсницу и изо дня в день наблюдать, как она посылает невероятные взгляды в сторону Кукушки, как они выходят вместе из училища и явно собираются обниматься и целоваться.

ПРОГУЛКА В КОМПАНИИ С ВЕРЗИЛОЙ

Старшекурсники делили нас, младшекурсников, на «личинки» и «шпроты». К «личинкам» относились те, кто делал робкие акварели, «плаксивые, слюнявые и наивные, как песенки в детском саду» – по выражению старшекурсника Верзила – бегемотообразного крутого парня, любителя участвовать в драках, пугавшего нас рассказами про шайки головорезов. К «шпротам» относились те, кто более-менее владел кистью, в ком угадывался кое-какой потенциал. Верзила говорил нам с Кукушкой (прежде чем открыть рот, он надевал фетровую шляпу – ему казалось, так слова звучат весомей):

– «Личинки» – бараны, лишённые всего. Просты, как соха. А вы шустрые малые, у вас есть кое-какой потенциал.

Мы с Кукушкой страшно гордились своим потенциалом, причём я считал, что у меня далеко не «кое-какой», а несметный потенциал. Так же о себе думал и Кукушка.

Верзила нёс знамя предводителя «новой волны»; его отличали свобода поведения, высказываний. Горячий человек, могучий талант, склонный к гигантомании, он писал полотна с размахом – в несколько метров, где отображал целые эпохи: развитие транспорта от допотопных колымаг до гоночных аппаратов (он питал нежные чувства к машинам и собирал автомобильный юмор: рисунки, анекдоты); или писал развитие человека от дикаря до современного супермена, со всей сопутствующей атрибутикой.

Часто кое-кто из преподавателей в своё отсутствие просил Верзилу побыть в нашей аудитории, и тогда свирепый «знаменосец» надевал шляпу и учинял нам разгром, вдалбливал что к чему. Особенно доставалось «личинкам»:

– Я с вами миндальничать не буду. Чего вы здесь просиживаете штаны?! Живопись не ваше дело! Занимаете чужое место! При царе запрещалось бесталанным заниматься искусством! Для вас есть один воспитательный приём – подзатыльник.

Бросая убийственные слова, Верзила рычал от злости. Ярость и гнев заполняли всю его бегемотообразную голову и вместительное туловище – аудитория гудела

от его ругательств; ошеломлённые, перепуганные «личинки» ёрзали на стульях, сжимались и горбились за мольбертами. Мы с Кукушкой радовались приходу Верзилы, но ещё больше радовались его уходу, ведь нам тоже перепадало:

– И у вас, шустряков, вещички ни к чёрту не годятся! Что за дурацкие напластования?! Не знаете законов ракурса! Фигуры раздутые, дома заваливаются! А руки?! Кто так рисует руки?! Это сардельки какие-то! Художник должен знать анатомию, как врач. Все четырнадцать сочленений кисти! По тому, как художник рисует руки, можно судить о его знаниях! Запомните, профессионализм построен на классических принципах, и профессионализм – это прежде всего жёсткая требовательность к себе.

Его всё приводило в бешенство: и мольберт не так стоит, и краска плохо разведена, и освещение не с той стороны...

Как-то случилось, что однажды Кукушка и я вышли из училища одновременно с Верзилой. Он был в благодушном настроении: вышагивал, выставив перед собой кулак, – воображал в руке знамя «новой волны». В другой руке Верзила нёс шляпу. Мы семенили за ним. Изредка через плечо Верзила кидал нам многозначительные фразы:

– Что главное в человеке?! Присутствие духа, вот что! И сбор информации! И всего необычного. Я, например, собираю автомашины и водопады. В смысле зарисовываю...

Мы прошествовали до набережной Булака, и тут нам с Кукушкой втемяшилось в голову сделать наброски рыбаков; достали альбомы и стали черкать фигуры удильщиков. Верзила ходил вокруг, искоса поглядывая, что мы изображаем. Нас обступили зеваки, уставились на альбомы, и вдруг один зевака спросил:

– И за сколько загоните эти каракули?!

Раздался взрыв смеха. Мы с Кукушкой немного стушевались, но Верзила на всё имел полный комплект ответов.

– Для дурака это каракули, а для умного – произведение искусства, – отреагировал он, надев шляпу и нахмурившись, и тут же его глаза налились кровью:

– Как смеешь такое говорить художникам! Художник видит мир, а ты своё корыто! – он взмахнул кулаком над головой, готовый разметать зевака знаменем «новой волны».

Кстати, Верзила носил шляпу густо-коричневого цвета – цвета тех, кто имеет холодную голову и крепко стоит на ногах.

ЧАЕПИТИЕ С ЯБЛОКАМИ У СТРАШИЛЫ

Младшекурсники делили всех старшекурсников на «валуны» и «мхи». «Валуны» – маститые, исповедующие традиционную манеру, «мхи» – пишущие расплывчато и объясняющие свою живопись в форме назидательного брюзжания. На третьем курсе нас с Кукушкой, «перебесившихся», причислили к «валунам».

На третьем курсе мы стали писать масляными красками. Мудрую живопись – «масло» – вёл горбоносый, хромоногий старикан с затуманенным взглядом и рас-

пухшими пальцами; он носил свисавший набок, изрядно поношенный пиджак, и курил одну за другой папиросы, и если при этом ковылял между мольбертов, непременно носил с собой пепельницу. Мы звали старикана Страшилой.

На первом занятии Страшила объявил:

– Акварель – высочайшая техника, пластическая, нежная культура. Мазки прозрачные, не мазки – дуновение. Похоже, вам не освоить акварель, она для избранных. Для тех, кто чувствует воздушность неба, шелест трав, звон ручья. А масло вам по плечу.

– В масле одна большая проблема, – добавлял он с усмешкой. – Чистая тряпка под рукой, чтоб вытирать кисть. Такой прелюбопытнейший момент!

Для натюрмортов Страшила приносил из дома самовар, старые книги, персидский коврик и прочие «украшательства».

– У меня этого добра полно, – усмехался Страшила. – Я счастливец: у меня отличная жена, дети, внуки и всё такое...

У него был потрясающий вкус: каким-то непонятным образом он так расставлял предметы, что они «играли друг с другом». И в скучных буднях он постоянно искал прекрасное, отбирал, казалось бы, незначительные моменты и так их словесно обыгрывал, заводил нас, что руки сами тянулись к палитре.

– Источник творчества – радость, – внушал нам Страшила. – Как говорил Поленов, «искусство должно давать людям радость и счастье». В самом деле, человек рождён для радости, а не для страданий. Человек хочет веселиться, петь, рисовать... Его душа должна быть свободна, а ваши души стеснены, закованы в панцири. Вся беда в этом. Скиньте панцири, освободите души! У вас обычный набор привязанностей: Пушкин, Толстой, Чайковский, Крамской... Расширьте рамки! Найдите закономерности в природе, а дальше трансформируйте форму как хотите. Если душа свободна, она сама найдёт и темы, и выражение. Это же так понятно!

Во время занятий Страшила подкрадывался сзади и дул в ухо:

– Это всё безрадостно, не драгоценно. Замажь! Пусть всё это таинственно исчезнет. И начинай заново. Радостно!

Как и Верзила, Страшила иногда учинял нам разгром, но делал это спокойным тоном, и его разгромы были с определённой заострённостью на радость. Собственно, это было желание вселить в нас светлый взгляд на жизнь, тягу к прекрасному.

– Как вы пишете?! – отдуваясь, возмущался он. – Ну кто так пишет?! Точно выполняете тупую работу. Не кистью описываете форму, а машете кувалдой! И сидите унылые. Где радость письма?! Когда чрезмерно стараешься, от напряжения и волнения скован, и получается плохо... Мы в своё время писали как? Выпьешь чая с ликёром и бросаешься на палитру. А там! Все краски играют. И давайте договоримся – без обид на мои слова. Талантливому можно сказать о его работе плохое, неталантливому нельзя – слабо верится, что он сделает лучше.

Страшила дружил с Кондратом Евдокимовичем Максимовым, замечательным пейзажистом (вторым Шишкиным), – называл его «просветлённым человеком», «радостным мастером» и часто приводил друга в училище.

– Сколько прекрасных талантливых лиц! – восклицал «радостный мастер», переступая порог класса и разглядывая наши физиономии. – Лицо создателя всегда прекрасно, а разрушителя соответственно отвратительно. И заметьте: красивых людей крайне редко посещают чёрные мысли. Если и посещают, они их тут же гонят прочь и потому не делают зла... Зло делают ущербные люди.

Рассматривая наши работы, мастер то и дело сыпал безмерную похвалу, а касательно нашего будущего говорил:

– Перед вами два пути: один уже проложенный, другой – неизвестный. Пойдёте по первому – станете хорошими мастерами, но, как говорят на Востоке, – «на проторённой тропе не остаётся следов». Изберёте свой путь – набьёте на лбу шишек, ведь придётся продирааться сквозь дебри, зато оставите свой след. Выбирайте! – Кондрат Евдокимович смеялся, довольный предельно ясным объяснением.

Покидая нас, он обрушивал на Страшила негодование за «нескладные поступки», за то, что «пилит молодые таланты», при этом подмигивал нам:

– Ругаться с другом необходимо. В ссоре, бывает, приходят ценные мысли. Считанные разы, но приходят. Только надо первому замолчать, чтобы другу было стыдно, что он наговорил больше. Ведь известно: выходя из себя, ты уже проигрываешь.

Однажды Страшила заболел, и мы с Кукушкой навестили его. Оказалось, он жил одиноко; в холостяцкой комнате витали запахи вина и табака, и в этой тяжёлой атмосфере в горшках произрастали гигантские растения до потолка, повсюду валялись старинные книги, но не было ни картин, ни художественных принадлежностей.

– Такой ляпсус! Всё осталось у жены, когда мы развелись, – как бы извиняясь, пояснил Страшила. – у меня остался один художественный беспорядок, да где-то затерялось несколько моих детских рисунков... Почему человек вспоминает детство? Понятно, это связь времён, чтобы мы не забывали – нам на земле отпущен короткий отрезок. Детская память святая... Кстати, насчёт детей и внуков я придумал... Для всех я один, на самом деле другой, а хотел быть третьим – певцом. Да, не удивляйтесь. В молодости серьёзно занимался вокалом. А теперь мужественно встречаю старость. – Страшила усмехнулся и пропел что-то из классики.

Вот таким он оказался, этот романтик и скептик, дьявол и ангел одновременно.

Страшила угостил нас чаем с яблоками: тщательно нарезал яблоки в стаканы, подкрасил их заваркой и залил крутым кипятком. Прихлёбывая чай, покуривая папиросу и шмыгая длинным носом, он прочитал нам отличную лекцию.

– Кроме свободной души, о которой я вам твержу, важно сохранить индивидуальность, – тихо бурчал он. – Не смешиваться с толпой, оставаться личностью. И верить только в себя, а не в каких-то там идолов. Пусть хоть это и Бог. Религиозный человек несвободен: штудирует догмы, Библию, всё думает, как бы не согрешить, думает о смерти, на него давит будущее наказание в аду. Религиозный человек ничтожен перед Богом, его раб. А раб может свободно творить? Бог внутри нас, это же понятней всего.

У мэтра Дульского на чердаке училища была мастерская, куда мы время от времени заглядывали и разинув рот «впитывали высокое искусство, хресто-

матийные творения». Матрёшка Ксения Борисовна частенько приносила свои акварели в училище как «наглядное пособие». От её акварели мы испытывали лёгкую грусть. Работ Страшилы никто никогда не видел, но мы считали его лучшим преподавателем. Он, несомненно, много знал, был сильнее и терпеливее всех учителей и, главное, дал нам больше всех. Одно радостное отношение к творчеству чего стоит! Оказалось, можно не быть художником, но так сильно чувствовать искусство и так его знать, что делать художниками других. И наоборот. Тому свидетельство – Верзила. «Знаменосец», предводитель «новой волны» только вредил нам своими горячими «наездами». И неслучайно любимым цветом Страшилы был зелёный и его производные, что символизирует природу, жизнелюбие, естество, уверенность.

ЧЕРДАКИ И ПОДВАЛЫ

В Москве я выглядел неприкаянным дремучим провинциалом; ходил по улицам и смотрел на всё разинув рот. Поражало шумное многолюдье, просторные станции метро, фонтаны в скверах, музеи, мосты, художественные выставки. Я догадывался, что в столице много художников, но не думал, что их – пруд пруди; были даже целые дома, где жили одни художники. Многоэтажные дома, полные художников!

Конкурс в Институте кинематографии, куда я поступал, демобилизовавшись из армии, был пятнадцать человек на место. Экзамены на режиссёрский факультет я сдал вполне прилично, набрал проходные баллы, но этого оказалось недостаточно. Зачислили имеющих направления от республик и «позвоночников» – сыновей известных деятелей кино, которые шли «по звонку». «Диких», вроде меня, не приняли ни одного. Понятно, это вызвало бурное возмущение – в вестибюле, где оглашались списки, поднялся огненный шторм.

Потерпев чувствительное поражение в институте, я некоторое время ощущал себя на корабле, который нёсся на скалы. Перед глазами то и дело появлялся разъезд Аметьево, маленький посёлок, мои родные, пёс Челкаш, пригорок, где я делал первые зарисовки натуры.

В конце концов я взял себя в руки и подумал: «Ничего, не тупиковая ситуация, просто неудачно стартовал, не пропаду, как-нибудь пробьюсь».

Сняв комнату за городом, я несколько месяцев мыкался в поисках оформительской работы, но все места были заняты; пришлось устроиться грузчиком на железнодорожный склад: таскал ящики с подшипниками, сухую штукатурку, сетку-рабицу.

Вскоре я освоил профессию почтового агента, затем – фотографа, а через полгода, закончив курсы шофёров, стал водить пикап. Живописью почти не занимался, зато за два-три года сполна обогатил своё «творческое пространство» сильнейшими впечатлениями, особенно когда «шофёрил»: у меня появилось безграничное зрение – жизнь всего города как на ладони. Но главное, у меня появилось немало знакомых, в том числе и среди художников.

Надо сказать, в то время в Москве процветало оптимистичное искусство, отражающее трудовой энтузиазм. Музыка бодрила, звала и уводила, в стихах всё

ширилось, росло и цвело, картины выставлялись помпезные, лакировочные, где все были счастливыми. Но, как известно, в жизни идёт вечное противоборство добра и зла. Можно избегать негативных эмоций, делать вид, что зла нет, но от этого оно не исчезнет. Оно есть, и немалое (оно нагло заявляет о себе, в отличие от добра, которое обычно неприметно). И настоящий художник не может его не видеть. А поскольку искусство (по моему убеждению) – это стремление к идеалам, настоящий художник делает всё, чтобы в жизни было как можно меньше зла. Показывая мрачные стороны жизни, он как бы выражает свой протест.

Среди моих новых знакомых были такие художники. Целое созвездие талантов. Они обитали на чердаках и в подвалах, одевались во что придётся, не вылезали из долгов, но, несмотря ни на что, упорно отстаивали свой путь в творчестве. Познакомившись с ними, я почувствовал – моя морская душа попала на остров сокровищ. Теперь многие из этих художников известные, осыпанные похвалой мастера, и я горжусь давнишней дружбой с ними. В их чердаках и подвалах я закончил целую Академию художеств.



На чердаке Игоря Снегура кипели нешуточные страсти.

– Художник, поэт живёт в вертикальном срезе жизни: в прошлом, настоящем и будущем! – вещал азартный хозяин мастерской. – Для художника время спрессовано в коротком отрезке.

– Нет! – возражал «подвальщик» Валентин Коновалов, долговязый, внешне похожий на Дон Кихота (и с его же благородными мыслями в голове). – Художник, поэт живёт в пространстве между небом и землёй, между реальностью и воображением, интуицией и фактом. А ты пленник своего ограниченного метода.

– Не знаю, где вы живёте, а я живу в обычной коммуналке, – встревал в спор толстяк с острым прищуром Николай Воробьёв и смеялся так, что тряслись щёки.

Живописец, прекрасно владеющий цветом, знаток Пушкина, собиратель икон, Воробьёв крепко врос в землю, глубоко пустил корни.

– Они, мои дружки, только хотят взлететь, а я раз! – и привяжу к их ногам гири, чтобы не отрывались от земли, – объяснил мне Воробьёв наедине. – Для меня искусство – та же реальность, но немного смещённая для большей выразительности.

Этих художников связывала вьедливая симпатия. В некотором роде они были чудаками. Снегур писал всё некрасивое: подрезанные деревья, поломанную технику.

Коновалов писал абстрактные картины с щадящей деформацией предметов и сюрреалистические картины, где реальные вещи находились в нереальной обстановке.

На картинах Воробьёва была полная гармония окружающего мира: рыбаки, отдыхающие на берегу, мать над колыбелью ребёнка, деревни в снегу. Воробьёв имел свою цветовую гамму: лимонно-белую, малиново-синюю, сине-фиолетовую; во время работы он разговаривал с картиной, посмеивался.

– Сейчас в работах модна всякая истерия, – говорил он. – Но злая мысль несёт злую энергетику, которая ударяет по людям. А возьмите мастеров Возрождения! Их картины светятся, обладают чудодейственными свойствами – излучают добро. Люди смотрят на них и заражаются радостью. Ко всему, – смеясь, добавлял Воробьёв, – художники доброго настроения живут дольше, а те, кто полыхают, имеют разрушительный настрой, – быстро погибают.

Воробьёв выращивал на балконе маки; цветение было обильным – этакий благоухающий, пылающий разноцветьем балкон.

Они были счастливыми; жили в вертикальном срезе, между небом и землёй, в коммуналке; жили полноценной жизнью и занимались любимым делом, а я работал только для того, чтобы платить за комнату и ходить в столовую. Моё золотое время бесцельно утекало, как песок в песочных часах. На живопись у меня не оставалось времени.

– Что ж так мало машешь кистью? – спросил меня как-то Снегур, который в то время с невероятной экспрессией писал «бутылочную» серию натюрмортов, с каждой работой наращивая сюжетный накал, а за городом строил дачу из стеклотары (цементировал бутылки и банки), стены получались светлые и хорошо держали тепло.

– Что ж так мало работаешь? – повторил Снегур, который всегда придирчиво меня критиковал за любой промах, а мои наброски разбирал так, что от них летели пух и перья, правда, добавлял:

– Впрочем, как говорится, твоя селёдка, ты и крась.

– Вот займею свой угол, тогда и засяду, – отвечал я Снегуру.

– Ну ты даёшь! Вот тогда ничего и не сделаешь, если сейчас не делаешь. Кувыркайся как хочешь, но работай. У одних общество виновато, у других семья! Работать надо в любых условиях. Во время трудностей даже лучше работается. Обостряются чувства, появляется хорошая творческая злость. Неудачи закаляют. А в благополучии расслабляешься. Здесь уже нужна самодисциплина.

Снегур стал моим ключевым другом; он служил в морфлоте, и я не только завидовал ему, но и верил каждому его слову (я всё ещё не видел моря, но уже носил тельняшку и знал дюжину морских песен). Он всех художников делил на четыре типа: изобразители, воплотители, имитаторы и импровизаторы; себя причислял к редкому пятому типу – открывателей. «Открыватель» подхлестнул моё самолюбие, и, несмотря на усталость после работы, я стал яростно писать «башмачную» серию. В то время я был знатоком в этой области, поскольку постоянно подбивал свои худые ботинки и всё мечтал занять новенькие полуботинки. Известное дело – голодный лучше сытого опишет стол с яствами, потому и я, под напором невзгод, «Башмаки» написал довольно удачно. Начиналась серия с мастерской сапожника, заканчивалась универмагом, где была обувь на любой вкус.

– Талантливый выдаёт сотни картин в год, – говорил один из немногих процветающих «чердачников» Борис Алимов. – И надо часто выставляться. Художнику нужен отклик на свою работу.

– Выставляться надо как можно позднее, уже став мастером, чтоб не было стыдно за свои первые упражнения, – мягко реагировал график Андрей Голицын.

Андрей Голицын и братья Алимовы (Борис и Сергей) работали в разных жанрах и в каждом добивались недюжинных успехов. Бесспорно, они были незаурядными людьми, вот только с годами забронзовели – чрезмерно гордились обширными знаниями и «голубой» кровью и тем самым частенько ставили друзей с «обычной» кровью в неловкое положение.

Не в пример этим героям, брат Андрея Голицына – Илларион (блестящий акварелист, ценитель поэта Заболоцкого) – никогда даже не заикался о своём благородном происхождении и вообще слыл одним из самых компанейских художников. И одним из самых колоритных – высокий красавец с густой шевелюрой и густым баритоном, тяжеловес и мастер «легчайшей» живописи одновременно.

Бунтарь Анатолий Зверев был предельно раскован – рисовал с какой-то хулиганской лёгкостью; мне даже казалось – на его картинах какой-то разброд, неряшливый ребус из линий, кружков и точек.

– Не люблю безупречный порядок, стройность, – объяснял мне Зверев. – Не терплю всякую корректность – это сковывает. Естественность, наоборот, раскрепощает, даёт свободу, – Зверев хлопал меня по плечу. – Вообще задача художника – поддержать человека, а судить его будет Бог. Кстати, присядь-ка, напишу твой портрет. Ты похож на волка, знаешь?

Делая набросок карандашом (в технике «черканий»), Зверев меня просвещал:

– Все люди похожи на зверей или растения. Снегур – на суслика, Коновалов – на пантеру, Воробьёв – на корову, я – на кактус. Это перевоплощение душ. Мы когда-то

были животными и растениями, их души переселились в нас. А после смерти мы превратимся в других животных или растений. У меня, кстати, нет страха перед смертью. Душа это сгусток энергии, она живёт миллионы лет. Но иногда душа покидает человека, и тогда он становится неприкаянным... Как думаешь, кем будешь после смерти?

Мне было двадцать два года, я только начинал жить и об этом не задумывался, но всё же выдавил:

– Хотелось бы стать дубом, чтобы крепко стоять на земле.

– Станешь! – черкая, хмыкнул мой приятель. – В тебе есть дубоватость. Ты дубоватый волк, судя по твоим провинциальным замашкам. Кстати, на кого человек похож, такой цвет и любит. Я люблю зелёный; ты – наверняка серый, кто похож на тигра – оранжевый.

Зверев делал наброски на всём, что было под рукой: на картонках, салфетках; и картины писал особенно не заботясь о качестве материала, и все свои «бунтарские» произведения раздавал за бесценок (часто за стакан вина). Кто бы мог подумать, что после его смерти они будут стоить бешеных денег!

Зверев привёз меня в посёлок Долгопрудный – «отдельный замкнутый мир», где проживали его знакомые, «большие и малые чудачки»: поэты и художники; где читались «опасные» стихи и выставлялись «вредные» картины. Позднее я понял, что среди «опасного и вредного» было полно беспомощного и показушного, ведь настоящему искусству всегда сопутствует шарлатанство, но тогда возлагал немалые надежды на Долгопрудный, в смысле пополнения багажа своих скудных знаний. И не напрасно – общаясь с «чудачками», кое-чего набрался и несколько возместил потери в образовании, ну и, само собой, обзавёлся новыми знакомыми (они мне были нужны позарез – я плоховато переносил одиночество).

Величайший ум посёлка Владимир Пятницкий, сдержанный, даже суровый, в разговоре выдавал бессмертные изречения:

– Талант – не заслуга человека, талант – от Бога, и огромный грех не делать то, что обязан сделать, при этом следует отходить от штампов и экономно тратить отпущенное время...

Пятницкий отходил от штампов на огромное расстояние: делал на холстах фактуру из опилок и стружек, разбрызгивал краску из пульверизатора, при этом не скрывал наплевательского отношения к зрителям. Он работал по «ускоренной программе», спешил «выговориться», словно предчувствовал короткую жизнь (он употреблял наркотики, и в конце концов они погубили его).

Обитала в Долгопрудном и Наташа Доброхотова, маленькая художница, носившая дешёвые платья с элегантно небрежностью. При гостях она, несколько театралью, играла в игрушки своей дочери, но писала картины со зрелым мастерством и высказывала умные мысли:

– Каждый живёт на небольшом пространстве, и ничто не мешает сделать своё пространство гармоничным и светлым. И жить православно, помогать ближним.

В нашем Отечестве всегда было много художников, которые выжимали максимум из своего положения, правдиво показывали нелёгкую жизнь людей, и в этом смысле их картины несли нравственную идею. В то время как на Западе,

в обеспеченной, благополучной жизни, живопись являлась всего лишь дополнением к комфорту. У нас покупают картины, которые нравятся, у них – то, что модно, престижно. В массе, конечно, не все.

«РУСАЛКА» И МЕДУЗА

В Институт океанографии я устроился по объявлению: «Требуется чертёжник-художник». В мою задачу входило чертить графики о добыче китообразных и крабовидных, рисовать этикетки для консервных банок. Но вскоре я познакомился с художником-анималистом Николаем Кондаковым и его женой Ольгой Хлудовой, первой аквалангисткой в стране. Эта супружеская чета под водой специальными красками умудрялась зарисовывать морских обитателей. Кондаков и Хлудова сосватали меня в издательство «Энциклопедия», и параллельно с основной работой я стал рисовать всевозможных рыб: от озёрных карасей до речных осетровых, благородных представителей подводного мира. Это было несложно – я просто делал копии экспонатов, которые находились на этажах института. Когда я преуспел в изображении озёрных и речных обитателей, в «Энциклопедии» мне доверили морские пучины, а позднее и океанские. Моя пламенная мечта – стать матросом и бороздить океанские просторы – приблизилась до осязаемого расстояния (экипировку я уже пополнил бескозыркой и штормовкой); оставалось только взойти на «Витязь» – научное судно института, но для этого требовалось вначале поплавать два года на внутренних морях (для проверки – а вдруг сбежишь в заграничном порту!).

Пиком моей деятельности в области «пучин» стало гигантское панно в вестибюле института, которое я по просьбе директора «освежал» – делал более яркими кашалотов, дельфинов, осьминогов.

В лаборатории «земноводных» работала девушка русалочьего типа: глаза зелёные, волосы распущенные, платье крупной вязки, словно чешуя, только вместо хвоста – отличные длинные ноги, на которых она не ходила по институту, а прямо-таки плавала, раскачиваясь и извиваясь, и при этом направо и налево расточала улыбки. Мы с ней сразу стали приятелями, для большего она мне казалась чрезмерно изнеженной, а я для неё был «неотёсанным дровосеком». Она так и говорила:

– Для меня ты только дровосек и больше ничего (в то время я пользовался успехом только у парикмахерш и продавщиц галантерейных магазинов).

Тем не менее у нас с «Русалкой» сразу сложились приятельские отношения, потому что мы оба были «загородниками», а, как известно, местность объединяет людей и даже делает их в чём-то похожими – не только в одежде, но и в образе мыслей.

Однажды в коридоре института, лавируя меж аквариумов, «Русалка» «подплыла» ко мне и, улыбаясь, пролепетала:

– А ты не мог бы подарить мне золотую рыбку?

– Пожалуйста! – говорю. – Через час будет тебе золотая рыбка.

В результате доблестных усилий я нарисовал золотую рыбку (для большего впечатления – с короной на голове).

– Ты не так меня понял, – улыбнулась «Русалка», принимая рисунок. – Я хотела, чтобы кто-нибудь подарил мне квартиру в Москве. Я ведь живу с родителями, и мы уже не выносим друг друга.

– Кто бы мне подарил, – обескураженно усмехнулся я. – Сам скитаюсь, снимаю комнату за городом.

Но на следующий день по пути на работу я увидел объявление: «Сдаётся квартира».

– Ты не так меня понял, – поджала губы «Русалка», когда я сообщил об объявлении. – Мне нужен подарок... В ваш отдел заходят зарубежные ихтиологи, а в нашу лабораторию никто не заходит. Познакомь меня с кем-нибудь из «фирмачей». Мне ужасно нужна отдельная квартира и... желательно машина...

Моя рука оказалась лёгкой: через неделю, когда у нас появились канадцы, самого молодого из них я как бы случайно завёл в лабораторию «земноводных». Сам собой, он сразу влюбился в «Русалку», а через неделю она с ликующим видом объявила мне:

– Поздравь меня! Выхожу замуж за канадца. Люблю его и буду любить даже под водой. Уезжаю в Торонто. О тебе не забуду. Теперь за мной золотая рыбка.

Из Канады она прислала письмо, где сообщала о своём невыносимом счастье. В письме была фотография: она выходит из «кадиллака» длиной с квартал на фоне особняка с бассейном – стало ясно, «Русалка» не зря переплыла океан. Обо мне она не забыла: конверт украшала марка – золотая рыбка с длиннющим хвостом.

По стечению обстоятельств вскоре в Канаде побывали Кондаков с Хлудовой. Они сообщили, что встретили «Русалку», – она работала в институте, аналогичном нашему, но... уборщицей. Правда, уныния на её лице супруги не заметили; больше того – она сказала, что «готова голодать, но жить в цивилизованной стране, а не среди помоек».

А в лаборатории «ластоногих» работала полная, не очень молодая, но, как девочка, восторженная женщина. Сотрудники меж собой звали толстушку беззлобно Медузой, имея в виду её внешность, но никак не поведение и характер – именно поэтому многие, произнося «Медуза», добавляли: «с острова вулканического происхождения». Медуза жила с дочерью-инвалидом в коммунальной квартире, но никогда ни на что не жаловалась, и никто не видел её мрачной. Наоборот, все замечали её приветливость.

Ко всему, у Медузы был ещё один талант: она делала отличные шаржи на сотрудников института; они красовались в вестибюле под «моим» панно, и эта маленькая экспозиция притягивала к себе больше, чем гигантское панно, которое всё же подавляло зрителей многочисленными плавающими тушами. Кстати, когда я «освежал» панно, не кто иной, как Медуза, консультировала меня и даже взбиралась на стремянку, подавая мне краски.

Однажды институт посетила делегация японских учёных, и, пока шла беседа, Медуза сделала шаржи на представителей Страны восходящего солнца.

Японцам так понравились рисунки, что позднее в дар институту они прислали капроновые сети, а лично Медузе – медаль и почётный диплом от своего общества шаржистов.

С КИСТЬЮ ХОЖУ ПО ОБЛАКАМ

Николай Эпов был знаменит тем, что в его квартире росло единственное в Москве персиковое дерево. В те далёкие дни Эпов только что оформил спектакль «Маленькие трагедии», и был для меня почти что мифическим героем. Я страшно гордился дружбой с ним и каждому встречному раздувал его славу. И мечтал стать таким, как он, очутиться в театральном мире, но этот мир был для меня недостижим. И вдруг после премьеры «Трагедий», когда мы отмечали у Эпова столь важное событие, виновник торжества спокойно сказал мне:

– В театре Вахтангова есть место бутафора. Чтобы тебе жилось приятней, пойдёшь?

Моя мечта (работать в театре) сразу приобрела реальные очертания. Я ухватился за случай и круто изменил свою жизнь.

Я вошёл в театр как в храм, а когда очутился в бутафорском цехе, вообще потерял дар речи. Прямо надо мной, привязанные к потолку, висели пальмы, драконы, облака, луна и солнце. Пахло клеем и свежей стружкой, из-за стола, обитого оцинкованным железом, выглядывал маленький очкарик, с лицом в сетке морщин, красноносый, с огромными оттопыренными ушами.

Очкарика звали Иван Тимофеевич Белозёров. Он двигался медленно, как ленивец, говорил вяло, растянуто, но слыл бутафором высочайшего класса. Он не выпускал из рук инструмента; работал слесарем и столяром, электриком и художником – он мог сделать всё. Простую бумагу Тимофеич превращал в яркие, сочные фрукты и тончайший китайский фарфор; проволоку и фольгу – в золотые подсвечники и люстры, стекляшки – в драгоценные бриллианты.

Зрители видели его творения: на сцене стреляли пушки, открывались ворота замков, у лошади-муляжа зажигались глаза, в лучах света проплывал парусник. Зрители видели всё это, но мастера не видели никогда, для них он оставался невидимкой в театре, а мне посчастливилось с ним работать целый год.

С великой простотой Тимофеич научил меня разводить клейстер, обмазывать мешковину, наклеивать её на «станки» (сосновые бруски и фанеру) – создавать «луга» и «деревья». Затем объяснил, как делать из картона чайные сервизы, а из бумаги деньги.

– Всё должно быть как настоящее, – тихо говорил мастер. – Иначе актёр не войдёт в роль. Да и надо держать марку фирмы. Не зря же у нас заказы из всех театров.

У Тимофеича было сильно развито чувство достоинства, но не настолько сильно, чтобы перейти в самодовольство; в общении с людьми он держался спокойно и просто. Наблюдая за ним, я размышлял: «Каким же надо быть уверенным в себе, чтобы так просто держаться! А всякие полыхания, самоутверждения – от неуверенности в себе».

В те годы я «находился в затруднительном материальном положении», как выражался Тимофеич, и особенно старательно расписывал деньги. А их требовалось много – в одном из спектаклей герой рвал их и швырял алчной героине со словами:

– Ты недостойна меня, потому что слишком любишь деньги! А деньги – это всего лишь бумажки!

Насчёт наших фальшивых купюр он был абсолютно прав, а настоящие, к сожалению, далеко не бумажки. Например, разными денежными премиями поощряют искусство, хотя каждому художнику ясно: его картины стоят больше всяких денег, ведь в них – частица его сердца. Так вот этих проклятых денег я наделал целый миллион, не меньше. Как-то во сне даже пустил эти деньги в дело и мне грозила тюрьма; к счастью, я вовремя проснулся.

Через год главный художник театра Сергей Николаевич Ахвледиани, заметив, что я знаю толк в краске, пригласил меня работать декоратором. В мои обязанности входило расписывать клеевыми красками бутафорские стены, колонны, балконы. Высыхая, клеевые краски светлеют, и составить колер для эскизного пробного мазка – довольно сложная штука; ко всему, недоложишь в краску клея – актёр может испачкаться, а переложить – краска потрескается и осыплется. Здесь надо чутьё. Я быстро усвоил всю эту премудрость и стал неплохим исполнителем.

Ещё мне вменялось освежать задники – занавесы из тюля, на фоне которых происходит сценическое действие. Декоративная мастерская была огромной – с теннисный корт, и на её полу помещался весь задник. С кистью-дилижансом и ведром краски я ходил по лесам, морям и облакам, подмазывал деревья, волны, замки, закаты и рассветы и чувствовал себя властелином всей земли. Это была завораживающая ситуация.

– Как дела в театре? – спрашивала моя приятельница художник Лена Гордеева, которая делала камеи из раковин.

– С кистью хожу по облакам, – отвечал я с вызывающим оттенком в голосе.

– Я сгораю от зависти, – вздыхала Гордеева с дурманящим взглядом. – Твоя работа, как золотой дождь. В ней очарование простоты.

Гордеева отличалась недооценкой собственных изделий (даже небрежным отношением к ним) и благоговейным отношением к дождям (в дождь босиком выходила на прогулку и, как девчонка, не пропускала ни одной лужи).

– Лёгкий морозящий дождь лучше всего, – говорила Гордеева. – Под него хорошо работается... Сильный затяжной дождь наводит на раздумья. В нудный хорошо пить вино и предаваться любви, упасть в любовь. Но не в чересчур сильную – она опасна...

Насчёт вина и любви я был с ней полностью согласен, хотя никакой любви у меня не было, в этом вопросе я был полный профан. К сожалению. Но, к счастью, вскоре наверстал упущенное.

Незнакомым людям Гордеева дарила визитку: «У меня нет квартиры, нет телефона, нет работы, нет любви, но я счастлива».

Однажды в дождь Гордеева вошла в мастерскую, мокрая, босая, распахнула окно, впуская в помещение плещущий шум и запах сырости; устало опустилась на стул, откинулась и, стряхивая с лица капли, жалобно заскулила:

– Ничего у меня, неумехи, не получается. Для художника у меня мелковатый, никчёмный дух. Я как треснутая чашка. Не знаю, что делать: или красиво уйти из искусства, или тихо остаться?

Я попытался её взбодрить и только разошёлся в красноречии, как она исчезла, точно её смыли дождевые потоки.

Что в театрах замечательно, так это приподнятая атмосфера перед премьерой. Ею заражаются все: от осветителей до ведущих артистов, и в этом всеобщем ожидании настоящая семейность.

Все работники в театрах – мастера-виртуозы. Столяры – бывшие краснодеревщики; работницы пошивочного цеха – рукодельницы с великолепным вкусом. Надо видеть, с какой выдумкой столяры изготавливают мебель ампиричного стиля, как добросовестно швеи конструируют костюмы, а осветители – мастера по свету – могут так осветить теннисный мяч, что его примешь за яблоко. И как придирчиво эти мастера осматривают свои произведения во время прогона «для пап и мам» – пробного спектакля для своих родственников, самых придирчивых зрителей. Но главное, эти мастера работают за мизерные оклады. Вот у кого надо учиться любви к своему ремеслу!

После премьеры в фойе накрывали столы с бутербродами и пирожными. В сервировке столов самое жгучее участие принимали пожарные – главные люди театра. До этого вечно ходили насупившись и сурово ворчали:

– Тюль плохо промазан пропиткой, может вспыхнуть! В перьях танцевать нельзя! Белый софит убрать, слишком палит! Фурки не выдвигать: скры!

Но в день премьеры «огнеборцы» оживали, в предвкушении застолья становились улыбчивыми, ходили вокруг столов, переставляли стулья и всё потирали руки, подмигивали друг другу. Ну а за столы рассаживались кто где хотел, без всякой субординации. Рабочий сцены мог запросто, бок о бок, восседать с народным артистом. Я, например, не раз чуть ли не в обнимку сидел с Астанговым, Ульяновым, Яковлевым, так что вроде примкнул к их славе.

ЖИЗНЕЛЮБЫ

Театры между собой связаны и часто обмениваются спектаклями. Наш театр по средам давал представления в театре Моссовета, а тот, в свою очередь, у нас. Это называлось «дружить коллективами». Я должен был присутствовать на выездах – вдруг рабочие сцены нечаянно порвут какую-нибудь декорацию и потребуются срочный подмалёвок. Как правило, такое не случалось: я же говорю – в театрах работают знатоки своего дела. В театре Моссовета у меня появились новые знакомые, театральные художники, – жизнелюбы, народ всезнающий, а уж спорщики – похлеще живописцев-станковистов и графиков.

– Театр – это потрясающе! – восклицал декоратор Александр Великанов. – Видят небеса, прямо на глазах рождается образ. Это не кино, где десяток дублей, всё подрезано, заретушировано. В театре всё необратимо: каждый жест, каждая реплика.

– В театре всё фальшиво, – возражала художник по костюмам Наташа Кудашова; взбалмошная, с резкими скачками настроения, она могла в одну минуту перестроить любую компанию. – Всё фальшиво! Я не верю, что раскрашенная фанера – дома, полосы картона – деревья, свисающая марля – листва. И актёры не говорят, а произносят. Мне интересно делать только костюмы. Костюм – это настоящее произведение.

– Особенно костюмы прошлого века, – поддерживала подругу Светлана Инокова. – Как говорила мадам Шанель – «Модно то, что не модно». В костюмах прошлого века столько выдумки! Все эти оборки, рюши, жабо, струящиеся юбки подчёркивают индивидуальность женщины, придают ей таинственность. Не то, что теперь, – всё на виду, никакой тайны.

– Как вы не понимаете, в театре всё условно! – кипятился постановщик Леонид Андреев. – В Древнем Риме на сцене вообще ставили доски с надписями: «дом», «лес»... Но, ясное дело, художник в театре не главная фигура.

– Ну ты и завернул! – вскрикивал Великанов, вскрикивал яростно, словно проглотил пламя. – Видят небеса, я придумываю не только оформление спектакля, костюмы, я создаю всю атмосферу...

Великанов называл себя удачливым в работе и неудачником в житейском плане. Действительно, в его мастерской не раз случалось возгорание электропроводки (к счастью, ничего не сгорело), дважды на него нападали грабители, у машины, которую он купил позднее, однажды отказали тормоза... Но несмотря на эти грозные явления, я считал Великанова счастливецом во всём: мало того что он работал по призванию, он жил в большой ухоженной квартире с мебелью из старого тёмно-вишнёвого дерева, окантованного медью, имел красавицу жену и умницу дочь, которые его, главу семьи, обнимали и целовали по двадцать раз в день.

По словам Кудашовой, вокруг неё постоянно находились души умерших родственников и друзей, которые не давали ей покоя; этим она объясняла и свою взбалмошность, и костюмы-призраки. Мнительная Кудашова часто жаловалась на болезни, таскала в сумке кучу таблеток и пузырьков. В моей судьбе Кудашова принимала горячее участие. При встрече тихо ахала:

– Ты чем болен?

– Да вроде ничем, – пожимал я плечами.

– Нет, говори, чем болен? Я имею в виду не только болезни, но и мысли там всякие.

Я только вздыхал – мыслей было полно, но все, как правило, вполне здоровые, некоторые даже слишком.

– Вот возьми! – Кудашова протягивала пузырёк с розовым сиропом. – Настойка по индийскому рецепту. Тебе поможет. И учти, я это даю не кому попало, ты понял?

Чтобы не обижать «знахарку», я с благодарностью принимал пузырёк. Со временем у меня скопился целый ящик её пузырьков, порошков, таблеток. Я ни разу ими не пользовался, но на вопросы Кудашовой «Помогли ли?» непременно отвечал:

– Ещё как!

Инокова свою комнату превратила в зверинец, где обитало много всякой живности: от рептилий до роскошного павлина. Художники-анималисты часто заглядывали к Иноковой, делали наброски её подопечных. Инокова собирала ключи;

у неё была потрясающая коллекция ключей: от примитивных для почтового ящика до ампирных, сложной, витиеватой конфигурации. Каждому новому гостю Инокова подносила связку ключей и просила показать, какой больше всего нравится; и по выбранному ключу безошибочно определяла характер и наклонности человека. Другими словами, посредством такого теста гость сам подбирал ключ к своему сердцу.

– Вообще-то, я и без ключей во всём разбираюсь, у меня чутьё на людей, – призналась мне однажды Инокова. – Тебя, например, я сразу вычислила. Ты пропащий человек и, если не бросишь курить и выпивать, закончишь жизнь под забором.

Говоря о театральных художниках, нельзя не перечислить ещё нескольких. Художник-кукольник Олег Мосаинов работал в театре Образцова и собирал изделия из стекла, старинные часы и шкатулки; покупал их на барахолке и в комиссионках часто поломанными и оживлял благодаря золотым рукам и технической смекалке.

Комнату Мосаинова украшал стеклянный зверинец: видеоизменённый мир, отражённый в стекле, а также стеклянные часы-кукушка, часы-кошка, часы-сова и часы с садом: каждый час, когда начинался бой, в саду шевелились стеклянные листья, порхали птицы и лил водопад – иллюзию падающей воды создавал крутящийся плексиглас.

– Стекло – самый изящный материал, – говорил Мосаинов. – Ко всему, если прислушаться, эти игрушки издают звуки. Вообще все предметы вокруг нас из-



дают звуки. Мы многое не слышим, но живём в мире музыки; она постоянно в воздухе.

С того дня по вечерам я стал прислушиваться к вещам в своей комнатухе, и действительно каким-то странным образом они звучали – все на морской лад: звуки напоминали плеск волн, свист ветра, скрип оснастки судна. Эти звуки теребили мою морскую душу, вселяли в меня жгучую страсть к странствиям.

Художник Александр Тарасов делал декорации к кукольным спектаклям, а для себя писал картины-фантазии: города, в которых не бывал, людей, с которыми не встречался. Он рисовал жизнь, какой она может быть, если убрать из неё зло. Но известно, такая жизнь – всего лишь прекрасная мечта, ведь зло и добро уравновешивают друг друга.

– У нас замечательные люди, – заявлял Тарасов. – Мы живём среди бравады и невежества, но сохранили чистые души. За это наш народ достоин всех премий мира.

Временами, для приработка, Тарасов оформлял стенды выставок.

– Невероятно интересно окунуться в новую стихию, – говорил он. – Свежий взгляд на привычные вещи рождает новые идеи. Взять цирк. Десятилетиями арену использовали в одном качестве, но пришли новые художники и устроили водную феерию. А когда работаешь только в одной области, начинаешь повторяться, используешь одни и те же приёмы – получается некая безразмерная одежда, которая подходит всем. Надо чаще менять работу и вообще образ жизни, тогда в каждом дне будет интерес.

Я перечислил целую галерею художников, сделал их словесные наброски. Под конец скажу – каждый из них носил высокое звание – Мастер, а чудачества и хобби только придавали им дополнительную притягательность.

НЕ ПЕЧАЛЬСЯ!

К массовым сценам в театре привлекались студенты театрального училища, а иногда и работники театра. В одном детском спектакле по сцене пробежал актёр в шкуре тигра, в него стрелял охотник, и «тигр» падал в оркестровую яму, куда рабочие предварительно стелили маты. Тигра изображал кто-нибудь из студентов.

Однажды по какой-то причине студенты не явились, и помощник режиссёра, строгая женщина с холодным взглядом, вызвала меня.

– Надевай шкуру, пробежишь по сцене, когда я дам отмашку! И разозлись – тогда получится!

– Проще простого, – хмыкнул я, давая понять, что мне по плечу и более сложная роль, ведь уже сто раз «освежал» декорации на сцене и никогда не испытывал страха перед огромным залом, правда, пустым.

В нужный момент костюмерши помогли мне влезть в шкуру, я встал в кулисах, дьявольски «разозлился» и, отогнув занавес, заглянул в зал. И вдруг увидел, что привычный зал расширился – стал каким-то необозримым пространством, и весь забит мальчишками, девчонками и взрослыми – я прямо-таки кожей

почувствовал дыхание сотен зрителей. Меня охватила нешуточная дрожь, которую я никак не мог унять, хотя и бил себя кулаком по всем местам.

Как только помреж дала отмашку, я вышел на сцену, но от слабости в ногах тут же шлёпнулся, а поднявшись, ослеп от прожекторов, потерял ориентацию и побежал не к оркестровой яме, а к помрежу в противоположную кулису. Опытный работник, она сразу смекнула, в чём дело, развернула меня и показала, куда надо бежать. Я ринулся по тому направлению, но, очутившись у ямы, не увидел никаких матов (рабочие решили: раз студентов нет, то и сцена с тигром отменяется).

Несколько секунд я стоял перед ямой, не знал, что делать; слышал, как безостановочно палит охотник, но стоял точно приклеенный и глазел на злополучную яму, чувствуя себя между жизнью и смертью. Наконец решился, прыгнул и... вывихнул ногу.

После спектакля ко мне подошёл один из пожарных театра.

– Чего-то у тебя какой-то трусливый тигр получился, всё время поджимал хвост. Но ты не печалься! В следующий раз сыграешь лучше.

А я и не печалился. Пусть как актёру мне крупно не повезло, зато невероятно повезло как музыканту – можно сказать, на музыкальном поприще я хлебнул славы.

Как-то наш театр давал спектакль во Дворце съездов. За час до спектакля артистам и работникам театра приказали не выходить из артистических уборных, пока солдаты с миноискателями не «прощупают» здание. После этой процедуры я прошёл по сцене, осмотрел декорации – всё было в порядке – и вдруг увидел за кулисами зачехлённый рояль. Подойдя к инструменту, я откинул чехол – передо мной красовался «Стенвей». Только я начал что-то поигрывать, как из-за кулис выглянул пожарный:

– Молодой человек! Вы того, осторожней на инструменте!

– Почему?

– Его только недавно привезли из Америки. На нём всего один человек играл-то.

– Кто же?

– Этот, как его? Ван Клиберн!

Вот так. Я был вторым, значит.

В то время одно за другим открывались кафе, в которых играли джаз. Мой друг пианист Валерий Котельников по вечерам играл в «Синей птице»; я был его постоянным слушателем. Однажды только захожу в кафе, как мой дружище подлетает:

– Тебя послал бог, пощипи бас! Наш не пришёл, а в зале комиссия из Москонцерта!

– Но я никогда не держал его в руках!

– Да кого это волнует! Главное, чтобы единица была на месте.

Пришлось лезть на сцену. Хотя какую сцену? Возвышение три на три метра. Это после вахтанговских-то просторов! И всё кафе – лишь большая комната с десятком посетителей, включая «прослушивающих». Мой друг начал играть, ударник зашуршал щётками, я старался в такт перебирать струны. Ничего, отыграл; даже сорвал аплодисменты – какой-то подвыпивший слушатель похлопал и показал мне большой палец.

Что и говорить, в те годы у меня была насыщенная жизнь и я не очень переживал, что мало занимаюсь живописью. «Ещё успеется», – успокаивал себя. Ясное же дело – я поступал не просто легкомысленно, а глупее не придумаешь, и если многие признания облегчают душу, то признание такого рода только утяжеляет её.

РАБОТА «ДЛЯ ДУШИ»

Работая в театре Вахтангова, я «освежал» задники и в других театрах: Пушкинском, Сатиры, Моссовета, На Малой Бронной; однажды даже «освежал» декорации Большого театра. Причём выполнял работу на любых условиях. Другие исполнители заламывали огромные суммы, а я брался за «сколько дадут». Слух обо мне, непривередливом, прокатился по всем театрам и докатился до театра имени Маяковского. Там мне предложили заведовать декоративной мастерской.

– Я видел ваши работы и слышал о вашем мастерстве, – сказал мне директор театра. – Буду рад, если вы согласитесь работать у нас в штате. – Он протянул мне договор и добавил: – Сумму оклада поставьте сами.

Я чуть не задохнулся от свалившейся удачи и с окладом поскромничал. Увидев мои цифры, директор усмехнулся и авторучкой удвоил сумму.

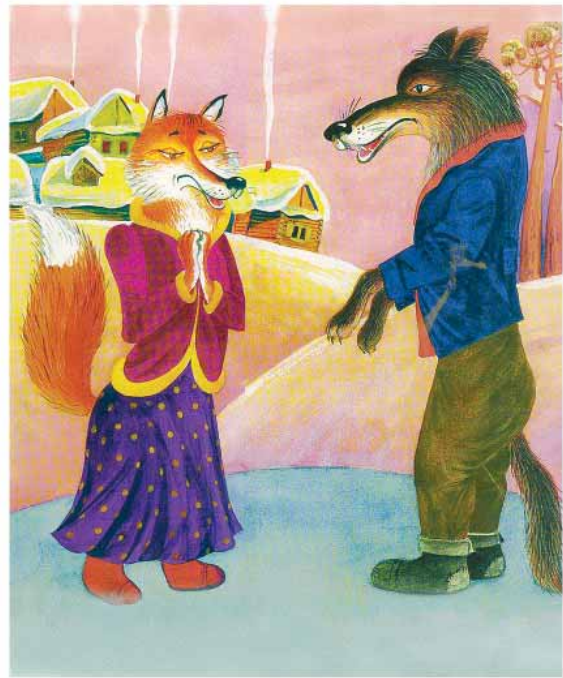
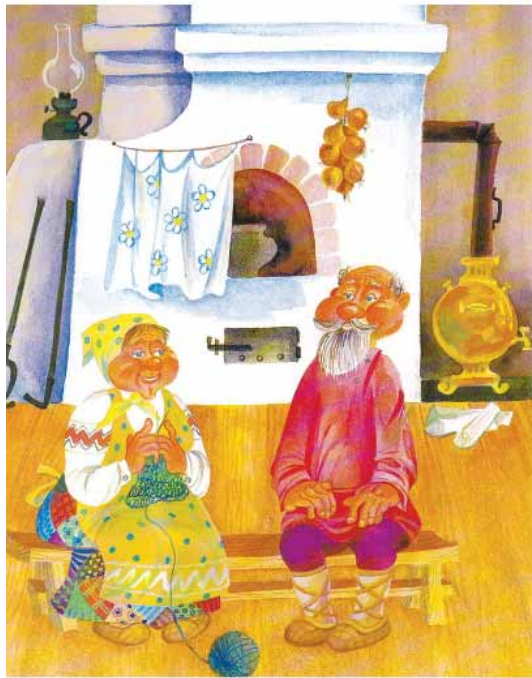
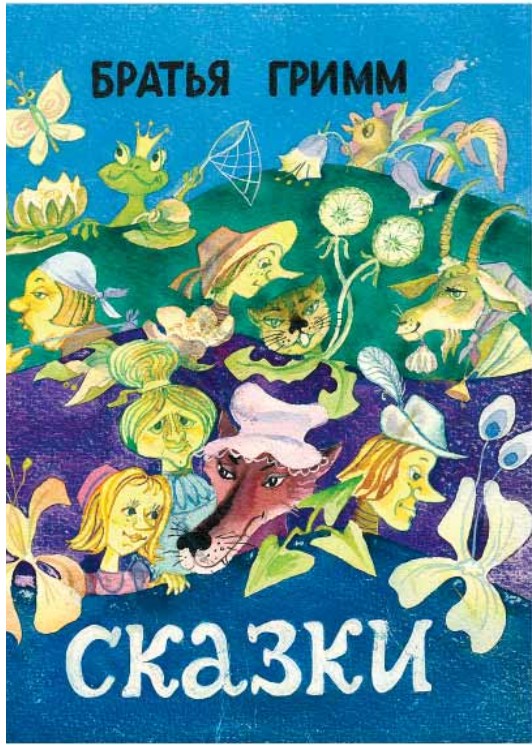
Два сезона я заведовал мастерской и страшно гордился своей должностью. По сути, это был самый высокий пост, который я когда-либо занимал. За это время в моей личной жизни произошли немалые перемены – я заимел собственную комнату на окраине и, наконец, приделся. Эпов всё чаще «выводил меня в свет» (Дом актёра), где знакомил с актёрами (с актрисами не знакомил).

А в театре я работал с художниками Кулешовым, Васильевым, Сумбаташвили; в застолье после премьер сидел (опять-таки чуть ли не в обнимку) с Охлопковым, Свердлиным, Хановым, так что моя слава (как примкнувшего) удвоилась, если не утроилась, – правда, об этой славе знали только соседи по квартире (я доставал им пропуска на спектакли), но мне и этого было достаточно.

Наконец-то я утвердился как работник театра и, главное, стал владельцем собственной комнаты. Теперь можно было делать работы «для себя».

Каждый знает, есть добро и зло; я решил хотя бы немного добавить добра и начал старательно упражняться в иллюстрациях, в надежде позднее оформить детскую книгу, – что, как не она, несёт осязаемое добро? Меня давно тянуло в книжную графику для детей, в многоцветный мир, где реальность переплетается с фантазией, а конкретность с условностью (герои сказок жили в цветах, плавали на бумажных кораблях, летали среди облаков; герои рассказов попадали в невероятные переделки). «Вот где неограниченные возможности для выдумки, – рассуждал я. – И нет работы интереснее».

Ко всему, в то время только в детской книге допускались условность, стилизация, определённый подтекст (именно поэтому в детскую литературу ринулись десятки людей, которых не интересовали ни дети, ни природа, ни животные – для них главным было обозначить своё «я». Позднее некоторые из этих лицедеев даже стали известными и получали на Западе премии – в пике реалистической школы рисования и письма, давали с пояснением: «Это нетрадиционно, ни на что не похоже»).



В богемной среде часто доходило до идиотизма – всякий негатив приобретал известность; всё, что не признавалось официально, считалось талантливым, а что признавалось – естественно, чепухой. Неслучайно академик живописи Корин говорил:

– Пикассо – шарлатан, а всё современное искусство – сплошное надувательство.

Кстати, Пикассо и сам признавал, что занимался шарлатанством, «поскольку это приносило славу и деньги», а себя считал «развлекателем публики». И Сальвадор Дали говорил: «Я знаменит и богат, потому что слишком много дураков».

В общем, я начал работать «для себя», делал иллюстрации к сказкам. Ясно, «для себя» – это работа, которую художник делает не по «заказу», а «для души». Эта работа может нравиться другим или нет, за неё могут платить деньги или не платить, но такая работа приносит художнику удовлетворение. И только такая. Если же художник выполняет работу «против себя», то, даже получив за эту работу огромные деньги, он не испытывает удовлетворения. Конечно, настоящий художник.

Я от своей домашней работы испытывал небольшое удовлетворение. Таким оно было потому, что у меня мало что получалось – я только начинал серьёзно заниматься графикой. Но из театра я прямо-таки летел в свою комнату. Случалось, уставал на работе; случалось, друзья забывали обо мне и подолгу не заходили в театр; случалось, девушки не обращали на меня внимания – но я сильно не переживал, ведь дома, на рабочем столе, меня ждали такие друзья, такие девушки, такая жизнь!

Я любил свой рабочий стол – покорябанный, в шрамах и ожогах от сигарет – небольшой деревянный квадрат; но стоило за него сесть, как он безгранично расширился и перед глазами плескались волны, шумели леса, шуршали пески. Я превращался в животных и растения и проживал несколько жизней одновременно: был счастливым и несчастным, бедняком и богачом, совершал увлекательные путешествия, побывал во многих странах.

В выходные дни вставал на рассвете, когда еле обозначался оконный переплёт, и сразу спешил к столу. К тому времени, когда всходило солнце – всегда в окне огромное, с автомобильное колесо, – я уже успевал сделать десяток рисунков.

В какой-то момент я увлёкся «белыми натюрмортами»: писал предметы в одном цвете, где всё строил на отношениях между полутонами; в белую краску добавлял чуть-чуть голубой, зеленоватой, розовой. Чтобы уловить оттенки, вначале делал на картоне подмалёвок и подносил его к зеркалу. Отражение сразу выявляло существенные погрешности. В то время я был уверен, что этот метод придумал первым в мире, но позднее узнал, что изобрёл велосипед, – им давно пользовались многие художники.

В выходные дни работал довольно долго и уставал, но это была приятная усталость – ведь работа шла в радость. Кстати, я никогда не понимал творческих людей, которые жаловались на «изнурительную работу» над красками, рукописями; не понимал актёров, которые вздыхали: «Работа измучила, наш каторжный труд». Мне кажется, любимая работа не может быть тяжёлой. Тяжёлая работа та, которую выполняешь против желания. Скажем, ради денег. Например, тяжело работать сторожем: сидеть, ничего не делать, смотреть на часы. И вообще, по-моему, не совсем правильно творчество называть работой. Всё-таки творчество – это

созидание, которое невозможно без вдохновения, а работа – это дело, для которого достаточно одного мастерства.

Став заведующим, я писал только задники к новым спектаклям; обновляли старые декорации и попеременно дежурили на спектаклях мои помощники: Володя и Зарик. Им было по двадцать лет, мне на шесть больше. У нас сразу сложились дружеские отношения.

Володя к живописи относился с прохладцей – не то что не любил «махать кистью», как он выражался, но и особенно к ней не рвался, и всё делал недоброкачественно. Он состоял в обществе «любителей икон». Я видел это общество: важные молодые люди, с печатью загадочности на лицах. Они всё время торжественно молчали, только, рассматривая иконы, изрекали что-то о «тактических ходах и строях». Я думал – пытаются раскрутить, раскодировать мысли иконописцев, но на поверку выяснилось: иконы для них всего лишь источник дохода; они шастали по деревням, за бесценок скупали «доски» и перепродавали их иностранцам.

Я не раз предупреждал Володю, что эта деятельность до добра не доведёт, но он, глухая душа, только отмахивался.

Зарик готовился поступать в художественное училище и самозабвенно «изучал костяк»: рисовал скелеты и «натюрморты с черепами». (У него была уникальная коллекция черепов: от мышиных и кошачьих до лосиного.) Как ни странно, его работы никаких мрачных мыслей не вызывали. Но однажды Зарик выкинул дурацкий номер: с кистью скелета пошёл в магазин и, когда кассирша выдала ему сдачу, сгрёб деньги костяшками. Кассирша заорала диким голосом, а Зарика отвели в милицию и крупно оштрафовали «за мелкое хулиганство».

Когда не было работы, Зарик говорил мне:

– Я, пожалуй, поеду на этюды. Не возражаешь?

А Володя заявлял:

– А у меня свидание. Я пошёл. Не волнуйся, на спектакле отдежурю как штык (у него каждый день были свидания).

Они уходили, а я, чтобы не терять время попусту, пытался заниматься графикой. Но только присядешь, кто-нибудь заглянет, попросит краски, или что-нибудь нарисовать, или просто начнёт трепаться. Несколько раз, когда не было работы, я тоже уходил из мастерской. Перед премьерой мы работали без передышки, даже ночами, и декорации сдавали раньше срока. Володя говорил:

– Наша команда вкалывает, как папа Карло.

«Но когда нет работы, зачем зря высиживать?» – рассуждал я.

Директор театра, «вождь труппы», не разделял мою точку зрения.

– Я всё понимаю, голубчик, – предельно ласково сказал он мне. – Я доволен вашей работой, но, понимаете, чтобы не было лишних разговоров, надо присутствовать. Как говорится, «для мебели». Такая особенность. Надо, голубчик, создавать видимость работы, видимость созидательной активности (он давал мне возможность для почётного отступления, но я, дуралей, этого не усёк).

Из-за этой «видимости» я в конце концов и ушёл из театра, как бы спрыгнул с чужого корабля.

«ВЕСЁЛЫЕ КАРТИНКИ»

После театра я окунулся в потрясающий мир художников-юмористов, клан неиссякаемых выдумщиков и едких насмешников. Этот клан можно представить в виде облака с электрическим полем юмора, попадая в которое невольно трясешься от смеха. Назывался клан – журнал «Весёлые картинки», а возглавлял его бородач с едкой ухмылкой – Виталий Стацинский, который рисовал «штампами», имел неважнецкий характер, но был пробивным организатором.

Говорят, юмористы в жизни – мрачноватые люди. Чепуха! Ответственно заявляю: юмористы, которых я знал, были приветливыми и компанейскими людьми. Стараясь не обижать других художников, скажу: находиться в кругу юмористов – праздник.

Юмористы разные по характеру, и для одних юмор – естественное состояние духа, показатель крепкого здоровья; такими они родились – со склонностью подмечать всякие нелепости. Глядя на эти нелепости, мы догадываемся, как должно быть.

Для других юмор – стремление скрасить нашу жизнь, показать, что она состоит не только из проблем и борьбы. Для третьих – своего рода защита от незащищённости. Такие художники слишком близко всё принимают к сердцу, и юмор для них – прикрытие своей ранимости.

– По части юмора мы переплюнули многие страны, на все случаи жизни имеем анекдот, – говорил юморист Владимир Каневский, большой знаток анекдотов. – Может, от того, что у нас только на юморе и можно продержаться.

Каждый юморист имел свою манеру рисования. Жуткие курильщики Анатолий Елисеев (весельчак, спортсмен и актёр вспомогательного состава) и Михаил Скобелев (фантазёр вроде Мюнхаузена) черкали размашисто, точно фехтовальщики; их рисунки (порывистые линии, «мерцание контрастных пятен») выглядели небрежными; главным богатством они считали тему, то есть мысль, которую несёт рисунок.

Интеллигентный, предельно учтивый англичанин Андрей Брей рисовал пластично и мягко, от его зверей было трудно оторвать взгляд.

Степенный ленинградец Юрий Васнецов слыл «мастером сказочных сюжетов». Смешно сказать, в детстве я воспитывался на его рисунках, а теперь работал с ним бок о бок, и мастер никогда не подчёркивал огромное расстояние между нами, держался естественно и скромно.

Олег Теслер (любитель джаза, меломан) и Рубен Варшамов (яхтсмен, перевязанный «собачьим» шарфом от радикулита) рисовали монументально, хотя у первого юмор был чёрный (на рисунках вечно что-то взрывалось и рушилось), а второй слыл специалистом по динозаврам (у него аборигены соседствовали с гигантскими чудовищами).

Марьяна Рябиндер писала картины-обманы; писала скрупулёзно и до такой фотографичности отделяла детали, что некоторые зрители пытались смахнуть нарисованных букашек и капли. Её излюбленной темой были добрые и злые карлики – гномы и тролли. Вдобавок Рябиндер делала прекрасные украшения и просвещала нас по части камней:

– Жемчуг – камень горя и слёз, янтарь – вселяет радость, бирюза – успокоение, душевный комфорт...

Интересно рисовал Виктор Чижиков, юморист, похожий на киноактёра, – на него засматривались все женщины. Чижиков рисовал комиксы. Он сделал отличную серию «Я и Наполеон», где с императором побывал на рыбалке, в бане – и всё не выходя из границ приличия. Затем он сделал серию «робких и зловещих» котов, и стал известен всей Москве, а вскоре выдал «олимпийского медведя» и прославился на весь мир.

Из всего братства «Картинок» несколько выбивался самоуверенный Виктор Пивоваров. Он был безразличен к миру детей и животных (мог нарисовать цаплю, шагающую «коленями» вперёд!); в журнале (и в детских издательствах) он выступал как формалист и являлся одним из тех, кто шёл в авангарде разрушителей реализма.

Стацинский, который шествовал в этом авангарде, часто, «чтобы показать властям фигу», привлекал в журнал скандальных личностей. Я ничего не понимал в работах формалистов, а сейчас считаю – их работы никогда не впишутся в русскую культуру.

Ещё будучи студентом, Пивоваров увлёкся чешскими иллюстраторами (в частности Бруновским) и в дальнейшем работал под них (в сорок лет развёлся с женой, женился на чешской искусствоведке и перебрался в Прагу). Он называл себя «опредившим время» и в конце концов договорился до абсурда:

– «Чёрный квадрат» Малевича вызвал русскую революцию, а «Чёрный квадрат», написанный мною, вызвал революцию пражскую.

Оказывается, бывают и такие забавы самонадеянных художников. А нам остаётся с содроганием ждать, какая ещё блажь втемяшится им в голову.

В детской книге формализм Пивоварова выглядел неким калейдоскопом, где рисунки рассыпались на кубики, каждый из которых был насыщен цветом и имел немало привлекательных деталей, но все вместе они никак не сочетались и создавали для ребёнка не гармоничный мир, а какой-то изломанный, какой-то красочный хаос. Подобные упражнения делаются для того, чтобы удивить зрителей и других художников – дети во внимание не принимаются.

Среди формалистов, работающих в детской книге, я никогда не слышал разговоров о восприятии детей, и, повторюсь, большинство этих художников пришли в детские издательства только потому, что в них разрешалась некоторая условность. Детская книга для них была лишь ширмой, прикрытием. Ну а для взрослого зрителя они, понятно, создавали такие дебри, к которым было страшно подходить.

Раз в месяц юмористы собирались в «Картинках» на «тёмные» совещания. На них мог прийти любой человек, и ему за смешную тему выписывали десять рублей. Заходили многие, но крайне редко приносили стоящее; чаще всего – перепев известных тем. Да и мы часто повторялись, вернее, делали импровизации на старую тему. Бывало, принесёшь пачку набросков, а друзья начнут обсуждать, и останется один-два. Но это обсуждение происходило замечательно: кто-то смеялся, кто-то отпускал колкие реплики, но всегда в лёгкой, дружелюбной форме.

Случалось, обсуждаем слабую тему, вдруг кто-то подскажет удачный ход, кто-то добавит удачную находку – и тема превращается в маленький шедевр.

Иногда мы выступали в школах, устраивали ребятам викторины и победителям дарили открытки – героев нашего журнала: Карандаша, Самоделкина, Чиполлино... Нас встречали как инопланетян. Ещё бы! Живые художники из любимого журнала! Некоторые юмористы кроме «Картинок» сотрудничали в «Аллигаторе» («Крокодиле»). Таких юмористов принимали за инопланетян и взрослые. Во всяком случае, с удостоверением «Крокодила» пускали куда угодно – все боялись, что их в журнале пропесочат.

Я СНОВА ТОНУ В ПРАЗДНИКЕ

Семь лет я работал в «Картинках» – тонул в празднике, но с годами мой юмор стал терять свой накал. Всё чаще я ловил себя на том, что в трамваях и автобусах вслушиваюсь в разговоры людей, запоминаю удачные реплики, мучительно пытаюсь выжать из них смешные темы. Это были последние потуги. Вскоре я окончательно утонул в «юмористическом море», то есть мой юмор полностью иссяк. Но удивительное дело – «на дне моря» меня ждал новый праздник: царство журнала «Мурзилка». Возглавлял это царство Нептун без бороды и трезубца – Анатолий Митяев.

Ни для кого не секрет – то было золотое время, расцвет «Мурзилки». Митяев сам не рисовал, но имел художническую натуру. Он прекрасно разбирался в живописи и обладал чутьём на потенциальные, неразбуженные таланты, неслучайно в «Мурзилке» начинали многие впоследствии известные мастера.

Митяев был обаятельным человеком, от него веяло теплом. Он прошёл войну, но сохранил детское восприятие – постоянно делал открытия в окружающем мире. И что особенно важно – открывал в людях то, чего они в себе и не подозревали.

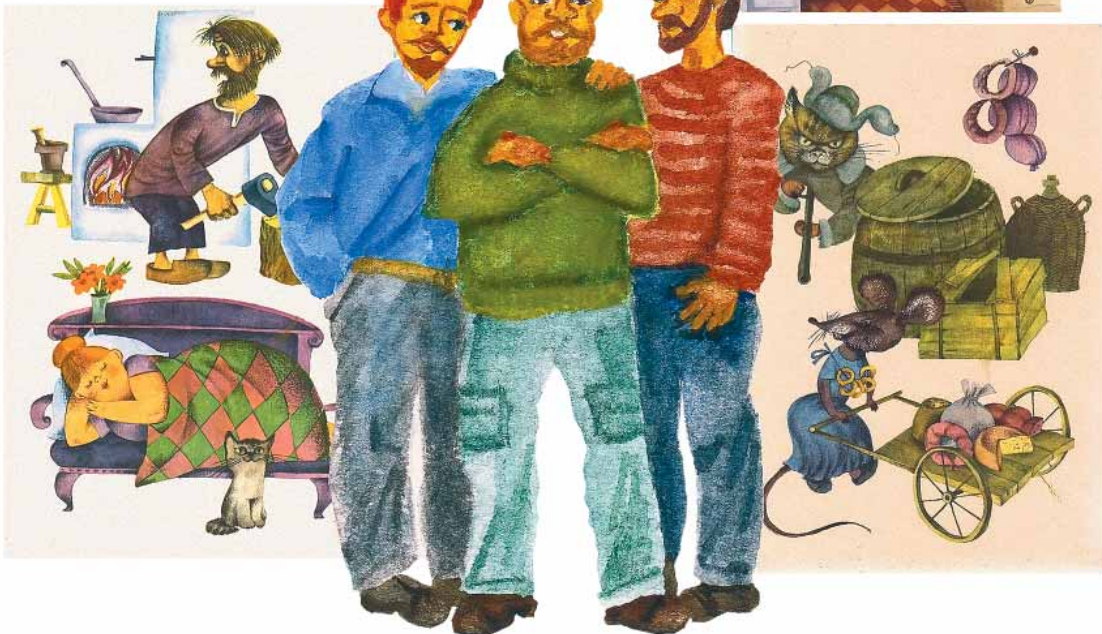
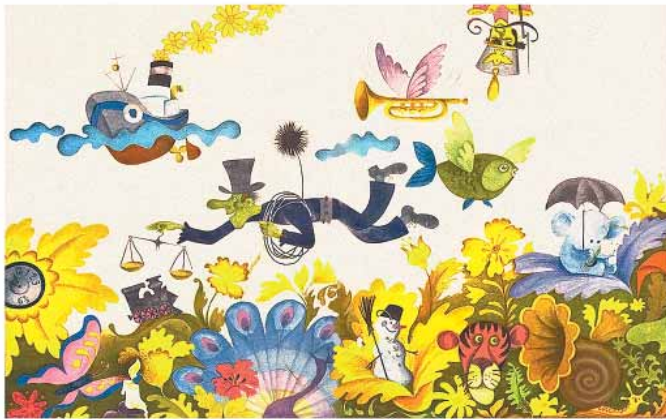
Подмечено, что хорошего человека и окружают хорошие люди. Это наглядно демонстрировали чаепития в редакции журнала.

– Я только и жду наших сборищ, – улыбался Лев Токмаков и прикладывал руку к сердцу, давая понять, что у него внутри немислимая комбинация чувств.

– Ужасно вас, чертей, люблю, – смеялся Николай Устинов, и всем было ясно, что у него внутри исключительная радость.

Токмаков создал совершенно новую изобразительную манеру: малыми средствами, всего двумя-тремя мазками, добивался невероятной выразительности и точности. Всего два-три мазка на белом листе бумаги, но какое организованное пространство, какая лёгкость во всём, какие живые линии и как на месте безошибочно лежат! Ничего не хочется добавить и ничего нельзя убрать – что значит настоящее мастерство! Настоящее мастерство – когда в работе ничего нет лишнего, случайного. На взгляд оно удивительно просто; кажется – возьми кисть, и у тебя получится так же. Но это только на поверхностный взгляд. Иногда для того, чтобы сделать эти два-три мазка, художнику требуется вся жизнь. А лёгкость, понятно, достигается кропотливым трудом.

Устинов тщательно выписывал все детали; в его работах была предельная ясность. Его работы давали детям знания, учили наблюдательности. Токмаков прививал детям



Художники. Иллюстрации на стене В. Дмитриюка и Л. Сергеева

хороший вкус. Эти художники были разными: и по изобразительной манере, и по складу характера, и внешне (один высокий бородач с тихим голосом, другой маленький крепыш, звонкий смехач), но их отличало дружелюбное отношение друг к другу.

Особенно крепко дружили Евгений Монин, Вениамин Лосин и Владимир Перцов – три бородача, которые время от времени сбрасывали бороды, но Монин при этом оставлял усы. Каждый из этих художников создал самобытный изобразительный мир.

Архитектор по образованию, Монин великолепно рисовал дома, мосты, замки. В его домах обитали философы и неисправимые мечтатели, с мостов падали разные нескладёхи и беспечные влюблённые, в замках колготились незадачливые мастера.

В «Мурзилке» Монин был главным заводилой. Прихлёбывая чай, он без умолку рассказывал нелепые случаи из собственной жизни, вроде того, как вместе с хиппи угодил в милицию – его приняли за «хиппового вождя». Рассказывал Монин блестяще и при этом не боялся выставить себя в неприглядном свете. Здесь он чем-то напоминал своих героев, или, вернее, они напоминали его. Но, как известно, выставлять себя не в лучшем свете, смеяться над самим собой способны только сильные люди, и эта внутренняя сила всегда угадывалась в Монине, каким бы дураком он себя ни представлял.

Лосин считался рисовальщиком-виртуозом. С закрытыми глазами он мог нарисовать бегущую лошадь, или плывущего по реке лося, или внушительную группу людей – и каждого со своим характером! Обладая редкой зрительной памятью, Лосин знал всё: как связан хомут и оглобля, как цветёт бамбук, как растут кокосовые орехи, как плавают киты и аквариумные рыбы, какие крепления в паровых механизмах, а уж анатомию человека знал лучше врачей. Кстати, во время чаепитий в «Мурзилке», когда Лосин рассказывал о растениях, я был уверен – он ботаник, когда он описывал птиц, принимал его за орнитолога, когда он зарисовывал машины – не сомневался, что он инженер. За справками к Лосину бегали все художники.

Рисунки Лосина отличались динамизмом, цвет лежал широкими, сочными мазками. Лосин работал на табуретке(!) и одной большой кистью; этой кистью писал и море, и делал блик в глазу.

Перцов имел безупречный вкус; у него даже в квартире всё выглядело законченными натюрмортами, а на участке в деревне – не просто виды, а мини-пейзажи. И конечно, каждую иллюстрацию Перцова хотелось вставить в раму и повесить на стену. Перцов сильнее всех художников пропитался русской культурой, и лучшие его работы – исторические сюжеты (былины, сказания) – это и понятно, он один из потомков князей Голицыных, его родословная восходит к самим Рюриковичам! И держался Перцов скромнее всех (срабатывали гены). Перцов иллюстрировал мою первую книжку, где на форзаце изобразил Крымский мост, набережную и прилегающие дома.

– Почему именно это место? – спросил я.

– Мы здесь жили до войны, – он показал на дом, в котором до войны жили и мы. (Наверняка в то время мы виделись во дворе, но не могли вспомнить друг друга.)

Перцов известен не только как иллюстратор, но и как мастер шрифтов – всем друзьям оформлял обложки книг (его шрифты непременно войдут в энциклопедию оформительского искусства).

Работая над иллюстрациями, Перцов невероятно гримасничал, принимал позы своих героев; он вообще был артистичен: красиво двигался и сидел, красиво одевался – с неизменным бантом на шее, красиво играл в шахматы и красиво ухаживал за девушками. Здесь, правда, ему не везло. Почему-то девушкам было мало красивых ухаживаний, им хотелось, чтобы чувства подкреплялись весомыми подарками и вообще чтобы ухажёр «имел основательную базу». А у Перцова деньги появлялись от случая к случаю, жил он в скромной мастерской, гонорары тратил на книги.

– Мужчина должен твёрдо стоять на ногах, – холодно заявляли эти девушки. – А вы бессребреник. Что вы можете дать женщине?

– Написать её портрет, – улыбался Перцов.

Этот мягкий аргумент некоторое время удерживал девушек около Перцова, но, как только он заканчивал портрет, они забирали его, а с художником прощались навсегда.

Монин, Лосин и Перцов были поглощены работой, но выкраивали и свободное время. И тогда втроём ездили на рыбалку (для этой цели, а также потому что «город забирает душевный покой», за сносную цену купили деревню, вернее, три дома-развалюхи, один из которых вскоре какие-то негодяи разграбили и подпалили); сражались за шахматной доской, с ватагой мальчишек азартно гоняли мяч.

При всём том, что они были поглощены работой, они умудрялись буквально через день отмечать праздники. Причём частенько праздники выдумывали, чтоб был повод встретиться. Как они умудрялись совмещать работу и праздность – загадка.

Этих художников ещё отличало заботливое отношение друг к другу: когда однажды Монин отчаянно влюбился и надумал жениться, Перцов долго придирчиво изучал его невесту, а женатый Лосин подробно объяснял ей, как строить семейное счастье.

Всерьёз я не люблю превосходных степеней, но этих трёх мастеров назову великими; они в работе достигли совершенства. Неслучайно на международных выставках они получали награды. Я горжусь дружбой с этими художниками.

Как-то случилось великолепное совпадение: по рассеянности Митяев под моим рисунком поставил фамилию Монины, а гонорар выписал Перцову.

– Это повод устроить праздник! – разразился Лосин. – Маленький, камерный.

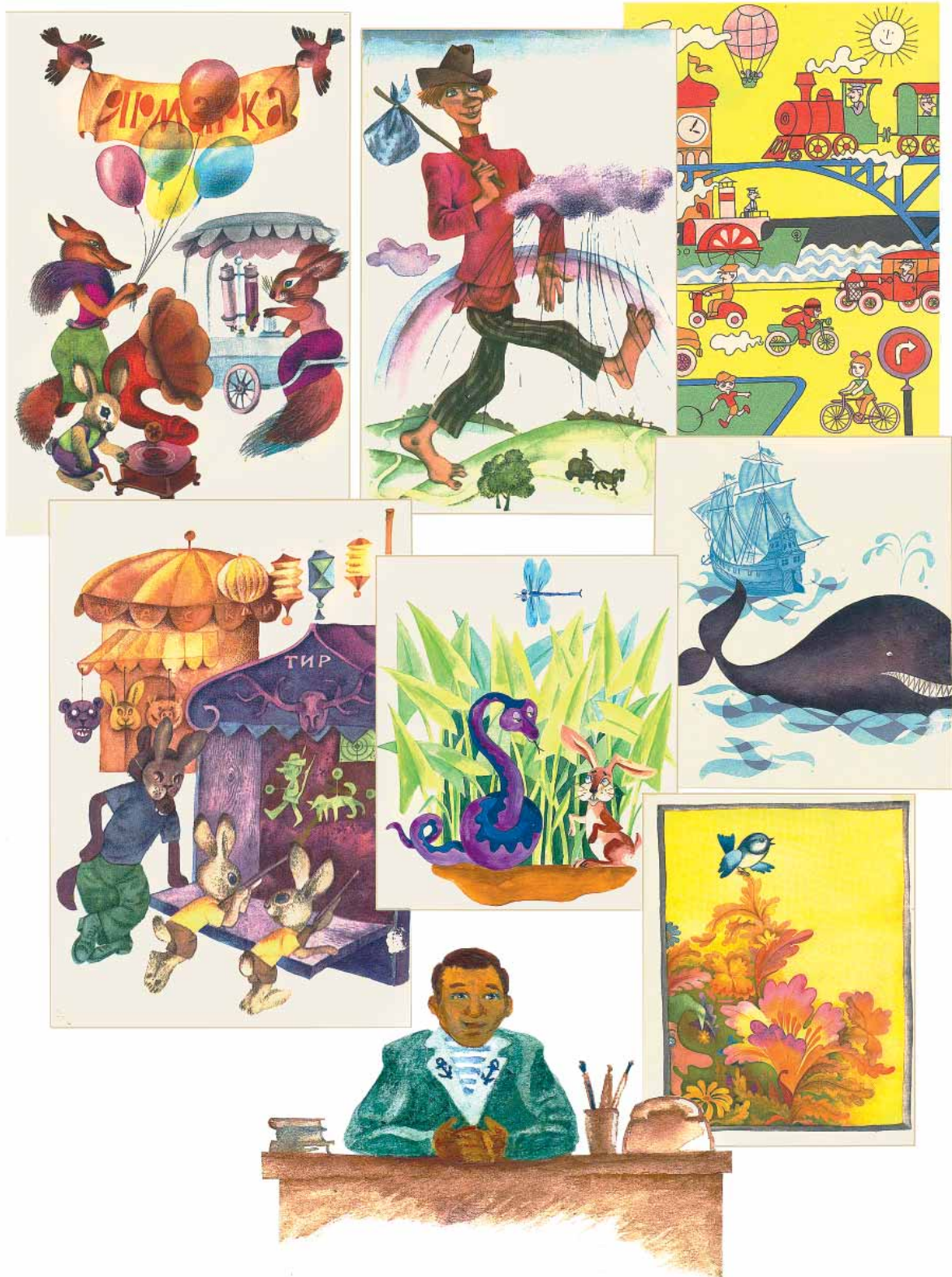
Конечно, маленький праздник перешёл в большой, да такой, что под конец мы все потерялись. Но тот рисунок я не потерял и храню как память о золотом времени.

ПУСТЬ ДОГОНЯЮТ!

Однажды художник Валерий Дмитриук обратился ко мне:

– Имеется одна рукопись для детей, давай проиллюстрируем вместе. Ты больше тяготеешь к живописи, я к рисунку. Наши устремления дадут приличный результат.

У нас было много общего: оба из провинции, оба лысели, оба работали в «Картинках» и одновременно, без всякого лицемерия, испытывали чувство недовольства сделанным. Мы имели одинаковые взгляды на искусство, нам обоим



Директор издательства. Иллюстрации на стене В. Дмитриюка и Л. Сергеева



Иллюстрации на стене В. Дмитриюка и Л. Сергеева

нравился кинорежиссёр Феллини и девушки с волосами морковного цвета. Короче, у нас были родственные души, и мы проработали вместе десять лет.

В детской книге я окончательно нашёл себя. Во взрослой книге иллюстрации всего лишь сопровождают текст, в детской несут самостоятельную нагрузку. Художник в детской книге – такой же автор, как и писатель. У него много белых листов бумаги, огромный простор для творчества и огромная ответственность. Через рисунок ребёнок познаёт мир, рисунок развивает его наклонности. Многие рисунки, которые мы видим в детстве, остаются с нами навсегда как самые яркие зрительные впечатления, а рисованные герои – как самые близкие друзья (взрослые ведь только придумывают сказку, а дети живут в ней).

Мы с Дмитрюком в основном иллюстрировали авторов-современников. Обычно писатели нас хвалили, и не скрою – было приятно.

– Отлично! – поднимал большой палец Владимир Коркин. – Спасибо за рисунки. Вы всё чётко прочувствовали, именно таким я всё и представлял.

– Прекрасно, как жужжание пчелы! – радовался Игорь Мазнин.

– Здесь и говорить нечего! – восклицал Юрий Коваль. – Рисунки потрясают... почти как мой текст!

Иногда нас начинали хвалить, но заканчивали руганью.

– Интересный разговор! – выдавливал Юрий Кушак. – Но могли бы сделать и лучше. Обложка невыигрышная, непродажная, а шрифт – ваша несильная сторона.

– Книга хорошо скомпонована, старики, – тараторил Сергей Козлов. – Хороший макет и рисунки... не портят общего впечатления. Хотя лучше б половину убрать. Лучше б, старики, я дал побольше текста. И потом, что тянули? Работать, старики, надо быстро.

Попадались и капризные авторы. Как-то мы делали книжку одной поэтессы из Нижнего Новгорода. Стихи были неумелые, но мы решили «вытянуть» книжку за счёт рисунков, выжать из текста максимум. Три месяца корпели, но, когда привезли работу поэтессе, она сморщилась.

– Мне нравятся ваши рисунки, – сказала; сказала певуче, растянуто. – Но, вообще-то говоря, образы зверюшек мне представляются иными. Подождите, сейчас придёт муж, он лучше меня разбирается в живописи. Может, он что-нибудь подскажет.

Пришёл её муж и гаркнул:

– Скажите честно, вы схалтурили? Подумали: «А-а, провинция! Для них и так сойдёт». Сейчас явится сын, он учится в художественной школе, он вам даст советы.

Пришёл их сын, долговязый парень, и стал нас, ровесников его отца, учить что к чему. Разнёс рисунки в пух и прах: и звери-то у нас «слишком развесёлые», и деревья «слишком корявые», и травы «лихие», и «небо – не небо, и вода – не вода».

– Налицо отсутствие чего-то главного, – шумел он. – Всё разрозненно. Отсутствие всякой предметности.

– Отсутствие присутствия, – хмыкнул Дмитрюк.

– Вот, вот! – ухватился парень.

Но окончательный, смертельный удар нас поджидал на следующий день в издательстве. Художественный совет принял иллюстрации, но, когда мы понесли подписывать листы к директору, он плотно закрыл за нами дверь и прогундосил:

– Не слушайте никого. Они ничего не понимают и живут недисциплинированно. А я хотя и по специальности военный, но имею понятие о рисовании и уважаю художников. Я и сам люблю помалевать на природе пейзажики разные. Вон моя работка.

На стене висел бездарный пейзаж – этакий компот из одних синих красок. Мы с Дмитриюком переглянулись и, глубоко вздохнув, поняли, какая нас ожидает казнь.

– Как говорится, всё хорошо, прекрасная маркиза, – директор склонился над листами. – Но вот этого слона отсюда из угла передвиньте сюда наверх. Так будет дисциплинированной... А это за ним кто? Кого вы насандалили? Мартышки, что ли? Их подвинем сюда. Пусть как бы его, слона то есть, догоняют!

Мы вывалились из кабинета и чуть не упали – нас подхватили члены худсовета.

– Не слушайте его, – сказали. – Он ничего не понимает. Главное – наши подписи.

РАДОСТНЫЙ ДЕНЬ С НОТОЙ ГОРЕЧИ

В Волго-Вятском издательстве мы с Дмитриюком оформили десять книг. Когда привозили работу, Дмитриюк останавливался у родственников, а меня пристраивал к соседу, другу детства, Ивану. Однажды Иван предложил мне отве-
дать наливки собственного изготовления. Мы только расположились на террасе, как у изгороди возникли два парня. Громко, с провинциальной прямоотой один из них сказал:

– Слыхали, Вань, у тебя квартирант москвич. Не мешало б сходить на пятак, показать гостю, как живём в Нижнем.

– У нас серьёзный разговор, – тоже достаточно громко остановил Иван пришельцев, которые уже открывали калитку.

– Эти нам неподходящая компания, – пояснил он, когда парни удалились. – У них одна задача – налить глаза, а я люблю беседы в интеллигентном варианте, – всем своим видом Иван давал понять, что он и парни – некие неперемешивающиеся слои общества, что у него с ними несовместимая культура.

Выпив наливки, Иван откинулся на стуле.

– Как мы живём, и слепому видно. Я покажу тебе то, чего ты в своей столице никогда не увидишь. Вы там перекормлены зрелищами, но такого ты не видел. Пойдём!

Мы спустились к Волге, на улицу Студёную, где старые деревянные дома соседствовали с пустырём, заросшим коноплей. Около одного дома Иван остановился, стукнул кулаком в массивную, с жестяными заплатами дверь и зычно крикнул:

– Мария Алексеевна!

Никто не отозвался. Иван снова стукнул и гаркнул:

– Мария Алексеевна!

За дверью стояла полная тишина, и я сказал:

– Никого нет. Зайдём попозже.

– погоди! – Иван дробно заколотил в дверь.

Где-то внутри дома слышались шорохи, скрипы, и вдруг раздался тонкий голос:

– Кто там?

– Это я, Иван! – Иван подмигнул мне и предупреждающе покашлял.

Но в доме скрипы и шорохи смолкли, и опять надолго воцарилась тишина. Иван нахмурился:

– Мария Алексеевна! Это ж я, Иван! Не узнаете, что ли?!

– Чего тебе?! – скрипы и шорохи перешли в шарканье, кряхтенье; обитательница дома явно подошла к двери. – Ну, чего тебе?!

– Дело есть. Тут один друг из Москвы хочет взглянуть на ваше искусство, – Иван многозначительно кивнул мне.

– Не могу открыть, – пропищало за дверью.

– Почему?

– Сын не разрешает!

– Мария Алексеевна, ну как можно? Хороший человек из Москвы. Мой друг. Приехал в командировку. Я ему много рассказывал о вашем искусстве...

Иван вновь подмигнул мне, как бы объясняя, что его слова не враньё, а сюрприз.

Наконец загремели засовы, и на пороге появилась маленькая, сморщенная, белая, словно вылепленная из воска, старушка в сарафане.

– Ладно уж, входите, – вздохнула она.

Пройдя за ней и Иваном в сени, я увидел на внутренней стороне двери надпись мелом: «Мама, никому не открывай!». В комнате старушка прошла к тумбе с какими-то сине-зелёными стекляшками, села в кресло и затаилась. Иван обвёл рукой комнату.

– Вот, хотел показать, что вы сотворили, – он наклонился к хозяйке.

Я осмотрелся. На этажерке, тумбе и подоконнике стояло множество акварелей в овалах. Это были тщательно отделанные миниатюры; портреты дам из прошлого века.

– Профессиональные работы, – сказал я. – Вы, Мария Алексеевна, где-то учились?

– Когда-то закончила местное художественное училище, – отозвалась старушка. – Работала в театре. Получала мало... Когда родился сын, подрабатывала где придётся...

– Муж Марии Алексеевны умер рано, – вставил Иван.

– Да, одна растила сына, – горькая память нахлынула на старушку, она часто заморгала, но пересилила себя. – Потом нанялась в подручные к швеям. Они отдавали мне лоскуты. Шила одеяла лоскутные, подушки-думки. Потом занялась аппликацией... Кое-что осталось, зайти взгляни, – старушка кивнула на соседнюю комнату.

Я откинул занавеску и онемел. На стенах висело штук десять картин – натюрмортов-аппликаций; все работы большие, на подрамниках и сделаны так виртуозно,

что не виделось ремесло – ни стежки, ни обмётка. Лоскуты были подобраны с таким вкусом, что один цвет плавно переходил в другой; создавалось впечатление, что цветы на полотнах – живые, а горшки и вазы – настоящие, объёмные. Но главное, натюрморты наполняло солнце: на столах и подоконниках играли блики, от букетов падали тени.

– Смотришь на вышивки, и как-то радостно на душе, – протянул Иван.

– Радостно, – согласился я, а про себя подумал: «Ну понятно – большие полотна – люди маленького роста часто стремятся ко всему большому, но откуда эта жизнерадостность?! Может, оттого что жизнь была без радостей?!»

– Мария Алексеевна, вы продаёте свои работы? – обратился я к старушке. – Ведь такие вещи стоят очень дорого.

– Раньше дарила всем, кого они волновали... Потом продавала, когда деньги были нужны. Когда сына растила... А теперь зачем мне деньги? – старушка привстала с кресла, взяла с этажерки альбом и мягко предложила мне: – Вот посмотри лоскуты.

Я начал листать альбом с шёлковыми, атласными и батистовыми лоскутами; на каждом развороте были лоскуты одного цвета, но разных оттенков: от ослепительно ярких до приглушённых, бледных.

– А выставки?! Местные власти устраивали ваши выставки?

– Сама не хочу, – старушка опустила в кресло.

– Лет пять назад устроили выставку, – высунулся Иван, – да три картины стащили.

– Зачем мне такие выставки, посудите сам, – старушка махнула рукой и отвернулась.

– Прекрасные работы у Марии Алексеевны, – сказал я, когда мы с Иваном вышли на улицу.

– Я зря болтать не буду, – хмыкнул Иван. – Но ты уяснил, что никому нет дела до её искусства?

– Ну а её сын? Он, я так понял, бережёт её работы?

– Он печётся о себе. Никчёмный мужик. Картёжник. Как проиграется, одну картину продаёт. Незаметно выносит и загоняет на барахолке. А матери говорит, что украли.

«ФАБРИКА БЕЗ ГОЛОВЫ»

Однажды меня пригласили на телевидение, в детскую редакцию.

– Сделайте нам что-нибудь, – сказали.

Мне понравилось это «что-нибудь», но я всё же уточнил:

– Что именно?

– Что хотите, мы вам доверяем. Сделайте какой-нибудь фильм в картинках. Что-нибудь этакое с красочными подробностями.

Несколько дней я работал не разгибая спины, придумал фильм «Олимпийские игры у зверей» и кучу «красочных подробностей».

– Замечательно! – сказали в редакции. – Но, понимаете, красочные подробности не очень красочны. Разные бегемоты, жирафы – не «наши» звери. Оставьте только «наших» – медведей, зайцев. И потом, понимаете, у нас есть определённый набор кукол, декораций; надо укладываться в них, чтоб не кланчить деньги на новые...

Я столкнулся с трудностями, но отступить было поздно, уже дал слово, что сделаю «что-нибудь», да и мои мысли уже устремились в кинематографическую область.

Снова засел за работу, ухлопал целый месяц, написал сценарий и сделал тьму рисунков про «школу под водой»: морскую черепаху-учительницу и акулу-разбойницу (что-то, а надводный и подводный миры никогда не покидали меня).

Фильм снимал режиссёр Александр Сахаров; снимал через аквариум: за плавающими рыбами двигались «ученики школы»: игрушечные осьминожек, морской конёк... Фильм понравился, Сахаров получил премию, а мне заказали продолжение. На это продолжение я ухлопал ещё месяц, но за работу получил меньше, чем получал за один рисунок в «Весёлых картинках».

– Мы заплатили вам по высшей ставке, как Пушкину, – сказали в редакции. – Понимаете, за продолжение платят половину от первой серии. Считается, что одни герои.

– Теперь понимаешь, почему на телевидении нет приличных авторов? – пробубнил Сахаров. – Огромное предприятие, а денег нет. И туча установок: или слюнявый романтизм, или клюква. О Бабе-яге и чёрте писать нельзя. Телевидение – это фабрика без головы. Вернее, мусоропровод: пока летит – гремит, пролетело – пусто.

Всё-таки и на телевидении я встретил хорошего художника – Бориса Сафронова, который оформлял детские передачи ради любви к «волшебному миру детей».

– Многие считают, что мы здесь халтурим, – говорил Сафронов. – Это неверно. Халтура не работа, а отношение к работе.

«Для себя» Сафронов ничего не писал – он писал «для других» – то, что просили знакомые, и просто дарил картины.

– Не жалко отдавать? – как-то спросил я.

– Жалко, но отдавать и надо то, что жалко, – усмехнулся Сафронов. – А что не жалко – надо выбрасывать.

Однажды подвал, где Сафронов хранил живопись (а он писал гуашью), затопило, и все работы размыло.

– Кошмар! – растерянно бухнул я Сафронову.

– Ничего, сюжеты помню, – невозмутимо ответил он. – За год-два восстановлю и сделаю получше. С нюансами. Ведь всё дело в полутонах, нюансах... Знаешь, народы Севера для обозначения снега используют триста понятий, индусы называют сотню оттенков зелёного цвета – какое тонкое восприятие мира!

Последней моей работой на телевидении был сценарий (с рисунками) про Новый год – естественно, с «красочными подробностями». Моя работа понравилась, но после «редактуры» от неё мало что осталось. Можно сказать, с моей новогодней ёлки сняли все игрушки и обстругали ветви, оставив одну палку. Я возмутился, забрал сценарий, а дома отправил его в мусорное ведро.

До этого безрадостного случая произошёл ещё один, более-менее радостный. Как-то режиссёр Сахаров вызвал меня в телецентр и торжественно объявил:

– У меня большие задумки на будущее, о них через час поведём качественный разговор, а пока впихну тебя в жюри – сейчас будет конкурс молодых актёров-кукольников, надо отобрать самых талантливых. Ты, вроде, работал в театрах.

В жюри, кроме меня, есть ещё один знаток, а ты будешь для массы. Потом поговорим о будущей работе и шумно отпразднуем твоих подводных головастиков.

По пути в просмотровый зал Сахаров отчеканил:

– Поставь каждому баллы. За сцену движения, за речь. В сумме не больше десяти.

Начался спектакль. Над ширмой появились тряпичные герои. Как я ни приглядывался к их движениям, как ни вслушивался в голоса – всё было обычным, без волшебства, но вот деревья раскачивались – хоть куда! Я даже ощущал ветер. После спектакля из-за ширмы вышли актёры – молодые ребята; поднялся Сахаров и начал что-то втолковывать актёрам, потом за поддержкой обратился к «знатоку». Тот полностью согласился с Сахаровым и объявил, что всем поставил тройки. Для формальности Сахаров спросил моё мнение.

Я некоторое время морщился, делал вид, что занимаюсь немалым умственным трудом, потом объявил, что поставил пятёрку тому, кто раскачивал деревья. Неожиданно Сахаров изменился в лице:

– Наш гость верно заметил таланты, а мы с вами, коллега, их просмотрели. Так что первую премию даём тому, кто имитировал ветер. Кто это делал?

Руку поднял пожарный, который, как оказалось, за бутылку пива помогал актёрам.

ЗАЧТЁТСЯ НА НЕБЕСАХ!

Среди моих знакомых поэт Игорь Мазнин занимает особое место – он, доброе сердце, всегда готов помочь тем, кто попал в беду, и всегда говорит то, что думает, говорит открыто и безбоязненно, поэтому нажил себе массу врагов. Японцы считают: у каждого должно быть семь врагов. У Мазнина их гораздо больше. Зато друзья восхищаются его мужеством. Ко всему Мазнин даже в самые пасмурные дни за облаками видит солнце, другими словами – не сгущает неприятности и в трудном положении не падает духом, да ещё сохраняет чувство юмора.

– У тебя есть возможность заняться благородным делом, – сказал однажды Мазнин. – Учить детей рисованию. В Доме литераторов открывается изостудия, меня попросили найти руководителя. Я назвал тебя.

– Ты спятил! – серьёзно заявил я. – Чему я могу научить?! Сам всю жизнь учусь!

– Правильно, учись и других учи. Из камней делай кометы! Студия не профессиональная, а любительская. Твоя задача – выявлять способных ребят и направлять их в художественные школы. Это даже мне по плечу, хотя я не умею держать карандаш, а ты столько работал для детей. Так что хватит бузить, берись за дело и действуй решительно! Тебе зачтётся на небесах!

Долго я раздумывал над этим предложением, раздумывал с тяжёлым сердцем – на меня давила ответственность. В конце концов решился.

Директор Дома литераторов встретил меня с распростёртыми объятиями, обрушил на меня поток дружелюбных чувств.

– Под изостудию мы отвели Малый зал, – возвестил он. – Там большие окна, фигурный паркет. Мы организация солидная, так что обеспечим вас мольбертами, бумагой, красками.



Иллюстрации Л. Сергеева к книге «Мои собаки»

Надлежало записывать в студию только детей писателей, но я брал всех ребят, которые любили рисовать. Даже тех, кто рисовал неважно, поскольку знал, что многие способные – лентяи и забрасывают рисование при первых же трудностях, а менее способные, но усидчивые добиваются успеха.

Конечно, по одному рисунку, даже по нескольким линиям можно сразу определить способности человека, так же как по одной музыкальной фразе понять – есть у него слух или нет. И нельзя вселять в ученика ложные надежды – они могут привести к жестокому разочарованию и тем самым поломать всю жизнь. Лучше сразу говорить всё как есть. Но я не спешил выносить приговор и, чтобы не ошибиться, всем давал возможность порисовать несколько занятий, и если у кого-то совсем ничего не получалось, советовал родителям развивать в ребёнке другие способности.

Известна истина: все дети способные, но по мере взросления чаще всего эти способности куда-то улетучиваются. У одних – от семейных условий, у других – от лени, у третьих – от плохих учителей. Сколько заглохло талантов от того, что в детстве некому было помочь! Ведь в школах учат «правильному» рисованию, рисуют пирамиды и кубы, то есть прививают детям ремесло, да ещё пытаются обуздать своенравных, непокорных (как раз из таких и получаются личности). А надо бы развивать у ребят воображение, поощрять инициативу, самостоятельное мышление, заражать своим предметом. Садовод, чтобы получить урожай, ухаживает за яблоней: утепляет, обмазывает известью. Так и преподаватель должен бережно и терпеливо выращивать учеников.

До десяти лет детям следует давать только свободные темы: «подводное царство», «праздник», «летний отдых», «зимние каникулы», рисунки к рассказам и сказкам. И на примерах объяснять, что такое композиция, перспектива, освещённость, тёплые и холодные тона. Например, перспективу я объяснял предельно просто:

– Видите, на окне цветок, а за окном дерево, и оно меньше цветка. Почему? Потому что цветок близко, а дерево далеко... Муха может быть больше собаки?

– Может! – голосили сообразительные ученики. – Если муха рядом, на стекле, а собака очень далеко.

– Правильно! Каждый из вас может быть выше телеграфного столба. Если вы нарисуете себя в начале улицы, а столб...

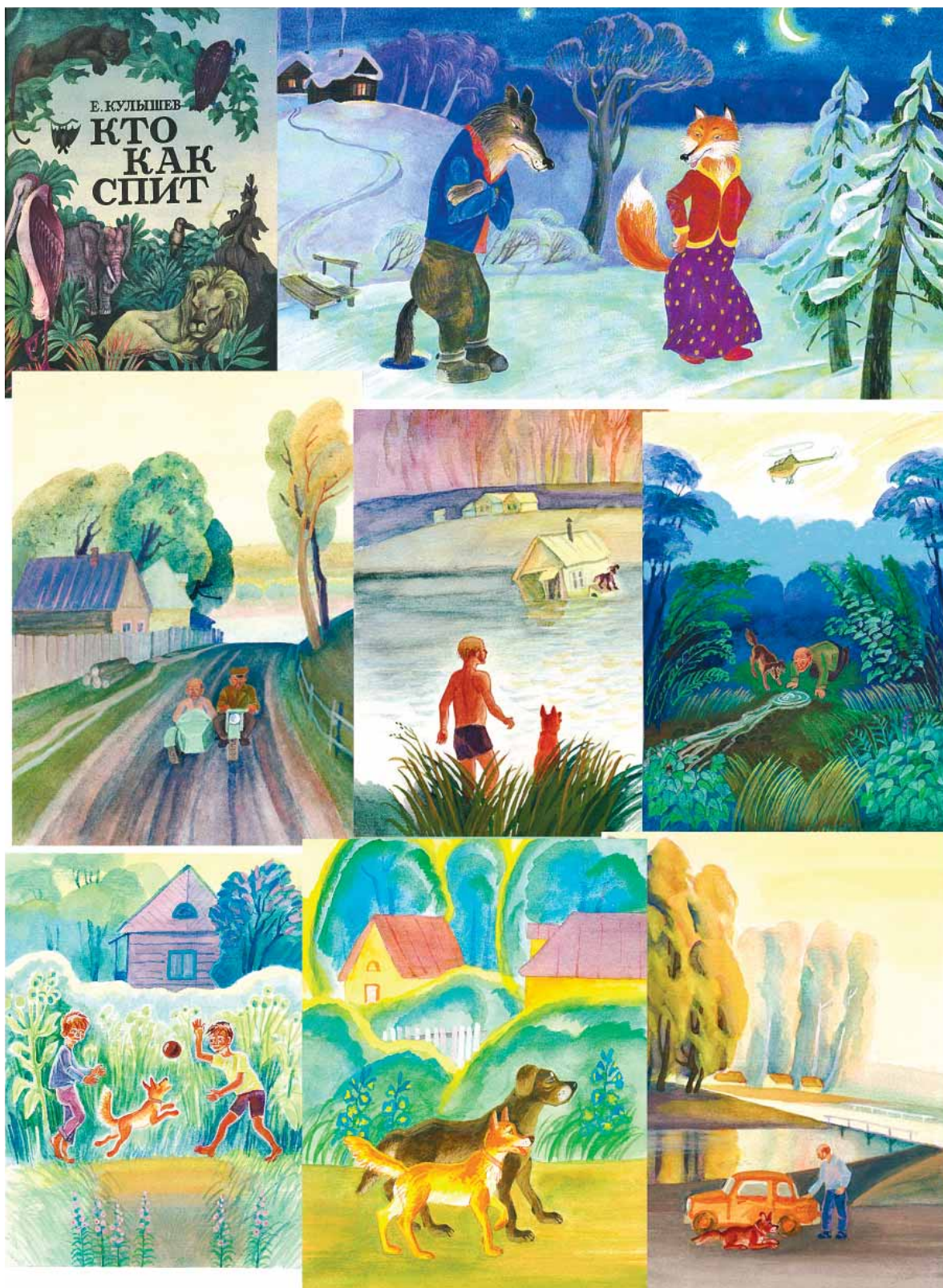
– В самом конце! – уже кричали все.

Так же просто я говорил об освещённости, роли света:

– Если мы сидим под зелёным абажуром, наше лицо и одежда будут с зеленоватым оттенком. При закате солнца всё будет каким?

– Лиловым! Розовым! Пурпурным! – слышались голоса.

– Да. И даже в зелёной листве будет тепло заходящего солнца. И в тени будет много цвета. Кстати, в тени всегда много цвета, и внутри тень прозрачна. Поэтому чёрную краску сразу уберите, чтобы не рисовать ею тени. Для нас ничего нет белого и чёрного. Как известно, в белом цвете все цвета радуги, а в чёрном масса оттенков. – В заключение я рассказывал о художниках по свету в театрах.



Иллюстрации Л. Сергеева

В другой раз я говорил о том, как цвет создаёт настроение: мягкие зелёные тона – успокаивают, вселяют умиротворённость; синие, изумрудные – наводят грусть; жёлтые, оранжевые – радуют, бодрят; ярко-красные – возбуждают...

– Возьмите цветную посуду! – вещал я. – Тарелки с оранжевым орнаментом поднимают аппетит, а синие и зелёные тарелки для тех, кто сидит на диете. Красивые вещи устанавливают приподнятое настроение, оптимизм.

Я рассказывал о знакомой художнице, которая выкрасила стены своей комнаты в серый цвет, а потолок – в красный, и её гости постоянно испытывали дискомфорт.

– А ведь приятно находиться в комнате с обоями тёплых, приглушённых тонов. Или с голубыми обоями. Голубой цвет даёт ощущение свежести. Даже маленькая комната со светлыми обоями кажется шире, кажется, в ней воздуха больше. Точно так же, как полный человек в яркой и узкой одежде кажется ещё полнее, и, значит, чтоб быть поизящней, ему следует носить какую одежду?

– Не яркую! Не узкую! Широкую, свободную, – вразнобой подсказывали ребята.

– В чём радость рисования? – подводил я аудиторию к главной мысли. – В том, что мы можем сделать весь мир таким, каким хотим, чтобы он был. Зимой можем сделать лето, когда пасмурно, можем всё наполнить солнцем, побывать там, где пока не можем побывать, сделать несчастных людей счастливыми – и всё на чём?

– На белом листе бумаги! – подхватывал хор, чувствуя причастность к великому.

РАДОСТЬ ОТКРЫТИЯ

Мы занимались по воскресеньям полтора, иногда два часа. Ребята до десяти лет рисовали за столами, постарше – за мольбертами. На первых занятиях, ещё не перезнакомившись, ребята садились группами: «столовщики» у стены, «мольбертчики» у окон, но уже через пару недель рассаживались вперемежку, кто с кем хотел, при этом старшие опекали младших. А иногда случалось и наоборот. Например, очень способный третьеклассник Игорь Новиков с трогательной серьёзностью помогал рисовать выпускнице техникума Юле Цимайло, у которой был слабый рисунок.

«Столовщикам» я давал свободу творчества (например, рисовать «мечту»). Было интересно наблюдать противостояние ребёнка один на один с листом бумаги. Вначале – растерянность. Ещё бы! Такой простор перед глазами, и всё, чем заполнять лист, надо придумать самому!.. Смотрю – задумался, припомнил что-то, что когда-то поразило. И вот уже первая линия, первая краска и... радость открытия; лист бумаги наполняется ещё непрочными постройками и полуживыми существами, но они начинают самостоятельную жизнь, даже как бы подсказывают юному художнику, что собираются делать.

Теперь ребёнка не остановить! Я только слегка направляю его фантазию. И не учу, а выявляю то, что в ребёнке заложено. Позднее помогу ему из нагро-

мождения линий и красок выбрать стройные и красивые, чётче обозначить ещё еле различимую цель, зароню в ребёнка стремление внести в жизнь что-то своё, прекрасное...

Почти все дети открыты, восприимчивы, чувствительны к несправедливости, к назиданиям, или наоборот – к сюсюканью. Именно поэтому я говорил с ними как с равными, словно у нас одинаковый запас знаний, но они кое-что забыли, и я напоминал.

– Ты ведь знаешь, что цапли спят на воде, спрятав клюв под крыло. Так и рисуй!

Ребёнок мог этого и не знать, я нарочно завышал его знания, но после занятий он уже стремился расширить свой кругозор. И ещё одно обстоятельство: можно ученику давать задание – рисовать «от и до», но лучше его заинтересовать темой, подвести к ней. При таком методе отдача намного полноценней.

«Мольбертщикам» я давал определённые темы и ставил натюрморты, причём не эстетские, а самые обычные, чтобы умели различать красоту и красоту.

– Вот на полу ведро с тряпкой и разлитая вода, – я показывал на инвентарь уборщицы. – Смотрите, какие отражения, какие складки на тряпке, вмятины на ведре! Живописные и тряпка, и ведро! Красота вещей в их простоте, полезности, удобстве.

Каждый человек – особый мир; объединить несколько миров – задача не из лёгких, особенно если учесть, что в студии занимались ребята от семи до семнадцати лет. Как мне это удавалось – не знаю, но скажу без ложной скромности: мы жили одной семьёй, даже дни рождения каждого отмечали в кафетерии, и в подарок именинник получал десятки рисунков. Родители говорили, что дети тянутся ко мне, с нетерпением ждут воскресений, дома пересказывают истории, которыми я расцвечивал занятия, что верят мне, поскольку видят мои работы в книгах и журналах.

Ребята действительно любили студию. Но что её было не любить, если после занятий они ещё валялись дурака в кафетерии, где буфет ломился от лимонада и пирожных, а ребята постарше всегда могли подняться в Большой зал и посмотреть заграничный фильм. Так что я и это учитывал и особенно не обольщался на свой счёт.

ТАК КТО ГЕНИЙ?

Крепко сбитого пятиклассника Диму Климонтовича все, и я в том числе, звали по имени-отчеству – Дмитрий Иванович. Слово Тартарен, Дмитрий Иванович ходил увешанный оружием: ружьями и саблями всех образцов. Он врвался в студию, палил из пробочного пугача и объявлял о своём очередном подвиге (начитавшись детективов, он всюду видел преступников и находился в постоянной боевой готовности).

Выявляя могучие силы, Дмитрий Иванович рисовал только сражения со множеством действующих лиц и разнообразной боевой техникой. Рисовал быстро и при этом выкрикивал команды, подражал грохоту орудий, чем вызывал

усмешки «мольбертчиков» и восхищение у «столовщиков». Случалось, в запале Дмитрий Иванович выхватывал пугач и стрелял в воздух. «Мольбертчики» вздрагивали, грозились разоружить Дмитрия Ивановича, а у «столовщиков» восхищение переходило в бурный восторг.

Я был не против батальных сцен Дмитрия Ивановича, но вскользь говорил о гуманизме и о том, что на свете много и другого, достойного внимания художника. И всё старался внушить воинственному ученику, что вначале на листе всё надо набрасывать, идти от общего к частному, чтобы рисунок не рассыпался, чтобы его держали крупные детали. Дмитрий Иванович кивал, но продолжал мельтешить. Он был наделён редким видением мира, даже рисункам соседей давал меткие определения: акварели соседок, писавших цветы и бабочек, называл «ведром духов».

Доказано, что девочки лучше мальчишек чувствуют цвет, но десятилетняя Саша Букова, по прозвищу Мимоза (она носила только жёлто-зелёную одежду), и среди учениц являла исключение. У неё было природное чувство цвета; она интуитивно угадывала благородные сочетания красок и одновременно делала успехи в графике, причём рисовала размашисто и смело, прямо-таки в мужской манере. Я думал – её родители художники. Оказалось – нет, обычные служащие. Вот и получалось – её дар от Бога.

Сашу-Мимозу отличало искреннее восхищение работами других студийцев. Когда мы обсуждали рисунки, кое-кто позволял себе вольности:

– Это не солнце, а блин, – мог сказать Дмитрий Иванович.

Саша находила только прекрасные слова:

– Замечательное, жаркое солнце! И такие мягкие и тёплые облака! Вот мне бы написать так! – и это говорила она, лучший цветовик студии! Похоже, она ещё не осознавала своё творчество, так же как и многие малыши, которые восторженно прищёлкивали языками около работ старшеклассников и бормотали:

– Всё как настоящее.

Они не знали, что их «не настоящее» подкупает чистотой и наивностью.

Тринадцатилетний Андрей Маленкович рисовал так, как рисует в его возрасте один из сотни. Он сразу мне дал понять, что умеет обращаться с пространством: заполнил лист бумаги по спирали, от центральной точки раскрутил сюжет до краёв. Всё получилось целостно и ёмко; и как он это представил в своей маленькой голове? К сожалению, когда я его похвалил, он перестал рисовать и стал делать замечания соседям. А когда я вышел покурить, подошёл к первокласснице Ксении Талызиной, которая рисовала принцессу, и бросил:

– Это кто?

– Принцесса, – выдохнула рисовальщица.

– Ишь отъелась! Это не принцесса, а бегемот! – и подрисовал красавице усы.

Довёл девчужку до слёз; правда, когда я вернулся, уже «усаживал принцессу в карету» – усердно замаливал свою грубость.

– А вы царя видели? – задыхаясь, спросил однажды Андрей, когда я во время занятий рассказывал о своей работе в театрах.

– Вы царя видели? – повторил «мастер спирального рисования».
– Нет, не видел, – признался я. – Конечно, я старый, но не до такой степени.
– Андрей, ты что? У тебя по истории кол? – вступился кто-то из учениц-старшеклассниц. – Цари-то когда были? А ещё мой будущий жених!

Андрей покраснел, но в следующий раз удивил меня ещё больше:

– А скажите, кто среди нас гений?

– Какой гений?! – возмутился я. – Мы все просто способные. Ещё неизвестно, станем ли мы Художниками, получим ли высокое звание – Мастер. Художник – тот, кто создал свой мир, свою изобразительную манеру. Настоящих Художников не так уж и много. Большинство только рисовальщики и живописцы. Мы ещё пока только учимся на рисовальщиков и живописцев. Путь нам предстоит долгий.

Некоторые родители поступают непедагогично: подогревая тщеславие своих детей, вставляют их «шедевры» в рамы, вешают на стены. Напрасно они это делают. Чрезмерное восхваление мешает серьёзным занятиям. К тому же сегодня ребёнок сделал «шедевр», а завтра может выдать такую посредственность!

Синеглазая Эвелина Храмченко была одарённая девушка: делала стилизованные игрушки из проволоки и ниток, писала стихи, готовилась поступать в училище, учиться на гримёра. Чтобы Эвелине получше подготовиться к экзаменам, я ставил ей гипс, но холодные бесцветные фигуры не вдохновляли её, непоседу.

– Рисуй не столько сам предмет, сколько вокруг него, – я черкал карандашом Эвелины, а она вздыхала:

– Я, может, и не стану учиться на гримёра. Пока не знаю своей голубой мечты.

Здесь будет уместно заметить, что многим эмоциональным ученикам не хватает усидчивости. Сегодня они хотят быть художниками, завтра – танцовщиками, через неделю – лётчиками, а чаще – и тем и другим одновременно. В такие моменты многое зависит от преподавателя – сумеет ли он увлечь своим предметом, скрасить чисто технические моменты, неизбежные в обучении, уловить настрой подопечных, когда у одного притупляется восприятие, другой пасует перед трудностями. Всю эту науку я познавал постепенно, то есть в студии тоже проходил немалый курс обучения, и ещё неизвестно, кто больше дал друг другу: я ученикам или они мне.

Рядом с Эвелиной ставил мольберт Денис Лучин, высокий, задумчивый парень-десятиклассник. У него были тонкие черты лица, тонкие пальцы, изысканные манеры – принц из сказки, а не выпускник обычной школы. И писал Денис изящно: чёткими, прямо-таки хрустальными мазками. Долгое время он только поглядывал на Эвелину, а она делала вид, что никак не может понять, в чём дело; даже когда Денис писал ей записки, она одаряла его притворным взглядом, как бы вопрошая: «И почему ты выбрал именно меня? Здесь много красивых девушек!». Вначале они только обменивались записками, потом то и дело уходили в кафетерий и наконец однажды покинули студию, взявшись за руки. Спустя несколько лет заглянули ко мне.

– Поздравьте нас! – сказали. – Мы стали мужем и женой!

СТОЛ «ДАРОВАНИЙ»

За отдельным широким столом у нас сидели «дарования». Так ученики-старожилы называли новеньких, которые приходили в студию и сразу выкладывали о себе далеко не скудные сведения:

– Рисую день и ночь, родители прямо от стола не оторвут. В школе по рисованию одни пятёрки.

«Стол дарований» был своего рода фильтром в нашей студии, неким вступительным экзаменом для чрезмерно самоуверенных художников. За этим столом сидела семилетняя Баранова Настя, которая на мой первый вопрос: «Наверно, ты хочешь быть принцессой?» – спокойно ответила:

– А я и есть принцесса!

В будущем она собиралась стать королевой и первое время воспринимала меня как великовозрастного придворного; на каждую мою тему капризно надувала губы:

– Это не хочу рисовать!.. Буду вот это... фломастерами.

Рядом с Настей усаживалась её бабушка, хотя обычно я отправлял родителей, бабушек и дедушек в кафетерий или к телевизору, чтобы не смущали других учеников, но новеньким делал исключение, давал возможность освоиться в новой обстановке.

Как правило, ребята из продлёнок более общительны; они вписывались в коллектив моментально. С маменькиными сынками и дочками дело обстояло посложнее, к ним приходилось подбирать ключи. Здесь я выработал определённую систему: избалованных проказников усаживал рядом с серьёзным учеником, чтобы был пример для подражания. Робких и застенчивых прикреплял к какому-нибудь Тартарену-Диме, который в любого мог вселить жизнеутверждающий заряд. Ну и понятно, с одарённых ребят требовал большей отдачи, учеников со средними способностями подхваливал, чтобы придать им дополнительные силы.

Так вот рядом с Настей усаживалась её бабушка и за каждый мазок внучки совала ей в рот конфету. Несколько раз она пыталась подкармливать внучку домашними пирожками. Заметив эти попытки, я их пресёк на корню. Кстати, та бабушка и рисунки рассматривала как продукты питания: «Это вкусно, аппетитно», – говорила. – «А это неаппетитно, от этого тошнит». Настя никому не разрешала пользоваться своими красками, так что, отучив её от подкармливаний, я отучал её от жадности, объяснял, что у нас всё общее и что «вообще давать приятней, чем брать». Только после этой подготовительной работы мы с Настей занялись непосредственно рисованием.

– Пожалуйста, рисуй что хочешь, – сказал я стропливой барышне. – Только одной краской рисует маляр. Окунает кисть в ведро и мажет, например, забор. А у нас с тобой картина! Посмотри, сколько у тебя замечательных красок, а если мы попробуем их смешать, то получим много и других красок, ещё более замечательных.

Я рассказал Насте про основные и дополнительные цвета, показал, как искать «свой» цвет, и после первоначальных капризов у неё появилась заинтересованность, она почувствовала многообразие мира цвета.

– Никаких фломастеров, – говорил я родителям. – Ребёнок привыкает к крикливым цветам. Одним жёлтым рисует и солнце, и лица, и цветы. А ведь цвет делится на сотни оттенков. И лучше рисовать не акварелью, а гуашью. Пока ребята учатся и путаются в цвете, гуашь незаменима. Всегда можно ошибку перекрыть.

Через «стол дарований» прошли братья Сашко Алик и Эдик, которые одно время посещали художественную школу и потому на первом занятии на всех смотрели свысока, громко смеялись, жонглировали карандашами и жевали жвачку.

– Парнишки высокого полёта! – сказал дед Игнат, сторож Дома литераторов, тоже мой ученик.

По словам деда Игната, он «сызмальства имел пристрастие к рисунку, но жизнь так сложилась, что было не до рисования». Теперь, на пенсии, дед Игнат навёрстывал упущенное, и, надо сказать, довольно успешно. Во всяком случае, на наших выставках около его работ зрители охали и ахали:

– Какой гениальный ребёнок!

Потом наклонялись, читали возраст ученика и, ступая в сторону, спешили к другой экспозиции.

– Парнишки высокого полёта! – сказал великовозрастный ученик дед Игнат об Алике и Эдике. – Но чем выше взлетаешь, тем больней можно шлёпнуться.

За «столом дарований» кипели исключительные страсти. Старший Алик постоянно обвинял брата в том, что он «слизывает» у него темы, а младший Эдик исподтишка ставил загогулины на рисунках Алика, при этом мог ляпнуть что-нибудь такое:

– Он прикарманил мой карандаш!

Братья были смышлёными, выдумщиками и благополучно миновали «стол». Уже через два занятия они поняли, что им ещё есть чему поучиться. И поняли также, что не учебное заведение красит ученика, а ученики заведение.

ШЛЯПА С «ОГОРОДОМ»

Манекенщица Ия подкатила к Дому литераторов на «жигулях», небрежно хлопнула дверью и на высоченных шпильках, в полупрозрачном одеянии, увенчанная шляпой с овощами, фруктами и цветами, окутанная облаком духов, прошествовала в студию.

– Мне нужны индивидуальные уроки, – сказала Ия, за локоть выводя меня в коридор.

– Индивидуальные! – повторила Ия. – Понимаете? Оплата меня не интересует.

Я объяснил Ие, что индивидуальных уроков не даю, но что она вполне может заниматься в студии. Напоследок я спросил:

– А зачем вы хотите научиться рисовать? Имеете определённую цель?

– Цель у меня вполне определённая, – заявила Ия. – Не знаю, как вам это объяснить. Ну, в общем так... Я решила утереть нос своему поклоннику. Он скульптор, все дни и ночи торчит в мастерской, на меня – ноль внимания. А мне нужна безумная головокружительная любовь. С ревностью и сумасшедшими поступками...



– С похищением, погоней, стрельбой? – я попытался пошутить.

– Я достойна такой любви, – продолжала Ия, не обращая внимания на мою вставку. – Ведь я красивая! – она покрутилась на месте, чтобы я оценил её красоту в полной мере, и пожала плечами: – Думаю, людям всегда приятно видеть красивую женщину, ведь так? Но я не только красивая. Этот мой скульптор считает, что я пустышка, ничего не понимаю в искусстве. А я – талантливая.

– Возможно, возможно... – пробормотал я.

– Научите меня рисовать! Я хочу утереть нос моему скульптору. Напишу его портрет, и он поймёт, что я совсем не пустышка. За два месяца научите? Я талантливая. Уверена, у нас всё быстро пойдёт!

Я посадил Ию за «стол особых дарований», просто выделил ей отдельное место, и у нас дело действительно пошло довольно быстро. Даже стремительно. Не снимая шляпы с «огородом», как окрестил головной убор великовозрастный ученик дед Игнат, Ия день ото дня демонстрировала серьёзные успехи и, конечно, свою фигуру.

– Воображала! А уж надушится – хоть из студии выходи! – поджимали губы ученицы-старшеклассницы, втайне завидуя красоте Ии, её успехам и, безусловно, шляпе.

Всего месяц Ия посещала студию – и вдруг внезапно пропала. Видимо, утёрла нос бесчувственному скульптору.

БЕЛОСНЕЖКА БЕЗ ГНОМОВ

Восьмиклассница Олеся Черемшина носила белый берет, белые гетры, белые туфли и такие ослепительно-белые платья, что, казалось, с них сыпались искры. Олеся была замкнутой; ни с кем не разговаривала и всегда одиноко сидела у входа в студию, как бы оберегая свой таинственный мир от остального мира. Не раз после занятий студийцы звали её в кафетерий, но она отказывалась, благодарила и торопливо убегала. Такая была вежливо-недоступная, студийцы звали её «Белоснежкой без гномов».

Каждый раз, когда я давал задание, Олеся морщилась и тихо говорила мне:

– Сегодня в моей коробке с гуашью совершенно другое.

– В твоей чудо-коробке то, что ты захочешь нарисовать, – сказал я. – Ведь не материал властвует над мастером, а мастер над материалом.

– А надо мной властвуют краски, – твердила ученица. – Они подсказывают темы.

– Ну что ж! Я уважаю чужую индивидуальность, – сдавался я. – Давай, твори, что они там тебе подсказывают.

Олеся рисовала интерьеры; если комнату, то её непременно украшали ковры, если террасу, то сверкали цветные стёкла: ромбы, овалы. Она имела явную склонность к орнаменту и рисовала аккуратно, без подтёков, в отличие от большинства начинающих живописцев. Её работы были такие же чистые, как и она сама в отутюженном одеянии.

Долгое время я не мог понять, куда Олеся торопится после студии. И вдруг узнаю: она ещё учится в прикладном училище зодчества и ваяния.

– Что же ты скрывала? И зачем тебе наша любительская студия? – спросил я.

– У вас интересно, – просто ответила Олеся.

Мы с Олесей расписывали окна кафе и магазинов. На бумаге, естественно. И расписывала Олеся, а я только следил, чтобы сочетание красок было благородным; особенно следить не приходилось – у Олеси всё получалось как нельзя лучше. Через два года занятий она неожиданно появилась с десятком дошколят и, покраснев, объявила:

– Это мои ученики. Я тоже организовала студию при жэке.

– Ура! У Белоснежки появились гномы! – закричал Дима Климонтович и пальнул из пугача, чем привёл свиту Олеси в восторг.

ОЧАРОВАННЫЕ РОДИТЕЛИ

С некоторыми родителями я мучился больше, чем с самыми взбалмошными учениками. Ладно, некоторые водили детей не для того, чтобы сделать из них художников, а для общего развития. Это неплохо. Неплохо, когда ребёнок во всём дилетант: немного рисует и лепит, немного занимается музыкой, сочиняет стихи – в конце концов что-то перетянет, ребёнок остановится на том, что ему ближе по наклонностям. Но ведь некоторые родители дума-

ли не о ребёнке, а о себе. Изостудия была для них ширмой, чтобы покутить в ресторане Дома литераторов. Случалось, с одним ребёнком, как бы в студию, приходила дюжина его опекунов. Помню одного мальчишку, который вообще не хотел рисовать, но отец насильно запихивал парня ко мне, и бодро направлялся в ресторан, а его отпрыск после занятий слонялся между телевизором и буфетом.

Некоторые родители впадали в другую крайность: прямо тряслись над своим чадом, и стоило мне отлучиться покурить, как тут же подсаживались к ребёнку и помогали рисовать. Так, писатель Юрий Постников вначале водил рукой сына по бумаге, потом вообще выхватывал у него кисть и сам заканчивал рисунок. Я-то сразу видел, где рука ребёнка, а где родителя, и отчитывал Постникова, говорил, что в каждом рисунке видна душа художника, а здесь две души и большая душа явно давит на маленькую душу – это всё равно что рядом с хрупким цветком растёт мощный репей, и рано или поздно цветок увянет; что, наконец, он, Постников, убивает в ребёнке непосредственное восприятие, индивидуальность.

– Возьми бумагу, садись рядом и рисуй до посинения! – возмущался я. – Но не лезь в мою систему обучения. Не порть ученика.

– Ничего страшного, – оправдывался Постников. – Мы с сыном творим в соавторстве, неужели не ясно? Под рисунком сделаем надпись: «рисовал Постников-младший, помогал старший».

Кстати, у Постниковых и на рисунках мелькало немало подписей в духе Киплинга: «Кота не видно – он за чемоданом», «Пёс не уместился, но вот его цепь».

Некоторые родители были попросту очарованы своими детьми, от них только и слышалось:

– Чудо, а не ребёнок! Вы только посмотрите, как рисует! Какая прелесть! Потрясающе! Непостижимо! – и целовали отпрыска: – Моё золотко! Душа моя!

Эти «очарованные родители» досаждали мне больше всего. Гораздо больше, чем их невероятно одарённые дети. Во-первых, они постоянно сообщали мне массу всяких глупостей: что их «чудо природы» ест на завтрак, какие перенесло болезни, что нарисовало бабушке. Во-вторых, они доставали своим детям такие заграничные краски, от которых у остальных студийцев перехватывало дыхание. В-третьих, эти «очарованные родители» постоянно лезли в процесс обучения и советовали мне обратить особое внимание на их детей. В-четвёртых, просили о дополнительных занятиях и намекали про крупные вознаграждения, от чего я, естественно, отказывался и шутил, что и так не знаю, куда девать деньги, хотя получал смехотворный оклад и вёл студию только ради любви к детям и ради их привязанности ко мне.

Однажды, чтобы избавиться от натиска «очарованных родителей», я предложил некоторым из них порисовать.

– Никогда не поздно заняться каким-нибудь увлекательным делом, – произнёс я очень оригинальную фразу и подкрепил её примером старушки-американки, которая всю жизнь вышивала, а в девяносто лет взяла кисть и к своему столетию натворила столько картин, что для выставки отвели целый музей.

Некоторых «очарованных родителей» это сообщение заинтересовало, они решили попробовать свои силы в живописи. К ним присоединились «не очарованные», нормальные. И что примечательно – многие из родителей обнаружили скрытые недюжинные таланты и искренне сожалели, что когда-то встали не на тот путь.

Но с родителями-художниками приходилось воевать. Что ни скажешь, они сразу:

– Мне уже поздно меняться, у меня сложившиеся представления. Смешно, когда зрелый человек хочет измениться. Это всё равно что пересадить взрослое дерево.

Они упорно делали иллюстрации к «Мастеру и Маргарите», к рассказам Чехова и Платонова – сразу начинали со сверхсложного. Я пытался им внушить, что всё большое начинается с малого и главное – постепенность; набрасывал им упрощённые натюрморты, несложные интерьеры, но где там! Артачились до изнеможения.

Некоторые родители шли ещё дальше: писали картины-представления, как они хотели бы жить, какой жизни достойны.

Я пытался их заземлить, делал наброски реальности, говорил, что и в нашей жизни немало замечательного, но их ничего не убеждало.

– Наши мечтания лучше вашей реальности, – заявляли они. – Это естественное состояние наших душ. Мы, конечно, испытываем к вам пламенное почтение, но не давите на нас, не заглушайте наш творческий порыв.

– Хорошо, – сдавался я, – пишите мечтания, но хотя бы слушайте про технику выполнения. Талант, конечно, от Бога, но мастерство зависит от нас самих. Писать мечтания крайне сложно.

– Не принимайте нас за дураков! – продолжали такие родители. – Мы прекрасно знаем, что этому надо учиться, но, поймите, мы уже сложившиеся люди, – и дальше морочили мне голову про дерево, которое нельзя пересаживать.

Среди родителей-художников была одна «разочарованная» женщина с беспредельной печалью на лице. Она проявляла особое, прямо-таки святое отношение к живописи, называя её «трепет души». Десятилетний сын этой женщины Митя, который обычно рисовал вдалеке от матери, однажды во всеуслышанье заявил:

– Я люблю дядю Колю. Когда он к нам приходит, всегда приносит мне подарки. А отца не люблю. Он нас бросил.

Митина мать покраснела, вывела сына в коридор, и краем глаза я увидел, как моя взрослая ученица дала подзатыльник моему младшему ученику. Позднее она, смущаясь, быстрым шёпотом объяснила мне причину своего разочарования:

– Наши отношения с мужем задрезали сразу, как только мы поженились. У нас разные биополя. До Мити мы только царапались, а потом дошло до драк. Я была на грани помешательства. И Митя всё это переживал. Так что вы, пожалуйста, не обращайтесь внимания на его глупости. Он такой нервный мальчик.

Эта женщина писала «туманные пейзажи», в которых был тусклый, холодный свет.

– Понимаете какая штука, – говорил я осторожно, боясь поранить разочарованную натуру. – У вас всё красиво, но как-то печально. А ведь в жизни немало и радостного.

– Да-да, – бормотала она. – Но эти картинки напоминают мне юность.
– Вам ещё рано ударяться в воспоминания, – менее осторожно говорил я. –
Всему своё время: время открывать мир, искать в нём своё место, время любить,
творить и уж только потом вспоминать. Вы молодая женщина, у вас всё
впереди. То, что было, – всего лишь прелюдия, а теперь начнётся настоящая,
осознанная жизнь.
Как ни странно, эти банальные слова дали разочарованной женщине больше,
чем художнические советы. На её лице появилась лучезарность, а на «туманных
пейзажах» наконец взошло солнце, и они превратились в «пейзажи, освещённые
солнцем».

ДЕНЬ ЛЮБОВАНИЯ

В японских школах есть предмет – любование, когда учеников водят по улицам,
показывают красивые дома, деревья, красиво одетых людей, устраивают
«воспитательный момент». Мы в студии ввели этот предмет и расширили его
диапазон: во время поездок на этюды не только любовались красотами, но и зарисовывали их.

На этюды ездили два раза за полугодие, но оба занятия были насыщенными.
Мы устраивали вылазки на станцию Левобережная; там были зелёные лужайки
с берёзами, деревянный мост через низину и колоритный старый дебаркадер
на канале, то есть множество объектов для любования. «Объекты» писали часа
два, позднее этюды раскладывали на полу изостудии и устраивали повторное
любование с обсуждением.

Рисованию с натуры я придавал особое значение. Иногда ученики спрашивали:

– Что важнее: реальное или выдуманное?

– Реальный мир изучать необходимо, – убеждённо говорил я. – Ведь всё выдуманное – это надстройка над реальностью, а чтобы выдумывать лучше, чем в жизни, всё-таки нужно знать жизнь. Нужно интересоваться всем, что нас окружает, развивать наблюдательность... Теперь понимаете, какие мы счастливые? Можем рисовать невыдуманное и выдуманное; прошлое, настоящее и будущее – как бы жить в разных временах. Быть и динозаврами, и инопланетянами...

День любезности придумала Таня Судакова, дочь посудомойки из буфета. Я вышел покурить, смотрю – у портьеры плачет девушка-подросток.

– Что случилось? – спрашиваю.

Она отвернулась, сжалась, точно пугливый зверёк. Вдруг, вытирая руки о передник, подходит её мать.

– Она хочет рисовать, но стесняется. Говорит, у вас все очень хорошо рисуют. Она боится, что так не сможет.

– Они, когда начинали, тоже рисовали плохо. Пойдём, нарисуешь то, что у тебя дома хорошо получалось. Пойдём, я помогу.

Взяв девочку за руку, я ввёл её в зал и усадил рядом с Машей Ермаченко, способной и общительной девушкой, которая выполняла роль моего заместителя.

теля. Пока я объяснял, как начать рисунок и пользоваться краской, Таня хмуро сидела перед мольбертом, потом вдруг встряхнулась и выдала такую яркую живопись, что все сбежались (она написала искрящееся озеро и дальний берег). Посыпались комплименты, и на хмуром лице Тани появилась улыбка.

Я изобразил негодование:

– Ну-ну, не перехвалите, а то ещё у Татьяны закружится голова, ещё зазнается.

– Не зазнаюсь! – сказала Таня. – Меня никогда не хвалили... Вот только сегодня.

С того дня она с невероятным рвением взялась за живопись: раньше всех приходила в студию и уходила последней, и с каждым занятием работала кистью всё смелее. Её яркие краски прямо-таки звучали.

Именно Таня позднее придумала день «История живописи», когда после занятий мы обогащались знаниями из истории живописи. Я заранее просил кого-нибудь из учеников подготовить рассказ о том или ином великом художнике и рассказ ученика дополнял репродукциями с картин Мастера.

КОРОЛЬ БЕЗ КОРОЛЕВЫ И КОРОЛЕВА БЕЗ КОРОЛЯ

На свете сплошь и рядом король без королевы и королева без короля. Другими словами, часто прекрасные люди встречаются не с теми, кого достойны, не тем доверяют, не к тем привязываются.

Семнадцатилетний Сергей Лапин имел основательную подготовку в художественной школе. Высокий, стройный, он одевался под древнерусских молодцев: носил косоворотку, подпоясывался верёвкой, его лоб обрамляла лента-повязка – она сдерживала светлые, буйные волосы и выражала протест всему современному. Сергей иллюстрировал былины, его кумирами были Васнецов и Кустодиев.

– Современная абстракция – картины без идеи, – говорил Сергей. – Набор квадратиков и кубиков. Эти художники любят не искусство, а себя в искусстве.

Я не возражал Сергею, но говорил, что абстрактную живопись всё же можно рассматривать с прикладной, декоративной точки зрения.

Сергей жил с больной матерью и подрабатывал мойщиком окон. Однажды мыл окна в этнографическом музее и после работы решил сделать зарисовки экспонатов. Присел с папкой возле манекенов, изображавших бытовые сцены из жизни древних славян, и в экзотической одежде как нельзя лучше вписался в эти сцены. В какой-то момент мимо проходил служитель музея и, заметив неподвижную фигуру рисовальщика, в недоумении уставился на новый экспонат. Тут Сергей разогнулся, и... служитель плашмя хлопнулся в обморок.

Эта нелепая история больше всех нравилась подруге Сергея, которая одно время поджидала его в буфете. Как-то я предложил ей порисовать, но она проверещала, что у неё «другие планы и мечты».

По словам Сергея, она мечтала выйти замуж за иностранца и уехать на Запад. И вот от этой «мечтательницы» Сергей потерял голову. Когда «мечтательница»

перестала заходить в ЦДЛ, он начал её преследовать, в студию забегал всего на полчаса. Когда же «мечтательница» осуществила свою мечту, Сергей вообще забросил живопись.

Ум в человеке почти всегда побеждает: заставляет сдерживаться, когда души злость, придаёт силы в минуты отчаяния и опасности – во многом человека спасает ум и только в любви не спасает.

Оксану Рудых звали «золотой девушкой». У неё были золотые локоны, золотые руки, золотое сердце, и носила она платья золотистого цвета. Ольга Синюкова, которая готовилась учиться на «мастера по причёскам», тренировалась на Оксане – терзала её «гриву» и так и сяк, и «модель» стойко переносила эти мучения. Студийцы часто делали наброски друг с друга, но Оксану больше других заставляли позировать; её рисовали со всех сторон, а она смеялась:

– Не забудьте про линию живота! Линия живота – самая главная! В ней всё дело!

Оксана жила в Подмосковье и в студию приезжала на электричке и метро.

– Я всегда на колёсах, вечно в пути! – смеялась золотоволосая загородница.

Словно золотистая бабочка, она прилетала с подмосковных просторов в городскую студию и сразу наполняла её жёлтым светом.

– У нас за городом уйма цветов, шмелей, стрекоз, – радостным голосом общала Оксана. – Мы кормим ежат, которые бегают у домов. У меня живёт ящерка...

Оксана делала расплывчатые акварели – писала «по мокрому» полупрозрачными наслоениями красок. Она считалась специалистом по «малой живности»: великолепно рисовала жуков, лягушек, мышей и помогала их рисовать всем, кто обращался к ней за помощью.

И надо же такому случиться – эта замечательная девушка влюбилась в парня из сомнительной компании. Парень, работавший на заводе, ввёл Оксану в круг своих дружков, научил покуривать, играть в карты. На моих глазах в Оксане шло перерождение: она уже редко смеялась, на её красивом лице появилась тихая печаль. Она уже не влетала в студию, а заглядывала, точно бабочка с опалёнными крыльями. И в её творчестве началось затухание: на картинах, когда-то красочных, теперь проступали тёмные отчаянные цвета.

Не раз я беседовал с Оксаной в кафетерии, расписывал её будущее на портрете художника, доставал ей оформительскую работу на студии «Диафильм», но всё напрасно. Однажды, покраснев, она сказала мне, что «один человек запретил ей посещать студию». После этого вбежала в зал и крикнула всем:

– Прощайте! – и, запустив в воздух жёлтый бумажный самолётик, исчезла навсегда. Самолётик ещё долго кружил по спирали, расцвечивал воздух желтизной, но это был всего лишь отблеск желтизны «золотой девушки». Я всё надеялся, что Оксана вернётся, но она не появилась.

Много неудавшейся любви, душевных трагедий прошло передо мной за годы преподавания. Ученики – мои радости и боли.

Мила Хмельницкая и Линда Астахова на третий год занятий стали краситься и наряжаться сверх меры.

– Несусветная красота! Уморительно! Полный обмороз! – встречали их студийцы. – Куда это вы нарисовались?

– Рисовать, – отвечали модницы, но через двадцать минут подскакивали ко мне:

– Можно мы уйдём? У нас сегодня день рождения подруги.

Потом и вовсе стали приходиться без папок и красок.

– Можно мы сегодня не будем рисовать? – обращались ко мне.

– Опять празднуете? Ну что с вами поделаешь! Только скоро выставка, а у вас меньше всех работ.

– Мы дома порисуем! – но не уходят, топчутся на месте.

– Что-нибудь ещё хотите сказать?

– Ага! Если родители позвонят, вы скажите, что мы занимались.

– Так не пойдёт, красавицы. Я думал, вы рисуете для себя, а вы для родителей!..

– Мы для себя, но, понимаете...

Как не понять, если после занятий я встречал их на улице с молодыми людьми?!

Не всем удаётся совместить живопись с первыми увлечениями. В некоторых начинается противоборство, и что перетянет – зависит от способностей, от силы чувств, от преподавателя и родителей, к которым, правда, не очень-то прислушиваются.

Ну а самый сложный момент у преподавателя – это романтическое послание от ученицы; однажды он открывает журнал, а в нём записка, неприкрытое признание. Случается, девушки влюбляются в того или иного преподавателя. Это болезнь, от которой они быстро излечиваются, и нужно просто переждать.

Однажды и я получил записку от ученицы, которая оканчивала школу. После занятий, в кафетерии, я долго рассказывал девушке о своих дурацких холостяцких привычках, о том, что не терплю в доме соринки и пылинки, что обругаю любого, кто возьмёт вещь и положит не на то место...

По выражению лица своей слушательницы вижу – её ничто не останавливает. И тогда я прибегаю к сокрушительному доводу:

– На ночь я глотаю кучу таблеток и по ночам храплю, брыкаюсь и выкрикиваю страшные слова. На ночь мне надо делать массаж, ставить грелки, примочки, клизмы...

– Петь колыбельную! – съязвила девушка. – Вы хороший преподаватель, но ужасный мужчина. Бедная женщина, которая надумает жить с вами. Только какая-нибудь дура.

Я облегчённо вздохнул и подумал: «Наверняка найдётся такая дурочка, и она будет не такой уж «бедной». Я имел в виду свой богатый жизненный опыт, и богатый внутренний мир, который женщины почему-то не видели, и, конечно, богатую мечту насчёт плаваний, к которой женщины вообще относились с усмешкой.

ГОСТИ СТУДИИ

Не было ни одного занятия, чтобы в студию не заглядывал кто-нибудь из моих друзей. Чаще других заходили художники Валентин Коновалов и Леонид Бирюков.

С Коноваловым приходили его сын и дочь, которые были моими учениками. К ним Коновалов не подходил. Подходил к другим «мольбертщикам»; только и слышалось:

– Здесь добавь лилового... Здесь больше охры... И смелей! Что у тебя всё тает, как мороженое?! Смелей выражай своё видение, свой мир!.. Не стремитесь рисовать необыкновенно. Рисуйте по-своему, будьте самими собой. Это самое необыкновенное...

Бирюков обходил «столовщиков» и, поглаживая их по голове, приговаривал:

– Рисовать значит размышлять. Представь, в этом доме будешь жить сам, и наполняй его вещами...

Часто к нам заходили (по пути в буфет) писатели Юрий Коваль и Константин Сергиенко. Когда они появились впервые, я представил их, перечислил их книги.

– У меня эти книжки есть дома! – воскликнула первоклассница Лена Маковская. – Но я думала, эти писатели умерли, – Лена подошла и потрогала моих друзей.

– Ещё живы, слава богу! – пробасил Коваль. – Нам ещё на небеса рановато. Надо ещё кое-что сделать здесь. Я вообще завтра бросаю вредные привычки. Буду себя беречь, я нужен Отечеству.

Коваль ходил среди мольбертов, давал дельные советы, а Сергиенко подсаживался за стол к какой-нибудь девчужке и подчёркнуто вежливо спрашивал:

– Простите, сударыня, это у вас что изображено?

От такого обращения пигалица смущалась, заливалась краской и сбивчиво объясняла. Сергиенко с серьёзным видом кивал и просил:

– Вы не могли бы подарить мне этот рисунок? С дарственной подписью.

– Ты невероятный счастливец! – говорили писатели, имея в виду моих учеников.

– Ведите студии, и тоже будете счастливыми, – что ещё я мог посоветовать?

С годами наша изостудия ширилась, росла и цвела.

К Новому году из ресторана и соседнего клуба нам делали заказы: рисовать больших зайцев, трёхметровых драконов. А однажды студия мультфильмов предложила нам сделать рисованный фильм.

Целый месяц ребята под руководством режиссёра, который сразу объявил, что у него «трепетное отношение к детскому творчеству», корпели над всякими персонажами, но из двух сотен рисунков режиссёр использовал всего несколько штук, самых «трепетных», а на мой взгляд – далеко не лучших.

– Это профессиональная тайна, – объявил мне режиссёр, – но вам, так и быть, её открою. Видите ли, красивые вещи не всегда лучшие... Возьмём яблоко. Я всегда выбираю червивое – то, что ест червяк, то ем и я. Червяк не ошибётся,

выберет чистое, а не большое, красивое. Так и здесь. В этих, как бы не очень красивых рисунках есть подлинность, чистота. В этом весь фокус.

Вот так рассуждал этот режиссёр, носитель тайны.

Из журнала «Творчество» пришла журналистка с фотографом. Два часа они мучили нас вопросами, фотографировали как бы «за работой». Понятно, в тот день мы только напоказ махали кистями. Да и что можно было сделать, если мальчишек подавило такое внимание, а девочки больше думали о своём внешнем виде, нервничали, кусали ногти. И как можно работать, когда кто-то стоит над душой?

В пик нашей популярности с телевидения нагрянула орава осветителей и звукооператоров во главе с ведущим детской передачи по фамилии Фиолетов. Деловые телевизионщики взбаламутили всю студию, всё перевернули вверх дном.





Выставка работ учеников изостудии

– Мы совершенно не готовы к такому повороту событий, – сказал я Фиолетову.
– Тем лучше! – Фиолетов по-братски потрянул меня. – Что может быть лучше живого эфира?! Непосредственности, импровизации?!

– Непосредственность, импровизация вообще-то прекрасны, – вздохнул я, – но всё-таки лучше набросать хотя бы какую-то схему действия.

– Не волнуйтесь! – махнул рукой Фиолетов. – Всё будет весело, интересно. Дети – податливая глина, а что можно сделать из глины? Всё можно сделать из глины! И потом не забывайте, мы кое-что подрежем, подклеим. Всё сделаем на высшем уровне. Проводите занятие, как всегда, без напряжения, а мы по ходу дела всех снимем.

Легко сказать – без напряжения! Как будто нас каждый день показывают на всю страну!

Короче, сняли.

Довольно интересными были наши выставки в фойе Дома литераторов. Развешивать экспозицию помогал целый отряд родителей. Они вставляли работы в папку, вместе с учениками придумывали названия, делали надписи и всё норовили выставить побольше работ своих детей, но здесь я был начеку.

– Глупо выставлять всё, – говорил я таким настырным родителям. – Есть правило «Лучше меньше, да лучше».

– Подумать только! Я потрясена! – восклицала одна родительница, которая называла себя «чувствительной женщиной». – Выставки так обогащают. Неужели вам трудно выставить все?! В фойе столько места! Доставьте нам радость, что вам стоит?!

– Какие всё же несносные характеры у художников! – жаловалась другая родительница, называющая себя «женщиной, тяготеющей к покою». – У меня муж художник. Это не жизнь, а кошмар! Когда он работает, лучше не подходи – ты для него враг, не иначе. А не работает – ещё хуже: я виновата, что ему ничего не приходит в голову.

Ясно, это был выпад, нацеленный в меня, но я стойко переносил все ядовитые слова и уколы. Да и ребята с пониманием относились к моему отбору.

На открытие выставки собирались родители, дедушки и бабушки героев торжества. Начиналось обсуждение работ: слышались восторги, разные примечательные слова.

Переводчик Галина Лихачёва читала рассказы о художниках и дарила ребятам принадлежности для рисования. Выступали мои друзья – художники и писатели; они красовались перед аудиторией – держались картинно, говорили красиво:

– Детские рисунки это явление счастья, они излучают добро...

Выставка продолжалась две недели. За это время распухла книга отзывов, часть работ ребята прямо со стендов дарили особенно «потрясённым» зрителям.

К сожалению, две-три работы пропадали. Я помню, кто-то исхитрился стащить роскошного «зеленоглазого кота» Жанны Лурье, и я долго не мог успокоить девчущку.

– Такого кота я больше никогда не нарисую, – вытирала слёзы Жанна.

– Если стащили твоего кота, значит, он больше всего понравился и его будут хранить, – не очень убедительно объяснял я. – Но ты можешь нарисовать кота и лучше. Например, кота с бантом. Пойдём, нарисуешь мне усатого франта, я его повешу над столом, он будет меня вдохновлять на подвиги.

Жанна смутно улыбнулась и пошла в студию.

В День книги в Доме литераторов проводился конкурс на лучший рисунок. Приходили ребята со всего района, и Дом превращался в муравейник. Ребята рисовали в нашем зале и в фойе; мелькали листы бумаги, палитры, банки с водой, кисти.

Ребятам помогали мои старшие ученики; они же были членами жюри; позднее, когда все собирались в Большом зале, они на сцене вручали призы. Самых одарённых приглашали в нашу студию. Я не зря говорю – наша студия цвела очень пышно.



СОДЕРЖАНИЕ

Мой бегемот	5
Мои чудаковатые родственники	23
Собиратель чудес	55
Как на качелях. Рассказы о школе	77
На окраине	97
Зоопарк моего деда	117
Белый и Чёрный	153
Зверинец в моей квартире	201
Когда я был мальчишкой	211
Алдан. История одного верблюда	219
Трава у нашего дома	229
Другие рассказы о детстве	239
Рассказы старого водолаза	263
У лесника	277
У моря, или Сказка для Алёнки	287
Солнечная сторона улицы. Повесть	297
Белый лист бумаги. Повесть	335

Литературно-художественное издание
Знак 12+ в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ

СЕРГЕЕВ ЛЕОНИД АНАТОЛЬЕВИЧ

ТАМ, ГДЕ НИКОГДА НЕ ЗАХОДИТ СОЛНЦЕ

Рассказы для детей, подростков и взрослых,
которые помнят своё детство

Рисунки автора

Подготовлено в печать НО «Издательский центр «Московведение».
125252, Москва, ул. Зорге, 15. Тел.: (499) 195-27-73.
Генеральный директор – Ю.Н. Курнешов

Ответственный редактор – Е.А. Александрович;
редактор – Ю.Н. Денисов;
художественный редактор – Н.А. Дымова;
обработка иллюстраций – В.Г. Удовенко;
вёрстка, компьютерная подготовка издания – И.А. Потрахов;
технический редактор – А.И. Немальцина; корректор – Л.В. Хохлова

По вопросам приобретения книги обращаться по тел.: опт – 8 (495) 972-81-75;
розница – 8 (901) 546-81-75 или по e-mail: podariknigi@mail.ru.
www.redakzia.ru; www.podariknigi.ru.

Подписано в печать 28.09.2018. Формат 84x108/16.
Бумага офсетная. Гарнитура Прагматика. Печать офсетная.
Печ. л. 26,0. Усл. печ. л. 43,68. Тираж 1000 экз. Заказ № .

Отпечатано в АО «Первая Образцовая типография»
Филиал «Чеховский Печатный Двор»
142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1
www.chpd.ru; e-mail: sales@chpd.ru, 8 (499) 270-73-59.

ISBN 978-5-905118-97-5

